

ЛАУРЕАТ «РУССКОГО БУКЕРА ДЕСЯТИЛЕТЬЯ» 2001–2010

А Л Е К С А Н Д Р

ЧУДАКОВ

Ложится мгла на старые ступени



роман

Annotation

Последний роман ушедшего века, должно быть. Неважно, что вышел в веке нынешнем — по праву принадлежит тому, страшному, унесшему миллионы безвинных жизней и не давшему за это ответа. Мемуары, маскирующиеся под прозу. Маленький казахский городок Чебачинск, набитый ссыльнопоселенцами (“Такого количества интеллигенции на единицу площади Антону потом не доводилось видеть ни в Москве, ни в Париже, ни в Бостоне”), тридцатые — пятидесятые годы, люди и судьбы. Описанные тем русским языком, который иначе как "классическим" и не назовешь, — строгим и сухим. В центре повествования — семья автора, большая дружная семья, которая прошла всё — войны, революции, репрессии — но устояла, не сломалась и сумела передать от дедов детям веру, силу, светлый разум, удивительное душевное благородство. Авторское определение текста "роман-идиллия" кажется абсурдным только поначалу. Да, чебачинские будни были тяжелы так, как только могут быть тяжелы будни людей, выброшенных своей страной, и единственной возможностью выжить было натуральное хозяйство. Но и натуральное хозяйство оказалось по плечу ученым, священникам, инженерам, художникам — миф о неспособности интеллигенции сеять, строить, пахать был полностью разрушен. Труд не просто приносил плоды — труд пел гимны не сдающемуся ни перед чем духу великого русского народа. Об этом, собственно, и книга.

- [1. Армреслинг в Чебачинске](#)
- [2. Претенденты на наследство](#)
- [3. Воспитанница института благородных девиц](#)
- [4. Четвёртая сибирская волна](#)
- [5. Клава и Валя](#)
- [6. Ты можешь ли Левиафана удою вытащить на берег?](#)
- [7. Кавалер Большой золотой медали Великого Князя](#)
- [8. Гений орфографии Васька Восемьдесят](#)
- [9. В бане и около](#)
- [10. Кооперативный конь Мальчик, или Черепаха Наполеона](#)
- [11. Бычаги](#)
- [12. Натуральное хозяйство XX века](#)
- [13. Человек, Который не ест](#)

- [14. Землекопы и матросы](#)
 - [15. Вдовый угол](#)
 - [16. ООН](#)
 - [17. Гимн Советского Союза](#)
 - [18. Невеста графа Строганова](#)
 - [19. Два горных инженера](#)
 - [20. Отважный пилот Гастелло](#)
 - [21. Вечерний звон](#)
 - [22. Озеро](#)
 - [23. Другие песни](#)
 - [24. Гибель «Титаника»](#)
 - [25. Пельмени Ильича](#)
 - [26. Приобретённые признаки наследуются](#)
 - [27. Вольф Мессинг, гр. Шереметьев, барон Унгерн и прочие](#)
 - [28. Прекрасное есть революция](#)
 - [29. Псы](#)
 - [30. В Москве](#)
 - [31. Встреча друзей](#)
 - [32. Кондитер Федерату и профессор Резенкамф, печник](#)
 - [33. Носить не сносить](#)
 - [34. Стекольщик Кажика](#)
 - [35. Караси из архиерейского пруда](#)
 - [36. Мама](#)
 - [37. Отец](#)
 - [38. И все они умерли](#)
-

1. Армреслинг в Чебачинске

Дед был очень силен. Когда он, в своей выгоревшей, с высоко подвёрнутыми рукавами рубахе, работал на огороде или строгал черенок для лопаты (отдыхая он всегда строгал черенки, в углу сарая был их запас на десятилетия), Антон говорил про себя что-

нибудь вроде: «Шары мышц катались у него под кожей» (Антон любил выразиться книжно). Но и теперь, когда деду перевалило за девяносто, когда он с трудом потянулся с постели взять стакан с тумбочки, под закатанный рукав нижней рубашки знакомо покатился круглый шар, и Антон усмехнулся.

— Смейшься? — сказал дед. — Слаб я стал? Стал стар, однако был он прежде млад. Почему ты не говоришь мне, как герой вашего босяцкого писателя: «Что, умираешь?» И я бы ответил: «Да, умираю!» А перед глазами Антона всплывала та, из прошлого, дедова рука, когда он пальцами разгибал гвозди или кровельное железо. И ещё отчётливей — эта рука на краю праздничного стола со скатертью и сдвинутою посудой — неужели это было больше тридцати лет назад? Да, это было на свадьбе сына Переплёткина, только что вернувшегося с войны. С одной стороны стола сидел сам кузнец Кузьма Переплёткин, и от него, улыбаясь смущённо, но не удивлённо, отходил боец скотобойни Бондаренко, руку которого только что припечатал к скатерти кузнец в состязании, которое теперь именуют армреслинг, а тогда не называли никак. Удивляться не приходилось: в городке Чебачинске не было человека, чью руку не мог положить Переплёткин. Говорили, что раньше то же мог сделать ещё его погибший в лагерях младший брат, работавший у него в кузне молотобойцем. Дед аккуратно повесил на спинку стула чёрный пиджак английского бостона, оставшийся от тройки, сшитой ещё перед первой войной, дважды лицованный, но всё ещё смотревшийся, и закатал рукав белой батистовой рубашки, последней из двух дюжин, вывезенных в пятнадцатом году из Вильны. Твёрдо поставил локоть на стол, сомкнул с ладонью соперника свою, и она сразу потонула в огромной разлапой кисти кузнеца.

Одна рука — чёрная, с вьёвшейся окалиной, вся переплетённая не человеческими, а какими-то воловьими жилами («Жилы канатами вздулись на его руках», — привычно подумал Антон). Другая — вдвое тоньше, белая, а что под кожей в глубине чуть просвечивали голубоватые вены, знал один Антон, помнивший эти руки лучше, чем материнские. И один Антон

знал железную твёрдость этой руки, её пальцев, без ключа отворачивающих гайки с тележных колес. Такие же сильные пальцы были ещё только у одного человека — второй дедовой дочери, тёти Тани. Оказавшись в войну в ссылке (как ЧСИР — член семьи изменника родины) в глухой деревне с тремя малолетними детьми, она работала на ферме дояркой. Об электродойке тогда не слыхивали, и бывали месяцы, когда она выдаивала вручную двадцать коров в день — по два раза каждую. Московский приятель Антона, специалист по мясо-молоку, говорил, что это всё сказки, такое невозможно, но это было правда. Пальцы у тёти Тани были все искривлены, но хватка у них осталась стальная; когда сосед, здороваясь, в шутку сжал ей сильно руку, она в ответ так сдавила ему кисть, что та вспухла и с неделю болела.

Гости выпили уже первые батареи бутылок самогона, стоял шум.

— А ну, пролетарий на интеллигенцию!

— Это Переплёткин-то пролетарий? Переплёткин — это Антон знал — был из семьи высланных кулаков.

— Ну, а Львович — тоже нашел советскую интеллигенцию.

— Это бабка у них из дворян. А он — из попов.

Судья-доброволец проверил, на одной ли линии установлены локти. Начали.

Шар от дедова локтя откатился сначала куда-то в глубь засученного рукава, потом чуть прикатился обратно и остановился. Канаты кузнеца выступили из-под кожи. Шар деда чуть-чуть вытянулся и стал похож на огромное яйцо («страусиное», подумал образованный мальчик Антон). Канаты кузнеца выступили сильнее, стало видно, что они узловаты. Рука деда стала медленно клониться к столу. Для тех, кто, как Антон, стоял справа от Переплёткина, его рука совсем закрыла дедову руку.

— Кузьма, Кузьма! — кричали оттуда.

— Восторги преждевременны, — Антон узнал скрипучий голос профессора Резенкампа.

Рука деда клониться перестала. Переплёткин посмотрел удивлённо. Видно, он наддал, потому что вспух ещё один канат — на лбу.

Ладонь деда стала медленно подниматься — ещё, ещё, и вот обе руки опять стоят вертикально, как будто и не было этих минут, этой вздувшейся жилы на лбу кузнеца, этой испарины на лбу деда.

Руки чуть заметно вибрировали, как сдвоенный механический рычаг, подключённый к какому-то мощному мотору. Туда — сюда. Сюда — туда. Снова немного сюда. Чуть туда. И опять неподвижность, и только еле заметная вибрация.

Сдвоенный рычаг вдруг ожил. И опять стал клониться. Но рука деда теперь была сверху! Однако когда до столешницы оставался совсем пустяк, рычаг вдруг пошёл обратно. И замер надолго в вертикальном положении.

— Ничья, ничья! — закричали сначала с одной, а потом с другой стороны стола. — Ничья!

— Дед, — сказал Антон, подавая ему стакан с водой, — а тогда, на свадьбе, после войны, ты ведь мог бы положить Переплёткина?

— Пожалуй.

— Так что ж?..

— Зачем. Для него это профессиональная гордость. К чему ставить человека в неловкое положение. На днях, когда дед лежал в больнице, перед обходом врача со свитой студентов он снял и спрятал в тумбочку нательный крест. Дважды перекрестился и, взглянув на Антона, слабо улыбнулся. Брат деда, о. Павел, рассказывал, что в молодости тот любил прихвастнуть силой. Разгружают рожь — отодвинет работника, подставит плечо под пятипудовый мешок, другое — под второй такой же, и пойдёт, не сгибаясь, к амбару. Нет, таким хвостой деда представить было нельзя никак.

Любую гимнастику дед презирал, не видя в ней толку ни для себя, ни для хозяйства; лучше расколоть утром три-четыре чурки, побросать навоз. Отец был с ним солидарен, но подводил научную базу: никакая гимнастика не даёт такой разносторонней нагрузки, как колка дров, — работают все группы мышц. Подначитавшись брошюр, Антон заявил: специалисты считают, что при физическом труде заняты как раз не все мышцы, и после любой работы надо делать ещё гимнастику. Дед и отец дружно смеялись: «Поставить бы этих специалистов на дно траншеи или на верх стога на полдня! Спроси у Василия Илларионовича — он по рудникам двадцать лет жил рядом с рабочими бараками, там всё на людях, — видел он хоть одного шахтёра, делающего упражнения после смены?» Василий Илларионович такого шахтёра не видел.

— Дед, ну Переплёткин — кузнец. А в тебе откуда было столько силы?

— Видишь ли. Я — из семьи священников, потомственных, до Петра Первого, а то и дальше.

— Ну и что?

— А то, что — как сказал бы твой Дарвин — искусственный отбор.

При приёме в духовную семинарию существовало негласное правило: слабых, малорослых не принимать. Мальчиков привозили отцы — смотрели и на отцов. Те, кому предстояло нести людям слово Божие, должны быть красивые, высокие, сильные люди. К тому ж у них чаще

бывает бас или баритон — тоже момент немаловажный. Отбирали таких. И — тысячу лет, со времён святого Владимира.

Да, и о. Павел, протоиерей Горьковского кафедрального собора, и другой брат деда, что священствовал в Вильнюсе, и ещё один брат, священник в Звенигороде — все они были высокие, крепкие люди. О. Павел отсидел десятку в мордовских лагерях, работал там на лесоповале, а и сейчас, в девяносто лет, был здоров и бодр. «Поповская кость!» — говорил отец Антона, садясь покурить, когда дед продолжал не торопясь и как-то даже незвучно разваливать колуном берёзовые колоды. Да, дед был сильнее отца, а

ведь и отец был не слаб — жилистый, выносливый, из мужиков-однодворцев (в которых, впрочем, ещё бродил остаток дворянской крови и собачьей брови), выросший на тверском ржаном хлебе, — никому не уступал ни на покосе, ни на трелёвке леса. И годами — вдвое моложе, а деду тогда, после войны, перевалило за семьдесят, был он тёмный шатен, и седина лишь чуть пробивалась в густой шевелюре. А тётка Тамара и перед смертью, в свои девяносто, была как вороново крыло.

Дед не болел никогда. Но два года назад, когда младшая дочь, мать Антона, переехала в Москву, у него вдруг начали чернеть пальцы на правой ноге. Бабка и старшие дочери уговаривали сходить в поликлинику. Но в последнее время дед слушался только младшую, её не было, к врачу не пошёл — в девяносто три ходить по врачам глупо, а ногу показывать перестал, говоря, что всё прошло.

Но ничего не прошло, и когда дед всё же показал ногу, все ахнули: чернота дошла до середины голени. Если б захватили вовремя, можно было бы ограничиться ампутацией пальцев. Теперь пришлось отрезать ногу по колено.

Ходить на костылях дед не выучился, оказался лежачим; выбитый из полувекового ритма целодневной работы на огороде, во дворе, загрустил и ослаб, стал нервным.

Сердился, когда бабка приносила завтрак в постель, перебирался, хватаясь за стулья, к столу. Бабка по забывчивости подавала два валенка. Дед на неё кричал — так Антон узнал, что дед умеет кричать. Бабка пугливо запихивала второй валенок под кровать, но и в обед, и в ужин всё начиналось снова. Убрать второй валенок совсем почему-то догадались не сразу.

В последний месяц дед совсем ослабел и велел написать всем детям и внукам, чтобы приехали проститься и «заодно решить кое-какие наследственные вопросы» — эта формулировка, говорила внучка Ира,

писавшая письма под его диктовку, повторялась во всех посланьях.

— Прямо как в повести известного сибирского писателя «Последний срок», — говорила она. Библиотекарша районной библиотеки, Ира следила за современной литературой, но плохо запоминала фамилии авторов, жалуясь: «Их так много».

Антон подивился, прочитав в письме деда о наследственных вопросах. Какое наследство? Шкаф с полусотней книг? Столетний, ещё виленский, диванчик, который бабка называла козеткой? Правда, имелся дом. Но он был старый и ветхий. Кому он нужен?

Но Антон ошибался. Из тех, кто жил в Чебачинске, на наследство претендовали трое.

2. Претенденты на наследство

В старухе, встречавшей его на перроне, свою тётку Татьяну Леонидовну он не узнал. «Годы наложили неизгладимый отпечаток на её лицо», — подумал Антон.

Среди пяти дедовых дочерей Татьяна считалась самой красивой. Она раньше всех вышла замуж — за инженера-путейца Татаева, человека честного и горячего. В середине войны он дал по морде начальнику движения. Тётя Таня никогда не уточняла за что, говоря только: «ну, это был мерзавец».

Татаева разбронировали и отправили на фронт. Он попал в прожекторную команду и как-то ночью по ошибке осветил не вражеский, а свой самолет. Смершевцы не дремали — его арестовали тут же, ночь он провел в ихней арестной землянке, а утром его расстреляли, обвинив в преднамеренных подрывных действиях против Красной Армии.

Впервые услышав эту историю в пятом классе, Антон никак не мог понять, как можно было сочинить подобную чушь, что человек, находясь в расположении наших войск, среди своих, которые тут же его схватят, сделал бы такую глупость. Но слушатели — два солдата Великой Отечественной — нисколько не удивились. Правда, реплики их —

«разнарядка?», «не добирали до цифры?» — были ещё непонятней, но Антон вопросов никогда не задавал и, хоть его никто не предупреждал, нигде домашних разговоров не пересказывал — может, поэтому при нём говорили не стесняясь. Или думали, что он ещё мало что понимает. Да и комната одна.

Вскоре после расстрела Татаева его жену с детьми: Вовкой шести лет, Колькой — четырех и Катькой — двух с половиной отправили в пересыльную тюрьму в казахстанский город Акмолинск; четыре месяца она ждала приговора и была выслана в совхоз Смородиновка Акмолинской области, куда они добирались на попутных машинах, подводах, быках, пешком, шлёпая в валенках по апрельским лужам, другой обуви не было — арестовали зимой.

В посёлке Смородиновка тётя Таня устроилась дояркой, и это была удача, потому что каждый день она в грелке, спрятанной на животе, приносила детям молоко. Никаких карточек ей как ЧСИР не полагалось. Поселили их в телятнике, но обещали землянку — вот-вот должна была умереть её обитательница, такая же ссыльно-поселенка; каждый день

посылали Вовку, дверь не запиралась, он входил и спрашивал: «Тётенька, вы ещё не померли?» — «Нет ещё, — отвечала тётенька, — приходи завтра». Когда она наконец умерла, их вселили на условии, что тётя Таня покойницу похоронит; с помощью двух соседок она повезла на ручной тележке тело на кладбище. Новая насельница впряглась в ручки-оглобли, одна соседка подталкивала тележку, то и дело застревавшую в жирном степном чернозёме, другая придерживала завёрнутое в мешковину тело, но тележка была маленькая, и оно всё время скатывалось в грязь, мешок скоро стал чёрный и липкий. За катафалком, растянувшись, двигалась похоронная процессия: Вовка, Колька, отставшая Катька. Однако счастье было недолгим: тётя Таня не ответила на притязания заведующего фермой, и её из землянки снова выселили в телятник — правда, другой, лучший: туда поступали новорождённые телки. Жить было можно: помещение оказалось большое и тёплое, коровы телились не каждый день, случались перерывы и по два, и даже по три дня, а на седьмое ноября вышел праздничный подарок — ни одного отёла целых пять дней, всё это время в помещении не было чужих. В телятнике они прожили два года, пока любвеобильного заведующего не пырнула вилами-трёхрожками возле навозной кучи новенькая доярка — чеченка. Пострадавший, дабы не подымать шуму, в больницу не обратился, а вилы были в навозе, через неделю он умер от общего сепсиса — пенициллин в этих местах появился только в середине пятидесятых.

Всю войну и десять лет после тётя Таня проработала на ферме, без выходных и отпусков, на руки её страшно было смотреть, и сама она стала худа до прозрачности — пройди-свет.

В голодном сорок шестом бабка выписала старшего — Вовку — в Чебачинск, и он стал жить с нами. Был он молчалив, никогда ни на что не жаловался. Сильно порезав однажды палец, залез под стол и сидел, собирая капавшую кровь в горсть; когда наполнялась, осторожно выливал кровь в щель. Он был старше меня на два года, но пошёл только в первый класс, я же, поступив сразу во второй, был уже в третьем, чем перед Вовкой страшно задавался. Наученный дедом читать так рано, что не помнил себя неграмотным, высмеивал читавшего по складам братца. Но недолго: читать он научился быстро, а складывал и умножал в уме к концу года уже лучше меня. «В отца, — вздыхала бабка. — Тот все расчёты делал без логарифмической линейки».

Тетрадей не было; учительница сказала, чтобы Вовке купили какую-нибудь книгу, где бумага побелее. Бабка купила «Краткий курс истории ВКП(б)» — в магазине, где продавался керосин, графины и стаканы

производства местного стеклозавода, деревянные грабли и табуретки местного же промкомбината, стояла ещё и эта книга — целая полка.

Бумага в ней была наилучшая; Вовка выводил свои крючки и «элементы букв» прямо поверх печатного текста. Перед тем как текст навсегда пропадал за ядовитыми фиолетовыми элементами, мы его внимательно прочитывали, а потом экзаменовали друг друга: «У кого был мундир английский?» — «У Колчака». — «А табак какой?» —

«Японский». — «А кто ушёл в кусты?» — «Плеханов». Вторую часть этой тетрадки Вовка озаглавил «Рыхметика» и решал там примеры. Начиналась она на знаменитой четвёртой — философской — главе «Краткого курса». Но учительница сказала, что под арифметику надо завести особую тетрадь — для этого отец дал Вовке брошюру «Критика Готской программы», но она оказалась неинтересной, только предисловие — какого-то академика — начиналось хорошо, со стихов, правда, записанных не в столбик: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма».

Вовка проучился в нашей школе только год. Я писал ему письма в Смородиновку. Видимо, в них было что-то обидное и хвастливое, потому что Вовка вскоре прислал мне в ответ письмо-акrostих, который расшифровывался так: «Антоша англичанин хвастунок».

Центральное слово составилось из стихов: «А ты всё же задаёшься, Надо меньше вображать, Говоришь, хотя смеёшься, Лишь не надо обзывать. И хотя английский учишь, Часто это не пиши, А как это ты получишь, Напиши мне от души» и т. д.

Я был потрясён. Вовка, который всего год назад на моих глазах читал по слогам, теперь писал стихи — да ещё акrostихи, о существовании которых в природе я и не подозревал! Много позже Вовкина учительница говорила, что другого такого способного ученика не помнит за тридцать лет. В своей Смородиновке Вовка окончил семь классов и школу трактористов и комбайнеров. Когда я приехал по письму деда, он жил всё там же, с женой-дояркой и четырьмя детьми.

Тётя Таня вместе с остальными детьми перебралась в Чебачинск; отец вывез их из Смородиновки на грузовике вместе с коровой, настоящей симменталкой, которую бросать было жалко; всю дорогу она мычала и стучала рогами о борт. Потом он устроил среднего, Кольку, в школу киномехаников, что было не так просто — после плохо залеченного в детстве отита он оказался глуховат, но в комиссии сидел бывший ученик отца. Начав работать киномехаником, Колька проявил необычайную разворотливость: продавал какие-то поддельные билеты, которые

подпольно ему печатали в местной типографии, на сеансах в туберкулёзных санаториях с больных брал плату. Жулик из него вышел первостатейный. Интересовали его только деньги. Нашёл богатую невесту — дочь известной местной спекулянтки Мани Делец. «Ляжет под одеяло, — жаловалась свекрови молодая в медовый месяц, — и отвернётся к стенке. Я и грудью, и всем прижимаюсь, и ногу на него кладу, а потом тоже отвернусь. Так и лежим, задница к заднице». После женитьбы купил себе мотоцикл — на машину тёща денег не дала.

Катька в первый год жила у нас, но потом ей пришлось отказать — с первых дней она подворовывала. Очень ловко крала деньги, спрятать которые от неё не было никакой возможности — она находила их в швейной шкатулке, в книгах, под радиоприёмником; брала только часть, но ощутимую. Мама обе зарплаты, свою и отцовскую, стала носить в портфеле в школу, где он в безопасности валялся в учительской. Лишившись этого дохода, Катька стала таскать чайные серебряные ложки, чулки, однажды украла трёхлитровую банку подсолнечного масла, за которым Тамара, другая дочь деда, стояла в очереди полдня. Мама определила её в медучилище, что тоже было непросто (училась она скверно) — опять же через бывшую ученицу. Став медсестрой, жулила не хуже братца.

Делала какие-то левые уколы, таскала из больницы лекарства, устраивала липовые справки. Оба были жадны, постоянно врал, всегда и везде, в крупном и в мелочах. Дед говорил: «Они виноваты только вполтину. Честная бедность — всегда бедность до определённых пределов. Здесь же была нищета. Страшная — с младенчества. Нищие не бывают нравственными». Антон деду верил, но Катьку и Кольку не любил. Когда дед умер, его младший брат, священник в Литве, в Шауляе, где когда-то было имение их отца, прислал на погребение крупную сумму. Почтальонку встретил Колька и никому ничего не сказал. Когда от о. Владимира пришло письмо, всё вскрылось, но Колька заявил, что деньги положил на окошко. Сейчас тётя Таня жила у него, в казённой квартире при кинотеатре. На дом зарился, видимо, Колька.

Старшая дочь Тамара, всю жизнь прожившая со стариками, так и не вышедшая замуж, доброе, безответное существо, и не догадывалась, что может на что-то претендовать. Она топила печь, варила, стирала, мыла полы, гоняла корову в стадо. Стадо пастух пригонял вечером только до околицы, где коров разбирали хозяйки, а коровы, которые умные, шли дальше сами. Наша Зорька была умная, но иногда что-то на неё находило и она убегала за речку к Каменухе или ещё дальше — в излоги. Корову надо

было найти до темноты. Бывало, что её искали дядя Лёня, дед, даже мама, я пробовал трижды. Никто не нашёл ни разу. Тамара находила всегда. Мне эта её способность казалась сверхъестественной. Отец объяснял: Тамара знает, что корову надо найти. И находит. Это было не очень понятно. В работе она была целыми днями, только по воскресеньям бабка отпускала её в церковь, да иногда поздно вечером она доставала тетрадку, куда коряво переписывала детские рассказы Толстого, тексты из любого оказавшегося на столе учебника, что-нибудь из молитвенника, чаще всего одну вечернюю молитву: «И даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в мире». Дети её дразнили «Шоша», — не знаю, откуда это взялось, — она обижалась. Я не дразнил, давал ей тетрадки, потом привозил из Москвы кофточки. Но позже, когда Колька оттяпал у неё квартиру и запихнул её в дом престарелых в далёкий Павлодар, я только посылал туда изредка посылки и всё собирался навестить — всего три часа лёту от Москвы, — не навестил. От неё не осталось ничего: ни её тетрадок, ни её икон. Только одна фотография: обернувшись к камере, она выжимает бельё. Пятнадцать лет она не видела ни одного родного лица, никого из нас, кого так любила и к кому обращалась в письмах: «Самые дорогие все».

Третьим претендентом был дядя Лёня, самый младший из дедовых детей. Антон узнал его позже других своих дядек и тёток — в тридцать восьмом году его призвали в армию, потом началась финская война (туда он попал как хороший лыжник — признался в этом единственный из всего батальона сибиряков), потом — отечественная, затем — японская, потом с Дальнего Востока его перебросили на крайний запад бороться с бендеровцами; из последней военной экспедиции он вынес два лозунга: «Хай живе пан Бендера та его жинка Параска» и «Хай живе двадцать восьма роковина жовтневой революции». Вернулся он только в сорок седьмом. Говорили: Лёня — везунчик, он был связистом, но его даже не ранили; правда, дважды контузило. Тётя Лариса считала, что это отразилось на его умственных способностях. Она имела в виду то, что он с увлечением играл со своими малолетними племянниками и племянницами в морской бой и в карты, очень расстраивался, когда проигрывал, и поэтому часто жулил, пряча карты за голенища кирзовых сапог.

В конце войны дядя Лёня под Белой Церковью познакомился с полячкой Зосей, которой слал из Германии посылки. Тётя Лариса спрашивала, почему он ничего ни разу не прислал старикам, а если уж всё отсылал Зосичке, то чего ж к ней не едет. Он отмалчивался, но когда особенно приставала, говорил отрывисто: «Написала. Не приезжай». — «И ничего не объяснила?» — «Объяснила. Пишет: зачем приезжать».

С войны он пришёл членом партии, но об этом дома узнали только тогда, когда кто-то из его теперешних сослуживцев-железнодорожников сказал бабке, что Леонида Леонидовича недавно исключили, так как он ни разу не заплатил членские взносы.

Вернулся он в медалях, только «За отвагу» было целых три. Антону больше всего нравилась медаль «За взятие Кёнигсберга». Рассказывал он кое-что почему-то только про финскую войну. Как какие-то части прибыли укомплектованные резиновыми сапогами — а морозы стояли за тридцать. Антон читал в «Пионере» рассказы, что опаснее всего были финские снайперы — «кукушки».

— Какие кукушки. Чушь. Какой дурак на дерево. Полезет. В такой мороз. Зачем.

Про эту войну дядя Лёня не говорил ни слова, а когда пробовали расспрашивать, как и что, говорил только: «Что, что. Таскал катушку». И никаких чувств не обнаруживал.

Только раз Антон видел, как он разволновался. Приехавший из Саратова на золотую

свадьбу стариков его старший брат Николай Леонидович, закончивший войну на Эльбе, рассказал, что у американцев вместо катушек и провода была радиосвязь. Дядя Лёня, обычно глядевший в землю, вскинул голову, что-то хотел сказать, потом снова опустил голову, на глазах показались слёзы. «Что с тобой, Лёня?» — поразилась тётя Лариса.

«Ребят жалко», — сказал дядя Лёня, встал и вышел.

У него был блокнот, куда он на фронте списывал песни. Но после песни про синенький скромный платочек шла «Молитва митрополита Сергия, мостоблюстителя»: «Помози нам Боже, Спасителю наш. Восстани в помощь нашу и подаждь воинству нашему о имени Твоем победить; а им же судил еси положить на брани души своя, тем прости согрешения их, и в день праведного воздаяния Твоего воздай венцы нетления».

Всё было очень красиво: «подаждь», «венцы нетления», непонятно было только, кто такой «мостоблюститель». Антон спросил у деда, тот долго смеялся, вытирая слёзы, и позвал смеяться бородатого старика, бывшего дьякона, которого бабка кормила на кухне затирухой, но всё же объяснил и добавил, что Сергей теперь уже не местоблюститель патриаршего престола, а патриарх. Потом они долго спорили с бородатым, надо ли было восстанавливать патриаршество.

Дядя Лёня дошёл до Берлина. «На рейхстаге расписался?» — «Ребята расписались». — «А ты чего ж?» — «Места снизу на стенах. Уже не было. Говорят: ты здоровый. На плечи мне встал один. На него — другой. Тот

расписался».

Вскоре он женился. Невеста была вдова — с двумя детьми. Но бабке это скорее даже нравилось: «Что ж им теперь, бедным, делать». Не нравилось ей другое — что жена сына курит и пьёт — сам он за годы службы в армии курить не научился и хмельного в рот не брал (на работе его считали баптистом: не только не пьёт, но и не матерится). «Ну что ж, можно понять, — говорила тётя Лариса. — Человек десять лет воевал. Одно место уже не выдерживает». Жена его через несколько лет уехала на заработки на Север, оставив ему детей, как выяснилось, насовсем; он нашёл вторую, которая тоже курила и пила уже по-чёрному. В пьяном виде она сильно обморозилась и умерла, от неё тоже остался ребёнок. Дядя Лёня женился снова, но и третья жена оказалась пьющей. Впрочем, каждый год исправно рожала.

Из-за всех этих матримониальных дел жил дядя всегда в каких-то хибарах, а одно время со всем выводком даже в землянке, которую сам отрыл по всем правилам (Антон, присочиняя, рассказывал своему другу Ваське Гагину, что сапёрной лопаткой) и накрыл отслужившими срок шпалами, выделенными ему на железной дороге. Эти шпалы он сам перетаскал с путей, где их заменяли, на плече, за пять километров («на избёнку эту брёвнышки он один таскал сосновые»), был силен, в деда. «Ты бы автомобиль попросил, — жалела бабка. — Вон Гурка с вашей же дороги дрова на казённом авто привёз».

«Просил. Не дают, — отрывисто говорил дядя Лёня. — Не тяжело. Пушки. Когда из грязи.

Вытаскивали. Намного тяжелей». Приехавший как раз тогда дядя Коля, в войну артиллерийский капитан, посетивши его жилище, поинтересовался, почему землянка в два наката: «Артналета ждёшь, что ли?» — «Шпал столько выписали. Сказали, все надо забрать», — пробурчал дядя Лёня.

Ему дедов дом, пожалуй, был нужнее всех.

3. Воспитанница института благородных девиц

Ещё на чебачинском вокзале Антон спросил у тёти Тани: отчего дед всё время пишет о каких-то наследственных вопросах? Почему он просто не завещает всё нашей бабе?

Тётя Таня объяснила: с тех пор как деду ампутировали ногу, мать подалась. Никак не могла запомнить, что деду не нужно приносить два валенка, и всякий раз принималась

искать второй. Всё время говорила про отрезанную ногу, что надо её похоронить. А в последнее время повредилась совсем — никого не узнаёт, ни детей, ни внуков.

— Но её «мерси боку» всегда при ней, — с непонятым раздражением сказала тётка. — Сам увидишь.

Поезд сильно опоздал, и когда Антон вошёл, обед уже был в разгаре. Дед лежал у себя — туда предполагался отдельный визит. Бабка сидела на своем плетёном диванчике а la Луи Каторз, том самом, который вывезли из Вильны, когда бежали от немцев ещё в ту германскую. Сидела необычайно прямо, как из всех женщин мира сидят только выпускницы институтов благородных девиц.

— Добрый день, *bonjour*, — ласково сказала бабка и царственным движением протянула руку с полуопущенной кистью — нечто подобное Антон видел у Гоголевой в роли королевы. — Как *voyage*? Пожалуйста, позаботьтесь о приборе гостю.

Антон сел, не сводя глаз с бабки. На столе возле неё, как и раньше, на специальных зубчатых колесиках, соединённых блестящей осью, располагался столовый прибор из девяти предметов: кроме обычных вилки и ножа — специальные для рыбы, особый нож — для фруктов, для чего-то ещё крохотный кривой ятаганчик, двузубая вилка и нечто среднее между чайной ложкой и лопаточкой, напоминающее миниатюрную совковую лопату. Владеть этими предметами Ольга Петровна пыталась приучить сначала своих детей, потом внуков, затем правнуков, однако ни с кем в том не преуспела, хотя применяла при наставленьях очень увлекательную, считалось, игру в вопросы-ответы — название, впрочем, не совсем точное, потому что всегда и спрашивала и отвечала она сама.

— В чём сходство между дыней и рыбой? Ни ту, ни другую нельзя

есть с помощью ножа. Дыню — только десертной ложкой.

— А какую рыбу можно есть с ножом? Только маринованную селёдку.

— Что можно есть руками? Раков и омаров. Рябчика, куру, утку — только с использованием ножа и вилки.

Но, увы, руками мы ели не омаров, а кур, обгрызая косточки до последнего волокнца, да ещё их потом и обсасывая. Сама бабка до этого не унижалась, что хорошо знал кот — он был мурласт, зевласт и просыпался только получить косточку от неё: там, он помнил, остаётся кое-что после вилки и ножа. Пользовалась бабка всегда всеми девятью предметами. Впрочем, и обычными она действовала с непостижимым искусством — небрежными, почти незаметными движениями намотанные на её вилку тонкие макароны напоминали обмотку трансформаторной катушки. Кроме столовоприборных, были у неё и другие вещи специального назначения — например, трубчатые щипцы с ручками из слоновой кости для растяжки бальных перчаток; в действии их Антону увидеть не пришлось.

— Кушайте. Салфетное кольцо не пусто? Антон освободил салфетку; он хорошо помнил, как бабка осуждала дом какого-то вице-губернатора, где горничная была грязнуля, ножи и вилки — мельхиоровые, а салфетки — без колец, и ставили их на стол колпаками, как в ресторане. Впрочем, и гости были не лучше — затыкали салфетки за воротник. Вице-губернатор был из выскочек, из тех, что появились после самой первой революции, вообще мерзавец, без молитвы мимо не пройдёшь. Вот виленский губернатор, Николай Алексеевич Любимов, был достойный человек, хорошего рода. Только сын у него получился неудачный, была какая-то неприятная история с гранатовым браслетом — про это даже что-то напечатал один известный писатель.

— Отведайте настойки.

Антон выпил настойки на смородиновом листе — из серебряной стопки со знакомой с детства надписью по кромке; если стопку поворачивать, можно было прочесть такой диалог: «Винушко, лейся мне в горлышко. — Хорошо, солнышко».

— С шампанского никогда не начинали, — вдруг сказала бабка. — Сперва подавали столовые вина. Разговор должен оживляться постепенно! А шампанское сразу ударяет в голову. Впрочем, теперь к этому и стремятся.

Обед был превосходный; бабка и её дочери были кулинарками высокого класса. Когда, ещё в Вильне, в конце девятисотых, отец бабки Пётр Сигизмундович Налочь-Длусский-Скłodовский проиграл в карты в дворянском собрании своё имя, семья переехала в город и впала в

бедность, мать открыла «Семейные обеды». Обедом полагалось быть хорошими: пансионеры, молодые холостяки — адвокаты, педагоги, чиновники — это же всё были приличные люди! Дед, окончив Виленскую духовную семинарию, ожидал места. Приход можно было получить двумя путями: женитьбой на дочери священника или по его смерти. Первый вариант деда почему-то не устраивал, второго предстояло ожидать неопределённо долго; всё это время консистория, которую дед по-старинному именовал дикастерией, выплачивала кандидату содержание. Дед ждал уже два года и утомился питаться в кухмистерских («все эти трактиры, народные столовые в России всегда были скверные — даже до большевиков»); увидев в «Виленском вестнике» объявление, пришёл в тот же день. Его оставили обедать — бесплатно разумеется, все в первый раз у прабабки обеды *gratis*, не может же приличный господин покупать kota в мешке! Матери помогала семнадцатилетняя Оля, только что выпущенная из института благородных девиц и успешно овладевавшая поварским искусством. И Оля, и обеды деду настолько понравились, что он обедал целый год, пока не сделал предложение. Над бабкиными консоме, деволяй, уткой на канопе, соусом *la Subiz* в Чебагинске посмеивались, отец любил ввернуть, что в «Национале» котлеты мягче («будут мягче, когда половина хлеба»), и Антон ждал, что уж в Москве... Но теперь, побывав и в других столицах, он говорил: лучше, чем у бабки, не едал нигде и никогда.

Дочерей бабка тоже выучила готовить.

Под вторую перемену блюд бабка всегда начинала светскую беседу.

— Кажется, сегодня прекрасная погода. Передайте, пожалуйста, соль. Благодарствуйте, вы так добры.

Знаменитые вилочки так и мелькали в её пальцах; не глядя, она возвращала каждую точно на своё колесико. Протянув руку, она машинально вынула из пальцев Антона кусок хлеба и положила на мелкую тарелку, до этого непонятно пустовавшую слева: хлеб полагалось не откусывать от целого ломтя, а отламывать маленькими кусочками.

— А почему говорят, — шепнул Антон тётке Тане, — что баба наша не в себе? По- моему, как всегда.

— Подожди.

— Замечательная погода, — продолжала держать стол Ольга Петровна, — вполне пригодная для прогулки в экипаже...

В её глазах что-то прошло, и она добавила:

— Или на моторе. Солнце уже почти осеннее, можно без вуали. Если на даче — в панамской шапочке. А ты давно из Саратова? — бабка вдруг переменила тему.

— Из Саратова? — несколько опешил Антон.

— А разве ты не живёшь со своей семьёй? Впрочем, теперь это модно.

Бабка спутала Антона с Николаем Леонидовичем, своим старшим сыном, который жил в Саратове и тоже должен был приехать. Был он девятьсот шестого года рождения.

Но беседа вернулась к темам еды и погоды, всё опять было мило и очень светски.

За чаем Антон поймал себя на том, что, твёрдо помня — торт надо есть, держа ложечку в левой руке, он совершенно забыл, в какую сторону должна глядеть ручка чашки перед чаепитием, а в какую — в его процессе, помнил только, что бабка придавала этому большое значение.

Кто-то из обедавших, размешивая сахар, звякнул ложкой; Ольга Петровна вздрогнула, как от боли. Она с беспокойством оглядела стол:

— А где третье? По-моему, мы варили... как его? этот напиток из фрукт.

— Компот! Позавчера, — замахала руками Тамара, — позавчера его варили!

— Баба, а ты не расскажешь, — решил Антон продлить светский разговор, — про бал в Зимнем дворце?

— Да. Большой бал. Их Величества... — бабка замолчала и стала промокать глаза кружевным платочком.

— Не надо, не надо, — забеспокоилась Тамара. — Она не помнит.

Но Антон помнил и сам — дословно — рассказ про Большой зимний бал во дворце, куда бабка попала как первая ученица Виленского института благородных девиц в год его окончания.

В десять часов в Николаевскую залу вошли под руку Их Величество Государь Император и Государыня Императрица Александра Фёдоровна. Государь был в мундире лейб-гвардии уланского Её Величества Государыни Императрицы полка и в Андреевской ленте через плечо. Государыня — в дивном бальном золотом туалете, отделанном панделоками из топазов. У плеч Её Величества и посреди корсажа платье украшали аграфы из крупнейших бриллиантов и жемчужин, а голову Государыни венчала диадема из того же драгоценного жемчуга и бриллиантов. Ещё Её Величество тоже имела Андреевскую ленту через плечо. Их Величества сопровождала гостившая тогда в столице испанская инфанта Евлалия. Она была в атласном дюшес платье, отделанном соболями, тоже в жемчуге и бриллиантах. Её Императорское Высочество Великая Княгиня Мария Павловна была в бледно-розовом платье, обрамленном как бы золотым шитьём, в бриллиантовых с сапфирами

диадеме и ожерелье.

Обед окончился; Тамара помогла бабе встать; Ольга Петровна удивлённо на неё посмотрела, но, наклонив голову, сказала:

— Спасибо, добрая бабушка, что вы мне помогаете, вы так милы.

Мир для бабки был в густом тумане, всё сместилось и ушло — память, мысль, чувства. Незатронутым осталось одно: её дворянское воспитание.

Своим дворянством бабка не кичилась, это было в сороковые годы естественно, но его и не скрывала (что в те же сороковые было естественно гораздо менее), при случае спокойно подчёркивая социальную дистанцию — например, когда слышала, что некто, поранив руку, залепил рану пыльной паутиной из угла сарая, получил заражение крови и умер.

— Что с них возьмешь? Простонародье!

Но её жизнь от жизни этого простонародья отличалась мало или была даже тяжелее, в грязи она возилась больше, потому что не просто стирала бельё на одиннадцать человек, а находила в себе силы его ещё отбеливать и крахмалить; после этого оно целый день висело в палисаднике, полощась на ветру или колом застывая на морозе (накрахмаленное бельё на морозе не сушилось — при низкой температуре, объясняла мама-химик, крахмал превращается в сахар и оно становится липким); скатерти, полотенца, простыни, наволочки пахли ветром и яблоневым цветом или снегом и морозным солнцем; белья такой живой свежести Антон не видел потом ни в профессорских домах в Америке, ни в пятизвёздном отеле Баден-Бадена. Полы она мыла не раз в неделю, а через день; в своей комнате не давала красить, Тамара скребла их ножом; не существовало большего наслаждения, чем пройтись летом босиком по только что выскобленному высохшему полу, особенно по тем местам, где лежали жёлтые тёплые солнечные пятна. Одежда она вытряхивала ежедневно во дворе, это надо было делать вдвоём, и бабка безжалостно отрывала всякого, кто случался дома, от его занятий; между пушечными хлопками одежды она говорила:

— Вчера! Вытряхивали! А видишь, сколько! Пыли! Теперь представь себе, что делается в городских одеялах, которые не вытряхивают годами!

Постели застилала сама — все остальные делали это неэстетично; мать из педагогических соображений заставляла Антона убирать свою постель, но бабка такое не поважала: это всё толстовство, мальчик из хорошей семьи не должен этим заниматься

(Антон так и не выучился, за что потом много претерпел в пионерлагерях, на военных сборах и в семейной жизни). К внукам бабка была не так снисходительна. Мальчик ещё может позволить себе небрежность в уходе за руками. Но девушка! Мытьё несколько раз в день.

И с разбавленным о'де коленом!

— А почему это касается только девушек? Бабка удивлённо поворачивала голову — вбок и вверх:

— Потому, что ей могут поцеловать руку.

С внучками бабка иногда беседовала специально на темы светского этикета, применяя знакомую вопросно-ответную систему.

— Может ли девушка приехать с родителями на званый обед? Только тогда, если у хозяйки или выполняющей эту роль сестры или другой родственницы амфитриона есть дочери.

— Может ли девушка снимать перчатку? Может и должна, с правой руки, в церкви. С левой — никогда, она будет смешна!

— Имела ли девушка свою визитную карточку? Не имела. Она приписывала своё имя на карточке матери. Молодой человек, понятно, обладал карточкой с раннего возраста.

С карточками вообще было сложно: не застав хозяев дома, оставляли карточку сильно загнутую с левой стороны кверху, при визите по случаю смерти или сороковин оставленную карточку полагалось загигать с правого бока вниз.

— Перед войной этот сгиб стали надрывать, — бабка возмущённо подымала голову и брови. — Но это уже дэкадэнтство.

— Баба, — спрашивал Антон студентом, — а почему во всей русской литературе ничего про это нет? Про это загиганье справа, слева, вниз...

— А ты б хотел, чтобы вам это объяснял ваш босяк? — вмешивался дед, не упуская случая вставить перо пролетарскому писателю.

Свои возраженья, где в виде примеров должны были фигурировать граф Толстой и Пушкин с его шестисотлетним дворянством, Антон проглатывал, но пытался иногда оспаривать нужность столь разветвлённого этикета. Дед это решительно отменял, подчёркивая целесообразность этикетных правил.

— Мужчина даёт даме правую руку. Вследствие этого она находится на удобнейшей стороне тротуара, не подвергаясь толчкам. На лестнице таким же образом дама тоже оказывается на предпочтительной стороне — у перил.

Бабка подхватывала тему и рассказывала, как надо ставить стекло и хрусталь на званых обедах: справа от прибора — стакан для красного вина, стакан для воды, бокал для шампанского, рюмку для мадеры, причём стаканы должны стоять рядом, бокал впереди и сбоку, а рюмка — с другого бока стаканов. Это каким-то сложным образом соотносилось с порядком подачи вин: после супа — мадера, за первым блюдом — бургонское и

бордо, между холодными entrees и жарким — шато-икем и так далее. У того же виленского вице- губернатора к устрицам подавали шабли. Страшная ошибка! Устрицы запивают только шампанским, в меру охлаждённым. В меру! Сейчас почему-то думают, что оно должно быть ледяным. Это вторая страшная ошибка!

Иногда Антон спрашивал про мужской этикет и тоже узнавал много полезного: мужчина, входящий в конку, в вагон — то есть в такое место, где все в шляпах, должен приподнять свою шляпу или дотронуться до неё.

Молодой человек, явившийся с визитом, оставляет в передней кашне, пальто, зонт и входит со шляпой в руке. Если окажется, что он должен иметь руки свободными, он ставит свою шляпу на стул или на пол, но никогда на стол.

Застрали в голове и другие бабкины высказыванья — видимо, из-за некоторой их неожиданности.

— Как всякий князь, он знал токарное дело.

— Как все настоящие аристократы, он любил простую пищу: щи, гречневую кашу...

В войну и после невиданными колерами на коленях, локтях, задах запестрели заплаты, к ним привыкли, на них не обращали вниманья. Замечала их, кажется, одна бабка; сама она дыры штоковала так, что заштокованное место можно было разглядеть только на свет; увидев особенно яркую или грубую заплату, говорила:

— Валансьен посконью штопают! Простонародье! Но с этим простонародьем она общалась всего больше — главным образом из-за гаданья на картах. Гадала бабка почти каждый вечер. Два сына на войне, дочь в ссылке, зять расстрелян, другой — на фронте, племянница с дочерью под оккупацией, брат мужа в лагере — было о чём спросить у карт.

Приходили погадать соседки, к чему отец относился неодобрительно. Но посмотрев фильм «В шесть часов вечера после войны», где пели «На картах о нас погадайте, бубновый король — это я», сказал: «Гадайте. Даже песня про вас есть». Соседки стали приводить своих соседок, не было ни одной, у которой всё обстояло благополучно, — или только такие и приходили?

Куда пойдёшь, что найдёшь, чем сердце успокоишь... Казённый дом, дорога, дорога, дорога...

На базаре бабка познакомилась с семьёй Попенок, которые подзадержались и на ночь глядя не могли ехать за сорок километров в свою Успено-Юрьевку. Разумеется, пригласила их переночевать; Попенки стали

останавливаться у Саввиных всегда, когда приезжали на базар. Бабка оправдывалась тем, что они дёшево продают ей гусей — по пятьдесят рублей. Правда, тётя Лариса смеясь рассказывала, что как-то случайно увидела, что таких же гусей на базаре они продавали по 45 рублей. Их лошадь, конечно, всю ночь хрупала саввинское сено, съедая пятидневную коровью норму, но об этом тоже говорили со смехом. Недели три в доме жила дочь Попенок: у бабы был рефлектор с синей лампочкой, а у девицы — какая-то опухоль; каждый вечер она этим рефлектором грела свою пышную белую грудь, которая под светом лампы делалась голубой; Антон не отрываясь глядел на эту грудь весь сеанс; девица почему-то не прогоняла его и только время от времени на него странно поглядывала.

Месяца три на бабкином сундуке жила старуха, вдова расстрелянного омского генерал-губернатора (Антон забыл только — царского или колчаковского), говорившая, что у неё рак и что она умрёт вот-вот, и просившая только немного подождать, но всё что-то не умирала. Антон знал почему. В том самом сундуке он давно заприметил коробочку с пилюлями «Пинкь»; на коробочке было написано, что они восстанавливают ослабленные силы и безвредны для самых нежных лиц. Так как никто в доме больше не болел, Антон пересыпал пилюли в бумажный фунтики отдал старухе. Бабка потом пристроила старуху в дом престарелых в Павлодар, где та умерла в возрасте ста двух лет и где её ещё застала Тамара, попавшая в этот дом после смерти деда и бабы через два десятилетия.

Из людей света, как их называла бабка, знакомых у неё было двое: англичанка Кошелева-Вильсон и племянник графа Стенбок-Фермора.

Вильсон была единственная, кто вместе с бабкой пользовался всеми предметами её столового прибора; перед её визитом бабка отказывалась от своего яйца, чтобы сделать ей яичницу стрелягу-верещагу: тонкие ломтики сала зажаривались до каменной твёрдости, трескали и стреляли, у англичанки называлось: омлет с беконом. Была она немолода, но всегда ярко наругана, за что местные дамы её осуждали. Она была замужем за англичанином, но когда её двадцатилетний сын утонул в Темзе, не захотела видеть Лондона ни одного дня! И вернулась в Москву. Год шёл мало подходящий, тридцать седьмой, и она вскоре оказалась сначала в Карлаге, а потом в Чебачинске; жила она частными уроками.

Антон очень любил слушать их разговоры.

— Всем было известно, — начинала англичанка, — что великий князь Владимир Павлович состоял на содержании у известной парижской портнихи мадам Шанель — её мастерская, не помните? на улице Камбой.

— И говорит, — возмущалась кем-то бабка, — у меня кулон от Фраже. Она, видимо, хотела сказать: от Фаберже. Впрочем, для этих людей всё едино — что Фраже, что Фаберже.

Вспоминая, Антон будет поражаться той горячности, с которой бабка рассказывала о таких случаях, — гораздо большей, чем когда она говорила о масштабных ужасах эпохи.

Когда она сталкивалась с подобной возмутительной мелочью, её покидала вся её воспитанность. Как-то в библиотеке, куда бабка по утрам носила внучке Ире банку молока, бабка, ожидая, пока та отпустит читателя, услышала, как он сказал: «Виктор Гюго». Бабка встала, выпрямилась и, гневно бросив: «Виктор Гюго!», повернулась и вышла, не попрощавшись. «И ещё грохнула дверью», — удивлялась Ира.

Поскольку было ясно, что рано или поздно все должны попасть в лагерь или ссылку, живо обсуждался вопрос, кто лучше это переносит. Племянник графа Стенбок-Фермора, оттрубивший десять лет лагеря строгого режима на Балхаше, считал: белая кость. Казалось бы, простонародью (он был второй человек, употреблявший это слово) тяжёлый труд привычней — ан нет. Месяц-другой на общих — и доходяга. А наш брат держится. Сразу можно узнать — из кадетов или флотский, да даже из правоведов.

Угадывалось это, по словам Стенбока, исключительно по осанке. По его теории выходило ещё, что они и страдали меньше: богатая внутренняя жизнь, было над чем поразмышлять, что вспомнить. А мужик, рабочий? Кроме своей деревни или цеха и не видал ничего. Да даже и партиец-начальник: только-только хлебнул нормальной обеспеченной жизни — а его уже за зебры...

— Мужики вообще слабосильны, — вступала в разговор бабка. — Плохое питание, грязь, пьянство. Мой отец — потомственный дворянин, а был сильнее любого мужика, хоть физически работал только летом, в имении, да и лишь до того случая (случаем назывался роковой день, когда отец проиграл имение).

— Дед, а ты тоже из дворян? — спрашивал Антон.

— Из колокольных он дворян, — усмехалась бабка. — Из попов.

— Но зато отец деда был знаком с Игнатием Лукасевичем! — брякнул Антон. — Великим!

Все развеселились. Лукасевича, изобретателя керосиновой лампы, действительно в 50-е годы прошлого века знал прадед Антона, о. Лев.

— Вот так! — смеялся отец. — Это вам не родство с Мари Складовской-Кюри!

Мари Кюри, урождённая Склодовская, была троюродной сестрою бабки (в девичестве Налочь-Длусской-Склодовской); бабка бывала в доме её родителей и даже жила там на вакациях в одной комнате с Мари. Позже Антон пытался выпросить у бабки что-нибудь про открывательницу радия. Но бабка говорила только:

— Мари была странная девушка! Вышла замуж за этого старика Кюри!..

Англичанка рассказывала, какими сильными были английские джентльмены. В конторе какой-то шахты в Южной Африке всем предлагали поднять двумя пальцами небольшой золотой слиток. Поднявший получал его в подарок. Фокус был в том, что маленький на вид слиток весил двадцать фунтов. Рабочие-кайловщики, крепкие негры, пробовали — не выходило. Поднял, конечно, англичанин, боксёр, настоящий джентльмен.

Правда, не удержал, уронил и золота не получил. Но другие не смогли и этого.

— Дед бы поднял, — выпалил Антон. — Дед, почему ты не съездишь в Южную Африку?

Предложение всех надолго развеселило.

— Помещики были самые сильные? — интересовался Антон.

Бабка на секунду задумывалась.

— Пожалуй, попы. Посмотри на своего деда. А его братья! Да они что. Ты б видел своего прадеда, отца Льва! Богатырь! («Богатыри — не вы!» — подумал Антон). Дед привёз меня в Мураванку, их имение, в сенокос. Отец Лев — на верху стога. Видел, как вершат стога? Один вверху, а снизу подают трое-четверо. Не успел, устал — завалят, навильники у всех приличные. Но отца Льва было не завалить — хоть полдюжины под стог ставь. Ещё и покрикивает: давай-давай!

После таких разговоров перед сном подходило бормотать стихи: Села барыня в рондо И надела ротондо.

4. Четвёртая сибирская волна

Как быстро, без всяких телефонов, распространяются здесь слухи. Уже на второй день стали приходить знакомые. Первой нанесла визит давняя подруга матери — Нина Ивановна, она же домашний врач. Именно так она рекомендовалась, бывая проездом в Москве: «Алло, Антон! Говорит твой домашний врач». Почему — было неясно. В детстве Антон не болел ничем и никогда — ни корью или скарлатиной, ни простудой, хотя начинал бегать босиком ещё в апреле, по весенней грязи, а кончал — по осенней, октябрьской; в мае купался с Васькой Гагиным в Озере, цепляясь за ещё плавающие голубые льдины. Его двоюродные сестры и братья болели коклюшем и свинкой — он не заражался, хотя подъедал за ними молочную манную кашу с вареньем, которую им было трудно глотать из-за распухшего горла. Даже оспа почему-то у него не прививалась; на третий раз медсестра сказала, что больше не будет на этого странного ребёнка переводить дефицитную вакцину. «У тебя надёжная примета в случае чего, — сказал как-то сосед Толя, оперативник. — Отсутствие оспины на руке, редкое в твоём поколении». — «В случае чего?» — «А в случае необходимости опознания трупа». Антон и взрослым никогда не болел, и первая жена, часто хворавшая, в том его упрекала: «Ты не в состоянии понять больного человека».

В Чебачьем Нина Ивановна была человек известный: боролась за мытьё рук перед едой, против антигигиенического целования икон, выступала по местному радио, чтобы дети не ели стручки акаций и заячью капусту и не сосали глину. Когда маленький соседский сын, наевшись сладких плодов белены, помер, устроила в детской консультации щит, куда дед приклеил высушенный по всем гербарным правилам и выглядевший, как живой, куст, под которым мама красиво-зловещим шрифтом написала чёрною тушью: «Белена — яд!!!» Две медсестры несколько дней обходили все огороды, заставляя хозяев выпалывать ядовитое растение.

Пили редкостный напиток — индийский чай со слоном, Нине Ивановне его дарили бывшие пациенты. Вспомнили её бедную дочь. После войны Нина Ивановна уехала ненадолго в Москву — что-то решать с бывшим мужем. Десятилетняя Инна занозила ногу, начался сепсис, без Нины Ивановны не достали редкий тогда пенициллин. Нина Ивановна всегда носила с собою её фотографию — в гробу. Посмотрели фотографию.

Во время войны Нина Ивановна как педиатр была прикреплена к

Копай-городу: там, в трёх километрах от Чебачинска, разместили чеченцев и ингушей — спецпереселенцев (депортированными их тогда не называли).

...Холодный февральский день сорок четвёртого года. Я стою во дворе, у калитки. По улице движется нескончаемый обоз. Это — чеченцы. Мне мешает смотреть штакетник калитки, но я боюсь выйти на улицу, потому что про чеченцев всё знаю — по колыбельной, которую мне перед сном поёт бабка: «Злой чечен ползёт на берег, точит свой кинжал». Надо мной смеются, но через несколько месяцев оказывается, что младенец был прав.

Одеты они совсем не по погоде — в какие-то лёгкие куртки с нашитыми как бы трубками, обуты в тонкие, как чулки, сапожки.

— В этих сапожках и черкесках только лезгинку танцевать, — сердито говорит подошедший сзади дед, — а не ездить в минус тридцать пять с северным ветром.

Про погоду дед знает всё — он начальник и единственный сотрудник метеопункта, который располагается у нас же во дворе; дед бродит между приборами, смотрит в небо и четыре раза в сутки передаёт сведения в область, долго крутит ручку телефона, висящего на стене в кухне.

Мне сразу становится холодно, хотя одет я в тёплую обезьянью дошку и меховую шапку, поверх которой натянут ещё башлык-будённовка и крест-накрест обвязан шерстяной шалью.

Чеченцев и ингушей выгрузили в голой степи, они нарыли себе землянок-нор — Копай-город. Рассказы Нины Ивановны о жизни в выдолбленных в мёрзлом грунте и накрытых жердями землянках, где по утрам в зыбках находили младенцев с инеем на щеках, были страшны. В первые же дни новосёлы образовали кладбище — за два-три года оно сравнялось с местным, которому было сорок лет.

Разъяснениям НКВД, что чеченцы и ингуши все поголовно сотрудничали с немцами, чебачинцы, ссыльных повидавшие, не верили и поначалу к спецпереселенцам относились сочувственно, давали лопаты, носилки, ведра, детям — молоко. Но отношение быстро стало ухудшаться. Началось с мелкого воровства: у соседей в огороде кто-то выкопал ночью лук. Решили: чеченцы, раньше такого не бывало, а они, известно, без лука жить не могут. Чеченские нищие были странные: не просили, а угрожали: «Дай хлеб, а то бельё брошу с верёвки». У бабки на базаре отстегнули старую огромную медную английскую булавку, которою она очень дорожила — таких теперь не делают, а она скалывала ею концы пледа в мороз. «Будут они такими пустяками заниматься, — сердился дед. — Вот если б корову украли — это да». И как накликал. Вскоре поползли слухи: в

Батмашке ингуши разбили стайку и угнали овец, в Успенно-Юрьевке днём обчистили квартиру — взяли, что легко было унести — даже ложки и тазы. Их ловили, но за мелкое воровство не судили. Но вот в Котуркуле свели корову, потом в Валентиновке — ещё одну. Лесник в Джаламбете встретил грабителей с ружьём — его застрелили из этого ружья. В том же Джаламбете увели двух коров и убили их хозяина. Страхи нарастали.

Рассказывали, что под Степняком вырезали целую семью. Воровство в Чебачинске бывало и раньше, но чеченцы показали, что такое настоящий горский разбой; по дворам поползло — «абреки», откуда-то не очень образованные чебачинские казаки знали это слово.

Самый большой конфликт с чеченцами возник года через два после войны. Чеченские парни не хотели, чтоб их девица встречалась с русским трактористом, Васей, который пахал недалеко от Копай-города. Она сама бегала в поле, но чеченцы не сказали ей ни слова, а пошли напрямик к трактористу. Двухметровый богатырь Вася, про которого говорили, что кулак у него с тыкву, послал их, завязалась драка, двум он мурсалки размазал, но их было пятеро, и вскоре Вася уже лежал и охал возле гусениц. Его друзья, работавшие невдалеке, двинулись на своих машинах боевым строем, как в фильме «Трактористы», на Копай-город и сравняли с землёй две крайние землянки и землебитный домик. Чеченцы как-то быстро, без шума, собрались возле магазина, у всех на поясах кинжалы, и молча двинулись на трактора. И быть бы большой крови, но, по счастью, в магазине оказался мамин ученик Хныкин, бывший командир разведроты. Хныкин не боялся никого и ничего. Он стал перед гусеницами переднего трактора — и остановил.

Потом медленно пошёл через улицу прямо на чеченцев.

— У них правая рука на кинжале, — рассказывал он маме, — а у меня — в кармане.

— А там что?

— А ничего. Но они хоть и абреки, а простоваты. Да и представить не могли, что в такую толпу идёт безоружный. Тем более в офицерском кителе.

— Что ж ты им сказал?

— Вам Казахстана мало? — говорю. — На Колыму захотели? — главное, спокойно эдак говорю, тихо, как бы сквозь зубы так. — Где старейшины? Поговорил с двумя, молодой переводил. Те сказали что-то, каждый буквально по два слова. Все повернулись молча и ушли. Ну а я — к нашим ребятам, уговаривать. Василий помог — явился, оклемавшись. Зла на них, толкует, не держу. Любовь — дело сурьёзное. Я тоже двоим сопатки

их абрекские погладил, только хрустели... Добродушный он, Вася.

Говорили, что в банде Бибикова, отличавшейся особой жестокостью, состояли в основном чеченцы. Потом выяснилось, что нерусских там вообще было только двое: белорус, приехавший с Петей-партизаном и тоже партизан, и один молодой ингуш.

Про Бибикова Антон вспомнил, когда пришла его одноклассница Аля и они пили чай — она тоже принесла со слонем. Аля стала очень похожа на свою покойную мать, — особенно теперь, во столько же лет, сколько было той, когда Антон увидел её мёртвой.

...После школы прибежал Васька Гагин: «Аида за речку! Зарезанную смотреть! Гад буду! Хрест на пузо!»

Мать Али лежала на дне телеги, её голова была страшно запрокинута, вместо горла зиял кровавый провал. Стайка ребят стояла поодаль; все молча, зачарованно глядели в телегу.

Учительница Тальникова в день зарплаты возвращалась поздно вечером в своё село. В первом перелеске дорогу её лошади — по древнему разбойничьему обычаю — перегородили несколько мужчин. Отобрали покупки, сумочку с деньгами. И уже было отпустили, но учительница вдруг узнала главаря — своего бывшего ученика: «Бибиков! И тебе не стыдно, Бибиков?» Да, это была банда Бибикова, бывшего разведчика, кавалера орденов Славы и Красной Звезды, которую вот уже полгода ловила вся местная милиция.

В разведроту Бибиков был специалистом по бесшумному снятию часовых («финочкой, исключительно финочкой!»). На суде Бибиков мрачно буркнул: «Сама виновата. Кто за язык тянул?»

Дед нашёл в энциклопедии, что чеченцев — полмиллиона, и с карандашом в руках высчитал, сколько сотен эшелонов надо было оторвать от военных перевозок, чтобы их вывезти. «К вам, Леонид Львович, — говорил отец, — только одна просьба. Не делитесь, прошу вас, ни с кем результатами ваших выкладок. Ведь Шаповалов уже не работает в нашем НКВД». Отец намекал на то, что его уже вызывали в эту организацию по поводу пораженческих высказываний деда. Но материалы попали тогда в руки бывшего дедова ученика и пока что всё обошлось.

Чеченцы были последней из волн ссыльно-поселенцев, с начала тридцатых годов накатывавших на Чебачинск. Первой были кулаки из Сальских степей. Наслышанные об ужасах холодной Сибири и тайги, они после своих супесей и суглинков шалели от полуметрового казахстанского чернозёма и дармового соснового леса. Скоро все они построили добротные пятистенки с глухими бревенчатыми заплотами на сибирский

манер, завели обширные огороды, коров, свиней и через четыре-пять лет зажили богаче местных.

— Что вы хотите, — говорил дед, — цвет крестьянства. Не могут не работать. Да как! Вон что про Кувычку рассказывают.

Старший сын старика Кувычки, рассказывал его сосед по воронежской деревне, когда, женившись, отделился, получил три лошади. Вставал затемно и пахал на Серой.

Когда она к полудню уставала, впрягал в плуг Вороного, который пашся за межой. Ближе к вечеру приводили Чалого, на коем пахал дотемна. Через два года он уже считался кулаком.

— А чего же этот цвет в колхозе ни черта не делает? — подкалывал отец.

— А с какой стати? Кто такой кулак? — дед поворачивался к Антону, который всегда слушал, широко раскрыв глаза, не перебивая и не задавая вопросов, и дед любил адресоваться к нему. — Кто он такой? Работящий мужик. Крепкий. Недаром — кулак, — дед сжимал пальцы в кулак так, что белели косточки. — Непьющий. И сыновья непьющие. И жён взяли из работящих семей. А бедняк кто? Лентяй. Сам пьёт, отец пил.

Бедняк — в кабак, кулак — на полосу, дотемна, до пота, да всей семьёй. Понятно, у него и коровы, и овцы, и не сивка, а полдюжины гладких коней, уже не соха, а плуг, железная борона, веялка, конные грабли. На таких деревня и стояла... А кто был в этих комбедах? Раскулачивал кто? Та же пьянь и голытьба. Придумали превосходно: имуществом раскулаченных распоряжается комбед. Не успеют телеги с ними за околицу выехать, как уже сундуки потрошат, перины тащат, самовары...

Дедова политэкономия была проста: государство грабит, присваивает всё. Неясно ему было только одно: куда оно это деваает.

— Раньше владелец крохотной овошенной лавки кормился сам, кормил большую семью. А тут все магазины, универмаги, внешняя торговля — принадлежат государству.

Огромный оборот! Где, где это всё?

В роскошную жизнь членов ЦК он не верил или не придавал ей значения.

— Сколько их? Ну даже если каждый со всеми своими дачами стоит миллион — что вряд ли, — это же мелочь.

С начала тридцатых в Чебачинск начали поступать политические. Самый первый был Борис Григорьевич Гройдо, заместитель Сталина по национальным вопросам — его имя Антон потом нашёл в красной Большой советской энциклопедии. Гройдо считал: ему очень повезло, что

его сослали так рано — через пять-шесть лет так легко уже бы не отделался.

Его жена, детская писательница и педагог Лесная, придумала пионерлагерь «Артек». Лагерь построили, она написала про него книжку, туда ездили дети деятелей Коминтерна. Но в середине тридцатых кто-то вдруг решил, что «Артек» устроен по буржуазному принципу — коттеджи, белые катера, а не палатки и рюкзаки. Лесную как идеолога такой структуры выслали в Казахстан. «Артек» меж тем продолжал функционировать по буржуазному принципу, туда приезжали дети антифашистов, потом большая партия испанских детей; построили новые белые корпуса.

И тут Гройдо повезло во второй раз — его жену выслали в тот же город, где жил он, — в Чебачинск. Никто не верил, что это вышло случайно, — говорили про его старые связи с Дзержинским — Менжинским — Вышинским.

После убийства Кирова из Ленинграда поступило несколько дворян, появились Воейковы и Свечиные. Были привлечённые по Шахтинскому делу, платоновскому, делу славистов, попадались изгнан-цы единичные, не групповики, — музыканты, шахматисты, художники-оформители, актёры, сценаристы, журналисты, неудачно сострившие эстрадные юмористы, стали присылать любителей рассказывать анекдоты.

С Дальнего Востока привезли корейцев. Перед войной стали поступать те, кто уже отбыл три или пять лет лагерей и получил ещё пять или десять «по рогам» — поражения в правах, ссылку. Ссылно-поселенцы с первых дней бывали буквально потрясены: они попадали в курортное место; их окружала Казахская складчатая страна: миллион гектаров леса, десять озёр, прекрасный климат. О качестве этого климата говорило то, что возле озёр расположилось несколько туберкулёзных санаториев; известный фтизиатр профессор Халло, тоже ссыльный, с удивлением обнаружил, что результаты лечения туберкулёзных больных в санаториях «Боровое» и «Лесное» выше, чем на знаменитых швейцарских курортах. Правда, он считал, что в равной степени дело тут и в кумысолечении — косяки кумысных кобылиц паслись рядом. Кумыс был дешёв, продукты тоже; ссыльные отъедались и поправляли здоровье.

Профессор Троицкий, ученик Семёнова-Тянь-Шанского, утверждал, что знает, как это произошло: чиновник, который составлял документ, распределявший потоки

ссылных, плохо посмотрел на карту, решив, что Чебачинск — в голой степи. Но Чебачинский район был узким языком, которым горы, лес,

Сибирь последний раз протягивались в Степь. Она начиналась в полутораста километрах, на карте неспециалисту это было не понять. А до самой Степи раскинулся райский уголок, курорт, казахская Швейцария. Когда Антон студентом попал на Рицу, то страшно удивился её славе: таких голубых горно-лесных озёр возле Чебачинска было штук пять, не меньше, только они по причине почти полного безлюдья были лучше.

Перед войной поступила латышская интеллигенция и поляки, уже в войну — немцы Поволжья. Чебачинцы верили слуху, что когда НКВД выбросил там ночью парашютистов, переодетых в фашистскую форму, местные немцы всех попрятали. Но депортированные рассказали, что не было и самого десанта. Немцы устроились лучше, чем чеченцы: им разрешили почему-то захватить кое-какие вещи (до 200 килограмм на человека), среди них были плотники, кузнецы, колбасники, портные (чеченцы не умели ничего). Много было интеллигенции, которой разрешалось преподавать (кроме общественно-политических дисциплин). Математику у Антона в классе одно время вёл доцент Ленинградского университета, литературу — доцент из Куйбышева, физкультуру — чемпион РСФСР по десятиборью среди юношей. Преподавателем музыки в Доме пионеров состоял бывший профессор Московской консерватории, в местных больницах и диспансерах работали ординаторы из Первой градской, больницы Склифосовского, ученики Спасокукоцкого и Филатова.

Но власти, видимо, считали, что Северный Казахстан интеллектуально всё ещё недоукомплектован: в Курорт Боровое, что в восемнадцати верстах от Чебачинска, в середине войны эвакуировали Академию наук.

Как-то отец читал академикам лекцию о Суворове. Антона он взял с собой — прокатиться в розвальнях на лошадке мохноногой по заснеженному лесу. За лекцию полагалось три килограмма муки. Возле маленького домика, где был академический распределитель, стояла небольшая, необычно молчаливая очередь. Отец отвёл Антона в сторону. «Видишь вон того старичка в круглых очках, с кошёлкой? — сказал он тихо. — Посмотри на него внимательно и постарайся запомнить. Это академик, великий учёный.

Потом поймёшь». И назвал фамилию.

Я вытягивал шею и таращился изо всех сил. Старичок с кошёлкой и сейчас стоит у меня перед глазами. Как я благодарен за это отцу. На первом курсе университета Антон узнал, кем был этот старичок, не спал по ночам от волнения при мыслях о ноосфере, от гордости за человеческий ум; за то, что такой человек жил в России; сочинял про этот эпизод плохие стихи: «Домишки. Очередь. Морозно. И казахстанский ветер адский. Отец сказал:

«Навек запомни: вон тот с кошёлкою — Вернадский»».

Ходили разные слухи об академиках: один может висеть в воздухе, другой переплюнет любого работягу по части мата. Дед смеялся и не верил. Но много позже Антон узнал, что великий буддолог академик Щербатской, умерший в Боровом, незадолго до смерти читал лекцию, где в числе прочего говорил о левитации; до августа сорок пятого в том же Боровом жил кораблестроитель академик Крылов — необыкновенный знаток русской обценной лексики (он считал, что подобные выражения у матросов английского торгового флота знамениты краткостью, но у русских моряков превосходят их выразительностью).

Такого количества интеллигенции на единицу площади Антону потом не доводилось видеть нигде.

— Четвёртая культурная волна в Сибирь и русскую глухомань, — пересчитывал отец, загибая пальцы. — Декабристы, участники польского восстания, социал-демократы и прочие, и последняя, четвёртая — объединительная.

— Прекрасный способ повышения культуры, — иронизировал дед. — Типично наш. А я-то думаю: в чём причина высокого культурного уровня в России?

Отец и Гройдо спорили, откуда отсчитывать традицию высылки в Казахстан: с Достоевского или с Троцкого?

Из всех новых административных насельников интеллигенция, по наблюдениям Антона, ощущала себя наименее несчастной, хотя её положение было хуже, чем у кулаков, немцев или корейцев: она не знала ремёсел, земли, а служить в горисполкоме, райкоме, РОНО ссыльные права не имели. Но многие из них, как ни странно, совсем не считали свою жизнь погибшей, а скорее наоборот. Шахматист Егорычев, знаменитый в городке своим мощным тепличным и поливным огородничеством, а также как страстный книгочей, признавался Антону уже в глубокой старости — я был счастлив, что меня отлучили от игры в бисер. Гройдо говорил: он рад, что порвалась цепь, связывавшая его с этой колесницей.

Отец Антона, Пётр Иванович Стремоухов, был одним из немногих в городе интеллигентов, попавших в него по своей воле. Его старший брат, Иван Иванович, организовал в 18-м году в подмосковном Царицыне одну из первых в России радиостанций и был её бессменным научно-техническим руководителем, главным инженером, директором и ещё кем-то. В 36-м году заместитель написал донос, что его начальник в 19-м году предоставил эфир врагу народа Троцкому. «Хотел бы я знать, — объяснял вызванный на Лубянку Иван Иванович, — каким образом я мог не дать эфир военмору

республики? Да меня и не спрашивал никто. Приехали на двух автомобилях — и всё». То ли донос был уж слишком бессмысленным, то ли времена ещё относительно мягкие, но Ивана Ивановича не посадили, а только уволили со всех постов.

Средний брат принадлежал когда-то к рабочей оппозиции, о чём честно писал во всех анкетах. В тридцать шестом его арестовали (он просидел семнадцать лет).

Следующего брата уволили из института, где он преподавал, и уже дважды вызывали на Лубянку.

И тут отец сделал, как говорила мама, второй умный шаг в своей жизни (первый, понятно, был — женитьба на ней) — уехал из Москвы. Тогда говорили: НКВД найдёт везде. Отец понял: не найдёт. Не будут искать. Не смогут — слишком много дел в столице. И — исчез из поля зрения. Много раз говорил потом, что не может до сих пор взять в толк, как люди, вокруг которых уже пустота, уже замели начальников, заместителей, родственников, — почему они сидели и ждали, когда возьмут их, ждали, будучи жителями необъятной страны?..

Он завербовался на стройку социализма — возведение крупнейшего в стране мясокомбината в Семипалатинске, и не мешкая выехал туда вместе с беременной женой.

Так Антон родился в Казахстане.

В 70-е годы Антон в юбилей Достоевского попал в Семипалатинск. В первый же день была экскурсия на знаменитый комбинат, где он увидел то, о чём в Чебакинске так мечтал боец скотобойни Бондаренко: убой скота электричеством. Огромных быков, получивших удар в пять тысяч вольт, подцепляли мощными крюками, и они плыли по конвейеру, где с них сразу, с шеи, начинали сдирать шкуру; обнажившиеся сине-розовые мышцы ещё трепетали и дёргались, а следующий съёмщик продолжал стягивать шкуру, как чулок, вниз; одной достоеведке стало плохо. Инженер-экскурсовод объяснил, что, конечно, можно три-четыре раза повторить электрошок, снижая напряжение последовательно до 500 вольт, тогда бык перестанет дёргаться и успокоится, именно так и поступают в Америке при работе с электрическим стулом, — но у нас более экономичная и прогрессивная технология. На фронтоне мясокомбината висел огромный кумачовый транспарант: «Я — реалист в высшем смысле. Ф.М. Достоевский».

Мама перевелась в местный институт, отец, хоть и окончил истфак МГУ, работал на комбинате преподавателем слесарного дела, которое знал с детства от своего отца и которому доучивал его великий мастер Иван Охлыстышев. Когда родился Антон, приехала бабка и забрала всех в

Чебачинск — курортный город.

Так как историю и конституцию ссыльным преподавать не разрешалось, а отец был единственный в городе несыльный с высшим историческим образованием, он преподавал эти предметы во всех учебных заведениях Чебачинска — двух школах, горно-металлургическом техникуме, педучилище.

На фронт его не взяли из-за близорукости — минус семь (глаза он испортил в московском метро, где сварщики работали без щитков). Но когда немцы подходили к Москве, записался добровольцем, доехал до областного центра, где доформировывались части дивизии генерала Панфилова, и даже был зачислен на пулемётные курсы. Но на первой же медкомиссии майор медицинской службы с матерными ругательствами выгнал его из кабинета.

Вернувшись, отец отдал в фонд обороны всё, что скопил перед войной на своих трёх ставках. Дед, узнав об этом из местной газеты, такой шаг не одобрил, как и раньше — запись в добровольцы.

— Умирать за эту власть? С какой стати?

— При чём тут власть! — горячился отец. — За страну, за Россию!

— Пусть эта страна сначала выпустит своих узников. Да заодно отправит воевать столько же мордоворотов, которые их охраняют.

— Я вас считал патриотом, Леонид Львович. Отец снова уехал в областной центр, с дедом не попрощавшись. Дед был спокоен и ровен, как всегда.

5. Клава и Валя

Увидев, как однажды вечером Антон гладит брюки, выбирает галстук, тётя Таня усмехнулась: «По старым адресам?» До этого по старым адресам он не ходил — как чувствовал: после первого же такого визита вся его размеренная провинциальная жизнь полетела в тартарары.

Валя была его второй первой любовью. Первой считалась Клава — любовь романтическая, с разорванными в мелкие клочки записками, которые полагалось составлять-склеивать по ночам, с цветами, бросаемыми в окно.

Это были целые экспедиции вдвоём с верным другом Петькой Змейко (верных друзей всегда зовут Петьками). Сначала, пока ещё не стемнело, полагалось с мрачным видом сделать две-три проходки между домами Клавы и Аси (Ася была той, чьи записки склеивал Петька). Путь предстоял не близкий — между пунктами по промерке шагами считалось километра три. Антон из природной словоохотливости порывался иногда заговорить, но Петька делал знак рукой: не надо, и суровые мужчины молчали.

Проходки эти были, однако ж, не совсем лишены прагматизма: по пути присматривался палисадник с подходящими кустами сирени. Сирень годилась не всякая.

Во-первых, решительно не подходила сирень из собственного сада — это пошло. Во-вторых, чужая сирень тоже нужна не первая попавшаяся, а только самого высокого качества: персидская, белая, махровая, в которой много цветков с пятью лепестками, чтобы получившая могла их отыскивать и загадывать желания. В-третьих, сирени надо было много. Требования к букету предъявлялись жёсткие: он должен еле-еле влезать в ведро.

К полуночи экспедиция завершалась, начиналось собственно действие. Огромные букеты туго обвязывались киперной лентой. Теперь каждый предстояло — нет, не оставить где-нибудь у порога или под окошком, — его следовало забросить непосредственно в комнату, чтобы она, открыв глаза, увидела букет первым из предметов окружающего мира и мучилась в догадках: откуда он взялся и от кого он? Конечно, к утру он мог и подзавять — и скорее всего; недурно б его доставить в сосуде с водой, но пока это было невыполнимо (хотя такой проект и обдумывался).

С Асей дело обстояло просто: существовала большая форточка, летом всегда открытая. С Клавой — сложнее: маленькие окошки её домика форточек не имели.

Приходилось заточенной железкой, которую Петька небрежно именовал фомкой (сам он к этой операции не допускался), осторожно вскрывать створку окна. Забухшее окно долго не поддавалось — и вдруг распахивалось со звуком распечатываемой бутылки; в глубине комнаты что-то белело, что-то угадывалось; именно потому нельзя было, чтобы это видел Петька; сердце начинало биться страшно, сильнее, чем при воровстве чужой сирени и вскрытии самого окна. («Воображение живо рисовало ему соблазнительные картины», — определял Антон.) Взмах — и букет с влажным шорохом летел туда, где... Минута была пиитическая, но от волнения Антон никак не мог подобрать подходящих строк и приходилось довольствоваться лишь близкими по теме: «Как я завидовал волнам, бегущим бурной чередой с любовью лечь к её ногам!» Антон бы стоял и стоял, стоял и глядел, но это — слабость, надо было твёрдой рукой закрыть окно.

На другой день, в школе, никакие намёки, взгляды, конечно, не допускались, даже разговаривать с девочками в первые дни, показывал всем видом Петька, не полагалось.

Антон такие отношения очень утомляли, он начинал злиться на Петьку, на себя, на Асю — не на Клаву, а именно на Асю, может, из-за её наивно-безмятежного взора.

Впрочем, было и другое. Наивная Ася очень умело, воспользовавшись отъездом родителей, организовала обучение танцам. Пригласили и третьего мушкетёра — Мишку, или Мята, для него тоже нашли даму (одноклассницу Инну, и, как потом выяснилось, именно её он бы и хотел, хотя никому об этом не сказал ни слова). Под патефон разучивали танго и вальс; из вальса выучили только «раз-два-три», кружиться научиться не успели — Антон так и не выучился никогда. Девочки трогательно показывали, куда класть вторую руку. Некстати вспоминались слова бывшего царского офицера Твердаго: «Даму надо держать за талию плоской, а не согнутой, не обнимающей ладонью! В моё время те, кто этого не соблюдал, удалялись из танцевального зала!» Недавно Антон, после диссертационного банкета в ресторанной гостинице, несколько минут простоял у входа в тамошнюю дискотеку. Неужели эти девочки, у которых, как говорил покойный Балтер, в каждом глазу по два аборта, того же возраста, что их с Петькой тогдашние подруги? «Как и все немолодые люди, — сказал внутренний голос, — он идеализировал время своей юности».

С Валеи всё было иначе, проще. Когда на моей парте освободилось место, она, не смущаясь, попросилась у классной руководительницы: «Можно, я с Антоном сяду?» Она была старше на три года, весёлая, увидев,

что у меня болтается пуговица на куртке, тут же на переменке её пришила и на мгновение архетипически прижалась, перекусывая нитку.

Не отодвигалась, когда наши колени под партой оказывались слишком близко.

Однажды я ей подарил букетик сирени — совсем небольшой, она зарылась в него лицом, потом подняла голову, глаза были полузакрыты. «Пьянящий запах сирени», — сформулировал Антон поспешно.

В первые свои студенческие каникулы Антон приехал в Чебачинск победителем, студентом Московского университета — вопреки всем советам туда поступать даже не пробовать; он черпал славу полными горстями. На школьном историческом кружке сделал доклад о Геродоте, ему выдали билет почётного члена кружка — как «первому из его членов и выпускников Чебачинской средней школы, поступившему на исторический факультет Московского университета и успешно в нём обучающемуся».

Мечты осуществлялись. С раннего детства Антона восхищали дедовы карманные швейцарские часы с щёлкающей крышкой и календарём, которые он купил после русско- японской войны у одного офицера; за пятьдесят лет они отстали на одну минуту. Дед обещал их подарить, если внук хорошо окончит школу. Антон окончил с золотой медалью. «В этой деревне быть первым не штука, — сказал дед. — Ты поступи в университет». Антон поступил. «Поступить — не штука, — сказал дед. — А вот дальше?» Первый семестр внук сдал на пятёрки. Дед вздохнул, отстегнул цепочку и решительным

жестом протянул часы: «Владей». (Счастье было, как у Френсиса Макомбера, недолгим: через полгода Антон уронил часы на кафельный пол в Сандуновских банях, погнулась ось, и никто не брался выточить новую.)

Мечты осуществлялись. Валя была в городе, она ездила куда-то, но не поступила. Пришла на его доклад, он провожал её, она говорила: «Я всегда верила в тебя. Больше, чем во всех». Он долго целовал её, прижимая к шаткому плетню, мороз был под тридцать, он чуть не заболел, заболела она, несколько дней пролежала в постели. Он приходил, сидел; она была вся горячая. Как он жалел, что температура не у него, чтобы стало можно подумать: «Она положила свою бледную руку на его воспалённый лоб».

И только за два дня до его отъезда она стала вставать и ходить в халатике, на котором, конечно, была только одна пуговица.

Вечером, умываясь, Антон по детской привычке глянул в серебристо-зеркальный бок старинного дедова ручомойника. Губы были какие-то странные — видимо, их искажал круглый бок. Антон посмотрел в мамино зеркало. Губы были похожи на красные бабкины подушечки для иголок. Он

лёг спать, присвоив себе фамилию Губастьев.

6. Ты можешь ли Левиафана удою вытащить на брег?

Антон выговорил право кормить деда обедом. Уставя поднос тарелками, он прошёл в дедов покой. Дед лежал высоко на подушках.

— Как здоровье? О чём думаешь?

Это был дедов вопрос, начинать с него не стоило. Доктор Нина Ивановна пеняла: «Ты, Антон, всегда находишь темы, которые Леонида Львовича волнуют».

Дед ответил:

— Испохабили всё — начиная со Святых Апостолов и кончая бессловесными зверьми.

На одеяле лежала привезённая Антоном московская газета. В «Репертуаре театров» красным карандашом было подчёркнуто название: «Затюканный апостол», а в рубрике «Окно в природу» — «Медвежий колхоз». Чтоб переменить разговор, Антон стал пододвигать столичные лакомства. Раньше дед поесть любил, в семье острили: готовь бабка хуже, он никогда б на ней не женился. Но теперь дед смотрел равнодушно на осетрину с бужениной, не произнёс «подай мне тельца упитана», а сказал:

— Я уже не хочу ни есть, ни спать, ни жить. Ведь что есть жизнь? Познание Бога, людей, искусства. От богопознания я далёк так же, как восемьдесят лет назад, когда отроком поступил в семинарию. Людей — тут никто не знает ничего, двадцатый век это доказал. Искусство — я читал Чехова, Бунина, я слышал Шаляпина. Что вы можете предложить мне равноценного?

— А театр? Театр двадцатого века? — пошёл в наступленье Антон, держа в резерве МХАТ, который дед любил, был на премьере «Вишнёвого сада». Но резервы вводить не пришлось — дед с порога отверг театр как таковой.

— Что театр? Площадное искусство. Подчинено зрелищности, подмосткам. Насколько Гоголь грубее в «Ревизоре», чем в «Мёртвых душах»? И даже Чехов — уж такой тонкий по сравнению со всеми драматург — насколько примитивнее в пьесах, чем в рассказах.

— Дед, но ты же не станешь отрицать кино.

— Не стану. Немое. Оно почти выбилось в высокое искусство. Но явился звук. А потом и цвет! И всё было кончено — восторжествовала

площадность.

— А Эйзенштейн? — его последние фильмы были единственными, которые дед видел после двадцатых годов, сделав для них исключение. (Этому будто бы предшествовал такой разговор. Бабка просит его посетить вместе кинотеатр. Дед: «Мы же были в кинотеатре». — «Конечно, но теперь там идут звуковые фильмы!»)

— Эйзенштейн? Всё у него лучшее, кадры, которые ты сам мне показывал, как он сперва их рисовал, — от немого кино. Да что о нём говорить, — когда во всей фильме «Александр Невский» никто ни разу не перекрестился!

— Разве? Я как-то не обратил...

— Разумеется. Вы этого не замечаете. Великий князь, Святой благоверный князь Александр Невский перед битвой не кладет крестного знамения! Господи, прости, — дед перекрестился.

— Может, режиссёру запретили.

— А что ж ему в «Иване Грозном» церковную службу при коронации — всё начало фильма — не запретили? Нет, тут другое: там ему самому, вашему великому режиссёру, это и в голову не пришло.

Антон хотел сказать, что с середины и в конце войны к этому отношению было уже другое, но дед по пятилеткам не мерил, для него все годы после семнадцатого были одноцветным советским временем, оттенки его не занимали.

«Как и все люди прошлого века...» — начинал формулировать Антон. Да, прошлого, прошлого века.

Он отправлялся бродить по городу.

Разговоры с дедом почему-то чаще всего наталкивали на тему, которую Антон озаглавливал «О тщете исторической науки». Что может твоя наука, историк Стремоухов? Пугачёвский бунт мы представляем по «Капитанской дочке». Ты занимался Пугачёвым как историк. Много изменили в твоём ощущении эпохи её документы? Будь откровенен.

И появись ещё куча исследований — уточняющих, опровергающих, — пугачёвщина в сознании нации навсегда останется такою, какой изображена в этой повестушке. А война 1812 года? Всегда и во веки веков она пребудет той, которая разворачивается на страницах «Войны и мира». И сколько здесь от случая. Допиши Пушкин «Арапа», мы бы и Петра знали по нему. (Впрочем, даже и так знаем.) Почему? Историческое бытие человека — жизнь во всём её охвате; историческая же наука давно разбилась на истории царствований, формаций, революций, философских учений, историю материальной культуры. Ни в одном научном сочинении

человек не дан в скрещении всего этого — а ведь именно в таком перекрестье он пребывает в каждый момент своего существования. И сквозь этот прицел его видит только писатель.

Так было всегда, когда Антон уходил от деда, — диалог с ним продолжался, и Антон не глядел по сторонам.

Но город постепенно завладевал им.

Русская провинция! Как периферия литературная — иллюстрированный журнал, газета, малая пресса всегда была холодильником жанров, не сохранившихся в большой литературе — романтической повести, физиологического очерка, мелодрамы, — так периферия географическая, русская провинция сохранила семейное чтение вслух, лоскутные одеяла, рукописные альбомы со стихами от Марлинского до Мережковского, письма на десяти страницах, обеды под липами, старинные романсы, фикусы в кадках, вышивки гладью, фотографии в рамках и застольное пенье хором.

Область русского поселения — цепочка казачьих станиц — шла по всей северной, кромковой части казахской степи от Урала до Иртыша. Перед войной административно войдя в Казахстан, Чебачинск остался русской, казачьей сибирской провинцией. Когда местная газета «Социалистический труд», выходившая раз в неделю в формате развёрнутой школьной тетради, в передовице упомянула о переписи населения 1939 года, по которой в городе оказалось 8 % казахов, то редактора Улыбченко за политическую близорукость в понимании задач национальной политики перевели в корректоры (на этой должности, сильно потеряв в зарплате, он и продолжал почти единолично до самой войны делать газету). Местные жители восприняли это как наказание за очковтирательство: и такого процента в городе никто не наблюдал, казахов с их верблюдами и низкорослыми лошадками видели только на базаре да — в кителях-сталинках — в кабинетах исполкома

(в райкоме партии были уже русские). Казахские дома стояли только на нечётном порядке крайней улицы, глядящей в Степь. Постоянного названия она не имела: таблички «Улица Амангельды» то вешали, то снимали — в зависимости от того, кем считался Амангельды Иманов. Если по радио передавали песню: «Запевайте, горы Ала-Тау, и снега, и льды.

Добывать идём в бою мы славу, как Амангельды», — это означало, что он герой освободительной борьбы, и таблички висели, но когда её передавать переставали, значит, он опять становился буржуазным националистом, и таблички снимали.

Село Чебачье, село казачье, в городское звание возвели ещё до войны,

но только теперь поселение стало этому званию соответствовать: из центра исчезли огороды, появились запоздалые хрущёвские пятиэтажки. Тогда, после войны, двухэтажной была только школа, построенная ещё купцом Сапоговым, да несколько домов на станции. Они считались достопримечательностью; объясняя дорогу, махали рукою вдаль и вверх: там, за высокими домами. Всё остальное было не дома — избы. Полвека для них не возраст, а если изба ставлена на фундаменте — вообще детство. Рубили их из сибирской корабельной сосны (её так здесь не называли, а: лес-бревенчак, избяной).

Лес заготавливали зимою, в апреле ставился сруб, в котором точно пригнанные брёвна медленно и равномерно высыхали, их не вело и не кособочило. Угол всегда рубили в обло с остатком — в лапу считалось недолговечно. Железная крыша роскошь, крыли тёсом. Антон застал ещё пилку досок вручную. Бревно клалось на огромные, выше человеческого роста козлы, пилили особой длинной пилой, один пильщик стоял наверху, другой — внизу. И там и там работа была адова. Кровля делалась безгвоздой — доски упирались в долблёные полубрёвна-желоба и пригнетались тяжёлым бревном-охлупнем.

К избе примыкал высокий бревенчатый заплот (жердяных не ставили) и глухие ворота из досок в ёлочку, с двускатным козырьком.

С трудом узнавались места — по тополям, которые школа сажала на воскресниках. Саженцы обгрызали козы, ломали коровы, но мы сажали их снова, они опять гибли, мы сажали опять и опять, и козы сдавались, и уже не верилось, что те слабые прутики стали могучими деревьями, что эти могучие деревья были теми слабыми прутиками.

Здесь стояла хибарка Усти, вросшая в землю, с подпертой кольями стеной. Бедных было много — семьи без вести пропавших и не получавших ни аттестата, ни пособия, многодетные ссыльные немцы. На медосмотре врач, осмотрев Антонова одноклассника Ленау, по которому можно было изучать основные кости человеческого скелета, спросил: «Питание дома — только картошка?» Но Устя была самая бедная. Работала она в колхозе, на трудодни не давали почти ничего. Её сын Шурка школу посещал только до морозов — каждый год всё тот же второй класс. Ходил он с большой торбой из серого грубого холста, за что над ним смеялись (много позже точно такую торбу Антон видел в нью-йоркском универмаге, стоила она двадцать долларов и была гораздо хуже). Мать Антона отдала им детские валенки, мало ношенные, но Устя, чтоб не есть одну картошку, променяла их на капусту.

На месте домишки Усти стояла панельная пятиэтажка. Когда я уходил

из переулка, пятиэтажка расплылась и растаяла; её место опять и навсегда заняла похилившаяся хибарка Усти.

Антон делал крюк к Набережной, где прожил первые шестнадцать лет своей жизни. Улица весной и осенью была грязновата. У всех была мечта: резиновые сапоги.

Рассказывали, что у Лёньки-станциря были такие сапоги, будто как бы зеленоватые, литые, но в глаза их никто не видел. Там, где было повыше, на лужайках перед домами рано вылезала чистая шелковистая травка-конотопка, на ней лежали по выходным и взрослые, и даже белые рубахи не зеленились. Автомобили не проезжали, подводы — редко, чаще всего — казахов. Весной подле каждой степной низкорослой кобылки бежал длинноногий жеребёнок, а то и второй — уже стригунок, его брали, чтоб не дичал, привыкал, заодно и проминался.

А тут был пустырь, где часами бродили, отыскивая всякие кидыши, но прежде всего стеклки, битушки — осколки посуды и, если повезёт, — золочёную ручку чашки или краешек тарелки с цветным ободком. Как скуден был вещный мир их детства. Кукла — одна, две — уже редкость. Ходила легенда про куклу сестры того же Лёньки-станциря, с закрывающимися глазами и говорящую «мама», — этому не очень верили.

Дома можно было сказать: пойду к машине, и все знали, что к Кольке, потому что только у него был игрушечный грузовичок, как все любили эту деревянную машинку.

Под косогором текла речка, без названья: просто Речка. Она была мелкая: воробычке по...чке, воробью по яицы, но зато идеально подходила для ловли бреднем: за час набраживали полный кошель. Купаться можно было только у плотины, на Берёзке, где глубенело сразу; над водой там нависал мощный берёзовый пенёк, первое острое сожаленье о безвозвратном прошлом: какие счастливы были те, кто застал саму берёзу, каково с неё нырялось! Как она росла? Вверх? Наклонно? Хотелось, чтоб наклонно, нависно. Над водой деревья всегда так растут. Грустные ивы склонились к пруду. Что ты, ива, над водами. Конечно, берёза нависала! И достигала середины Речки, и, прыгнув оттуда, они свободно доныривали до того берега. И у какого мерзавца поднялась на неё рука?.. Вода у берега, на мелководье, тёплая, хорошая, называлась керенская, на середине, в омуте, холодная — колхозная. Что такое керенская, никто не знал, но почему колхозная — мы понимали очень хорошо. К середине лета с края появлялась первая зазелень, к концу лета протягивалась и к середине; Корма, приходя купаться, заталкивал в воду малышню её разгонять.

Не было погожего летнего дня, чтоб на Берёзке не купались Васька

Гагин, Юрка Бутаков, Кемпель, Лёка Ишкинов; из воды не вылезали часами. Но Антон иногда, наскоро окунувшись, убегал навестить Вальку Шелепова, который выше по речке, где уже не было огородов, пас телёнка. Пас ежегодно, ежедневно, все три месяца летних каникул. Только одно лето оказалось свободным: очередной телёнок обожрался белены и сдох. Васька Гагин на следующее лето предлагал ситуацию повторить и обещал найти самой нежной, вкусной и верной белены. (Сам Васька, когда на него оставляли годовалую Катьку, немедленно поил её размешанным в молоке молодым маком, и девка спала как мёртвая, к удивлению матери, до вечера.) Но Валька боялся: отец сказал, что убьёт, если он и теперь не уследит. И Валька следил, и на речку только глядел сверху. Большого мученья Антон, полоскавшийся в воде, как утка, целыми днями, представить себе не мог, поэтому и сидел с бедным Валькой на косогоре, а когда особенно зноило, в душном коноплянике — единственном укрытии от солнца: берега были бестенные, хотя, судя по пням, деревья тут росли, но какие-то вредители их вырубili. Спустя много лет, когда Антон был на конгрессе по истории бывшего Советского Союза в Амстердаме, во всех кафе его два дня преследовал сладковатый запах, мучительно что-то напоминавший. На третий, когда ему сказали, что тут легализовано курение марихуаны, он вспомнил: то был запах разогретого солнцем конопляника над Речкой. От запаха кружилась голова. Старший брат Вальки Генка, побывший тут недолго, сказал, что надо как-нибудь затащить сюда Люську — полчасика посидит, сама даст. Ближе к воде рос какой-то особенно влипчивый репейник — от рубашки не отодрать, а когда его тебе закатают в волосы — только выстричь. На пролысинах конопляника росли калачики — маленькие сладковатые плоды какого-то круглолистого растения — потом Антон никак не мог его ни найти, ни хотя бы узнать, как оно называется. Вид не мог внезапно исчезнуть из целой местности — но он исчез. Сразу же за Речкой во множестве росла полынь — разных видов. Дома у Антона веником из одной полыни подметали сени, из другой — комнаты, третья просто висела под иконами и пахла. На берегу можно было набрать сосовой глины — серой, маслянистой, вкусной.

Ели, запивая водой из речки. Никаких неприятностей от этого не происходило.

Всё остальное время Антон что-нибудь рассказывал: читать Вальке было запрещено, так как телёнок погиб из-за «Робинзона Крузо». Сначала Антон дорассказал про недочитанного Робинзона, потом на основе этого сюжета стал излагать придуманные

им самим приключения мальчишек, оказавшихся на необитаемых

островах на Байкале, Онежском и Ладожском озёрах, в Аральском море и Северном Ледовитом океане.

Называлось: Сказка. Сказка была с продолженьями, которые Антон рассказывал Вальке уже осенью, на их сеновале, а зимой — в избе. Антон входил, Валька уже ждал.

— Или, — возглашал Антон, — у броненосцев на рейде...

— Ступлены острые кили? — должен был отвечать-спрашивать друг. Паролей было несколько.

— Мир уснул, — говорил в следующий раз Антон, — но дух живой...

— Движет небом и землёй, — продолжал обученный Валька.

— Ты можешь ли Левиафана удою вытащить на брег? — Антон вворачивал и что-нибудь новенькое.

— Левиафана? Запросто, — отвечал находчивый Валька. — А кто это такой?

Залезали на печь, под мягкий волчий тулуп, начиналось продолжение Сказки. Герой вырастал, с острова съезжал, женился, у него рождался сын. Он также довольно рано попадал на необитаемый остров, где проводил, конечно, не двадцать восемь лет, как Робинзон, но тоже значительную часть жизни, пока не вырастал и становился неинтересен.

Пройдя берегом плотины, Антон по тропке стал подыматься вверх. Как всегда, когда приходилось идти в гору, подмывало на полубег — шагом медленно и скучно.

Навстречу шла пожилая женщина. «Скажите, который час?» Антон сначала не понял, что в её голосе странно, но потом увидел: на глазах слёзы. Она без всяких предисловий, не стыдясь, заговорила:

— Издалека гляжу — ну точно брат мой Ваня. Он на фронте погиб. Тоже высокий. Такие ходят — переваливаются. А он в гору, вот как вы, всегда побегом, быстро.

Увидела — ну точно он, не сдержалась, видите, плачу.

Антон опять спустился к Речке. За тридцать лет она сильно затиневела, но перед плотиной зеркало было чистое, как раньше. В сливе по колено в воде копошился мужик с опухшим лицом, подставляя ладонь под струйки, бившие из тела плотины, — видимо, изучал водоклёв.

— Не узнаёшь, москвич?

— А, Фёдор! Богатым быть.

— И так уж богаче некуда, опохмелиться не на..я. Как в анекдоте. Подходит Пушкин к магазину...

Русская провинция. Что может быть тупее её анекдотов про Пушкина, про Крылова, про композиторов: поел Мясковского, запил Чайковским, сел,

образовалась Могучая кучка, достал Листа...

На бровке речного оврага стояла электростанция, построенная на месте старого движка. Движок сгорел.

Работал он на мазуте, годовой запас которого хранился тут же и которым давно до маслянистой черноты пропитались обшитые фанерой бревенчатые стены. Пламя было до неба, собралась толпа, но тушить такое своими силами никому и в голову не приходило.

Когда огонь слегка поутих, приехали с песком и огнетушителями пожарные — на быках.

Пожаров было много. «Надо же, — говорил тамбовец Егорычев, — Казахстан, не тесно, а полыхает — как в центральной России». Горели дома, сараи, стога сена, школа, пекарня, детприёмник. Но этот пожар был самый знаменитый.

За плотиной стояли пятистенки и большие крестовые избы — дома высланных раскулаченных. В Чебачинск слали кулаков с Украины, Рязанщины, Орловщины, чебачинских высылали дальше в Сибирь, сибирских — ещё дальше на восток. Хотелось верить, что придумал такое кто-то разумный, если можно говорить о разумности в этом безумии: с Украины прямо до Находки они б не доехали.

Дома эти ещё в тридцатые годы получили комбедовцы. Так как дома были большие, то когда начала, работать горсоветская комиссия по устройству

эвакуированных, она почти в каждом находила излишки и подселяла приезжих; получился целый околоток, который так и именовали: у вакуированных. Подселённых не очень любили, называли: дворянки-водворянки. Эвакуированным, как и беженцам в первую германскую, давали какую-то мануфактуру, продукты; местные возмущались.

— И чего? — говорила мама, у которой Антон потом расспрашивал про войну. — Ведь это было только справедливо. У местных — огород, картошка, корова. А у этих, как и у ссыльных, — ничего.

— А почему они не заводили огороды? Ведь землю давали.

— Сколько угодно! В степи каждый желающий мог взять выделенную норму — 15 соток. Да и больше, никто не проверял. Но — не брали. Эвакуированные считали, что не сегодня-завтра освободят Ленинград, возьмут Харьков, Киев, и они вернутся.

(«Совсем как русская эмиграция, — думал Антон. — И города те же».) Да и не желали они в земле копаться. Из ссыльных? Ну, дворяне, кто в детстве жил в имениях. Из интеллигенции — почти никто. Наша техникумовская литераторша Валентина Дмитриевна — ты её помнишь? —

сначала жила в Кокчетаве. Недалеко от неё поселилась, когда отбывала ссылку, Анастасия Ивановна Цветаева. Так та, ничего сначала не умея, завела потом огород, выращивала картофель, овощи. И жила нормально. Но таких было мало. Голодали, продавали последнее, но обрабатывать землю не хотели. Дед над ними посмеивался: «Где ж власть земли? А народные истоки — самое время к ним припасть, заодно и себя прокормишь...»

Такие высказывания деда помнил и я, здесь он совпадал с местными, которые презирали приезжих за неумелость, нежеланье копаться в навозе. Уважали шахматиста Егорычева, построившего теплицу и жившего безбедно; власти поглядывали на неё косо, но найти пункт, по которому её можно было запретить, не могли.

К маминой лабораторной уборщице Фросе — у неё была одна комната, но очень большая — подселили семью из Киева: муж, жена, ребёнок. Фрося уступила им свою двуспальную кровать, сама стала жить с дочкой в кухне и спать на печке. Вскоре Фрося стала замечать, что у неё как-то быстро стала убывать картошка в подполе. «Берём вроде немного, а за две недели целый угол съели», — недоумевала она. Кроме жилички — некому. Фрося ей так в лицо и сказала. А та: «Ну и что, если взяли. Надо делиться.

Война!» Но у Фроси картошка являлась главным продуктом питания, надо было дотянуть её до лета, и делиться она не собиралась.

— Как-то в воскресенье, — рассказывала мама, — когда жена должна была вот-вот вернуться с базара, а муж спал, Фрося взяла и прилегла к нему под бок. И лежит себе тихонечко. Жена приходит — скандал! А Фрося ей: «Ну и что! Надо делиться! Война! Мой на фронте — мне тоже мужика надо!» Жильцы немедленно съехали. А бывало и наоборот. Другую семью — он был мой студент, фронтовик, хромым, Хныкин — поставили к одной старушке, вроде порядочной, присматривала даже за ребёнком. Семья жила неплохо — родители откуда-то с Урала что-то присылали. Старуха жила в кухне, у жильцов в комнате была своя печь. Ребёнок у них был какой-то анемичный, все время мёрз, Хныкин денег на дрова не жалел. Но он заметил, что его поленища уменьшается, а её стоит. И придумал вот что. Мы как раз изучали взрывчатые вещества. Одно из очень сильных — красный фосфор, если его смешать с бертолетовой солью. Он высверлил полено и туда этой смеси и напихал — украл у меня в лаборатории, напросился помогать ставить опыт и стащил. А когда она краденными поленьями печь-то затопила, у неё и рвануло — полпечки разворотило. Она к Хныкину, в ужасе. А он ей: «Воровать не надо!» И рассказал. «Это могло меня убить. Я заявлю в милицию». — «Заявляйте. Я им расскажу, почему рвануло». Ну, печь он потом заделал — мастер был на все руки.

Рядом с моей лабораторией жила прачка, Федора Ивановна. Бедная, двое детей, муж на фронте. Кроме своей работы, брала ещё из госпиталя бельё — в кровавой коросте, в рвоте и вообще Бог знает в чём... Отмачивала его с золой в железной бочке — ей дали такую бочку, называли — зольник. Потом, до работы, кипятила в ней же во дворе на

костре. К вечеру была еле живая. А жила огородом. Но копать-полоть было некогда. И когда к ней вселили семью, и те научились копать, сажать, — большая была помощь.

Я хорошо помнил Федору — крупную тётку с большими, распухшими красными руками; у бабки такие руки были только после двухдневной стирки раз в две недели, у Федоры — всегда.

По Набережной в распутицу было ни пройти ни проехать. Но зато летом проезжая её часть покрывалась подушкой мягкой, как пух, пыли. Слабый дождик пробуровливал в ней лишь частые, как в дуршлаге, дырочки. После острокаменной дороги с Сопки или надречных склонов с жёстким слепопокосным пырейным остьем, колючим молочаем или целых плантаций крапивы (клич звучал: «По крапиве прямиком так и дуем босиком», но даже возвращаться по уже слегка протолоченной тропке было больно) это был подарок сбитым и зажаленным босым ногам. Они тонули в пыли — тёплой серой или горячей чёрной — по щиколку, наслажденьем было медленно брести, взрывая тут же опадающие крохотные воронки-бурунчики. Не хуже и бежалось — вздымалось сразу целое пыльное облако; называлось — «айда пылить». Ну а если проезжала одна из двух чебачинских полуторок, столб пыли подымался до крыш, и, пока не осел, в него требовалось успеть заскочить; Ваську за такое развлечение дядька протягивал костылём.

В этой пыли нежились куры и трепыхались воробьи. Воробьёв не любили — они склёвывали вишню, выклёвывали подсолнухи, не боясь, как прочие нормальные птицы, огородных пугал. Вызорить воробьиное гнездо не считалось грехом. Когда они раз в несколько лет собирались тучами на свои воробьиные базары (отец говорил: парт-съезды), для огородников Набережной это была катастрофа.

— Ну хорошо, птичьи базары где-нибудь на Новой Земле, они там и гнездятся коллективно. Но тут? — поражался дед.

Воробьёв собиралось столько, что наверняка они слетались и из Батмашки, и из Котуркуля, с Карьера, может, даже из Успенно-Юрьевки — кто их предупредил, что в этом месте, в этот день и час? Кто объяснил, как для жизни вида важен такой межродственный обмен? И дед в сотый раз застывал с разведёнными руками перед божественным таинством

целесообразности Природы.

Под нелюбовь к воробьям чебачинцы подвели историческую базу. Когда Христа распинали, римские воины рассыпали гвозди. Воробей подпрыгивал, подавал их палачам и чирикал: «Жив! Жив!» И Спаситель сказал ему: «Всю жизнь тебя будут гонять и будешь подпрыгивать». Легенда хороша, говорил дед, но несколько портит её то, что воробей отнюдь не единственная прыгающая птица — так передвигаются и снегири, и синицы, и все, у кого вместо двух как бы на шарнире берцовых костей — одна, отчего они и не могут ходить.

Апокрифы вообще процветали. Свинья закопала Христа в сено, а лошадь сено съела, его нашли, и он сказал свинье: ты всегда будешь сыта и жирна. И лошади: а ты станешь всю жизнь надрываться, будешь голодна и худа. Апокриф возник явно в среде тощей российской однолошадности.

Последним в переулке был дом Кемпелей-колбасников: старый Кемпель в Энгельсе работал на мясокомбинате. Был он и слесарь, и кузнец, и водопроводчик, сыновья его тоже умели всё. В труд-армию, где немцы гибли тысячами, Кемпеля не взяли как слишком старого, детей — как слишком молодых, семья выжила, обстроилась, сыновья после войны пережились — на своих. В колхозе «Двенадцатая годовщина Октября» старик купил пианино, когда-то реквизированное и лет пятнадцать стоявшее в ленинском уголке без употребления; профессор консерватории Серов его настроил; из окон дома колбасников по вечерам слышался Шуберт. Пел старший сын Ганс, механик на пар-мельнице, аккомпанировала его сестра Ирма, повариха. На работе и во дворе он всегда был весьма лохмат. Но когда появлялся на крыльце с идеально гладкими волосами, все знали: скоро из окон польётся про «Die sch ne M llerin»*, хотя ниточно-ровный пробор будут лицезреть одни домашние. Любил Кемпель-сын и русские песни, пел знаменитую

кольцовскую «Ты душа моя, красна девица» в своём переводе, где «красна девица» превращалась в «красную мадемуазель»: O, du meine Seele Rote Mademuaselle!

* Прекрасная мельничиха (нем.).

Антону вместо этой мадемуазели сильно хотелось вставить: Lumpenmamselle*. (* Шлюха (нем.).) Но голос был хорош; когда через много лет Антон услышал Фишера Дискау, а позже — Германа Прая, он почувствовал знакомое — так Шуберта умеют петь только немцы. Теперь в доме жили внуки Кемпеля, из окон доносились «Битлз».

Переулок выводил к Ленинской, бывшей Дворянской, к центру. На углу стоял городской кинотеатр имени Сакко и Ванцетти. Был ещё

железнодорожный — имени Клары Цеткин. Говорили: пойдём в Кларку, пойдём к Ссакам. Ссаки располагались в длинном приземистом здании, но с высокими потолками внутри — бывшем оптовом амбаре-складе купца Сапогова.

Кинотеатр был знаменит тем, что из него трудно было выйти. Огромные двустворчатые двери в торце заколотили — там висел экран, выход сделали через узкую боковую дверь, раньше через неё входили-выходили грузчики и конторщики Сапогова.

Рассчитанная на тридцать человек, она не могла быстро выпустить пятьсот. Народ давился, Антона раз сильно поприжали, мама перестала пускать его одного. Но шёл замечательный фильм «Трактористы», все друзья говорили про Ваню Курского, распевали: «Здравствуй, милая моя, я тебя дождался», Антон упрашивал пустить.

Ходатаем выступил Василий Илларионович, заявивший, что не сходя с места сей секунд скажет Антону точно, когда скоро конец фильма.

— Но вы же, Вася, кажется, не смотрели этот фильм? — осторожно удивилась мама.

—. А зачем смотреть? Как пойдут строем трактора и трактористы запоют что-нибудь хором, шапку в охапку — и на выход.

Антон вернулся невредимым. Но мама всё же поинтересовалась:

— Шли строем трактора? Не шли? А как же ты? — мама ещё раз обеспокоенно оглядела Антона.

— Не трактора, а танки. Тоже строем, во весь экран. Я сразу и догадался. И все песню пели: «Сверкая блеском стали, когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин».

В Ссаках же смотрели и «Тарзана», а по второму и третьему разу бегали в Кларку. Преподаватель английского Атист Крышевич, бывший дипломат, попавший в Чебачинск после добровольного присоединения Латвии, ещё до войны читал в лондонской «Таймс», что крик Тарзана в джунглях — это наложенные друг на друга записи воя гиены, криков бабуинов и птицы марабу. Атисту мы верили — после того, как он сказал, что «На Дерибасовской открылась пивная» поётся на мотив популярного во всей Латинской Америке аргентинского танго «Эль чокло», которое он там везде слышал. Но дело было в том, что Борька Корма без помощи бабуинов воспроизводил этот крик со всеми его дикими руладами с абсолютной точностью. Потом Антон видел другие фильмы на этот сюжет. Старый ему нравился больше. То, что делают новые Тарзаны, овладевшие современным оружием, в боевиках делает любой Сталлоне. А в «Тарзане» с Вейсмюллером была прекрасная ностальгическая идея: сила и ловкость

сына природы побеждают технику, слоны оказываются сильнее машин, а тот, кто разговаривает с животными на их языке, — непобедим.

Городской кинотеатр — он же клуб и городской театр — был известен ещё историей с занавесом. Его подарила Чебачинску певица Куляш Байсеитова, вернувшись с прославившей её первой декады казахского искусства в 36-м году в Москве (Антону очень нравилась её знаменитая песня с припевом: Га-ку, га-ку, га-га-га-га-га!), той самой, на которой всплыл и Джамбул. Занавес был огромный, вишнёвого рытого бархата. И вдруг

он пропал. Сапоговские пудовые замки на мощных пробоях железных дверей оказались целы: кто-то ухитрился снять и унести большой тяжёлый занавес после спектакля Омского драматического театра, пока актёры разгримировывались в десяти метрах, за сценой. Недели через две егерь Оглотков, мотаясь по Степи по своим егерским делам, заехал в цыганский табор, недавно раскинутый возле областного центра, в ста верстах от Чебачинска. Цыгане поразили Оглоткова роскошными бархатными шароварами бордового цвета, которые носили все мужчины табора; зрелище — умереть не встать.

Табор оказался тот самый, что стоял недавно под Чебачинском, у Каменухи. Нарядили следствие, цыгане божились и целовали кресты, что купили материю у других цыган, которые теперь гуляют в Степи далеко-далеко. Фамилия у всех в таборе была одна: Нелюдских.

7. Кавалер Большой золотой медали Великого Князя

Дальше дорога лежала мимо школы — тоже бывшего дома Сапогова. Нижний этаж был когда-то лабазом с полуметровыми кирпичными стенами, второй — из сосны, такие толстые брёвна Антон видел ещё только раз — на избе Емельяна Пугачёва в Уральске, где он докладывал местным краеведам об уральских реалиях «Капитанской дочки».

В школу Антон пошёл в первый послевоенный год — во второй класс. Получилось это так.

После обеда, когда дед отдыхал, Антон забирался к нему на широкий топчан. Над топчаном висела географическая карта. Между делом, незаметно дед выучил его по этой карте читать не по слогам, а по какой-то его особой методике, сразу целыми словами.

Как-то зимою дед лежал на своём топчане, укрывшись овчинным тулупом. Мне больше нравился мягкий волчий, как на лежанке русской печи у Вальки Шелепова, и однажды отец Карбека, лесник, предлагал такой же прекрасный тулуп, но дед отговорил всех: овчинный предпочтительней, потому что овечья шерсть обладает целительными свойствами; потом я прочитал, что она ещё и отгоняет скорпионов, но и это не помогло — волчий всё равно казался в сто раз лучше. Дед лежал, а я сидел рядом на особенном стульце и читал ему «Правду». Газету эту дед в руки брать не любил, и когда говорил: «Почитай, о чём из столиц исповещают подданных», я уже знал, что читать надо только заголовки, делая после каждого паузу, во время которой дед говорил: «Всё ясно» или «Потери несут, конечно, только немцы», или, чаще всего: «Валяй дальше».

Отец вышел на кухню и, пока искал что-то в шкафчике, эту политпятиминутку услышал.

— И давно ты умеешь читать, Антоша?

Этого я не помнил, мне казалось, что я умел читать всегда.

— И считать умеешь?

Дед выучил Антона и счёту, сложению-вычитанию в пределах сотни; таблицу умножения он показывал, играя «в пальцы», и Антон, тоже между прочим, её запомнил.

— Тасенька, — позвал отец, — иди сюда, посмотришь на результаты по системе Ушинского.

Но мама не удивилась, она знала, что Антон уже читает «Из пушки на Луну» Жюль Верна.

— Что будем делать? — сказал отец. — В первом классе станут только алфавит мусолить полгода! Надо отдавать сразу во второй.

— Да он, наверное, писать не умеет, — сказала мама.

— Умею.

— Покажи.

Антон подошел к печке-голландке и, вынув из кармана мел (там держать его бабка не разрешала, но Антон надеялся, что мама этого не знает), написал на её блестящей чёрной жести: «наши войска преодолевая».

— А в тетрадке ты можешь?

Антон смутился. Тетрадки у него не было. Писали они с дедом всегда мелом на той же голландке. Мама дала карандаш. Карандашом Антон только рисовал (его надо было экономить) — на старых таблицах по метеорологии, где в конце страницы всегда было много чистого места. Он очень старался, но получилось плохо.

— С чистописанием слабовато, — сказала мама. — А мел в карман не запикивай, положи.

Было решено, что Антон идёт осенью этого года во второй класс, а дед начинает немедленно, после дня рождения Антона, с 13 февраля заниматься с ним науками не на топчане, а как полагается, за столом, и не когда захочется, а каждый день; чистописание будет контролировать мама как бывшая учительница начальной школы.

Они стали заниматься. За столом всё же почти не сидели — дед считал, что усвоение гораздо успешнее происходит не за партой.

— Кюнце погубил не одно поколение, — говорил он в спорах на эту тему с мамой (позже Антон узнал, что этот Кюнце — изобретатель парт с ячейками для чернильниц и откидными крышками, которые с грохотом Антон открывал девять лет; такие парты он увидел потом в чеховской гимназии в Таганроге). Мама не соглашалась, потому что без парты и правильного держания ручки, конец которой смотрел бы точно в плечо, нельзя выработать хороший почерк. Её учили чистописанию ещё старые гимназические учителя; такого идеального почерка Антон не видел больше никогда.

Бабка рассказывала, что когда она приносила деду завтрак (в трёх салфетках: шерстяной и льняной — чтоб не остыл, и белой крахмаленной, сверху), то нельзя было понять, перерыв или урок — во время занятий у деда сидели кто где хотел — на подоконниках, на полу, некоторые при решении задач предпочитали бродить по классу, как на

популярной картине передвижника Богданова-Вельского «Устный счёт». Недавно Антон прочёл в журнале «Америка» статью о новейшей методике преподавания в младших классах — со снимками. Всё выглядело точь-в-точь как у деда и на картине передвижника, только у деда не было ковров и толстых разноцветных полиморфных пуфиков, разбросанных у американцев по всему интерьеру — видимо, в них особенно проявлялось новейшее слово современной педагогики.

Басни Крылова всегда разыгрывались в лицах: Волк — в волчьей шубе, Ягненок — в вывороченной овчинной. Уроков как временных отрезков с обязательной сменой предмета не существовало — иногда басенный театр занимал всё учебное время этого дня, зато другой могли целиком посвятить грамматике или математике: если дети увлеклись игрой в числа или корни, занятие это не прерывалось.

Географии и естествознанию дед обучал не в классе, а на прогулках в лесу: лучше делал только какой-то Платон, занимавшийся со своими древними греками в апельсиновой роще. Дед учил определять высоту деревьев, а когда задирали головы, пользуясь случаем, рассказывал, на какой высоте стоят облака перистые (cirrus) и на какой — перисто-кучевые (cirro-cumulus), чем оперенье малиновки отличается от оперенья иволги, какие и где у них гнёзда, учил распознавать их голоса, кстати сообщая, что кукушка кукует, не раскрывая клюва. Рассказывал, как исландцы добывают гагачий пух.

Этот пух — подстилка в гнезде гаги. Они её вынимают, заодно забирают и яйца. Птица опять устилает своим пухом гнездо и снова несёт яйца. Всё забирают во второй раз — из десятка гнёзд можно собрать до полутора фунтов пуха. Но в третий раз уже не берут — за это дед исландцев очень хвалил, Антон не понимал, почему. В доколумбовой Америке не было пчёл — их завезли европейские поселенцы; слона нельзя было застрелить из ненарезного ружья — только из винтовки, с её изобретением для гигантов настали плохие времена; число особей мушек во всяком их рое над озером Виктория превышает число

людей на земном шаре, а таких роёв там сотни; яйцо страуса можно разбить только каким-нибудь орудием, но это делают, как ни странно, не обезьяны, а грифы, которые берут в когти камень и бросают с высоты на это яйцо; из страусиного яйца можно сделать омлет на дюжину едоков (очень хотелось отведать), и странно, что не додумались этих птиц разводить (их разводят, дед, их разводят в Америке на фермах, и в середине 90-х годов страусов там было уже 10 миллионов); удар перепончатой двупалой ноги страуса так силен, что может убить льва, и львы это знают.

Про львов интересных историй было много. Царь Дарий велел бросить пророка Даниила в ров с этими хищниками, но когда пришёл утром, — Даниил был цел и невредим. «Бог замкнул пасти львам», — объяснил Даниил. Дарий освободил пророка и велел почитать его Бога, а врагов его бросить в ров, где львы понятно что с теми сделали. У колибри сходство с пчелой не только в том, что она почти такая же по размеру. Она и питается нектаром. Впрочем, в Австралии есть целое семейство птиц, которые тоже высасывают нектар, они так и называются: медососы.

Когда в этот приезд Антона Тамара стала хвастаться, что им провели водопровод, и он засмотрелся на водяную воронку в раковине, дед сказал: «А ты знаешь, почему воронка в раковине вращается не по часовой стрелке, а против?» Антон не знал. «Магнитное поле Земли расположено иначе». Тут же объяснил, почему стал плох чай: раньше с чайного куста собирали только три-четыре самых сочных и нежных верхних листика, а теперь обрывают чуть ли не весь куст, с грубыми и большими листьями, в которых много пустой клетчатки.

Для сообщения сведений дед пользовался всяким случаем — даже когда делал Антону замечанья.

— Опять! Слушай ухом, а не брюхом — ты не саранча.

Антон удивлённо вскидывался.

— У неё органы слуха расположены на брюшке. Дед постоянно пополнял в сознании Антона — как бы сейчас сказали — Книгу рекордов Гиннесса в природе, рассказывая про всё самое-самое: самый быстрый зверь, развивающий скорость 110 вёрст в час, — гепард (ему, как и борзой, гибкий позвоночник позволяет выбрасывать задние ноги далеко вперёд); самый сильный звук в истории — взрыв в 1883 году вулкана с замечательным именем Кракатау, звук этот был слышен за пять тысяч километров; самая эластичная кожа — у гиппопотамов, несмотря на её толщину в два сантиметра, во времена работорговли из неё делали кнуты; самая совершенная вентиляция убежищ из всех животных и насекомых — у термитов: когда масаи выжигают траву и вокруг бушует пламя, температура внутри термитника не повышается ни на градус.

Только растения плохо помнил Антон, это была дедова стихия, по второй профессии он именовался учёный агроном, их называл то по-русски, то по-латыни; запоминались названия совсем не латинские — когда про беловатый гриб, испускавший из себя облако вонючей пыли, дед, поколебавшись, сказал: «бздюха». Латинское наименование у гриба, впрочем, выглядело тоже как-то сомнительно: люкопердон бовиста.

Иногда дед говорил нечто не очень понятное, но Антон тоже слушал

внимательно и по привычке запоминал:

— Чтобы пользоваться силами Природы и благожелательными её дарами, надобно постичь законы механики, ботаники, знать естественную историю и действовать соответственно. И тогда Природа будет не только строга, но и дружелюбна.

Результаты метод деда, видимо, давал прекрасные: у него было множество каких-то поощрительных листов, а в двенадцатом году ко дню Св. Пасхи он был согласно представлению Министра Народного Просвещения пожалован Большой Золотой медалью Великого князя для ношения на шее. Правда, старики расходились во мнениях: дед говорил, что на Александровской ленте, а бабка — что на Владимирской. «Да что ты, старая! Золотые медали всегда носили только на Александровской ленте! Или на Аннен-ской — но уже для ношения на груди». На эту медаль бабка в девятнадцатом году

выменяла пуд гречки — медаль была большая, «золото настоящее, не то что теперь дают в школах и спортсменам».

После завтрака дед долго брился бритвой «Золинген», старой, хорошей стали, брившей со звоном, купленной в день коронации Николая и за полвека ставшей узкой, как карандаш (интересно, какова она сейчас, у старшего внука, ещё через полвека?), равнял усы, специальными ножничками подстригал волосы в ноздрях, — наблюдать за этим было очень интересно.

Уроки начинались с арифметики. «Купец купил 75 аршин синего сукна, — диктовал дед, — по 1 рублю 20 копеек за аршин... («75 арш. по 1 р. 20 к.», — записывал мелом на печке Антон) и 30 аршин сукна цвета наваринского дыму с пламенем по 2 рубля 50 копеек за аршин. Сколько уплатил фабриканту купец, если...» Самое интересное были задачи-загадки: «Летела стая гусей. Навстречу им — один гусь. — Здравствуйте, сто гусей! — Нас не сто. Вот если б было ещё столько, да ещё полстолька, да ещё четверть столько, то было бы сто. Сколько гусей было в стае?» Или: «Бахус, воспользовавшись сном Силена, взял его урну с вином и стал пить. Но недолго ему пришлось наслаждаться: Силен проснулся, вырвал у него урну и потопил своё горе в остатках вина. Бахус пил в течение трёх десятых того времени, какое нужно было бы Силену одному, чтобы выпить целую урну. Если бы с самого начала оба принялись пить вино из урны в одно и то же время...» Эта задача осталась без решения — слишком интересные пошли рассказы про Бахуса — Вакха, а также вакханок.

Дальше шла грамматика — писали тоже на печке, потому что можно было стирать, например, мягкие знаки в предложении: «Борись за уголь,

сталь» — получалось: «Борис за угол стал». Писали и другие интересные фразы — если читать наоборот, выходило то же самое; называлось: перевертень. Самый лучший был придуман поэтом Державиным, стихи которого деду очень нравились, а Антону — нет, но за эту фразу Антон поэта очень уважал: «Я иду с мечем судия». Некоторое время Антон колебался: не считать ли лучшим перевертень «И суку укуси», но из уваженья к деду и Державину первое место оставил за ним.

В грамматике вообще увлекательного было много, всякие стихи. Искусства ратного Суворов госп-1,

В Италию вступивши лишь е-2,

Разбил французов вне и замешал вну-3...

Или другие разные штуки. Почему говорят: ари-стократ, а не кричистократ, осто-рожно, а не осто-овёсно, до сви-дания, а не до сви-Швеция?

Не скрыл дед и потясающее слово, с которым связана страшная тайна. Все думают, что во всём русском языке есть только одно слово с тремя буквами «е»: длинношеее. И один дед знал второе. Однако пред-упредил, что больше его никому нельзя называть.

Антон сразу догадался: кто услышит — умрёт. Дед этого не исключал, но главное состояло в другом: дед высчитал, когда не только он, а всякий гражданин России будет знать второе слово. Сам дед до этого времени дожить даже и не думал, но полагал, что доживёт Антон, проверит и скажет: «А ведь старик-то был прав!» На всеобщее раздумье дед клал четыре десятилетия. Дед, ты оказался точен: через сорок два года я прочел в «Учительской газете», что на этот вопрос ученики четвёртого класса ответили хором: «Зме-е-ед!»

Потом Антон читал вслух — рассказы Толстого. Дед к этому времени начинал подрёмывать, но когда Антон, желая ускорить дело (вслух читать он не любил — слишком медленно), пропускал фразу-другую, дед, не открывая глаз, сонным голосом её вставлял. Чтоб отбить время от скучного чтения, Антон спрашивал что-нибудь повеселее.

— Дед, а дразнилки у вас в семинарии были?

— А как же. Рядом был монастырь. Мы и дразнились: «Ай, монашка, ай, монашка, куда делась твоя ряска?» Или — к наставникам или духовному начальству — весной: «Птички божий запели, книги к чёрту полетели». Дело здесь, — пояснял дед, — в чёрте, запрещённом слове.

Дразнилки были так себе.

— Скажи лучше про свёклу.

— *Nos sumus boursaci, edemus semper bouraci.* Мы бурсаки и едим всегда бураки.

Если рядом оказывался кто-нибудь, Антон начинал ёрзать на стуле.

— Я предупреждал, — говорил дед. — Для ребёнка столько сидеть — противоестественно. Что, хrapесидии устали?

Хrapесидиями в семинарии назывались ягодицы. Было для этого ещё одно слово, даже лучше первого: афедрон.

Наказаний у деда было два: не буду гладить тебя по головке и — не поцелую на ночь. Второе было самое тяжёлое; когда дед его однажды применил, Антон до полуночи рыдал.

Как-то отец, проходя через кухню, услышал, что дед с Антоном беседуют на темы русской истории.

— И что же ты знаешь из истории? — остановился отец. — Ну хотя бы из начала прошлого века.

— Царствование императора Александра Благословенного, — подсказал дед.

— В это время начали строить шоссе из Петербурга в Москву, — сказал Антон. — А раньше были только грязные дороги, как в Чебачинске.

— А ещё какие события?

— Ещё открыли Лицей — это такой интернат, — где учился Пушкин. Ещё — ещё устроили главный банк для купцов, где они могли брать деньги, чтоб лучше торговать.

— А какое было главное событие? Антон подумал:

— Основание Одессы. Город порто-франко.

Что такое порто-франко, Антон не понимал, но очень нравилось само слово.

— Ну, а всё же самое главное событие? Мировое? Не помнишь? Изгнание Наполеона, взятие Парижа!.. Да, история у вас с дедушкой какая-то немасштабная...

Впрочем, пока всем этим не занимайтесь. Историю будешь изучать в четвёртом классе.

Два раза в неделю было чистописание. Дед доставал пожелтевшие, истрёпанные прописи и уходил делать что-нибудь по хозяйству, а Антон выводил по косым линейкам пером № 86: «Богъ правду видитъ, да не скоро скажетъ».

В мае был экзамен. Старая учительница Клавдия Петровна должна была проверить, может ли Антон идти во второй класс. Экзамен почему-то состоял только из диктанта: «Девятое мая — это был день Победы. Мы ходили на площадь. Знамя несли Коля и Ваня».

Клавдия Петровна прочитала, что написал Антон, исправила что-то красными чернилами и ещё долго молча смотрела в тетрадку. Потом

сказала:

— Давно я не видела ера в ученической тетради.

— Там ошибка?

— Нет, всё в порядке, за диктант — пятёрка. Клавдия Петровна взяла кожаный потёртый ридикюль с никелевым рантом — точно такой же был у бабки, его она купила перед первой войной, — достала из него крошечный носовой платочек, но потом положила обратно.

Дома Антон спросил у деда, что такое «ер». Дед ответил, что твёрдый знак. В диктанте в слове «быль» красными чернилами был зачёркнут «ер».

Первого сентября я с огромным и слегка кособоким телячьим ранцем, который шили всей семьёй, в трофейных, застёгнутых под коленками брючках-гольф, шёл в школу. Шёл впопрыжку, бормотушкой («Семафор, матадор, а не камень Лабрадор») отгоняя страх, потому что чувствовал себя слабым в переводе простых дробей в десятичные, боялся, что это сразу обнаружится — первой в расписании стояла

арифметика. Но на уроке почему-то долго копались в примерах на сложение и вычитание в пределах сотни — над тем, что мы с дедом делали устно. Видимо, дроби должны были переводить на следующем уроке. Но и на другой день занимались тем же. На уроке письма ни о каких частях речи и разборе по членам предложения, чего я тоже побаивался, не было и помина. Дед, не преподавав в начальной советской школе, имел смутное представление о её программе и по ошибке подготовил Антона до четвёртого класса включительно. Во втором классе делать ему было нечего, уроков он не готовил, целыми днями играя в лапту или штандер — игру, которой научил всех Кемпель. Но за первую четверть все оценки были отличные, только по военному делу была двойка.

Двойка в четверти! Отец пошёл в школу. Там он, во-первых, поговорил с Клавдией Петровной, которая ставила пятёрки ученику, за два месяца не открывшему учебник и превратившемуся в бездельника. Во-вторых, он поговорил с военруком Корендясовым.

Выяснилось, что Антон — не военная косточка, про строй вообще не петрит ровно ничего, а когда военрук всё же захотел его поощрить — он оказался первым на марш-броске («он неслабый мальчик»), Антон издевательски крикнул: «Рад стараться!» Но — главное — освоить поворот, особенно «кругом»: пятка-носок. Военрук не поленился показать, как поворачивается Антон. Пяткой-носком там и не пахло.

Вечером пришёл Бондаренко — отставной капитан, а ныне боец скотобойни. Взяли его туда за силу и меткость — по удару молотом он шёл сразу же за кузнецом Переплёткиным и его братом; капитан всегда

подчёркивал, что он, Бондаренко, — боец скота, а не какой-нибудь съёмщик (это значило: шкур) или стопорезчик. Но новую свою профессию он всё равно не любил и говорил, что занимается ею только по необходимости, так как, кроме стрельбы из всех видов оружия, ничего больше не умеет; его мечтою был электрический скотобой, как на знаменитых чикагских бойнях. По слухам, это собирались ввести на Семипалатинском мясокомбинате (том самом, который до войны строил отец Антона и где потом падала в обморок специалистка по реализму Достоевского). Бондаренко пришёл в форме, с орденами, в сверкающих хромовых сапогах работы сапожника дяди Дёмы; пробелы военной подготовки Антона за первый класс были ликвидированы в полчаса. Тут же Антон узнал, что если тебя хвалит старший по званию, то надо говорить не «рад стараться», а «служу Советскому Союзу».

Антон привыкал. К тому, что в школьном задачнике и, очевидно, вокруг, нет никаких купцов и фабрикантов, а есть колхозники, юннаты, стахановцы, и надо высчитывать, сколько гектаров, а не десятин они засеяли и сколько тонн, а не пудов отгрузили за смену.

— Дед, а кто такой Стаханов? — спрашивал Антон.

— Да есть один такой шахтёр — пьяница и жулик.

— Папа! — укоризненно говорила мама.

— Ну, сама и объясняй, — говорил дед. Перед Новым годом Клавдия Петровна сказала:

— Дети!

Так называла только она, другие учителя говорили: «ребята».

— Дети! Скоро у нас в школе будет ёлка. Кто знает какие-нибудь стихи и песенки про Новый год?

Мишка, сосед по парте, прочёл про то, как «на Спасской башне бьют часы двенадцать раз». Стихов этих Антон не знал, они ему понравились, и он сразу их запомнил — он всегда запоминал стихи, которые нравились, с первого раза. И Васька Гагин прочитал хорошее стихотворение:

Белый снег пушистый В воздухе кружиста И на землю тихо Падает-ложиста.

Антон осмелел и тоже поднял руку. Теперь он это делал как следует: сгибал руку в локте, а не просто тянул её вверх, как в первый день, за что над ним вдоволь посмеялись.

— Что ты хочешь исполнить на ёлке, Антоша? — спросила Клавдия Петровна.

— Про Деда Мороза.

И Антон запел альтом как мог высоко: Рождество Христово, Дедушка

Мороз.

Множество игрушек Дедушка принёс.

— Садис, — сказала Клавдия Петровна; она говорила: «садис», «шыгать», «коришневый», «сделалса», «лев»; Антону это почему-то очень нравилось.

— Дедушка тебя научил? Это хорошая песенка, Антон, но ты ее споёшь в другое время.

Другое время наступило нескоро. Антон обучил этой песенке дочь Дашу, однако пела она её только дома и то стеснялась. Но недавно внучка Антона спела её на ёлке; песенка молодой учительницей была одобрена.

Какие-то казусы всё время случались на уроках истории СССР в четвёртом классе. Рассказывая про жизнь древних славян, Антон бодро затарабанил по Иловайскому: «Славяне были нетребовательны в пище — они довольствовались мясом, хлебом, мёдом и молоком». Класс, питавшийся преимущественно картошкой, грохнул хохотом. В другой раз Антон, освещая революционную ситуацию в деревне, сказал:

— Деревня выступала за большевиков. Туда приезжали инвалиды-пропагандисты.

— Почему инвалиды? — возмутилась учительница.

Этого Антон не знал. Но дед всегда говорил только так: в Мураванке всё было тихо, но приехал инвалид-пропагандист. Или: имение Жулкевских стояло нетронутым, но тут явились два инвалида-агитатора и усадьбу сначала разграбили, а потом и вообще сожгли.

И ещё долго Антон будет говорить «Александр Второй, Царь-Освободитель», а на уроках географии — «Северо-Американские Соединённые Штаты», «Северный Ледовитый и Южный Ледовитый», и на уроках физики — что радио изобрёл Маркони, называть перенос единитной чертой и писать иногда по рассеянности в конце слов еры, что будет особенно раздражать преподавательницу литературы, считавшую, что Антон делает это из хулиганства.

8. Гений орфографии Васька Восемьдесят

Пять Всякий раз, когда Антон видел кирпич или слово «кирпич», он вспоминал Ваську Гагина, который это слово писал так: кердпич. Слово исчерчивалось красными чернилами, выводилось на доске. Васька всматривался, вытягивал шею, шевелил губами.

А потом писал: «керьпичь». Когда учительница поправляла: падежи не «костьвенные», а косвенные, Васька подозрительно хмурил брови, ибо твёрдо был уверен, что название это происходит от слова «кость»; Клавдия Петровна в конце концов махнула рукой. Написать правильно «чеснок» его нельзя было заставить никакими человеческими усилиями — другие, более мощные силы водили его пером и заставляли снова и снова догадливо вставлять лишнюю букву и предупредительно озвончать окончание: «честног».

Из своего орфографического опыта он сделал незыблемый вывод: в русском языке все слова пишутся не так, как произносятся, причём как можно дальше от реального звучания. Все исключения, произносимые согласные, звонкие на месте произносимых

глухих, безударные гласные — всё это бултыхалось в его голове, как вода в неполном бочонке, который везут по ухабам, и выплёскивалось с неожиданной силой.

В четвёртый класс измученная Клавдия Петровна перевела Ваську с ерезкзаменровкой по русскому языку. Васькин дядька (родителей у него не было) отчесал его костылём. И пообещал повторить воспитание осенью, если Васька не перейдёт в следующий класс.

Надо было Ваську выручать. Мы стали писать с ним диктанты. Результат первого был ошеломляющ. В тексте из ста слов мой ученик сделал сто тридцать ошибок. Дед посоветовал, проработав их с Васькой, ту же диктовку повторить. Васька сделал сто сорок. Дед сказал, что за тридцать пять лет преподавания такого не видывал — даже в партшколе и на рабфаке. Мне тоже с тех пор приходилось читать разные тексты — заочников, слушателей ветеринарных курсов, китайцев, вьетнамцев, студентов с Берега Слоновой Кости, корейцев. Ничего похожего не было и близко. Думаю, и не будет. Васька был гений и как всякий гений был неповторим. Где, чья изошрённая фантазия додумалась бы до таких шедевров, как «пестмо», «пе-джаг», «зоз-тёжка»? Когда и кто бы ещё смог «абрикос» превратить в «аппрекоз»?..

Это был мой лучший друг. Когда в четвёртом классе (Вася бы написал: «в клазсе») учительница дала тему домашнего сочинения «Мой друг», я не размышлял и секунды.

Начало пошло легко: «У меня есть друг Вася. Мы во всём помогаем друг другу. Летом, когда было очень жарко, мы писали с Васей диктанты». Однако дальше, когда следовало осветить уже Васькину помощь другу, то есть мне, писанье застопорилось. В памяти всплывало что-то не то: как Вася таскал для меня огурцы с тёткиной грядки или отдал обратно часть выигранных у меня же перышек, чтобы мы могли играть в эту запрещённую азартную игру дальше. Или вспомнилась история со штанами. Была такая весёлая забава: пока ты купаешься в речке, твою штанину завязывают узлом. Узел затягивают двое — вроде перетягивания каната. После этого штанину ещё замачивают.

Развязать такой узел детскими пальцами и зубами практически невозможно. Я энергично приступил к описанию подобного эпизода, где главным героем был Вася. «Однажды жарким знойным летом, когда всё живое стремится к воде, мы пошли купаться». Начало своей художественностью мне понравилось. Но дальше пошло хуже: «Пока я купался, Вася не дал завязать узлом мою штанину...» Это была неполная правда, и я добавил: «и замочить её в тине, чтобы она стала грязная и скользкая и чтобы её нельзя было развязать». Это была уже неприкрытая правда. Но что-то главное из масштабов Васиной услуги всё же ускользало. Я долго грыз конец ручки, выплёвывая голубую краску, и закончил: «И я не пошёл домой без штанов». Получалась уже полная чепуха. Явно не подходила для школьного сочинения и другая тема, связанная с Васиным великодушием и добротой, — как он всегда оставлял докурить своим товарищам не «двадцать», а «сорок», т. е. окурок, составляющий лишь немногим меньше половины папиросы.

Но сочинение не могло остаться без конца. Не миновать было обращаться к деду. Правда, он мог сказать: «Неудобовразумительно, в написании очень длительно»; однако он заметил только, что ограничился бы одной фразой общего характера, и тут же такую фразу предложил: «Приятель в моих делах также принимал живейшее участие, оказывая мне всяческую помощь, и во всех превратностях судьбы на него можно было положиться вполне». При этом дед особенно хмурил брови — как всегда, когда усиливался не рассмеяться. Но я очень торопился, и мне было не до дедовых бровей.

Через два дня Клавдия Петровна, раздавая сочинения, спросила:

— Антон, а какие превратности судьбы ты имел в виду?

Я молчал, потому что «судьба» в моём сознании тесно связывалась со словом «суд» — в этом соседстве они всегда оказывались в речах и деда, и бабушки. Объяснить это было сложно. Но я всё-таки выдавил:

— Это когда меня будут судить.

— Судить? — поразилась Клавдия Петровна. — Тебя?..

— Ну, когда я вырасту.

Клавдия Петровна больше не расспрашивала.

Когда в этот приезд Антон её навестил, ей, как и деду, было за девяносто, она уже не помнила ничего и Антона. Но когда он произнёс: «превратности судьбы», в её водянистых глазах что-то засветилось:

— Да, это ты... и Вася. Как же! — учительница оживилась. — Он ещё писал «пестмо», а «во втором» — с четырьмя ошибками: «ва фтаромм». Надо ж было изобрести! — она восхищённо всплеснула слабыми руками. — Это мог только он!

Но прославился Василий не своей орфографией, с которой был знаком лишь узкий круг. Славу ему принесло художественное чтение стихов — его главная страсть.

На уроках он о чём-то думал, шевеля губами, и включался только когда Клавдия Петровна задавала на дом читать стихотворение.

— Назуст? — восторгаясь Васька.

— Ты, Вася, можешь выучить и наизусть.

Он выступал на школьных олимпиадах и смотрах. На репетициях его поправляли, он соглашался. Но на сцене всё равно давал собственное творческое решение. Никто так гениально-бессмысленно не мог расчленить стихотворную строку. Стихи Некрасова Умру я скоро. Жалкое наследство, О родина, оставлю я тебе Вася читал так:

— Умру я скоро — жалкое наследство! — и, сделав жалистную морду, широко разводил руками и поникал головою.

Отрывок из «Евгения Онегина» «Уж небо осенью дышало», который во втором классе учили наизусть, в Васиной интерпретации звучал не менее замечательно: Уж реже солнышко блистало, Короче: становился день.

После слова «короче» Вася деловито хмурил свои тёмные брови и делал рубящий жест ладонью, как зав РОНО Крючков.

Энергичное обобщение в стиховой речи Вася особенно ценил. Строку из «Кавказа» «Вотще! Нет ни пищи ему, ни отрады» он сперва читал без паузы после первого слова (его он, естественно, принимал за «вообще»). Но Клавдия Петровна сказала, что у Пушкина после него стоит восклицательный знак, а читается оно как «вотще», то есть «напрасно».

Вася, подозрительно её выслушав (учителям он не доверял), замечанье про «вотще» игнорировал, про паузу принял и на олимпиаде, добавив ещё одну домашнюю заготовку, прочёл так: «Вааще — нет ни пищи ему, ни отравы!»

В «Родной речи» были стихи: Я — русский человек, и русская природа Любезна мне, и я её пою.

Я — русский человек, сын своего народа, Я с гордостью гляжу на Родину свою.

Имя автора изгладилось из моей памяти. «Любезна» и «пою» тяготеют к державинскому времени, но «сын своего народа» — ближе к фразеологии советской.

Вася, встав в позу, декламировал с пафосом: Я русский человек — и русская порода!

И гулко бил себя в грудь. По эффекту это было сопоставимо только с выступлением на районной олимпиаде Гали Ивановой, которая, читая «Бородино», при стихе «Земля тряслась, как наши груди» приподняла и потрясла на ладонях свои груди — мощные, рубенсовские, несмотря на юный возраст их обладательницы.

Шедевром Васи было стихотворение «Смерть поэта»: «Погиб поэт — невольник! Честипал! Оклеветанный! — Вася, как Эрнст Тельман, выбрасывал вперёд кулак. — Молвой с свинцом!»

Дальнейшую интерпретацию текста за громовым хохотом и овацией разобрать было невозможно. Васька был гений звучащего стиха.

Его пробовали исключать из списка участников очередной олимпиады. Но на совещании директоров школ-участниц зав РОНО Крючков неизменно спрашивал директора нашей школы: «А этот, поэт-невольник, будет что-нибудь декламировать?» И Гагина срочно вписывали обратно.

Начиная с четвёртого в каждом классе он сидел — всё из-за того же русского языка — по три года. Дядька после получения очередного известия о второгодничестве вздувал Ваську костылём, после чего воспитательный вопрос считал исчерпанным.

К шестому классу это был здоровый 16-летний парень с мощной мускулатурой и широкими плечами. Начиная с мая месяца он ночевал не в избе, а на сеновале. Вскоре туда же переселялась Зинка, его кузина, в свои пятнадцать выглядевшая на девятнадцать.

Всё лето Васька жил с ней как с женой (они даже ругались по утрам и Зинка, девка здоровая, один раз спихнула Ваську с повети). Тётку это почему-то не волновало; каждый вечер, после ужина, она командовала: «Дети, марш на сеновал!» (Зимой эти дети жили с нею и её мужем в одной

комнате.) Васька свою связь передо мной не скрывал, но особенно про неё и не распространялся — может, потому, что я смертельно ему завидовал.

В шестом классе они вернулись в свою деревню. Последним, дошедшим до меня в чужой передаче его шедевром стало слово «арарх» — так, полагал Вася, называлось явление, обозначаемое в учебнике как «феодалная иерархия».

Прозвище у Васьки было «Восемьдесят Пять». Почему — никто не знал. Но Ваське оно чем-то очень подходило.

9. В бане и около

Венцом сегодняшнего маршрута была баня. Утром, уходя, Антон сказал деду, желая его развеселить:

— Таз братъ?

В Антоново время в баню ходили не только со своими вениками. Отец Антона, человек в городе уважаемый, учитель, известный лектор общества «Знание», шествовал через город с огромным белым эмалированным тазом: шаек в моечной не хватало, и кто со своим тазом — шёл без очереди.

Баня была на месте — краснокирпичное одноэтажное здание со странно, у самой крыши расположенными окнами — чтоб не подглядывали. Её, как и школу, построил купец Сапогов; Антон долго считал, что благотворитель — такая должность, тот, кто строит главные здания в городе: больницу, почту, школу, райком партии. Всё это были большие дома, из кирпича или могучих брёвен, рассчитанных на вековое стояние.

И теперь, в конце века, они стоят так же прочно, не оседают, не гниют, не требуют капитального ремонта.

Баня была не просто моечным заведением — она была клубом, кафе. В предбаннике отдыхали после парилки (парились жестоко, до морока, выскакивали, как из преисподней), помывшись, долго сидели в чистых кальсонах, попивая клюквенный морс,

домашнюю бражку (мысль о том, что мог быть буфет, никому и в голову не приходила), курили, не торопясь одевались. И разговаривали — из-за этого Антон с одеваньем всегда сильно запаздывал, слишком много интересного рассказывали, сидел раскрыв рот. Как-то, услышав, что отец выговаривает ему за это, сидевший на соседней скамейке завернувшись в огромное трофейное полотенце сосед, капитан Сумбаев, солдат пяти войн, как он себя именовал, сказал:

— Ты же будущий боец. Отменили в младших классах военную подготовку. А зря! За сколько может одеться солдат? У кого часы с секундомером? Засекай. Минута будет — скажешь.

Открыв шкафчик, где вся одежда была разложена в невероятном порядке, капитан, как будто и не очень торопясь, надел бельё, галифе, неуловимыми движениями, как фокусник, в несколько секунд обернул ступни белоснежными портянками, которые до этого были аккуратно расправлены на жерлах сапог, влез, звякнув медалями, в гимнастёрку,

затянул ремень и, ещё успев провести по редким волосам гребешком, притопнул и прищёлкнул каблуками.

— Пятьдесят пять, — сказал владелец секундной стрелки.

Антон глядел зачарованно — и больше всего на сапоги, сверкающие, как карагандинский уголь-антрацит. Из-за забора он иногда видел, как Сумбаев чистил их на крыльце. Антон успевал дойти до колодца, набрать воды, сходить ещё раз — капитан, громко плюя и стуча щёткой о щётку, всё чистил. Осенью при чебачинской грязи хватало этого блеска на полквартила, но он чистил всё равно. Это было непонятно. Отец же — неизменно восхищался. Сам он тоже придавал чистке сапог большое значение, варил с помощью мамы гуталин по особенному рецепту, взятому ещё в Москве у знакомого ассирийца на углу Тверской и бульваров. Гуталин получался неважный (не тот воск, разве это воск? стеарин), плохо растирался, сапог приходилось греть при открытой заслонке у печки, и когда после войны отец поехал в Москву, то навёз множество баночек, бутылочек и разноцветных бархоток, после чего мог соперничать с Сумбаевым в зеркальной гладкости сапожных головок и мягком глубоком блеске гармошек голенищ.

Баня была клубом, своей газетой. Поэтому в неё ходили даже тогда, когда мытьё там не очень отличалось от домашнего — замерзал водопровод («Мелкое заложение», — говорил работник водокачки Гурка), воду привозили на быках, заливали в котёл ведрами и выдавали по норме — четыре шайки на человека. Именно в предбаннике я впервые услышал про Васю Тёркина, который воевал «в соседнем батальоне» и про которого один поэт, тоже наш брат-фронтовик, майор, так здорово написал — про всё: про окопы, про кормёжку и про баню тоже: «Не спеша надел солдат новые подштанники, не спеша надел штаны и почти что новые, с точки зрения старшины, сапоги кирзовые». С точки зрения старшины! Это тебе не вошь на блюде, это промеж нас потереться надо! Тут же сказали, что майор этот — из кулацкой семьи, которая вся кукует где-то на поселении за Уралом, и что через такие стихи её должны бы отпустить или, по крайности, срок скостить — но вряд ли, не зависит, Русланова сидит вон уж сколько.

Может, из-за того, что близко были Карлаг, Долинка и другие большие лагеря, или потому, что в Чебачье приезжали для отбытия послелагерной ссылки из самых разных мест, но осведомлённость жителей была поразительна. И с молодых ногтей Антон знал, что Козин отбывает срок под Магаданом, а Зоя Фёдорова — в Дубровлаге, жена Зиновьева отмотала срок и после войны работает воспитательницей в детсаду в Магадане, что сидят

жёны Калинина и Молотова. Рассказывали с таинственными лицами подробности: продукты жене Молотов отправляет туда на самолёте — белый хлеб, колбасу там, шпроты. Фамилия её Антону очень нравилась: Жемчужина. Слышал Антон и то, что в войну самые большие посадки и расстрелы были после крупных поражений на фронтах и осенью, когда предстояло собирать урожай, что сажали волнами: волна дворян, волна инженеров, учёных, церковников, партийцев.

Маленьким Антон иногда ходил в баню с мамой. Женское отделение он любил гораздо больше: в предбаннике был большой фикус в кадке, а в моечной разглядывать было что, картины эти запечатлелись навсегда. Но с шести лет мама его брать с собою перестала. Друзья его продолжали ходить в баню с матерями уже будучи школьниками, и не первого класса, и, бывало, встречали там своих учительниц. Васька Гагин получил однажды намыленной мочалкой по физиономии, когда слишком долго рассматривал старшую пионервожатую — ещё шею вытянул, гадёныш. «Ну чего шумишь, — успокаивала её Васькина тётка. — Не Лемешева я сюда привела, ребёнка!» Учительницы выговаривали банщице Петровне, она давала обещанья больших впредь не пускать, но всё равно пускала, потому что была женщина добрая и понимала, что мальчику послевоенной безотцовщины идти больше не с кем (без взрослых — не разрешалось).

Антон отправляли мыться с дедом. Самое лучшее в бане было — мочалка, огромная, лохматая, взбивавшая чудную пену. Когда поистёрлась довоенная губка, дед принёс с конного двора две рваные рогожи; из них он дня три дёргал мочалу, Антон немножко ему помогал.

— Дедка, а как ты узнал, что там есть рогожи?

— Где извозчики и лошади — не может не быть. Накрыть поклажу, да и самому укрыться в непогоду.

Мочалку у деда нередко просили — те, кто мылись носовыми платками, холстинками. Дед давал, но без особого удовольствия.

— Дед, а почему они не надёргают, как мы, себе такую же?

— Спроси у них.

Отец в баню ходил гораздо чаще, чем раз в неделю, изыскивая предлоги всяческие: уголь разгружал — надо отмыться, в лес за дровами ездил — надо прогреться, бывший ученик можжевельный веник подарил — надо опробовать, никогда не паривался. Бабка поглядывала неодобрительно: стирки на одиннадцать человек и так было выше головы, отец же кроме чистого белья всякий раз требовал свежее полотенце, а то и два.

Когда в бане замерзал водопровод, бабка мыла Антона дома в

деревянном корыте, таком длинном, что он, мальчик рослый, вытягивался в нём во всю длину, и место ещё оставалось. Таких корыт Антон не видел больше нигде и никогда — ни у гуцулов, ни в Забайкалье, ни в дагестанских аулах. Было оно из целикового дуба и походило на ту лодку, которую выдолбил себе Робинзон и которую не мог сдвинуть с места — когда корыто надо было поставить на стол, где проходило мытьё, бабка звала деда или Тамару.

Антон мыться не любил: собственного производства мыло зверски щипало глаза, бабка всегда спешила и голову тёрла так энергично, что та моталась, как у тряпичной куклы, бабкины пальцы были железные, тренированные ручной стиркой на огромную семью с семнадцатого года (после бабки, Тамары, тёти Тани Антон долго считал, что все женщины такие сильные), да ещё под конец окатывала Антона из ведра колодезной ледяной водой.

Раз Антону пришлось париться в русской печи. (Отец тоже пробовал, но нашёл, что свод низок, нет размаха для веника — не то что в печи родового дома под Бежецком.) Катаясь с Васькой на Речке, Антон провалился сквозь тонкий лёд и, обледенелый, еле прибрёл домой. Бабка, срывая с него одежду, причитала, что нет спирта и даже водки для растирки. Но отец сказал, что Антоша выбрал время очень удачно — из печи только что вынули хлебы, и он будет греться, как древние славяне. Бабка ворчала, не одобряя эти простонародные штучки. Но отец быстро выгреб горячую золу, набросал мокрой ржаной соломы, запустил внутрь Антона, строго наказал не шевелиться, не дай Бог тронуть раскалённый свод — и закрыл устье заслонкою. Стало темно, выколи глаз, душно и страшно; Антон вспомнил, как, пытаясь выбраться, только обламывал кромку льда, — если б не Васька, подползший к полынье на брюхе и протянувший палку, лежал бы сейчас на дне. Он стал сначала тихо всхлипывать, а потом зарыдал в полную силу.

— Дыши глубже, — глухо донёсся откуда-то голос отца. — А то заболеешь воспалением лёгких.

Глубоко дышать и одновременно рыдать не получалось, Антон затих; воспалением он не заболел.

Когда Антон немного подрос, они ходили с дедом в станционную баню, если городская не работала, — за четыре километра по тридцатиградусному морозу; когда у Антона появилась своя дочь, он никак не мог понять, как отпускали; но отпускали, и ничего. Приезжая на каникулы, он ходил попариться с отцом, большим знатоком парного искусства. Обхаживал сына веником: «Ну и спина у тебя стала! Как стол!»

Спрашивал, не забыл ли Антон, как взбивать пену в тазу. Впрочем, сейчас это искусство лишнее, там у вас всякие шампуни... Отец говорил «у вас», а раньше всегда — «у нас»; у Антона что-то ёкнуло, он дал себе слово перевезти его обратно в Москву. Спрашивал и про московские бани, удивлялся, что сын только раз посетил Сандуны. Попад в впервые в столичную баню, Антон поразился обилием толстяков с висящими животами и женскими складками на бёдрах, молодых мужчин с ровными от плеча до запястья руками, на которых не просматривалось и следа мускулов. В Чебачинске пузач был один — председатель райпотребсоюза Гатыч (бюрократов в «Крокодиле» рисуют пузатыми, считал Антон, для пущего смеха). Баню наполняли поджарые, мускулистые мужики — и учителя, инженеры, врачи тоже были такими.

Всё оказалось на месте. В банщиках состоял тот же Петрович, брат банщицы Петровны, которая иногда его в мужском отделении заменяла, и мужики неизменно острили: «А Петрович теперь у баб?» Был он человек добрый. Инвалидам всегда помогал дойти до места, приносил полный таз; иногда на лавке получалось четыре ноги на троих.

Деликатность его доходила до забвенья профессионального долга, это было странно, а может, и нет, потому что в банщиках он ходил давно — ещё в Потье семь лет мыл эков.

Однажды в моечной появился пожилой казах с какою-то кожной болезнью, Антон в ужасе отсел на дальнюю скамейку. По инструкции банщик должен был его не пустить. Но Петрович, только когда казах уже одевался, подошёл и, смущаясь, сказал: «Вы бы, дедушка, сходили в кожный диспансер, что у озера». Казахов в бане Антон видел редко, говорили, что они вообще не моются, только меняют бельё. Мама считала, что это наветы: возле лошадей, овец они все давно поголовно были бы в чесотке или ещё в чём похуже.

Но дед говорил, что бедуины в Сахаре тоже не моются, мытьё им заменяют струйки песка, попадающие под просторный бурнус и свободно высыпаящиеся обратно.

Голова и борода Петровича по-прежнему вороно чернели; был это огромный мужик, Антон страшно завидовал тому, что он держал в пальцах одной руки таз с водою как какую-нибудь миску.

— А, москвич! — узнал Петрович. — А как там, паришься? Да, небось, негде. Залезут в ванну, тут же моются, тут же плюют и в этой же воде сидят.

Всё было на месте. Даже деревянные шайки ещё попадались. Правда, основной парк тазов Петровича был уже цинковый. Антон налил таз,

взялся одной рукою за закраину, поднял, но с трудом, хотя таз был неполный — Петровича было не достичь.

Появились и новшества: буфет, где наливали томатный и яблочный сок, а под праздники — и пиво.

Разморённый, чистый, с вертящейся в голове поговоркой «счастливый, как из бани», возвращался Антон домой (назойливая память добавляла: «Усталые и довольные, пионеры...»). Но беспримесной радости на отчине испытать не получалось. На месте дома Генки Меншикова, утопавшего в кустах сирени, стояла серая пятиэтажка. Сидевшую на лавочке у подъезда женщину Антон сперва не узнал — неуж это сестра Генки Лидочка, поражавшая какой-то особой белорозовостью и нежностью щёк? неуж все будут такими? К этому Антон не мог привыкнуть никак и сильно огорчился, за что над ним смеялись. Он отвернулся и убыстрил шаги. В особенно огорчительное состояние привела его Банная Горка.

Эта горка была местом зимних катаний. Устраивал её Петрович. Грязная вода из моечной стекала под стену, в отстойник, он выходил, черпал оттуда ведром и поливал

горку. Мы катались с неё на санках, которые бесплатно делал сосед Гурий, мастер на все руки, — такие я потом видел, готовясь к экзаменам на истфаке, в одной из книг Арциховского о раскопках в Новгороде Великом. Васька Гагин приходил с ледянкой — толстым диском с полметра в диаметре, слепленным из коровьего навоза, замороженным, с нарощенным на скользящей поверхности льдом. Ледянка была неуправляема, но зато во время движения здорово вертелась вокруг своей оси.

— Иду на таран! — кричал Васька, направляя свою ледянку на Кемпеля. — Смерть немецким оккупантам!

Но непредсказуемая ледянка, крутясь, врезалась в санки Вальки Шелепова, а непротараненный Кемпель тоже орал про смерть немецким оккупантам и ударял в бок мои санки.

— Та-та-та-та-та-та! — изображал автоматчика Генка Меншиков. Он всегда, даже во время уроков, стрелял из автомата. Его ставили к доске, выгоняли из класса, вызывали родителей, но не помогало ничего — он продолжал строчить очередями.

Банная Горка сыграла роковую роль в судьбе моей первой учительницы. «И кажется я тому причиною».

В тот день, придя после катанья домой, я сразу расстроился: с мамой не поговорить — по делам олимпиады пришла завуч нашей школы, которую у нас дома называли Сорок Разбойников. У отца для домашнего употребления почти все преподаватели имели прозвища: Ваня Скок,

Златозубка, Заплаткин, Который за Кустом. Последнее прозвище, впрочем, по словам мамы, придумал я лет в пять — ходил и распевал: «Соркин ходит за кустом, за кустом!» Математик Константин Христофорович именовался «Младший Бенкендорф» — по совпадению его имени-отчества с братом шефа жандармов. Но женщины ушли в другую комнату, значит с отцом можно было беседовать без помех.

— А мы сейчас возле бани с горки катались, — сообщил я.

— С ледяной? — рассеянно спросил отец. Он, не отвлекаясь от газеты, всегда умел схватить суть ситуации.

В данном случае эта суть заключалась в том, что горку вчера Петрович полил сточной водой, и она покрылась толстым слоем превосходного грязно-серого льда.

— Ледяной! — я рассказал про Петровича. Отец молчал. Тогда я пустил в ход вторую, сенсационную новость.

— А с нами Клавдия Петровна каталась.

— Угу, — сказал отец. Его, видимо, не очень удивило, что учительница начальной школы руководила развлечениями своих питомцев. Но тут я добавил с торжеством:

— На венике!

— Хорошо, — сказал отец. Потом вдруг опустил газету. — Как ты сказал?

— На венике, — твердо повторил я. — На банном.

— Погоди-погоди. Кто катался на венике?

— Клавдия Петровна. Она каждую среду после бани так катается. Васька говорил. Только я в это время «Музыкальную шкатулку» слушаю. А сегодня радио не работает — мукановский верблюд чесался об столб и сломал.

— Чесался об столб... И как это она катается?

— Садится и едет. А сумку держит на коленях, — объяснил я.

— Кто катается на венике? — спросила, входя в комнату, мама.

— Клавдия Петровна, — сказал я с неохотой, потому что за маминым плечом уже маячила Сорок Разбойников.

— На венике? Как ведьма, что ли? — сказала Сорок Разбойников.

— Не как ведьма, — обиделся я. — Она хорошо ездит.

— Я же говорила вам, Анастасия Леонидовна, — сказала Сорок Разбойников. — Шизофреничка. Нетяжёлая форма. Проявляется редко.

Слово «шизофреничка» Антону понравилось, в нём было много хороших звуков. Слова, которые ему нравились, он оставлял на вечер и шептал их, уже лёжа под одеялом.

«Шизофреничка», — повторил он, засыпая.

На другой день Антон, как обычно, сообщил новое слово Гагину. Васька написал на доске: «Шезохреничка». Клавдия Петровна вошла в класс, прочитала, села за свой стол и заплакала. Потом вышла. В класс она не входила больше никогда. Как рассказывал потом Атист Крышевич, преподаватель немецкого и английского, в учительской Клавдия Петровна долго рыдала, сообразительная Сорок Разбойников вызвала не врача, а сразу санитаров из местной психбольницы, а кто туда попадал — оставь надежду входящий.

Через месяц её выписали с диагнозом «элементы депрессивного психоза», в школу обратно не взяли, а в пенсионном возрасте она состояла уже давно. Любили её все — и ученики, и родители. Первоклассники у неё раньше, чем у других, начинали читать — даже переростки из оккупированных областей, которые за парту садились в девять, в десять лет. Её ученики до сих пор поражают всех своей гротовской каллиграфией. Никто никогда не замечал каких-либо отклонений в её психике. Депрессивный психоз проявлялся только — в катании на венике с ледяной горки. Факт этот фигурировал как единственный и в её истории болезни.

10. Кооперативный конь Мальчик, или Черепаха Наполеона

У Банной Горки понуро стояла серая лошадь, без уздечки, непривязанная. Рядом курил мужик.

— Твоя, что ли? — спросил Антон.

— Ну.

— А неподкованная почему?

— Банная. Больная. Забивать надо, а на бойне не берут.

— Что ж будешь делать?

— А пускай стоит. Можя, сама околеет. Два раза уже выгонял с конного двора — приходит обратно. Двадцать девять лет коню. Куда уж.

Двадцать девять! Именно столько лет было Мальчику, главной и единственной тягловой силе кооператива «Будённовец», организованного семью преподавателями Чебачинского горно-металлургического техникума в сорок третьем году, когда им полгода не выдавали жалованья и они только расписывались, что добровольно перечисляют его в фонд обороны.

Название придумал парторг Исаканов:

— Так будет политически грамотно. Никого не удивит. И намёк на коня.

Конь, которого приобрели кооператоры, был комиссованный, со съеденными зубами 29-летний мерин, худогривый, однако хвостатый и редкой масти: спереди мухортый, а дальше чалый, но в пежинах, отец говорил, что в яблоках, но было ясно — чтобы поднять его лошадиный престиж. «Конь — огонь, — специально для Антона добавлял он, — четыре ноги, пятое брюхо, едет хоть мокро, хоть сухо».

Ирония названия кооператива заключалась в том, что Мальчик был никоим образом не будённовец, а совсем даже колчаковец, мобилизованный в Омске и исправно служивший в Белой армии, в перипетиях Гражданской войны оказавшийся от Омска в двухстах километрах — в Чебачинске. Старый конь, не страшившийся ни выстрелов, ни огня костра, единственно чего боялся — это красных знамён и людей в красноармейской форме, при виде их шарахался и мог понести. А так как по улицам тихого и глухого Чебачинска почему-то всё время с пением и посвистом маршировали красноармейцы, то недостаток оказался существенным. К счастью, вскоре он самоликвидировался: ввели новые знаки отличия, и Мальчик не только

перестал шарахаться от воинских колонн, но начал проявлять к ним острый интерес и всё время норовил подъехать поближе к

командиру в золотых погонах, сменяя при этом строй. Дорогу кооперативный конь запоминал с первого раза лучше опытного шофёра, и даже завуч Канцевич благополучно довозил до дому сено или картошку.

По этому поводу дед рассказывал про лошадь Липку, на которой он ездил в бытность директором совхоза «Весёлые Терны» на Украине в двадцатых годах, — кобылу необыкновенной резвости, орловской породы (следовал рассказ о графе Орлове и его конзаводах), серой в яблоках, а хвост и грива белые. Утром совхозный конюх выпускал её, уже осёдланную, и она сама прибегала к дому, а когда дед выходил, клала ему голову на плечо. (Когда дед про это говорил, мне показалось, что у него блеснули слёзы — этого я не видел более ни разу, даже когда он рассказывал о разорении их имения, о смерти брата в харьковской тюрьме, о расстреле другого.) Приехав на вокзал, дед Липку тоже отпускал: «Липка, домой!» И Липка, подождав, пока тронется поезд, неторопливо бежала домой иноходью.

— Как мустанг-иноходец? — уточнял Антон.

— Именно. Шаг у нее был широкий, красивый, мерный. Ходила она только под седлом, верховых лошадей у нас никогда не запрягали.

Мальчик являлся единственным имуществом кооператива и его основой. «Транспорт — наше всё», — говорил отец. Или, привезя на Мальчишке очередной воз: «Солома решает всё».

Жил Мальчик у Саввиных — Стремоуховых. Остальные члены «Будённовца» не знали не только как ухаживать за конём, но и как его запрягать. Профессор Резенкампф, ссыльный ленинградский немец, собираясь воспользоваться тягловым средством кооператива, вынимал кожаную записную книжку с золотым обрезом, укреплял её на воротах и начинал запрягать, справляясь с чертёжиком, который нарисовал со слов отца.

И делал всё вполне успешно: под чересседельник не забывал подкладывать потник (сушившийся у печки, отчего в комнате всегда пахло лошадьё), даже перед затягиваньем подпруги заправски пихал коня кулаком в брюхо, чтобы тот выпустил воздух, — пока не доходило до хомута. Хомут в своём рабочем положении, то есть клещевиной вниз, не налезает на конскую голову. Его надо перевернуть и, надев, уже на шее, перевернуть обратно, после чего клещевину можно стягивать супонью. Отец, обычно присутствовавший при процессе как консультант, молча переворачивал хомут, надевал и снова переворачивал. «Думкопф!» — бил

себя по лбу профессор и делал помету в книжке; в следующий раз всё повторялось.

Летом Мальчик обеспечивал сенокос, возил тяжёлые возы. Воз с сеном отец умел пригнести бастрыком и увязать конопляной верёвкой дедова производства так, что когда однажды при виде колонны красноармейцев Мальчик шарахнулся и телега опрокинулась, сена не вывалилось ни охапки, солдаты поставили телегу на колёса, и воз покатил дальше.

На пырее и лесном разнотравье Мальчик глажел, шерсть начинала блестеть, и дед, чистя его, кричал от удовольствия. Антону казалось, что коню больно от железной скребницы, но дед говорил, что шкура у него толстая, как подмётка, и ему только приятно. Мальчик действительно довольно пофыркивал, и Антон декламировал в такт: «Скреб-ни-цей-чистил-он-ко-ня». Из лезлой шерсти, набивавшейся в скребницу, получались вполне приличные мячики, которыми можно было играть в лапту, — о резиновых только слышали.

Антон на покос стали брать, когда он учился старших классах. Делянки нарезали далеко; выезжали на неделю-две, жили в шалаше. Косили всегда с коллегой отца — преподавателем педучилища. До войны он состоял редактором местной газеты, но допустил политическую ошибку и чудом избежал ареста — только потерял должность.

Фамилия его была Улыбченко. Это был маленький человечек, который никогда не улыбался. В войну он попал в плен, но, пройдя все фильтрационные советские лагеря, был отпущен и даже преподавал литературу. Однако когда вскоре местному НКВД спустили

разнарядку на двух человек по линии связи с зарубежными разведками, Улыбченко оказался первым и бесспорным кандидатом.

Всю жизнь он писал диссертацию «Пословицы и поговорки»: до посадки — «в трудах И.В. Сталина», после — «в докладах и выступлениях Г.М. Маленкова», затем — «в речах и беседах с народом Н.С. Хрущёва». В последний раз, когда его, уже седого, Антон встретил во дворе МГУ на Моховой, он прикреплялся к кафедре русского языка, чтобы писать диссертацию «Пословицы и поговорки в трудах Л.И. Брежнева». Косил он хорошо.

Улыбченко считал, что Антон тоже косит хорошо, отец же говорил — «на хорошую тройку». Практики, конечно, было маловато. Антон считался на подхвате — собирал сучья для костра, мыл посуду, ездил на Котуркуль за водой. Воду он возил в маленьком пузатом бочонке на багажнике велосипеда Улыбченки. Подразумевалось, что весь обратный путь Антон велосипед ведёт, ибо при езде с полным бочонком по просёлку можно

упасть. Но Антон обратно тоже ехал, а сэкономленное время использовал для неторопливого купанья в прозрачном, как слеза, озере. Однажды, когда отец косил на дальней делянке, Антону вдруг стало так тоскливо и захотелось домой, что он, приколов над входом в шалаш записку, бежал и к ночи был уже дома; никто не поверил, что 14-летний мальчишка все двадцать километров проделал пешком.

Услышав, как Антон, по своей любви к переделкам, напевает под нос вместо «беззаветно»: «И родину нашу всегда безнадежно любить», Улыбченко сказал: «Интересное совпадение. На одном допросе я сказал, что люблю родину. Смершевец смеялся: надо, чтобы она вас любила, предателей. И был прав — наша любовь действительно оказалась неразделённой».

По вечерам у костра Улыбченко рассказывал про концлагеря. В советских жилось голодней — в немецких всем несоветским пленным поступала помощь от Красного Креста и ещё откуда-то (наше правительство от всякой подобной помощи отказалось), союзники делились, особенно французы и особенно после того, как выяснилось, что Улыбченко считает Наполеона величайшим человеком. Антон тоже считал его величайшим и поэтому Улыбченко прощал многое — даже то, что тот будил его в шесть утра бодро-отвратительным пеньем: «На зарядку! На зарядку! На-зарядку-на-зарядку...

становись!!!»

Бонапартизм Антона начался ещё до школы, когда дома пели «По синим волнам океана». При словах «Лежит на нём камень тяжёлый, чтоб встать он из гроба не мог» у Антона набегали слёзы, но когда пели про маршалов, которые ему изменили и продали шпагу свою, от обиды за императора и злости на маршалов слёзы высыхали. Пели и другую, тоже очень хорошую песню «Шумел, горел пожар московский» про то, как Наполеон в сером сюртуке стоял на кремлёвских стенах: «Он видел огненное море, он видел гибель впереди, и призадумался великий, скрестивши руки на груди». Ещё там были такие замечательные слова: «Судьба играет человеком, она изменчива всегда, то вознесёт его над веком, то бросит в бездну без стыда». Из деда, отца, соседа Гройдо Антон постепенно вытряс всё, что они знали об императоре, даже бабка припомнила два анекдота из французской хрестоматии, разрешённой для вечернего чтения в институтах благородных девиц. Правда, одновременно Антон любил врага Наполеона — адмирала Нельсона (это напоминало Антону раздвоение его чувств между Клавой и Валею и сильно его смущало). Сигнал, который адмирал поднял на мачте перед

Трафальгарским сражением, стоил знаменитых наполеоновских приказов: «Англия ожидает, что всякий исполнит долг свой». Книга Тарле «Наполеон», подсунутая отцом, стала откровением.

— Он выиграл сорок сражений, — говорил Антон навестившему косарей Гройдо, говорил взволнованно: сосед не разделял любви к императору. — Это понятно: великий полководец. Но он составляет Кодекс Наполеона, по которому до сих пор живёт Франция! В горящей Москве он подписывает устав Комеди Франсез, который и сейчас действует в этом театре! Он расширил представление о человеческих возможностях вообще. Он...

— История причудлива, — задумчиво сказал Гройдо. — Мог ли кто представить, что не герой Стендаля, не русский поэт пушкинской поры, а юноша в сибирско-казахстанской деревне через сто тридцать лет будет с таким чувством говорить об императоре французов!

И не раз позже, с тем же задумчивым любопытством поглядывая на Антона, спрашивал бывший присяжный поверенный Борис Григорьевич Гройдо:

— Ну что, студент-историк (аспирант-историк), какие мысли об узурпаторе посещают нас теперь?

А Антон, не растеряв горячности, отвечал:

— Вопросы. Почему именно он узурпировал тему вставания из гроба? Почему она вдохновляла и Зейдлица, и Гейне, и Жуковского, и Лермонтова? Может, это и есть подлинное величие — все ощущают странность того, что такое сверхчеловеческое могущество ушло в землю? И подсознательно не желают с этим смириться?

Бабкиной знакомой и Антоновой частной учительнице английского миссис Кошелевой-Вильсон в Карлаге один француз рассказал про черепаху Наполеона. На острове Св. Елены император после обеда всегда выходил в сад покормить небольшую галапагосскую черепашку, которую очень любил. Он щёлкал пальцами, черепаха выползала на дорожку и съедала с его ладони крошки и кусочки фруктов; он сосредоточенно-пристально смотрел, как она медленно, долго уползала обратно, и не уходил, пока она не скрывалась в траве. И теперь, когда на остров приезжают редкие туристы, гид, поведив их по последнему дому Наполеона, в конце экскурсии раскрывает дверь в сад. Туристы высыпают на песчаную дорожку. Гид сначала объясняет им, как долго живут черепахи: черепаху Туи Малилу, здравствующую и по сей день на одном из островов Тонга, островитянам подарил в 1772 году капитан Кук; сменявшиеся настоятели прихода Питерборо в Англии 250 лет держали при

церкви одну и ту же черепаху. Потом гид щёлкает пальцами, раздаётся треск веток, тяжёлое шуршанье, и из кустов показывается огромная, величиной с прогулочную лодку, галапагосская черепаха. Гид опять щёлкает пальцами, черепаха вытягивает из-под панциря длинную морщинистую шею.

— Вы видите, господа, — почти шёпотом говорит гид, — последнее живое существо на планете, которое помнит Великого Императора.

Публика затихала, французы плакали. Черепаха поводила полуслепой головой, потом медленно втаскивала её обратно в панцирь и застывала, как подбитый танк на поле боя.

В 150-летнюю годовщину смерти Наполеона прошёл слух, что черепаха ещё жива и попрежнему выползает, совершенно ослепшая, с головою, покрывшейся какой-то белой плесенью. В самый день Антон читал дочке Даше: «Чудесный жребий совершился: Угас великий человек, В неволе мрачной закатился Наполеона грозный век» и рассказывал ей про черепаху императора; Даша слушала и моргала своими глазищами.

Когда в отделе академического института, где работал Антон, обсуждалась его плановая работа «Из истории бонапартизма в России» и профессор Молчанов сказал, что отмеченные коллегами недостатки естественны, поскольку автор занимается этой обширной темой слишком недавно, автор в запальчивости сказал: давно — двадцать лет.

— То есть, если не ошибаюсь, с тринадцати лет? — тонко улыбнулся профессор.

— И даже раньше!

Антон послали за хворостом для костра — надо было накормить гостя. Под это дело Антон решил заглянуть на позавчерашний покос, где он напимечал много земляники. На поляне почему-то стояла телега, запряжённая низкорослой мохнатой лошадкой, и какой-то мужик, торопясь, наваливал сено — их сено! Антон, пятясь и ступая, как Кожаный Чулок, скрылся за кустами и опрометью помчался к шалашу; через минуту отец уже бежал впереди Антона, держа наперевес вилы, как участник крестьянского восстания Болотникова, — и успел схватить под уздцы отъезжающую

лошадь. Мужик спрыгнул с воза тоже с вилами и попытался пырнуть ими отца — тот отбил. Мужик сделал ещё выпад — отец отбил с лязгом. Антон раскрыв рот смотрел на это фехтование. Отец кинул на него короткий взгляд (Антон долго его вспоминал) и закричал мощно: «Трофимыч! Григорыч!» Услыхав, что есть ещё Трофимыч с Григорычем, мужик бросил вилы, отскочил за куст и, быстро соорудив удивлённое лицо,

забормотал:

— Дак я как? Смотрю — сенцо ничьё, можа, думаю, не вывезли, дак я что...

Прибежал Николай Трофимыч, за ним не торопясь шёл Борис Григорьевич. Мужика бить не стали, но заставили отвезти ворованное сено к главному стогу, да перевезти туда же ещё две копешки. С транспортом было туго, Мальчика вспоминали часто.

Но и когда Мальчик ещё существовал, сена на целую зиму всё равно не хватало, особенно когда на постое находилась корова профессора Резенкампа; покупали на базаре. Подвозили сено исключительно казахи. Косить они не умели и не любили, нанимали мужиков из ссыльно-кулацких семей, могучих косарей. Но казахам, хотя они тоже были колхозниками, разрешалось держать индивидуальных лошадей, то есть иметь транспорт, русские же вывозили сено на коровах, на себе (в двуколки впрягались всею семьёй), ощущая это как глубокую несправедливость; межнациональных отношений это не улучшало. Гройдо в бытность свою большим начальником по национальным вопросам стоял у истоков подобных указов и пробовал объяснять, что власть поступила разумно, исходя из национальных привычек степного народа, — его чуть не побили.

— А можа у меня тоже национальные привычки — не мене ихих! — насканивал грудью нервный Петя-партизан и шарил рукою у пояса. — У мово бати целый косяк был! Да не этих косматых — настоящих коней! А я не могу себе кобылу завести — к доктору съездить.

Неравенство было ликвидировано при Хрущёве, когда коней казахам велели сдать. Аксакалы, с трудом спешившись на исполкомовском дворе, обнимали своих низкорослых мохнатых лошадок и плакали. Лошадей по сходням загоняли в кузова грузовиков и куда-то отправляли.

Однажды дед выменял у Сабита целый воз сена на костяного божка, выкопанного на огороде. Этот божок, рассказывал Васька, друживший с сыном Сабита Карбеком, стоял потом у казахов на особой полочке и рот ему мазали жиром, а когда резали барана — кровью. Гройдо очень удивлялся: «А я и не знал, что у казахов до сих пор сохранились элементы язычества, считал — мусульмане».

Подряжались и в колхоз, скирдовать — копнильщики с заскирдованного сена получали «нэпманскую десятину». Антон тоже скирдовал. Навильники он брал не меньшие, чем мужики, но уставал быстрее, от напряженья болели пузые мускулы, как выражался Васька Гагин. Татарин Ахмет, учившийся ещё до войны у мамы в начальной школе и жалевший Антона, переводил его на конные грабли — сгребать

подсохшее сено в рядках. Работа нетяжёлая, надо только, сидя на удобном, тёплом от солнца дырчатом железном сидении, вовремя подымать и отпускать рычагом огромные серповидные зубья граблей, опытный конь сам заворачивал в конце рядка. Но эта работа быстро кончалась, приходилось опять копнить. Особенно тяжело подавать на стог уже почти готовый, высокий. Во время перекуров Антон с чувством вместе со всеми пел: «Имел бы я стогометатель, он за меня бы стоги метал. И ничего бы я не делал, а только б сено получал».

Зимой отец ездил на Мальчике в дальний колхоз, в Успенно-Юрьевку, там всегда под снег уходило невывезенное сено, которое колхоз задёшево продавал всем, кто отваживался его откапывать и через Степь, где не было езжалой дороги, перевозить в тридцатиградусный мороз с ветром.

В одну зиму снега было особенно много, и отец припозднился. Ехал в уютной сенной норе, наслаждаясь летним степным ароматом разнотравья. Мальчик бежал, как всегда, впритруску, неспешной побейкой. Вдруг сзади в темноте появились жёлтые

огоньки. Волки! Отец протянул Мальчика кнутом, что делал редко, тот нагнал, но воз был тяжёл, огоньки приближались. Отец зажёл большую охапку сена и бросил на дорогу.

Волки переждали, но потом опять стали нагонять. Отец зажёл ещё сена, и ещё. Ветер, дувший сзади, относил пылающие клочья иногда прямо в морду Мальчику, но боевой конь и ухом не вёл, а только прибавлял ходу, сколько было в его силах; отец знал, что их у старика немного. Сено быстро убывало; отец начал экономить, но маленькие клоки прогорали мгновенно или вообще гасли в снегу. Тогда можно было увидеть, что волки совсем близко; некоторые пытались забежать вперёд, обогнав сани по целине, однако мартовский снег был слишком глубок и рыхл. Всё равно дело было дрянное. Отец приготовил вилы. Но тут показались огни Каменного карьера. Волки отстали.

На Мальчике из роддома доставили маму вместе с новорождённой сестрой Наташей. Отец клялся, что Мальчик, увидев свёрток с младенцем, заулыбался и вёз телегу очень осторожно по глубокой — по ступицу — осенней грязи. Везя гроб одного из членов «Будённого», Мальчик двигался, скорбно опустив голову, и переступал копытами тихо и деликатно.

Антон это нисколько не удивляло — от коня он ожидал и не такого. Вальке Шелепову он рассказывал, что когда Мальчик служил в Первой конной Будённого, то вместе со своим хозяином попал в плен. Хозяин ночью лежал связанный, а Мальчик пасся рядом. Красноармеец тихо его

позвал, конь подошёл, всё понял, поднял хозяина зубами за верёвку и ускакал с ним к своим. Сюжет Антон не выдумал, а только слегка подновил — подобная история случилась с арабским скакуном в Африке во время англо-бурской войны и вполне могла произойти и с таким умным конём, как Мальчик. Васька Гагин, узнав, что есть такая замечательная история, попросил рассказать её и ему, что Антон и осуществил, но опрометчиво сделал это в присутствии Вальки — опрометчиво потому, что на этот раз Мальчик служил у белых и в плен попадал к красным; произошёл конфуз.

Антон, впрочем, был не сильно виноват: в общих разговорах кооператоров подчёркивался будённовский характер биографии Мальчика, но наедине отец не раз называл его колчаковской мордой. В этих красных и белых, как в купцах и колхозниках, Антон долго путался. Будённовцы были лихие кавалеристы, у них к тому же были тачанки- ростовчанки, но Сумбаев как-то, выпив, сказал, что лучшая кавалерия была у Шкуро, а потом выяснилось, что это белый генерал; Куркун рассказывал про каких-то дроздовцев, которые ходили в героический ледовый поход и тоже оказались белыми; с Махно было совсем неясно из-за его лозунга «Бей белых докрасна, а красных добела»; воевала в гражданскую ещё какая-то Вторая конная Миронова, про которую вообще никто ничего не знал, кроме отца Вальки Шелепова, который в ней служил и говорил под большим секретом, что она-то и была самая главная.

Однажды летом, когда Мальчика выпустили погостить перед воротами на свежей после дождя травке-конотопке, он исчез. Уйти он не мог — не тот конь. Стало ясно: лошадь украли. Срочно собрали военный совет. Первое слово, как полагалось, дали самому младшему. Антон, встав, сказал, что изучил следы: трава оципана больше слева от ворот, значит нашего Мальчика увели к Озеру, а там на большой лодке переправили на Зелёный остров, где и скрывают среди густых ёлок, они всегда так делают: под навесами ветвей привязали всех коней. Антона, как всегда, внимательно выслушали, но на Озеро почему-то не пошли: Тамара была отправлена к пармелънице, отец пошёл в Копай-город к чеченцам, дед — на казахскую улицу. Он и нашёл Мальчика. Конь стоял перед саманной мазанкой, привязанный к телеге и так укрытый какой-то рваниной, что сначала дед прошёл мимо, но, оглянувшись, увидел, что конь поворачивает в его сторону голову, полуприкрытую попоною. Дед вернулся и, приподняв другую попону, на забедре увидел тавро: колчаковский трилистник. Он сорвал с коня тряпки, но тут из воротец выскочил молодой высокий казах. Тогда дед взялся левой рукою за тележное колесо и телегу перевернул. Казах нашёл это убедительным и ретировался, а дед взял Мальчика за

новый недоуздок (трофей!) и привёл домой.

Из исполкома пришла бумага: имя — Мальчик, пол — муж. (мерин), паспорт — серия, номер (у всех лошадей, в отличие от колхозников, были паспорта) наряжался на трудгужповинность, прилагались нормы на тягловую единицу — верблюда, осла, быка, мула, мерина, кобылу жеребую (на неё норма снижалась). Согласно разнарядке на Мальчике предстояло вывезти тридцать хлыстов сырого леса — не уложиться за зиму.

Кооператоры было заволновались, но выяснилось, что предусмотрительный Канцевич при покупке коня запасся документом, подписанным начальником геологического управления Омска и горветеринаром, где значилось, что лошадь комиссована по таким-то и таким-то статьям и как военной, так и трудмобилизации не подлежит.

К концу войны Мальчик пал на ноги — его после тяжёлой, с заносами мартовской дороги, не выстояв, опоил так и не научившийся обращаться с лошадьми Канцевич. Коня подвесили под крышей сарая на самой толстой матице на двух широких шкивах, которые одолжил мельник Шпара, — под грудь и живот; Мальчиковы ноги с опухшими бабками, костяно стучаясь копытами, печально болтались над землей — считалось, что так они отдыхают и конь оклемается.

Этого не случилось, Мальчика пришлось прирезать. Натекло два больших таза крови, которую запекли в русской печи, из мяса наделали котлет, и голодные члены кооператива «Будённовец» пировали до глубокой ночи. Пили водку, которую получил за сданную картошку преподаватель физики Гнидьяк; картошку эту физик отвозил на Мальчике, а его зарезали и пили эту водку, и ели котлеты. Канцевич, как рассказала на другой день его жена, ночью во сне два раза принимался ржать.

Прощальным приветом Мальчика были щетки, сапожные и половые, которые дед наделал из его длинного и густого чёрного хвоста; две недели мы прожигали раскалённым гвоздём дырки в тщательно оструганных дощечках; через отверстие пропускается пучок волоса, перегибается и просовывается в соседнее, под конец тыльная часть зажимается второй дощечкой. Одна из хвостяных щёток до сих пор служит мне — подобной по упругой мягкости и способности наводить блеск я не встречал даже у лучших ассирийских чистильщиков обуви — мрачных жуковатых ассирийцев у метро «Проспект Мира».

11. Бычаги

Второй после Мальчика по значению фигурой в саввинско-стремоуховском натуральном хозяйстве была Зорька. Когда старая корова перестала доиться и её пришлось сдать на мясо по госцене (взять мясо себе — тянуло на какую-то статью, оставить разрешалось только шкуру), это была катастрофа. Все силы семьи напряглись: купить новую корову. Именно тогда продали патефон и мамину беличью шубу.

Выбирали долго, дед куда-то ездил, с тётей Ларисой они четыре воскресенья подряд ходили на базар и потом долго обсуждали достоинства кандидатов: глубину груди, высоту крестца. Особенно нравилось Антону «молочное зеркало». Ничего были и «седалищные бугры», но для шептанья перед сном они чем-то не подходили.

На второй месяц корову всё же купили, с белой звёздочкой на лбу, рыжую и большую — видимо, с высотой в крестце всё было в порядке. Но один недостаток всё же оказался: корова была тугосисяя. Виноват в недосмотре был дед: на пробном сеансе ему показалось, что дойки у Зорьки нормальные.

— Нормальные! — горячилась бабка. — Для твоих-то клещей! А доить — не тебе!

— Раздоится, — благодушно возражал дед. Раздаивалась Зорька долго, и бабка, придя с подойником, трясла как бы онемевшими кистями, если дед оказывался поблизости; когда дед рядом не случался, кистями не трясла.

Летом, когда Зорька ходила в стадо, главная забота состояла в том, чтобы она не осталась яловой. Это являлось условием главным, но недостаточным. Надо было точно

знать день, когда Зорьку покроет бугай. Желательно было также, чтоб это не произошло в начале выпаса — тогда отёл получался ранний и время между молоками падало на разгар зимы, что считалось нехорошо; оптимальный срок — март. Кроме того, хотелось, чтоб Зорьку из двух бугаев покрыл не Тимофей, а Василий (когда Антон увидел в действии его воспроизводительный орган, показалось, что он больше Антоновой ноги), к тому ж надо было знать, результативны ли действия Василия.

Как можно это всё подогнать и за всем проследить — было непостижимо, но всё как-то устраивалось: пастух, которого тоже звали Василием, сообщал Тамаре, что корова покрыта, и именно Василием, и в нужное время.

Две-три ночи перед отёлом Тамара, дед и баба почти не спали, по очереди выходя к Зорьке: сарай был холодный, и телёнок мог простудиться; кроме того, его следовало унести сразу после появления на свет — если корова успеет телка облизать, она будет тосковать, мычать, убавит в молоке.

Антон тоже плохо спал, боясь упустить момент, когда в чистой рогожке принесут малыша; его приносили, рыжего, мокрого, со слипшимися завитками на лбу, и долго вытирали той же рогожкой, одновременно бабка и Тамара осматривали его со всех сторон: есть ли белые отметины? Если нет ни одной, телок будет плохо расти и даже может издохнуть, потому что это чёртов скот. Когда после сотворения мира Бог создал животных, чёрту вздумалось ему подражать и он тоже создал овец, коз и рогатый скот, однако все они получились одноцветные: чёрные, белые, рыжие. Но телок оказывался с белой звёздочкой на лбу, как у Зорьки, и бабка с Тамарой умиротворялись.

Наконец телёнка оставляли в покое; все, измученные, уходили спать. Но он лежал не больше двух минут — начинал брыкаться и пытался встать. Это ему не удавалось, потому что на копытцах были белые хрящевые наросты («чтобы не повредить утробу матери», — объясняла окончившая ветеринарный техникум тётя Лариса), ноги разъезжались, он шмякался на пол, но снова и снова упорно вылезал из подлабочья и пытался подняться.

— Полчаса как родился — и уже встаёт! — не уставал восхищаться дед витальной мощью Животного Мира — А человеческий детёныш — и через полгода еле-еле!

Наросты на копытцах сразу снимать почему-то не полагалось, но когда их удаляли, телёнок твёрдо стоял на ногах. Вскоре он уже подходил к кровати и жевал одеяло; Антон щёлкал его по лбу, телёнок прядал ушами, но жевать не переставал. Когда оказывались одни, Антон становился на четвереньки и принимался с ним бодаться, что строго воспрещалось; в разумности этого запрета Антон убеждался не раз, когда выросший телок сильно поддавал ему твердеющими шишками рогов под рёбра, но бодаться было слишком интересно.

— Человеческий детёныш, — говорил Тамаре Антон интонацией деда, — в семь лет слабее трёхнедельного телёнка!

Это сильно, его удивляло, но дед рассказал историю про какого-то древнегреческого атлета, который каждый день носил на плечах телёнка вокруг дома; телёнок рос; однажды все увидели, что атлет несёт на себе быка.

Забот прибавлялось: надо было вовремя услышать журчавство и подставить баночку под струйку, льющуюся из-под хвоста тёлочки или

низа живота бычка, держать миску с молоком, когда телёнок пил, следить, чтоб не сжевал чего-нибудь. Антон не уследил, и телёнок зажевал серебряную чайную ложечку, подаренную деду на зубок в день крестин его дедом, родившимся ещё в XVIII веке; на ручке была выгравирована дата и буквы Л.С. — Леонид Саввин. Ложку бабка отдала выправить Сухову, тот долго её не возвращал. Однако когда бычка зарезали, не выдержал и явился с обновлённой ложкой.

(Дед потом подарил её Антону, но в Москве соседка украла эту единственную вещественную память о деде; дороже у Антона не было в жизни предмета, о пропаже он всегда помнил и жалел так же остро, как в первый день.) Уплетая телячье жаркое, Сухов рассказывал, как ел волка и что именно у волка лучше всего есть. Телят резать не

разрешали — их надо было выращивать, а потом сдавать в заготскот; все однако ж резали — то один, то другой одноклассник появлялся в новой телячьей шапке. Антон телятину не ел, у него наворачивались слёзы, все смеялись, не смеялась только Тамара, которая сама ночью тихо плакала.

Самой знаменитой была история о том, как Зорька провалилась в выгребную яму. Заполненная до краёв яма осталась после отхожего места; её сверху присыпали землёй; Зорьке этого не сказали, и она однажды туда провалилась. Яма была глубокая, над землёй торчала лишь рогатая Зорькина башка, вылезти корова не могла, только жалобно мычала.

Позвали Гурку, Кемпеля, обмотали рога верёвкой, под брюхо подсунули слегу. Зловоние поднялось страшное; Кемпель зажал нос и бежал. «Немец, нежный», — сказал Гурка и пошёл звать кочегара Никиту.

Когда корову вытащили, зловоние ещё усилилось, хотя как будто дальше было и некуда. Больше всего боялись, что она вырвется и в таком виде убежит на улицу. Но умная Зорька стояла смирно. От колодца установили конвейер, передавая друг другу вёдра, вылили их на корову больше сотни, тёрли метлой, берёзовыми вениками, крапивой, картофельной ботвой и лопухами. Результат был нулевой. Кемпель из-за забора крикнул, чтобы протёрли керосином; зловоние, смешавшись с керосиновым запахом, стало сложным и тошнотворным. С наступлением темноты несчастную корову погнали на речку, ниже города по течению, с трудом затащили в стремнину, тёрли камышом и кувшинками; от Зорьки несло всё так же. Отправили её с Тамарой за речку, в поле, где её обдуёт степной ветерок. Измученное животное Тамара пригнала лишь к вечеру. То ли ветерок помог, то ли ковыль и полынь, которыми там тёрла Зорьку Тамара, — но стало пахнуть как будто поменьше. В стадо, однако, отправлять её было нельзя, и утром всё началось сызнова. Разожгли на

дворе костёр под большим таганом, в котором шпарили кур и поросят, и стали мыть Зорьку тёплой водой с каустической содой — мыло как раз кончилось, а новую партию ещё не успели запустить.

Зорька брыкалась, взмывчивала, задела копытом чан, который рухнул на огонь, подняв невероятный столб пара и дыма. Молоко пришлось несколько дней отдавать Буяну, что он хорошо запомнил, и потом всегда присутствовал при дойке — лежал у двери, облизывался. Уходил только после того, как бабка говорила: «Видит собака молоко, да рыло коротко». Но в следующий раз опять приходил.

Молока Зорька давала много, ибо содержалась по последнему слову предвоенной немецкой науки — тогда дядя Коля прислал из Саратова свой перевод, сделанный для тренировки в языке, брошюры какого-то известного германского скотовода. Учёность немца поражала. Из брошюры можно было узнать, что если корова ест в темноте (а в Чебачинске все стойла были полутёмные), то корм усваивается хуже, а если животное хорошо видит содержимое яслей (освещённость 50–70 люкс), то корм усваивается намного лучше и идёт его на треть меньше. Поэтому когда в дом провели электричество, над яслями повесили большую стосвечовую лампу, и в стойле стало веселее. Свиньям, по мнению немца, достаточно 5 люкс, поэтому в свином хлеву лампочку не повесили. Про коней немец не писал ничего, поэтому Мальчик обходился маленьким сарайным окошком.

— Тётя Лариса, — спрашивал Антон, бывавший на ферме колхоза имени Двенадцатой годовщины Октября, где слепая пыльная лампочка была на двадцать стоил, — а почему вы не скажете в колхозе про свет? — Чудак ты. Кто же станет следить, включать-выключать? Они и кормёжки-то пропускают. Да ещё Дубяга скажет: фашистская наука. Ну их к чертям собачьим.

Было ясно: в колхозе не будут и выгонять коров загорать, что делали у нас в каждый солнечный день, начиная с февраля. От этого у Зорьки увеличивалось в крови количество гемоглобина, кальция и неорганического фосфора, надой становился больше, а содержание витамина D в молоке повышалось вдвое.

У соседей коровы давали мало — может, потому, что многие использовали их как тягловую силу — возили на них сено, дрова, под ярмом они ходили не хуже быков. У одноклассника Генки-корсиканца корова в этом качестве использовалась всё лето, зато и молока давала, как коза, вымени не углядеть, а дойки были не длинные и розовые, а сморщенные и жёлтые.

Возить на Зорьке, конечно, не могло и в голову прийти. После смерти

Мальчика с хоздвора техникума брали быков. Ездить на них было непросто. Обычные команды — «цоб-цобе» (направо-налево) приходилось сдабривать густым матом, его быки считали за составную часть команды и без него не шли. Поэтому чтобы выехать со двора техникума, педагогам приходилось разгонять своих учеников, а учительниц просить прогуляться куда-нибудь подальше. Ввиду отсутствия автомобилей быки служили основным транспортным средством при перевозке тяжёлых грузов. На них ездили даже в областной центр — за сто километров. Но ехать приходилось не по прямой, а по ломаной линии, от колодца к колодцу, получалось километров на двадцать поболее, поэтому дорога занимала три дня. Ночевали в степи, хорошо если попадался саксаул для костра.

Слушались быки как следует только своих — с остальными были упрямы и капризны — бычаги. Василий Илларионович, которому пришлось однажды отвозить на них ящики с геологическими образцами, вернулся измученный и потом полдня ругался.

— Мерзкие животные! Тупы, как бегемоты. Недаром Христос изгнал из храма тех, кто их продавал, — видно, были такие же, как их собственность. Не пожелай, — Василий Илларионович возвышал голос, чтоб слышал дед, — жены ближнего, ни вола его. Что за чепуха, извините! В страшном сне не приснится желать этого вола. На кой чёрт мне эта упрямая скотина?

Мне, несмотря на разгар экзаменов за девятый класс, поручили отвести на хоздвор огромного чёрного быка Черномора, на котором нам только что привезли уголь. «Ехать — не справишься, — сказал отец. — Веди за верёвку». Я, натурально, не послушался и поехал: цоб-цобе! В середине дороги из ярма выпала железная заноза, оно разомкнулось, и освобождённый бык убежал вперёд. Делать было нечего, я впрягся в оглобли, водрузил на шею тяжёлое ярмо и двинулся в путь. Ярмо давило и било по затылку, не смазанная телега шла плохо, в довершение всего с неё свалился массивный угольный ящик. Какой-то мужик помог поставить его обратно. «Чего сам-то надрываешься?» — «Бык убежал». — «Сходи на хоздвор, приведи». Этого сделать я не догадался. Но оставалось уже немного.

Замученный, чёрный от угольной пыли, с потёками пота на лице, я был ужасен.

С Черномором я познакомился давно. Однажды на скирдовке в колхозе он проел бок нашего сеного шалаша и съел весь горох, всю вермишель, муку и — самое обидное — два килограмма сахара; довольный, с белой от муки мордую, лёг отдыхать.

Темперамент Черномор имел не воловий, а бугаев, накормить же его вообще не представлялось никакой возможности. Ляксеич, скотник хоздвора, и так давал ему больше других быков, но он, сжевав всё, стучал огромным рогом в стену, требуя добавки.

Опасаясь за сарай, Ляксеич приносил ещё охапку. Однажды, когда не принёс, бык напёр на ворота, они не выдержали, и бежал. Он хорошо знал, куда: за речку, откуда накануне Ляксеич трижды из длинной, как шестиосный вагон, скирды привозил на нём солому.

Ляксеич догадался и нашёл Черномора, но пригонять не стал, а пришёл за ним только утром, и с тех пор начал тайно по вечерам выпускать быка на промысел. — Это было небезопасно: к скирдам, предупредил друг Ляксеича, егерь Оглотков, наведываются волки. Но тот же Оглотков вскоре с восхищением рассказывал, что он наблюдал со своей вышки в бинокль. Когда егерь туда взобрался, уже сильно за вечерело, но — полнолуние — всё как на ладони. Черномор успел проесть в скирде приличную ямину, куда его голова шеей ушли по самую холку. Показались волки. Они всегда обследуют стога: туда зимой прибегают подкармливаться зайцы, приходят мышковать лисицы и ласки, да и сами волчишки не прочь закусить мышкой — вон, в тундре есть район, где много волков, а никакой живности нет. Учёные удивлялись. Но когда располосовали брюхо трём-четырёх

волчарам, удивляться перестали: оно оказалось набито мышами. Черномор, учуяв волков, повернулся, вжался задом в проетую яму и набыл башку со своими рогами.

— Таких нет боле ни у какого быка в Чебачинске, — сказал Ляксеич. — А может, и вопче. Как коромысло.

Волки поместились напротив, сидят, подтягивают вытянув морды. Один наконец решился, но, поддетый рогом, отлетел на несколько шагов и остался лежать на снегу.

Повторить попытку никто не схотел, и они убрались восвояси. Но Черномор ушёл не вдруг, а дождался, когда на дороге показался санный обоз из Котуркуля — они каждый день к ночи проезжают, и пристроился к нему.

— Так что можешь отпускать своего обжору.

И Ляксеич отпускал. Но волки — недаром говорят, самый умный зверь — оказались хитрее. Всё, что произошло, по следам прочитал егерь Оглотков. Накануне сильно буранило — бушевала та знаменитая шурга, которая замела в Степи двухметровым слоем снега целый обоз. Когда лошади, обессилев, остановились, обозники по старому степному обычаю задрали вверх оглобли — по их верхушкам и отыскивали утром обоз. Этим

бураном с северной стороны на стог намело пологий пандус, волк, как на горку, взобрался наверх и спрыгнул прямо на стоящего в забуранной стороне Черномора, наверно, прямо на шею. А для волка главное — добраться до горла. Рвёт его он мгновенно. Так погиб самый сильный бык Чебачинска Черномор. Остались от бедного рожки да ножки, рожки да ножки, да кончик хвоста. Необычайного размаха его рога Ляксеич прибил на стену воловника и вешал на них свою несносимую, ещё лагерную, телогрейку.

Молока Зорька давала много, после отёла — почти ведро, но была с норовом: то сбежит из стада и её потом до ночи ищет Тамара, то, видимо в отместку, перестанет подпускать доиться.

И всё равно наша Зорька не шла ни в какое сравнение с гулёной Манькой — коровой Усти. Своих животных Устинья принципиально не кормила. Про Букета говорила: «Пёс — раздобудет» («Пёс животное умное, сам найдёт себе пропитание», — уточнял про себя Антон тургеневской фразой из учебника русского языка). И Букет действительно прокармливался сам. Например, сидел возле нашей кухни часами и глядел на окно. Сердце бабки не выдерживало, и она выносила ему чего-нибудь в плошке.

Манька от Букета не отставала. Огород Усти спускался к речке. За речкой росла колхозная поливная капуста. Когда кончался выпас, а есть корове было надо, Устя выжидала до сумерек, а потом выпускала Маньку. Та переходила речку и устремлялась к капустным грядкам; капусту она поедала с удивительной быстротой, так что когда появлялся конный сторож всех колхозных огородов Иван, ущерб она успевала нанести большой. Завидев Ивана, Манька скачками спускалась к речке, но не к броду, Где у конного сторожа было бы преимущество, а к Чёрному Омуту, бросалась в воду и была такова — ни мерин Ивана, ни сам Иван не любили водных преград. Когда ему на это пенял бригадир, Иван, инвалид войны, ворчал: «Один раз переправился — через Вислу.

На всю жизнь хватит». Корову Усти украли, считалось — чеченцы, кто-то видел одного, бродил накануне возле её плетня.

В нашем хлеву стояло две коровы, вторая была профессора Резенкампфа; его жена, хоть и бывшая его домработница, за коровами ухаживать не умела, учиться доить пробовала и бросила, и определила корову на постой к нам, потому что у вас сарай большой, а подоить можно заодно со своею.

Корову разрешали держать только одну, и дед ходил вместе с Резенкампфом в исполком, где тот объяснял, что вторая — его. Профессор

никак не мог понять, почему нельзя иметь двух коров, кому от этого вред.

— А кому вред, если бы остались единоличники? — мрачно парировал дед, и глаза его недобро сверкали, как всегда, когда он говорил о колхозах, крестьянах и советском

строе вообще; ни разу не видел я, чтобы они сверкали так, когда речь шла об отдельных людях — даже о бандитах, энкаведешниках и академике Лысенко.

Возни с двумя коровами много, но был и прибыток — навоз. Кроме удобрений, он шёл на кизяк, для чего навоз складывали в кучу, где ему предстояло перегореть, и в самом деле в середине лета почти горел, от него струился синеватый как бы дым, куча становилась горячей. Мама-химик объясняла, что идёт процесс окисления, ибо горение — тот же процесс, только более интенсивный. Кучу потом вскрывали, долго месили навоз босыми ногами, по икры в грязно-коричневой жиже, иногда он так жёг, что приходилось отскакивать. Антон тоже месил, когда не было дома мамы — она боялась, что там окажется стекло и Антон умрёт от заражения, как дочка Нины Ивановны. Потом формовали большие кирпичи и ставили их сушиться в красивые пирамиды. Горел кизяк не очень хорошо, дымно, но бесплатно и не содержал окислов серы и азота; если б Европа отапливалась кизяком, там не шли бы кислотные дожди и на месте знаменитых елей Шварцвальда не стояли мёртвые скелеты деревьев, удивлённо протягивающие иссохшие ветки к голубому предательскому небу.

12. Натуральное хозяйство XX века

Мальчик и Зорька были основой мощного и разветвлённого хозяйства Саввиных— Стремоуховых. Выращивали и производили всё. Для этого в семье имелись необходимые кадры: агроном (дед), химик-органик (мама), дипломированный зоотехник (тётя Лариса), повар-кухарка (бабка), чёрная кухарка (тётя Тамара), слесарь, лесоруб и косарь (отец).

Умели столярничать, шить, вязать, копать, стирать, работать серпом и лопатой. Бедствиям эвакуированных не сочувствовали: «Голодаю! А ты засади хотя бы сотки три-четыре картошкой, да капустой, да морковью — вон сколько земли пустует! Я — педагог! Я тоже педагог. Но сам чищу свой клозет». Самой низкой оценкой мужчины было: топора в руках держать не умеет.

В этой стране, чтобы выжить, все должны были уметь делать всё.

Огород деда, агронома-докучаевца, знатока почв, давал урожаи неслыханные. Была система перегнойных куч, у каждой — столбик с датой заложения. В особенных сарайных убегах копились зола, гашёная известь, доломит и прочий землеудобрительный припас.

Торф, привозимый с приречного болота, не просто рассыпали на огороде, но добавляли в коровью подстилку — тогда после перепревания в куче навоз получался особенно высокого качества. При посадке картофеля во всякую лунку сыпали (моя обязанность) из трёх разных вёдер: древесную золу, перегной и болтушку из куриного помёта (она стояла в огромном чане, распространяя страшное зловоние). Сосед Кувычко острил: пельмени делают из трёх мяс, а у вас лунки из трёх говн, намекая на то, что перегной брали из старой выгребной ямы, да и зола тоже была экскрементального происхождения — продукт сжигания кизяка. Другие соседи тоже смеялись над столь сложным и долгим способом посадки картошки, простого дела, но осенью, когда Саввины на своём огороде из-под каждого куста сорта лорх или берлихинген накапывали не три-четыре картофелины, а полведра и некоторые клубни тянули на полкило, смеяться переставали.

Про приусадебные участки друг друга знали всё — кто что сажает, какой урожай. Обменивались сведениями и семенами; в горячую пору, если кто заболел или кого взяли на фронт, помогали вскопать огород, вырыть картошку. Огород был всем и для членов колхоза «Двенадцатая годовщина Октября», которым по трудодням платили какую-то чепуху (от колхозницы

Усти я и услышал частушку про советский герб: «Хочешь жни, а хочешь куй — всё равно получишь...»), и для учителей, зарплаты которым не хватало, и для ссыльных, которых в любой момент могли уволить. После службы, после колхоза все копались на своих огородах до темноты; заборов не было — соседи-межаки подходили, здоровались, разговаривали, опершись на вилы-четырёхрожки (мягкую землю

картофельных деленок лопатой не копали). И — работа до седьмого пота; вся любовь к земле, полю, пашне, вся древняя поэзия земледельческого труда переместилась на огород.

На нашем огороде росло всё. Тыквы выбухали огромные — делалось понятно, как такую волшебница в «Золушке» превратила в карету. Очень сожалел дед, что на приусадебных участках почему-то запрещали сеять зерновые.

Сахар исчез из магазинов в первый же день войны. Мама для детей иногда покупала у спекулянтов (одно из первых товарно-социалистических недоумений Антона: а они-то где брали?) стакан за сто рублей (учительская зарплата составляла тысячу триста). Пересыпала его аккуратно в особенный мешочек. Дед почему-то всегда оказывался рядом, говорил:

— Мне сахар полезен.

Вздыхнув, мама отсыпала ему ложку или две.

Надо было налаживать сахарное производство. Засадили солнечную сторону огорода сахарной свёклой. Всё лето сушили и строгали, подгоняя заподлицо доски для пресса; лучше всего были нарезанные Переплёткиным болты: ласточкин хвост. Сахар почему-то не делали, а вытомляли коричневую патоку, но Антону она нравилась даже больше. Потом он не раз хотел сделать такую патоку для дочери, но как-то не собрался.

Однако технологию запомнил на всю жизнь — со слов бабки, которая настойчиво делилась всякими рецептами; в её глазах стояло постоянное удивление, почему все не работают так, как её семья, — ведь вполне можно прокормиться в самое голодное время.

Приходил гость — из очередных бабкиных прихлебателей, как называла их тётя Лариса. Его поили морковным чаем.

— С сахаром? — хлебнув глоток, удивлялся гость, уже забывший вкус этого продукта.

Бабка объясняла: нет, с патокой. И тут же излагала рецепт. Сахарную свёклу, нарезанную мелкими кусочками, положить в глиняную посуду, плотно закрыть и поставить в русскую печь на два дня. Получится тёмная (почти чёрная!) масса. Её процедить сквозь ткань (ежели у вас остались от

старого времени ветхие простыни голландского или биельфельдского полотна — лучше всего!) и хорошо отжать (у нас-то пресс, но можно и так). Сок налить в ту же посуду и поставить после затопы в печь. Когда он станет густой, как кисель, — патока готова. Из десяти фунтов сахарной свёклы выходит два-три фунта патоки. Из простой свёклы тоже можно, но получается меньше — фунта полтора. Если хотите хранить долго, добавьте одну-две ложки соды.

Гость, попивая сладкий чай, вежливо слушал, но всем, кроме бабки, было очевидно, что идеи выращивания сахарной, равно как и обычной свёклы, её двухсуточного томления в печи, отжимания и проч. от него далеки, как небеса.

Прихлебателей было несколько. Главного я запомнил особенно хорошо. Фамилия его была Сухов. Это был высокий, худой мужчина с голодным блеском в глазах. Он садился и сразу начинал разговор про еду, про голодные времена, коих он в советское время насчитывал четыре. Бабке тема была близка: её самый младший, восьмой ребёнок умер в двадцатом году, когда у неё не стало молока; невероятными усилиями она сохранила детей во время голода на Украине в начале тридцатых. Рассказывала, как ели лебеду, крапиву, корни лопуха. Сухов слушал мрачно.

— А волка — вы — ели? — замогильным голосом спрашивал он. — Не — ели? Тогда вы не знаете, что такое настоящий голод.

Я представлял жуткие картины: Сухов поедает большого волка, такого, как на картинке к басне «Волк и журавль».

Второй прихлебатель — Лопарёв — месяца три жил у нас. Бабка нашла его на улице. Он лежал у дороги и просил: «Убейте меня! Мне нечего жрать — убейте!» Но желающих убить Лопарёва не находилось, как и желающих накормить, все проходили мимо, остановилась одна бабка, и не только остановилась, но и привела его к нам домой.

Он рассказал, как где-то на севере пил тёплый тюлений жир («Добродушные лапландцы,

— зашептал Антон, — распрягши своих оленей, мирно пьют из толстых кружек благотворный жир тюлений») и как его потом тошнило. Лопарёва бабка накормила и поселила в сарае, поила травяными настоями — у него после лагеря отекали ноги. Потом определила в сторожа поспевающего огорода, всегда страдающего от мальчишек. Лопарёв исправно сторожил, даже спал на тулупе подле огуречной грядки. Сторожить, правда, было особенно нечего: в том году огурцов оказалось на удивление мало; впрочем, это вскоре разъяснилось: сторож приторговывал нашими огурцами и — что особенно восхитило отца, увидевшего в этом

особый воровской шик, — не утрудился торговать похищенным продуктом где-нибудь подальше, а продавал его прямо перед дверьми учебного заведения, где работали и хозяин, и хозяйка вверенного ему огорода.

Оправившись, Лопарёв ухитрился устроиться сначала сторожем, а потом кладовщиком в райпотребсоюз и скоро стал неузнаваем: защеголял в поношенном, но дорогом костюме и велюровой шляпе. К старикам ни разу не зашёл. «Ведь она его спасла!» — удивлялась мама. «Как ви наивни», — говорила тётя Лариса.

Третий прихлебатель был электромонтёр Попов. Не успели мы привыкнуть к недавно проведённому электричеству, как оно стало постоянно гаснуть. Меня посылали за Поповым, ссыльным инженером, который жил в кладовке для протирной ветоши при электростанции. Он обувал кошки, лез на столб, свет загорался. Монтёра, натурально, кормили. Первое слово, которое сказала моя маленькая сестра, было «попов».

Наблюдательная тётя Лариса заметила, что свет в нашем доме гаснет гораздо чаще, чем у соседей; но наблюдательность её простёрлась дальше — она связала эти факты с посещениями Попова. И стала усылать бабуку в другую комнату, когда после очередного включения на столбе заходил Попов, горячо его благодарила, долго трясла ему руку, но обедать не предлагала; так повторялось раза три. Свет гаснуть (а Попов приходит) перестал.

Тётя Лариса попросила деда придумать что-нибудь, чтобы отвадить и Сухова: «Мама же ему свой обед отдаёт. Смотри, как похудела». И дед попробовал. Когда Сухов являлся, он выходил и вежливо говорил: «Извините, у нас сегодня постное. С волчатиной в последнее время туговато». Но это не помогло, Сухов ходить продолжал.

Одно время приходил местный священник, именно к бабуке, дед его не любил за необразованность: «Он же, говорит «вечеря, послушник» и в пасхальном каноне Иоанна Дамаскина — даже дети знают! — ухитряется вместо «мертвые во гробех» спеть «во гробах»».

Была ещё немка, которая, видимо, желая отработать ужин, вызывалась укачивать сестру Наташу, от неё в памяти Антона остались обрывки немецкой сказки, которую она рассказывала над зыбкой: «Schlaf, mein ~ uglein, schlaf, das Andere»*. (Спи, глазок, спи, другой (нем.).)

В один год особенно уродилась морковь, набили половину подпола, всю зиму ели морковный суп, тушили морковь в молоке, с луком, с картошкой, свёклой, мелконатёртую сушили на листах в духовке — для морковного кофе. Антон возненавидел варёную морковь на всю жизнь, только недавно перестал оставлять её на тарелке. Отвращенье, впрочем, не

распространялось на морковку сырую. В журнале «Пионер» под рубрикой в красной рамке «Будущему лётчику» было напечатано: «Если ты всегда хочешь быть здоровым и сильным, ешь каждое утро сырую морковь». Печатному слову Антон верил беззаветно, сырую морковку ел и на здоровье не жаловался. Правда, и отец с мамой, и дед, и баба по морковке по утрам не ели, однако всю жизнь пользовались прекрасным здоровьем. Из картошки делали крахмал, на нём варили кисель из всё той же моркови, иногда овсяный, для чего на жерновках мололи овёс Мальчика, — тот был ещё противнее.

Часть крахмала шла на отцовские манишку, воротнички и манжеты, ослепительность которых поражала каждого нового эвакуированного преподавателя: местные учителя ходили кто в чём, даже — в морозы — в ватных штанах, вместо пальто — в дублёнках.

Отец не считал возможным носить и валенки, ходил — по предвоенной моде — в

кожаном пальто и белых фетровых бурках, которые Антон ненавидел, так как ему приходилось их чистить пемзой и отрубями.

Украли сохнувший в палисаднике дедов дождевик (считалось: чеченцы). Потеря ощутительная: деду приходилось проверять приборы на метеостанции в любую погоду.

Целый день он перебирал ветхие газетные вырезки и нашёл: чтобы сообщить ткани не- промокаемость, нужно 1 фунт и 20 золотников квасцов распустить в 10 штофах воды и добавить уксуснокислую окись свинца. Квасцы дома имелись всегда, окись свинца маме ничего не стоило получить в лаборатории; пропитали чудодейственным составом старую крылатку, которую до этого дед не носил, чтобы не шокировать местную публику, но выхода не было; мама находила, что теперь он похож на Несчастливцева из спектакля Малого театра.

Отец в разветвлённом хозяйстве занимался самыми ответственными и тяжёлыми делами — заготовкой дров и сена. Лесник Шелепов, ведавший отводом делянок для косьбы, утверждал, что лучшего косаря не видывал. «Все прокосы его прогляди — ни одной выкоски». Отец же говорил, что на отчине, среди тверяков, считался косцом средним.

В какой-то год, кажется сорок второй, колхозникам летом не отвели индивидуальных покосов, чтобы не отвлекать их от работы на полях, по каковому поводу согнали на митинг. Заодно покосы не дали и всем остальным жителям Чебачинска, неколхозникам, кто на полях летом и не работал. Травы на лучших лугах вдоль Речки перестаивались и пропадали. Косили всё равно — на глухих полянах, а вывозили ночью, и сено можно

было купить, но цены вспрыгнули невероятно. Именно тогда бабка продала свои и деда обручальные кольца — толстые, дутые, она никак не могла снять своё, палец ей поливали мыльной водой (холодной, чтоб не распарилась кожа), но оно всё равно долго не снималось. Продали и нательные золотые кресты, бабка долго крестилась пред иконой и плакала, а мама протирала их слабым раствором соляной кислоты, чтобы золото имело товарный вид. (После смерти бабки на дне её сундука Тамара нашла крестик — тоже золотой — в бумажке с надписью: «Антошин крестильный» — его она, видимо, не считала себя вправе продать.)

Мне тоже обозначался фронт работ — в оврагах по-над речкой я заготавливал коноплю. Её требовалось много. Сушили её на крыше сарая (не кучей, а ворошками), потом трепали, мочили, отделяли волокна от остья, снова сушили; из волокон дед плёл и тонкие бечёвки, и толстые верёвки — почти канаты — необычайной прочности («Что твой джут!»). Часть бечёвок натирали сапожным варом — зачем, я забыл, а спросить уж не у кого. Остатки конопельно-верёвочного производства тоже шли в дело: остью и неиспользованными побегими обкладывали на зиму фруктовые деревья — мыши не выносят запаха мочёной конопли.

Было у меня ещё одно важное занятие, которое, правда, не поощрялось. Я делал свечи. Вытапливал в большой жестяной миске стеарин из каких-то спрессованных вместе с проволокою пластин и разливал его по сделанным из плотной бумаги трубочкам разного диаметра с натянутым внутри конопляным фитилём. Точность требовалась ювелирная: фитиль должен идти строго по центру будущей свечи. В разгар этой деятельности мне пришла в голову прекрасная идея — свечи делать цветными. На роль красителя я определил порошок с чудным названием — «метилвайлет», который до этого шёл на чернила. Но растворённый в воде порошок со стеарином почему-то не соединялся, я его подогревал, густая фиолетовая пена заливала плиту. Когда оказалось, что поданный к обеду молочный суп имеет нежно-фиолетовый оттенок, отец макнул меня физиономией прямо в тарелку с этим супом.

Варить мыло считалось делом простым: щёлочь — NaOH да бросовый животный жир. Мыло, правда, получалось вроде хозяйственного, грязно-бледно-коричневое, вонючее, но функцию свою выполняло, хотя было едкое, и сильно намыливаться не

рекомендовалось — по телу шли красные пятна; когда родилась сестра, для её мытья сварили из стакана сливочного масла кусочек другого, туалетного мыла.

Хлеб тоже пекли сами. По карточкам его давали раз в неделю, а то и

реже, в остальные дни отоваривали пшеном, шрапнелью, полбой (каша из неё Антону нравилась — за название). Сентябрь — октябрь в техникуме не учились, работая на уборочной (колхозников там в это время видели редко).

Отцу и матери, выезжавшим со своими студентами, выписывали трудовни и как работникам, и как бригадирам (плюс один трудовой). За два месяца выдавали по два мешка зерна, которое возили на пар-мельницу или, если она не работала, мололи на ручных жерновках (разовый измолот был невелик, но крутили по многу часов всей семьёй), потом бабка пекла в русской печи хлеб. Позже, в Москве, мама не уставала удивляться, почему батоны черствеют на второй день. Не может быть, чтобы специалисты не знали, что черствение связано с ретроградацией крахмала — его обратным переходом из аморфной в кристаллическую форму и что чем лучше хлеб пропечён, чем он пористей, чем больше в нём клейковины, тем медленнее он стареет. Наш хлеб был мягким неделю.

Егорычев рассказал, как булочник Филиппов проверял работу своих пекарей: постилал салфетку и садился на булку или калач. Если изделие потом принимало прежнюю форму, значит, хлеб хорош. Антону сильно захотелось сесть на тёплый каравай, но бабка сказала, что это кощунство.

Самым тяжёлым месяцем выходил январь, когда зерно, заработанное в колхозе, кончалось, корова — на издое, давала, как плохая коза, и переставали — от холода — нестись куры. Ели картошку, морковь, свёклу. «Ничего, — говорил дед, — мы просто Великий Пост передвигаем на январь». Несмотря на непрерывную, с утра до вечера, работу по пропитанию, жили всё же голодно; я потом спрашивал, как жили те, кто так не работал, но на этот вопрос не мог ответить никто.

Кожевенным производством как химик руководила мама. Но сама обработка кож считалась делом мужским. И то: нижний, защитный слой всякой кожи — мездру, клетчатку стругали специальной приспособой наподобие рубанка-шерхебеля, только с полукруглым жалом, отточенным до такой остроты, что им можно было состругать шрифт с журнальной обложки, потом осаживали молотком. Антону как мужчине тоже разрешали постучать — киянкой, она деревянная, легче, но до сдиранья мездры не допускали — неосторожным движением кожу можно продырявить, и тогда она уже годится только на стельки. Кожи делали сыромятные, как наиболее простые в производстве; мама готовила какие-то растворы, в которых они долго и зловонно вымокали, и говорила, что хорошо бы выделять юфть, но это была кожа комбинированного дубления, в котором присутствовал дёготь, а дёготь гнать как-то не собрались. А хром можешь выделывать? — интересовался сапожник дядя Дёма. Мама говорила, что конечно, но нет

хромпика. Два дня Антон засыпал со словом «хромпик».

Из кож резали ремни для сбруи Мальчика. Но, несмотря на всю химию, сыромятные ремни получались плохие, осклизлые, а затяг так затвердевал на морозе, что развязать его мог только дед своими железными пальцами; когда же деда дома не оказывалось, звали кузнеца Переплёткина.

К концу войны все сильно пообносились и было решено выделить несколько кож на сапоги. Ободранные и оббитые заготовки парили в растворах, в тёплой воде, тащили гвоздями на вытяжной доске, сушили на ней же на печи, после чего мяли вручную — это мог делать только дед. После выгона шла зачистка — скобление рашпилем. Затем заготовку дегтярили, потом опять сушили — уже под навесом, на ветерке. «Щиблеты из вашего матерьяла не стачаешь — не опоек и даже не выросток! — но на сапоги сойдёт».

Вскоре вся семья блаженствовала в непромокаемых сапогах, даже Антону сшили маленькие сапожки, их он очень берёт: тайно мазал рыбьим жиром, который должен был пить по утрам, а перейдя грязную улицу, вытирал пучком травы или носовым платком, от

чего его пыталась отговаривать Тамара: «Обратно пойдёшь — наново загваздаешь». Но Антон любил порядок в каждый отдельный момент жизни.

Чувствительнее всего ощущалось отсутствие клея — без него невозможно было изготавливать всякие поделки из разрезного детского календаря и игрушки к Новому году. Из чего его только не делали — из крахмала, выварки рыбьей чешуи и телячьих копыт. Из всего клей получался равно скверный. Антон очень обижался на автора «Двух капитанов», который много раз упоминал про сильный клей, изготавливаемый в романе Сковородниковым, но так и не сообщил рецепта.

Единственно, чего не производили в хозяйстве Саввиных — Стремоуховых, — самогона: мама считала, что на него уйдёт слишком много дефицитной свёклы, да и в тайне сохранить такое производство не удастся, дело же было уголовное.

Но водку можно было получить и легальным путём, сдав сколько-то мешков картошки. И в один год, когда картофель особенно уродился, отец повёз на Мальчике мешки — куда-то очень далеко. Вернулся он только вечером. За столом уже сидели званные и незванные — бабка, конечно, под большим секретом, разболтала про водочно-картофельную акцию своим прихлебателям. Поскольку было неясно, когда отец вернётся, стол не накрывали; мужчины нервничали.

Открылась дверь, и в клубах морозного пара на пороге появился отец.

Над головой он вздымал большой, двухлитровый и слегка кривобокий графин изделия чебачинского стеклозавода; за мутноватыми стенками у самого горлышка полоскалась жидкость. То была она.

— В мешках деньга и самогонка, — начал отец знакомую Антону нэповскую присказку, — и мы смеемся очень звонко!

С этими словами отец перегнулся через плечо низкорослого директора техникума и крепко поставил графин на середину стола. И тут случилось нечто ужасное. Донышко посуды местного производства целиком отскочило внутрь. Драгоценная жидкость хлынула на стол. Он по торжественному случаю был накрыт новой довоенной клеёнкой, и если сразу б догадаться поднять её края кверху! Но все окаменели, как в немой сцене «Ревизора» в постановке маминого драматического кружка: кто с поднятой рукой, кто с открытым ртом. Когда все, сталкиваясь лбами, рванулись задирать клеёнку, было уже поздно. Спасти удалось не более стакана. «Никогда ещё мир не видел такого крушения великих надежд», — как было сказано в недавно прочитанном Антоном «Острове сокровищ» про пиратов, увидевших вместо клада золотых монет пустую яму.

Что-либо утраченное из посуды не восстанавливалось. У Гагиных в главную эмалированную кастрюлю, сушившуюся на солнышке, вступила подкованная лошадь. В сельпо из сосудов на полках стояли вазы только ночные. И с некоторых пор у соседей во время обеда в центре стола красовался зелёный горшок с ручкой, из которого хозяйка разливала суп. Маленькая сестра Антона, увидев знакомый предмет, захныкала: «Хочу на горшочек».

Вершиной хозяйственно-производственной деятельности клана было изготовление медицинского градусника. Старый, ещё дореволюционный, с медным наконечником вверху, бабка отдала одному из прихлебателей — только на час! больному ребёнку! — градусника в доме больше не видели.

Ртуть, большую и малую стеклянные трубки принесла из лаборатории мама, потом их заплавляли на примусе, дня три все повторяли замечательные слова: вакуум, шкала, градуирование. Совсем маленькой трубки не нашлось, поэтому градусник получился большой, вроде настенного. Впоследствии выяснилось, что у него есть ещё один недостаток. На шкале прежде всего следовало как исходную отметить нормальную температуру — 36,6. Бабка сказала, что за эталон можно взять температуру деда, который ни разу в жизни не болел. Так и сделали, шкалу отградуировали, градусник запаяли. Но оказалось, что это была роковая ошибка. В ближайший же визит Нины Ивановны, которая с собою всегда носила термометр, деда проверили, оказалось, что у него — 37,1. На

больного он не был похож, поэтому Нина Ивановна не поленилась прийти ещё два раза.

Выяснилось, что для деда это — норма, что у него редко встречающаяся особенность — постоянная субфебрильная температура; про особенность он не знал, ибо температуру мерил впервые в жизни. Очень завидовал такому свойству случайно оказавшийся при сём Гурий — с ним он бы не вылезал из бюллетней. Переделывать градусник не представлялось возможным, и при измерении пользовались специальной таблицей, где в левом столбике было то, что показывает наш термометр, а в правом — истинная цифра.

Плохо обстояло дело и со стряхиваньем, проще было исходную температуру вернуть, вынеся градусник ненадолго на мороз.

Не было ваты, щипали корпию; бабка отнесла целый пакет в госпиталь, там взяли, но потом бабка узнала, что молодая врачиха отдала её корпию полумойке.

Но верхом мудрости Антону казалось составление календаря, чем дед занимался каждый год 31 декабря; рукописный календарь вывешивался вечером у него над тумбочкой. Было непостижимо, как можно узнать, в какие числа будет воскресенье, а в какие — понедельник, вторник.

Если б в дом Саввиных — Стремоуховых попал англичанин, он бы подумал, что тут живут члены некоего общества в Великобритании, не пользующиеся никакими новшествами, появившимися после 1870 года.

...Трещит лучина, угольки, шипя, падают в узкое корытце с водою. Скрипит гусиное перо; время от времени дед чистит его перочисткой. Дед пишет гусиным пером не из-за особой любви к старине. Обычные перья в войну были редкостью, их выпрашивали у него внуки, которые свои почему-то ломали. Для писанья годилось не всякое перо — только из маховых крыльев. Запас дед пополнял, когда из деревни приезжали на базар Попенки — ихние гуси были крупные, с мощным крылом. Перо он очинял перочинным ножиком; оно не походило на то огромное, которое на картинке держал в руке Пушкин, — бахрома обстригалась, а трубочка была не длиннее школьной ручки — именно так выглядели настоящие гусиные перья, которые дед видел у своего деда, Антонова прапрадеда. Перо втыкалось в песочницу, которая появилась по той простой причине, что не было пропускной бумаги; дед сам сеял песок, употребляя для этого мелкое мучное сито, что бабка считала негигиеничным, хотя он песок предварительно прокаливал на огне, а сито после использования мыл; присыпав написанный текст, дед ждал (жидкие чернила сохли плохо), потом, вытянув губы трубочкой, аккуратно сдувал песок обратно в

песочницу, песок в ней, однако, почему-то всё равно убывал, что подвигало Антона на натурфилософские размышления.

При лучине сидели, когда ещё не провели электричество, а керосин в одну зиму в Чебачинск не завезли. Для лучины годится не всякое полено, а берёзовое, ровное, без сучков. Его сначала распаривали в большом котле, потом подсушивали (в доме всегда стоял аромат сохнувшей берёзы), затем Тамара щепала его обломком косы, который так и назывался: лучинник. Если полено загодя не заготовили (на что дед сердился), то использовали сухую сосновую чурку. Сосновая лучина горела хорошо, но слишком скоро, трещала и рассыпала искры. Важен и угол, под которым лучина вставляется в светец, — маленький наклон даёт плохое, жёлтое пламя, а при большом лучина быстро прогорает.

— Дед, а светец где взяли, — спрашивал взрослый Антон, — неуж заказывали Переплёткину?

— Стал бы он такой мелочью заниматься. Дал кто-то, сохранил...

Электрическое освещение никто всерьёз не принимал — то не работал движок (не подвезли мазут), то вредил Попов, то перегорала лампочка, а новую взять было негде.

Англичанка рассказывала, что в Америке в музее компании «Edison Electric Light» она видела лампочку, сделанную самим Эдисоном в 1895 году; лампочка горела уже сорок лет. Для элемента накаливания своих ламп великий изобретатель перебрал шесть тысяч растений, посылая эмиссаров на Филиппины и Огненную Землю; спираль в результате сделали из обугленного волокна японского бамбука. Англичанка не знала, горела ли сорок

лет именно бамбуковая лампочка, но Антону хотелось, чтоб это была она; в бессонные вечера (спать он терпеть не мог и не засыпал часами) он думал об этой лампочке; недавно узнал — лампочка горит до сих пор.

Центром вечерней жизни была керосиновая лампа-молния, медная, на высокой ножке, венской фабрики Дитмара и братьев Брюннер, десятилинейная. Дед объяснял: нумерация имеет в виду ширину фитиля, измерявшуюся в линиях, — одна двенадцатая дюйма. Дед слышал, что венская фирма в конце века выпускала больше пятисот моделей керосиновых ламп, но и он не мог себе представить, что можно было придумать новое даже для пятьдесят первой модели. Бабка вспоминала, что в Вильне у них в гостиную одна лампа была из севрского, а другая из мейсенского фарфора, и жалела, что не захватила их, когда бежали от немцев в ту войну. Дед говорил, что с него достаточно и того, что с собой всюду возили козетку а ля Луи Каторз.

К долгой вечерней работе лампу готовил сам дед, не доверяя никому — вдруг разобьют стекло, и тогда всё пропало; сколько видел в Чебачинске Антон ламп без стёкол, больше похожих на коптилки. Подстригался фитиль (дед называл его «кнот», что Антону нравилось больше: кнот-нот-енот!). Стекло чистилось ершом, хорошо промятой газетной бумагой. С газетами была проблема: выписывали только «Правду», но она сохранялась как материал для отцовских лекций по международному положению. Дед нашёл выход. В тридцать восьмом году «Правда» печатала «Краткий курс истории ВКП(б)»; целый месяц он занимал газету целиком. Но курс давно вышел отдельной книгой, и дед выпросил подшивку, говоря, что этот текст особенно хорошо впитывает грязь. Отец велел после употребления газету сразу сжигать (строгую проверку проходили и все газетные листы, вешаемые на гвоздь в сортире, — нет ли там портрета или приказа Верховного Главнокомандующего). После завершающей протирки мягкой фланелью стекло становилось прозрачным, как слеза; жёлто-оранжевый язычок пламени был большой, с лист крыжовника — совсем не то, что тусклая электрическая лампочка под потолком, при нашей сверкающей красавице читали и шили даже в углу комнаты.

Для большей светлоты на стекло надевали в виде абажура двойной тетрадный лист с дырой посередине. И посейчас, когда на даче отключают свет и приходится зажигать лампу (не идущую, конечно, ни в какое сравнение с той, оставшейся в середине века) и нанизывать на её стекло такой абажур, Антон всегда вспоминает многократно слышанную историю, произошедшую перед войною в колхозе имени Двенадцатой годовщины Октября.

В правление пришло два письма, колхозников поздно вечером согнали в барак на общее собрание, постелили на стол кумачовую, выкроенную из лозунга скатерть с белыми буквами «ября», выбрали президиум, рабочий и почётный. Председатель Сопельняк, запинаясь, прочитал первое письмо, где сообщалось о смерти Надежды Константиновны Крупской, ленинца-большевика, жены и друга В.И. Ленина. Выступили сидевшие в президиуме бригадир Терёшкин и учётчица Кувычко (оба были родственники раскулаченных и всегда выступали), сказавшие, что Крупская — жена и друг, верный ленинец. Некоторое затруднение вызвала резолюция, но с ней справились, и Терёшкин, нацепив на ламповое стекло в виде абажура лист бумаги, записал в протокол: «Смерть Круповской считать удовлетворительной».

Надо было читать второе письмо, но председатель почему-то медлил, шарил руками по столу и затравленно озирался. Наконец, когда дальше

тянуть уже было некуда, он встал.

— Товарищи! — сказал председатель хрипло. — Второе письмо пропало. Я положил его тут, — он ударил ладонью по столу, так что пламя в лампе жёлтым языком метнулось вверх, — но здесь его нету.

Все зашумели, члены президиума тоже стали оглядываться, Терёшкин заглянул под стол.

— А о чём письмо-то?

— О бдительности.

Воцарилось молчание — и зал грохнул хохотом. Потом все разом замолкли.

— Так это... — вскочил Терёшкин, — это же вреди...

Но Сопельняк нажал бригадиру рукой на плечо. К нему возвращалось самообладание.

— Дверь закрыть и никого не выпускать, — распорядился он.

Искали везде, даже под скамейками задних рядов. Кувычко сказала, что к столу президиума никто вообще не подходил. Члены президиума оглядели друг друга. Снова стало тихо.

Председатель долго не мог свернуть самокрутку, пальцы его дрожали. Потом потянулся к лампе прикурить и вдруг застыл с самокруткой в зубах. На ламповом стекле в качестве абажура, с дыркой посередине, было распялено письмо о бдительности.

После этого собрания Сопельняка сняли, он спился и вскоре замёрз пьяный ночью во дворе собственного дома по пути в клозет.

Даже обычные нитки попадали в дом почему-то в виде перепутанного комка, который предстояло распутывать. Делал это дед, но, к сожалению, он считал, что такое занятие воспитывает терпенье и очень полезно детям. Никто из нас не выдерживал больше десяти минут; было непостижимо, как такой нудятиной можно заниматься часами. Дед не заставлял, говорил: сколько сможешь, но именно поэтому бросить сразу считалось неудобно. Второй этап шёл веселее: мотать эти нитки на пустые катушки (у деда намотка получалась, как фабричная: ряд к ряду), которые дед не выбрасывал, видимо, никогда — на многих сохранились наклейки «Зингеръ». Дед как будто знал, что будет война и исчезнут многие необходимые предметы: в кладовке у него хранились фитили, листы оконного стекла, сургуч, канифоль, точильные бруски, мешковина, полотна ножовок по металлу, болты и гайки, ненасаженные топоры и молотки, куски сапожного вара, пряжки, мусаты, напильники. Видимо, таким же знанием обладала и бабка, потому что среди её запасов были иголки, пуговицы, напёрстки, нитки мулине и обычные (в ненавистных комках),

тесма, обрезки флизелина, корсажная лента, бахрома, клеёнка, скатерти и даже неиспользованные простыни голландского полотна.

Шили всё сами, но иголки надо было иметь (в деревнях за одну давали гуся и курицу). Переплёткин мог выковать даже лемех для плуга, хотя и ворчал, что такие сложные профили пусть делают на Уралмаше, но пилу сделать не мог. Раму мог связать любой плотник, но в неё надо было вставлять оконное стекло.

Может, такими запасливцами и выжила огромная страна, её гигантский тыл, где всё было для фронта, всё для победы, где практически исчезли магазины и годами не поступали населению кастрюли, бритвы, градусники, ножницы, зубные щётки, очки.

Вернулся с войны муж тёти Ларисы, Василий Илларионович. Молча осмотрел пресс для свёклы, ручные жерновки, мелкодырое решето, сделанное из детской ванночки (с неделю аккуратно дырявили дно пробойником), знаменитый градусник, толчёный мел с древесным углём, выполнявший функции зубного порошка, мохнатый нескладывающийся зонт из телячьей шкуры («Робинзон, живой Робинзон!»), деревянное корыто для свиней, выдолбленное из комля липы, приспособление для формовки мыла, ткацкий станок — тут ему слегка втёрли очки; на станке никто не ткал: по основе он работал ещё ничего, но по утку давал слишком редкую нитку, да и с сырьём было туговато.

— Впечатлительно. Образец натурального хозяйства эпохи позднего феодализма. Есть только два недостатка. Первый: отсутствует кожевенное производство.

— А кожи мокнут у нас за сараем, в чане, они очень вонючие, — вмешался Антон.

— Сдаюсь. Один недостаток. А именно: вы не умеете делать презервативы. Петр Иванович, вы как историк — в натуральном хозяйстве XIX века не было презервативов?

Разговаривали при Антоне свободно; предполагалось, что он не понимает, о чём речь.

Отец дал справку: презервативы были известны гораздо раньше, ещё при Людовике XIV, делали их из узкого отростка мочевого пузыря королевского оленя. Из одного оленя — один презерватив. Он был очень тонкий и невероятной прочности — когда мочевой резервуар оленя заполняется, он растягивается в несколько раз и выдерживает огромные нагрузки — например, длительный бег скачками. Современные технологии не могут создать чего-нибудь аналогичного по эластичности и прочности. (Антон занимало и потом — как обстоит дело с этим соревнованием

теперь, в конце двадцатого века?)

— За чем же дело стало? — веселился Василий Илларионович. — В Чебачинске, конечно, нет королевских оленей, но полно быков! Завтра же иду на бойню к нашему другу Бондаренке и беру у него пару бычьих пузырей!

— На помощь пару пузырей, на помощь пару пузырей, — запел Антон.

— Бычьи не подойдут, — сказал дед. — Слишком толсты.

— А у косули? В лесах за Боровым — тьма косуль. Это же почти королевский олень. Двустволку мою Лариса сохранила, отличное ружьё, с дамасковыми стволами, замки в шейку, ложе ореховое... Давно я не охотился. Завалим косулю-другую.

Но про мочевой пузырь косули дед ничего не знал, как и про этот орган у сайгаков, которые тоже водились недалеко — в степях за рудником Степняк.

«Презерватив» звучало хорошо, но, поколебавшись, для повторения перед засыпом Антон отдал предпочтение недавно услышанному слову «псориаз». Псо-ри-аз.

13. Человек, Который не ест

— Приходил Которыйнеест, — сказала тётя Лариса.

Так прозывался Сергей Иванович Серов, музыкант, сосланный ещё в 38-м и квартировавший неподалёку.

Прозвище дал Антон, обозначив таким образом музыканта среди приглашённых на встречу Нового, 1945 года в перечне, написанном мелом по чёрной жести голландки.

Объясняли прозвание два обстоятельства: тётя Лариса читала толстую книгу «Человек, который смеётся», и — Антон впервые видел человека, регулярно отказывающегося от бабкиного предложения закусить чем Бог послал.

Которыйнеест в этот раз приходил, чтобы у кого-нибудь из членов патриархального клана взять урок растопки печи. Из военкомата ему привезли машину дров, по такому случаю он решил переселиться в большую комнату с отдельным входом.

Но отдельный вход существовал в паре с отдельною печью, кою предстояло этими дровами топить самому — хозяйка, вдова колчаковского полковника, дополнительную топку взять на себя отказалась.

— Так это ж сколько вам хлопот! — удивилась тётя Лариса.

— И очень хорошо. Надо же как-то избыть отпущенное мне ещё в этом мире время.

Но больше удивлялась тётя Лариса, с чего это майор так расщедрился. Выяснилось: Серов ещё до войны для своих учеников на станции сочинил марш, майор его недавно услышал, загорелся иметь собственный марш, музыкант аранжировал его для духового оркестра и получил дрова.

Серов преподавал музыку в городской школе и станционной, за ним присылали оттуда машину или лошадь.

Знакомства Серов, кроме Саввиных, ни с кем не водил. В конце войны к нему приехала какая-то женщина, но очень скоро умерла. Буквально следом умер и он, поговаривали о самоубийстве. Несколько писем Серова этой женщине (видимо, очень небольшую часть) Антон нашёл после смерти отца; к нему они попали, наверное, потому, что там упоминалось его семейство.

«10 ноября 1940 г. Получил Ваше письмо, милая Ольга Васильевна. Спасибо, голубушка, за все хлопоты. Деньги вышлю, как только дадут. Тут с этим непросто. Мой знакомый преподаватель, по совместительству

художник, написал маслом на огромном жестяном листе плакат-рекламу для сберкассы: старый казах-аксакал прячет деньги в кубышку, а не заводит сберкнижку. Но заказчик-директор сказал, что старик получился слишком отрицательный, подрывающий национальную политику, и денег художнику платить не хочет.

Ещё летом у меня появился урок — местная очень успешливая спекулянтка по фамилии Делец (ей-богу!) пожелала, чтобы я учил фортепьяно её старшую дочь. Девочка музыкально очень тупа и вообще неразвита, но, кажется, это понимает, что вызывает к ней симпатию.

Вы спрашиваете про здоровье. С сердцем хуже, но меня это даже радует. Вот уже двадцать шесть месяцев я здесь. Почему? зачем? что я тут делаю? Поэтому всякую хворь я приветствую, ибо она приближает к чаемому финалу.

Кончаю, т. к. пишу при скверной, трещащей, хотя и добытой по блату свечке — в этом Богом забытом ужасном «городе» почему-то всё время перебои с керосином. В одной милой интеллигентной семье — Саввиных, с которой я недавно здесь познакомился (и жалею, что не сделал этого раньше), в таких случаях жгут лучину — не думал, что мне придётся это когда-нибудь увидеть. Покойной ночи! Ваш СИ.

5 апреля 1941 г. Получил Ваше ласковое письмо, милая Оля (позвольте так Вас называть). Что я читаю? Здесь почти нет книг, изданных после 1913 года. Сначала было непривычно, но теперь я нахожу в этом особое странное удовольствие. Читаю с интересом короленковское «Русское богатство», к которому в юности относился с иронией, приложения к «Ниве». Перечитал Тургенева, Толстого, Гаршина, Бунина (он здесь не изъят), ещё кое-что из великой нашей литературы. Может, поэтому в русской провинции и сохранились такие люди, как старик Саввин, что они читают только классику, не ходят в кино, не читают газет, у них не гремит целый день радио — они остаются вне этого!

Не знаю, когда смогу отправить это письмо, ибо начинается распутица. Почта находится в бывшем доме купца Сапогова — роскошное из столетних брёвен здание типичной сибирской архитектуры. И хотя до неё всего квартал, как здесь произносят, но с моей ногой не добраться. Мне рассказывала Фая Раневская, она таганрожка, что раньше в её родном городе некоторые жители зарабатывали тем, что за гривенник переносили на спине пешеходов на другую сторону улицы, так глубока была грязь. Недурно бы и здесь завести такую услугу.

По означенной причине никуда не хожу, но — езжу. За мною иногда заезжает на бричке, запряжённой очень живописным конём Мальчиком,

старик Саввин, глава той самой семьи, о которой я Вам уже писал. Он же отвёз меня как-то в «театр»: в местном техникуме его дочь, педагог, со студентами поставила «Маскарад»! И — представьте — это можно было смотреть! Всех, всех Вам благ. Ваш СИ.

P.S. К нашему теперь уже столь давнему спору о путях России, когда судьба и ж/д транспорт, точнее судьба, выбравшая его орудием, подарила нам целую ночь разговоров.

Так вот: история не является сначала в виде трагедии, а потом — в виде фарса. А часто сразу — в виде фарса. Но этот фарс и есть одновременно трагедия.

25 июля 1942 г. Огромное спасибо, милая Оля, за предложение прислать сладкое — с июня прошлого года здесь ничего не стало, в магазинах пустые полки, большинство закрыто. Сахар продают только стаканами на базаре. Но, видимо, и этого скоро не будет: хотят ввести твёрдые цены для рынка — вернейший путь к тому, чтоб всё исчезло и там.

По карточкам отоваривают плохо, вместо хлеба иногда выдают пшённую крупу или муку.

А что мне с ней делать? Мне рассказывали, что здешняя учительница математики, как и я, бывшая ленинградка, забалтывает эту муку в стакан с тёплой водой и ест (пьёт?). Я попробовал, но меня стало тошнить. До чего вовремя ушла от нас Соня. Сейчас с её диетой ей было бы очень трудно. Скорей бы и мне убраться к ней.

Т. к. уроки мои после второй смены, то с учителями я не встречаюсь и в десятый раз не слышу вопрос, не родственник ли я композитору Серову (первые два раза я порадовался эрудиции провинциальных учителей, но одна оказалась из Ленинграда, другой — из Куйбышева).

Нигде не бываю, только иногда у Саввиных. Эта семья вообще очень интересна. Они не ссыльные, прибыли сюда добровольно — просто уехали из Москвы от греха подальше, живут здесь сравнительно недавно и сами себя обеспечили всем, вплоть до мыла, которое, представьте, варят! Подсмеиваются над эвакуированными, не желающими обрабатывать землю, которой здесь за городом, в степи, можно получить под огород сколько угодно. Видимо, осуждают не они одни. Позавчера я попал в середину разговора — их сосед, капитан Сумбаев, недавно демобилизованный по ранению, очень горячился: «Я офицер, кавалер четырёх царских и пяти советских орденов! Имею ранения! Но я вот этими руками и этой ногой, — он пристукнул своим зеркально начищенным сапогом, — один вскапываю десять соток. Почему же они ручки боятся замарать!»

Да, наша жизнь устроилась так, что выживают только (не считая известно кого) только сильные физически и духовно. Но что делать негероям, обывателям (в старом, не отрицательном значении этого слова)? Они же трудились и тоже создавали совокупный продукт, и сейчас работают на оборону.

Среди эвакуированных оказалось почему-то много жён работников киевского горкома партии. Это были полные, солидные дамы; одна рассказывала, как в Кисловодске ей удавалось ежегодно сбрасывать три-четыре кило. Через полгода я её не узнал — без всяких нарзанных ванн она похудела килограмм на десять, не меньше. А ведь они прикреплены к райкомовскому распределителю. Чем же они питались в своём Киеве?..

14 января 1945 г. Напрасно Вы утруждаете, Оленька, себя хлопотами. Вы даже не представляете, насколько мне безразлично сейчас, что ответит прокурор.

Новый год встречал у Саввиных. О Петре Иваныче, преподавателе истории, я Вам уже писал, остальное — не в письме, при встрече. Со стариком беседовали о Бортнянском; я сказал, что этого композитора он знает лучше меня. Кстати, я узнал от него, что раньше церковного певчего называли «лирик». Он, как и все его братья, окончил духовную семинарию в Вильне. Кто, оказывается, в этом городе только не жил! Даже Булгарин в 1820-х гг., с ним был знаком дед Леонида Львовича. Когда я уходил, он посмотрел на меня и сказал, хотя про свои настроения я, естественно, ничего не говорил, что один из самых больших грехов — грех уныния. «Смеяться-веселиться?» — сказал я, может, несколько раздражённо. «Православное духовное веселие не в смехе, — ласково сказал он, — но в житие с улыбкою».

В этой семье есть очень забавный мальчик лет восьми. Услышав его имя, я сказал не очень остроумно: «Антонов есть огонь, но нет того закону...» Он не отстал от меня, пока я не процитировал ему всё, что помню из Козьмы Пруtkова. А сегодня он показал мне целую тетрадку — оказывается, он за эти две недели опросил всех окружающих и за каждым что-то записал. Этот мальчик знает наизусть «Крокодил», все стихи из «Огонька» и статьи из «Календаря колхозника» за 1939 год. Когда Леонид Львович сказал мне про грех уныния, он шёпотом пропел из примитивно-мажорной с ещё более примитивными словами песни Васи Соловьёва (который зачем-то к своей фамилии добавил «Седой»): «Место горю не давай, если даже есть причина, никогда не унывай, не унывай!» Бедное дитя.

Я Вам, кажется, писал, что занятия у меня вечером, и утром я долго

лежу. Но ведь думать можно и лёжа. Приходят любопытные мысли — например, о Мусоргском, композиторе всё-таки недооценённом в смысле его влияния на двадцатый век. Любопытно и увлечение в этом веке И.-С. Бахом. В основе своей он рационалистичен, и интерес к нему связан, видимо, с распространением точных наук и технической культуры.

Я написал выше «при встрече». Это — идя навстречу (простите плохой каламбур) Вашим интенциям; на самом деле оптимизма Вашего не разделяю: даже после окончания

войны вряд ли можно будет просто купить билет и приехать — останется и заверенный вызов, проезд не вообще, а на работу и т. п. И прежде всего это будет касаться таких, как я. Напишите, имеете ли в виду что-то конкретное, или это мечты? Не хотелось бы откладывать встречу на год-два, не такие у меня здоровье и возраст, не оказалось бы поздно. Боже, неужели это возможно, моя милая, дорогая?.. Навеки Ваш С.И.»

14. Землекопы и матросы

Первым человеком, который сказал что-то о будущем Антона Стремоухова, была приехавшая с сибирского золотого прииска тётя Лариса.

— Мальчик-то губастый какой. Даст шороху по женской линии.

За жизнь Антон так и не понял, дал он шороху или нет.

Вторым был сосед, Борис Григорьевич Гройдо, наблюдавший, как Антон роет колодец. Антону было пятнадцать лет, с восьми он рыл ямы, канавы, погреба, копал огород — всё, что требовалось в нормальном натуральном хозяйстве. Но колодец — совсем другое. При рытье ямы ты сверху, у тебя свободный разворот. В колодце ты — на дне, не повернуться, землю выбрасывать высоко, неудобно, она сыплется на голову, сыпается и тогда, когда её начинают вытаскивать бадьями. Сосед сказал:

— Хорошо роешь. Не халтуришь. Толк из тебя выйдет. Колодезником не будешь, но халтурить не станешь и в своём деле.

Про халтуру он оказался прав, про копанье — нет. Антон копал всю жизнь: в школе — картошку и силосные ямы в колхозе имени Двенадцатой годовщины Октября, свёклу и морковь в подмосковных совхозах, куда каждый год в сентябре отправляли студентов МГУ, ямы компостные и для туалетов на дачах друзей и знакомых, траншеи на овощебазе Киевского района Москвы.

Была у него ещё одна многолетняя обязанность: во дворе музея одного из самых знаменитых советских писателей, где институт истории всегда работал на ленинских субботниках, Антон каждый год выкапывал большую яму. Завхоз ждал этого дня, звонил в канцелярию, спрашивал, придёт ли Петрович из отдела русской истории XIX века; не прийти после этого было нельзя, да он и не собирался сачковать, он любил эти субботники, воскресники, любил накартошку, работу на овощебазе, только стеснялся в этом признаться.

Сейчас модно писать, как молодёжь, интеллигенцию принуждали бесплатно работать в колхозах и на овощебазах. Меня никто не принуждал. Я воспринимал это как праздник. Разве можно сравнивать: сидеть на обязательной лекции по истории КПСС, на нудном заседании отдела — или копать, копать? Там была ложь, а это была правда.

Правда лопаты, если говорить в духе твоей ментальности, сказал бы Юрик Ганецкий.

Никогда он не испытывал такого наслаждения от чтения статьи или

писанья своей, как от рытья серьёзной ямы. В музее он сразу, пока все ещё слонялись, курили, сидели на крылечке, брал лопату и начинал. Копать! И пока кто-то лениво сгребал мусор, кто-то жёг сухие листья, он вгрызался в землю. И вскоре был в яме уже по пояс, а к обеду из неё торчала лишь голова. Подходили к краю, заглядывали. Кто-нибудь цитировал: «Я за работой земляной свою рубаху скину». Видно, великий поэт не знал как следует земляной работы. Долго так не проработаешь. Кто умеет правильно копать, тому рубаху скидывать не надо.

Яма — это искусство. Заставьте нынешнего пропагандиста народных корней и национального русского духа вырыть яму под саженец в твёрдом грунте (по обочинам всегда бывает такой). Он будет долбить лопатой по одному месту, потом в это же самое место начнёт бестолково тыкать ломом и с удивленьем обнаружит, что за полчаса надолбил три пригоршни мелких комьев; он будет говорить, что лопата тупая, он станет бродить, смотреть, как копают другие, т. е. тоже долбят и скребут по одному месту; все

вместе они выкопают к обеду полтора десятка похожих на общепитовские тарелки ямок с косыми стенками, в которые ничего нельзя посадить.

Яма — это наука. Тяжелей всего — первый вкоп. Потом надо сделать узкую выдолбку — пусть мелкую — во всю ширину ямы. Не мельче, чем на две трети штыка.

Любым путём, любыми усилиями. Даже непрофессионально выцарапывая грунт. Но зато потом ты начинаешь землю срезать, и она отваливается легко, и твёрдый грунт уже не наказание, а радость, он не рассыпается, а нарезается целостными влажными караванными ломтями, которые сидят на лопате, и ты выбрасываешь их вон сразу, а не собираешь землю по горстке. С каждой проходкой лопата идет легче, уходит глубже — вот уже на полный штык. Ты не отдыхаешь, чтоб не прерывать наслаждения. Ты не останавливаешься — в этом ритме можно работать часами: нажим — перехват — бросок — нажим.

Землекопным учителем Антона в Чебачинске был шахматист Егорычев. А его учили на Беломорканале, куда он попал вместо всесоюзного шахматного турнира по доносу своего соперника; доучивали на канале Москва — Волга.

— На Беломоре — поляны или лесная земля после раскорчёвки — пух! А в Подмосковье — тяжёлые грунты. Площадя у населённых пунктов задернённые и затоптанные вместе. Дороги. Копать по науке — всё равно что. Тяжело эти спрессованные грунты — возить. Кубатура та же, да вес другой. А зачёт — по числу тачек. Техники никакой. Бульдозер я в первый

раз уже после войны увидел. Кто каналы прошёл — в землекопных делах профессор.

Позже Антон спрашивал, не знал ли он философа Лосева, который тоже был там. Егорычев не знал, но помнил стихи: Тачку тяжко везём по гробам.

Лучше б Лосев молчал про пиво, Что давали в Египте рабам.

Однажды Антон копал погреб старушке, соседке по даче, которую снимал в то лето по Казанской дороге. Погреб был очень нужен — холодильника не имелось и не предвиделось. Старушка сказала, где копать, и уехала, он начал с ранья, увлёкся, копал дотемна и вырыл яму глубже своего роста. Приехавшая наутро хозяйка не поверила, спрашивала, кто помогал; сосед засвидетельствовал: «Один рыл, этот лоб. Как экскаватор». Она всё ахала, заговаривала про оплату, хотя он сразу сказал, что сам готов приплатить за счастливое времяпрепровождение, — и теперь повторил, что ничего не возьмёт. Тогда она заплакала. Её мужем был Стэн — известный в двадцатые годы марксист. Учил марксизму Кобу, как они все его ещё называли. Читал с ним Гегеля, Маркса, тогда мало переведённых, готовил лекции, которые Сталин читал в университете им. Свердлова и из которых получились потом «Вопросы ленинизма». Кто-то спросил Стэна: «Ну как Коба в качестве ученика?» — «Туповат», — ответил Стэн. Он исчез, когда ещё не было принято брать семьями, может, потому вдова осталась жить. Она плакала и говорила: «Мне никто ещё не рыл ям».

Первую плату за землекопные работы Антон получил в тридцать пять лет на рытье траншеи для здания Комитета стандартов на проспекте Мира. За неделю — свою двухмесячную зарплату младшего научного сотрудника. Здание построили, не озаботившись подготовить траншею для коммуникаций, а теперь экскаватор между ним и стеной другого дома не проходил. Сроки, конечно же, подпирали. Именно для таких случаев существовали летучие бригады, работавшие сдельно; землекопы трудились с рассвета до темна, а если надо — и при электричестве.

Надо было срочно перебросать кучу земли, которая осталась от котлована и к которой тоже не подобраться экскаватору. Антон сказал:

— Я перебросаю.

Пётр, бригадир летучих бригад, посмотрел внимательно. Он видел всякое.

— Бросай.

Вечером Пётр, как всегда, приехал на своём «москвиче». На месте кучи была площадка. Стремоухов доскрёбывал её совковой лопатой.

— Школа Беломорканала? Учил — кто-нибудь оттуда?

— Оттуда меня учили копать. Бросать учили — из другого времени.

Из другого времени был одноглазый Никита — рабочий котельной чебачинской угольной электростанции, а когда-то кочегар броненосца «Ослябя», участник Цусимского сражения. «Это тот броненосец, что перевернулся?» — спросил начитанный мальчик Антон, опираясь на сведения, почерпнутые из романа Новикова-Прибоя. Никита, за всю жизнь прочитавший, кроме инструкций котлонадзора, только один художественный текст — рассказ Толстого «Акула» и не подозревавший, что такое можно узнать из литературы, был потрясён, Антона полюбил и разрешил заходить к себе в котельную. Поил его молоком.

— Неуж стали давать за вредность?

— ..я с два. Нюрка приносит. Сначала мне — вершки, а снятое — в райком. Хорошо тому живётся, кто с молочницей живёт. Молочко он попивает и молочницу...т.

К молоку полагались бублики, кои он приносил откуда-то из дальнего угла котельной, нанизав на чёрный от угля палец всегда одно и то же число: три штуки, они тут же съедались, и приходилось идти сызнова.

— Палец не..., — с сожаленьем говорил Никита, — пять штук не наденешь.

И снова приносил три бублика.

Никита рассказывал много чего, но период их тесной дружбы пал на девятый класс — самое критиканское время в жизни Антона. Он многому не верил — например, что Никита был знаком с автором песни «Раскинулось море широко». И, осмелев, прямо спрашивал, не травит ли кочегар. «Вот те хрест», — крестился тот; уже студентом Антон узнал, что автор знаменитой песни, бывший моряк, благополучно здравствует в Таллине.

Ещё раньше, классе в пятом, Антон услышал от Никиты, что героиматросы с «Варяга» вовсе все не погибли, — и в первый же год московской жизни Антона этому явилось подтверждена: в 50-летний юбилей истории с крейсером в газете поместили снимок всех ещё живых к тому времени моряков — одетые в форменки с гюйсами, они обсели весь редакционный стол. По сведениям Никиты, корабельный священник на героическом судне, о. Михаил, был братом капитана. Так или нет, узнать Антону потом не удалось, но фамилия у священника действительно была та же — Руднев.

Из любви к просвещению Антон тогда же рассказал своим приятелям-пятиклассникам, что оставшихся в живых с «Варяга» вывезли на лодках.

— На лодках? — закричал самый главный милитарист Генка Меншиков. — Во- первых, на шлюпках! И никто их никуда не вывозил! Ты

что, не видел кино «Гибель «Варяга»»? А в песне как?

И своим твёрдым маленьким кулачком, как он хорошо умел, ткнул Антона прямо в зубы. Всеобщая молчаливая поддержка была на его стороне. Плюя кровью, Антон плёлся домой.

Это был не первый случай, когда его били за неверие в фантастические сведения. Первый был с орлом, когда он усумнился, что есть такие, у которых размах крыльев — от речки до улицы Набережной, то есть метров пятьдесят. Второй случай — когда Генка Созинов рассказывал, что огромные круглые валуны на Озере сначала были мелкой галькой, а потом, выросли до размеров с пол-избы. Антон, опираясь на учебник «Неживая природа», утверждал, что камни не растут, а только разрушаются. Третий — Антон не верил, что если в середине пыльного смерча в землю воткнуть нож, то брызнет кровь — чёрта.

Но эти случаи Антона не учили, жажда света истины оставалась неистребимой. Ещё в университете он чуть не подрался с Толей Филиным, оспаривая на основании

фактов полководческий гений Сталина. Уже были напечатаны слова «культ личности». Но как вскинулся Толя, как стал кричать, что Сталина партия посылала на самые важные фронты — и дальше по «Краткому курсу». «И чего ты с ним об этом, — увещевал положительный Коля Сядристый, — его так учили в курском педучилище».

Когда Антон просил Никиту рассказывать про Цусиму, тот всегда отнекивался.

— Да прочитай в своём кирпиче, который ты мне показывал. А вот про «Варяга» — везде туфта одна. Есть у меня один дружок — с «Варяга». В Омске живёт. Приезжает иногда. Тоже кривой. Мы и дружим: пара глаз на двоих. Надо вас свести.

Но свести их Никите удалось, когда Антон был уже студентом; зато уж тут рассказ друга Никиты он записал. Забыл, правда, спросить такую мелочь, как фамилия рассказчика; теперь уж не узнать. По его рассказам, дело было так.

— «Варяг» с «Корейцем» на посту Чемульпо стояли — в распоряжении, значит, посланника нашего, Павлова... И японский крейсер тут стоял... Видим, снялся он и меж другими всякими судами путается. Ну, думаем, что-то не то. А ночью огни потушил, по- боевому, и ушёл совсем. Утром посылает командир наш «Корейца» — с письмом в Порт- Артур. Отошёл тот мили четыре от рейда — навстречу ему японская эскадра: шесть боевых, добровольческие и миноноски... Три мины в него пустили, однако не попали.

Видит «Кореец» — не пройти, повернул. Тут уже мы стали готовиться... За ночь на палубу столько снарядов понатащали, что не повернуться. Командир наш Руднев на крейсер «Тальбот» поехал с англичанами и французами разговаривать, а японский адмирал прислал туда бумагу, чтоб на бой выходили. К нам на «Варяг», значит, побоялся прислать.

Вернулся командир на крейсер, команду на шканцы собрал. «Вот, братцы, — говорит, — война! Если бы они были порядочные люди, нас бы выпустить должны, а так... Сражаться будем до последней возможности и сдаваться не будем. Каждый делает своё дело. В случае пожара тушите без огласки, так же с пробоинами. Да что тут долго разговаривать.

Осеним себя крестным знаменем и пойдём смело в бой за веру, царя и отечество. Ура, братцы!» Тут музыка заиграла, «Боже, царя храни» запели, простились мы друг с другом, каждый другого просил, чтоб домой написал, если меня, к примеру, убьют. И пошли мы с рейда. А на всех судах англичане, французы, итальянцы команды повыстраивали, «ура» нам кричат, наш гимн играют... А японцев — шесть больших и восемь миноносок. Ну, они не дали нам выйти, как по закону должно, на восемь миль, а ещё в проходе в самом узком месте стрелять зачали... «Варяг» сперва не отвечал. А потом началось — нельзя рассказать! Ну, упадёт рядом с тобой кто, переступишь. Да некогда думать было. Каждый своё занятие имел. Мичмана нашего бомбой — одна рука осталась, по руке и узнали, нежная была такая, и манжет твёрдый, белый, в буквах — он на него стихи записывал...

Капитан отлучился с мостика на минуту, а туда бомба — уже шёл обратно — ничего, контузило только. Героический был капитан. Меня царапнуло тогда же — с тех пор и глаза-то нету. Потому и в кочегары пошёл — с флота уходить не хотел.

— А пишут — открыли кингстоны.

— Это потом открыли, когда уже мы все, кто был жив, в шлюпки сели и обратно в порт пошли. Герои, мол, — пишут. Да просто всё было. Ночью накануне никто не спал. Я помогал буфетчику. Принёс с ним в кают-компанию поднос с шампанским. А офицеры не платили — записывали каждому на его карточку. Буфетчик вытаскивал карточки. А мичман смеётся: «Да завтра никто из нас жив не будет!» Буфетчик аж побледнел — то ли помирать не хотел, то ли деньги пожалел...

Держать в руках совковую лопату Никита учил Антона недолго.

— Ты видал корабельную топку? Броненосца, в тридцать тысяч тонн водоизмещением? Не видал.

Вот здесь топка, — Никита неуловимым движением открыл дверцу («Дверь топки привычным толчком отворил»), — длинная, потому что котёл цилиндрический протяжённый. Так вот. Пароходная — куда длиннее. А уголь надо забрасывать равномерно по всей пламенной поверхности, и к задней стенке тоже. Помахай лопатой

смену, в трюме, да в Красном море, когда и поверху, на палубе босиком не пройдёшь — как по сковородке, вроде как в аду. Не умеючи часа не простоишь, кишочки поднадорвёшь.

Наука Никиты была, как потом понял Антон, в чередовании напряжения и расслабления. Конечно, лопата должна быть не до пояса, как все эти дурацкие заступы, а с черенком нормального размера, до подбородка, чтоб был размах. Посылаешь тяжёлую лопату вперёд, и когда куски угля соскользнули с неё — плечевой пояс и руки расслабляются, лишь придерживая лопату, чтоб не улетела в топку («У салаг такое бывало: отпустит — и с концом, тысяча градусов, только дымок от черенка»). И этой секунды мышцам хватает, чтобы снять напряжение, отдохнуть. Как в брасе: толчок, усилие — скольжение — расслабление. Опытному пловцу легче в воде, чем на суше, он может плыть много часов. Никита говорил, что выстаивал и по две смены. Антон зачарованно глядел, как он, открыв бьющую в лицо жаром топку («и пламя его озарило»), безуильно швырял в её огненно-белую глубину сверкающие глянцевые куски антрацита («Хороший уголёк дает Караганда, мать её так!..»). И сам сверкал своим тоже чёрным единственным глазом, матрос русского флота кочегар Никита, сорок пять лет простоявший у топки.

15. Вдовый угол

По утрам дед по-прежнему, несмотря на своё полулежачее состояние, брился сам, доверяя Антону только взбивать пену в широкодонном медном стаканчике, именуемом «тазик», и — уже со вздохом — править «Золинген» на ремне. Подравнивал усы, виски, тщательно выбривал щёки, подперши их изнутри языком.

Раньше, когда Антон приезжал на каникулы, дед любил за завтраком расспрашивать, как там в столицах. Антон старался рассказать ему что-нибудь любопытное, например про встречу студентов МГУ с Николасом Гильеном, и даже цитировал его стихи, которые на вечере с пафосом читал переводчик прогрессивного поэта: «Он теперь мёртвый — американский моряк, тот, что в таверне показал мне кулак».

Реакция деда, как всегда, была решительной:

— Наши были бандиты, и эти, кубинские — тоже бандиты.

Вспоминали; их общие с дедом воспоминанья теперь уже отстояли — не верилось — на тридцать, тридцать пять лет.

— А помнишь, дед, как вы меня с отцом экзаменовали?

— Да-да, когда Пётр Иванович выпьет. Ну, это было нечасто — где было взять? Сдавали картошку — за мешок полагалась бутылка, мама твоя иногда принесёт чуток спирту из лаборатории. Но она боялась... Сядем с ним, я выпью свою рюмку, Пётр Иванович — остальное. Позовём тебя — ты был очень забавный. Развлечений же никаких.

Называлось: экзамен по философии.

— Леонид Львович, сначала — вы, начнем, по хронологии, с богословия.

Дед охотно вступал в игру. Очень серьёзным тоном он спрашивал:

— Какие суть три царства в тварном мире?

— Три царства суть, — отбарабанивал Антон, — царство неживое, видимое и ископаемое, царство прозябаемое — растительное и царство животное.

— Относится ли человек к царству животному?

— Не относится, ибо он есть особенное Божественное творение.

— Ну-ну, — говорил отец. — Посмотрим, осталось ли что-нибудь в твоей головке от марксистской философии. Почему учение Маркса всесильно? Не помнишь? Потому что, — он подымал вверх палец, — потому что оно верно.

— Что есть истина? — задумчиво говорил дед.

— Идём дальше. Из чего состоит окружающий, или, как сказал бы твой дедушка, видимый мир?

— Весь окружающий нас мир состоит из материи, — отвечал Антон. Помнил он это, как и всё, что ему говорили, хорошо, но всегда удивлялся, что и печь, и стены, и дорога одинаково состоят из мягкой материи вроде той, из которой мама по вечерам строчила на машинке трусы и бюстгалтеры.

— А что мы имеем в безвоздушном межпланетном пространстве?

Это было ещё непонятнее, но что надо отвечать, Антон также знал твердо и произносил с удовольствием:

— Тоже материю, она вечечна и бесконечечна.

— А что есть жизнь? — спрашивал отец. — Вы, Леонид Львович, вряд ли ответите на такой вопрос.

— Пожалуй, — говорил дед, подумав. — Я могу сказать только об её источнике — богоданности.

— А мы знаем! — с торжеством говорил отец, успев за время экзамена выпить ещё рюмку-другую. — Жарь, Антон!

— Жизнь есть существование белковых тел, — натренированно выпаливал Антон; это было понятней всего: белок был в яйце, а из яйца вылупливался живой мяконецкий цыплёнок. — Сказал Фридрих Пугачёв.

Отец от удивленья поставил рюмку, но потом, поняв, начал хохотать: за улицей Маркса в Чебакинске шла не улица Энгельса, как полагалось, а почему-то улица Пугачёва, Энгельса была следующая, и Антон, запоминая автора определения жизни, их слегка перепутал.

— Я знаю то, что ничего не знаю, — вдруг говорил дед. Это было не совсем ясно, но всё же понятней, чем то, что быстроногий Ахилл никогда не догонит черепаху.

Покормив деда, повспоминав и поговорив о конце золотого века в четырнадцатом году, Антон выходил во двор. У граничного забора в это время всегда стоял Гройдо и думал, опершись на лопату. Чтоб он этой лопатой чего-нибудь копал, Антону видеть не доводилось.

— Как борьба за наследство?

— Борьба? Извольте шутить, Борис Григорьевич. За эту развалюху?

— Развалюха или миллионное имение — значения не имеет. Наследники — поверьте старому присяжному поверенному — все ведут себя одинаково.

— Но в наше время? В нашей стране?..

— В наше время и в нашей стране всё только запутанней из-за

отсутствия нормального законодательства и всеобщей нищеты. Остальное — так же, как у Диккенса и Бальзака. Вот и у вас (Гройдо знал Антона с рождения, но когда тот поступил университет, в первую же встречу перешёл на «вы») может возникнуть соблазн включиться в число соревнователей.

Мысль про него, Антона, из-за своей абсурдности внимания не заслуживала, но что касается остальных... об этом надо было поразмыслить. «Наивность, не по возрасту являлась его регулятивной чертой», — определил он себя для начала, сел на скамейку и стал думать. Когда ты концентрируешь свою мысль на бытовых вопросах так же, как на научных, говорила первая жена Антона, то получается вполне приличный результат; но он редко размышлял над бытовыми вопросами.

Вчера утром дед сказал Антону: дом надо завещать Тане и её детям, все они много страдали, это будет только справедливо, вечером же горячо говорил о том, что Ира несчастна, одна с ребёнком, живёт в какой-то клетушке при библиотеке. Когда Антон вошёл, у постели деда сидела Ира, засобиравшись, дед глядел на неё ласково.

Круг претендентов расширился. У деда успела побывать и Катька, причём привела с собою слепнущую дочку. Постыдилась бы, ворчала тётя Лариса, всё не соберётся отвезти её в Москву к Фёдорову: то ремонт делает, то стенку покупает, а девка уже почти

ничего не видит. Именно тут дед сказал, что они достаточно пострадали. А когда Антон говорил деду, что дом надо оставить Тамаре, которая всю жизнь провела при нём с бабкой и у которой нет ни пенсии, ничего, — дед тоже соглашался: да, всю жизнь отдала нам, так было бы правильно.

Дед стал влияем, это было непривычно. Раньше его было не сдвинуть — ему было не важно, что его жена, сын, брат, сосед думают иначе, плевать, что газеты, брошюры, радио, страна говорят другое. Прочитав в школьной «Экономической географии СССР», что зерна в закрома Родины засыпано 10 млрд пудов, коротко бросил своё любимое: «Враньё!» И пояснил неохотно: Россия перед первой мировой войною собирала 4 миллиарда пудов ежегодно — и кормила всю Европу. А теперь — только-только карточки отменили. Где они, эти десять миллиардов? И хотя сейчас голова у деда по-прежнему была ясная, становилось видно: он сильно сдал, от этого на душе делалось тоскливо и неустойчиво.

Да, Ире дом был нужен. А дяде Лёне? Двадцать лет он жил в избушке, которая не рухнула только потому, что со всех сторон была подперта толстыми слегами, образовавшими некий странный наклонный частокол.

Отец всё время понукал дядю Лёню хлопотать, сам ездил вместо него в комитет ветеранов в область, составлял письма маршалу Жукову, подписанные так: «Солдат трёх войн и участник борьбы с бендеровцами, связист и гвардии рядовой Л.Л. Саввин». Но ничего не помогало, жилья не давали. «Терпи, солдат, — говорил Гурий, тоже участник трёх войн. — Жив остался — радуйся. Нельзя, чтобы всё — одному. Господь Бог — он равномерно распределяет». — «Тебе вон. Дом распределил», — отрывисто говорил дядя Лёня. «Так это Полинин, приданое. А то б и у меня ни... не было».

От всего этого голова шла кругом, Антон ощущал себя действительно среди героев Диккенса или Бальзака. «Вон из этой душной атмосферы семейных дразг и шкурных интересов». Он опять отправлялся бродить по городу.

Сегодня он решил сначала навестить свои тополя, которые сажали в третьем классе на самом первом воскреснике. За тридцать лет деревья разрослись, никто не спиливал, как в Москве, верхние их половины. Антон нашёл свой тополь; у него сохранилась фотография: мальчик в большой кепке держит за верхушку прутик. Как в «Пионерской правде»: «Впереди Никитин Ваня, он стоит на первом плане и с сияющим лицом снялся рядом с деревцом». Теперь этот прутик был выше телеграфных столбов. И, кажется, выше своих соседей — Антону хотелось, чтоб выше. «Я с улицы, где тополь удивлён...»

Все пионерские мероприятия в школе носили хозяйственный характер: посадки, перелопачиванье зерна на элеваторе, рытьё картошки в колхозе. Других мероприятий, сборов не было. Всё главное происходило на Улице. Улицу Антон любил, но она была к нему сурова: дразнила профессором кислых тщей, била — за отказ признать, что удавы бывают в сто метров длиной или что камни растут. «Да скажи этим негодьям, — говорила бабка, примачивая ему очередные фонари под глазами, которые с невероятной точностью умел ставить Генка Меншиков, — что растут их мерзкие камни, растут!» Но в научных вопросах Антон на компромиссы не шёл, а уж с такой чепухой не мог согласиться даже под угрозой раскровянения носа.

Приятели постигали законы Улицы с бесштанного младенчества, Антона долго не пускали играть с этой бандой, появился он на Улице как чужак и хотя очень старался показаться своим, это так и не удалось. В выпускное лето Петька Змейко как-то сказал Антону:

— Ты б не матерился при своих уличных.

— Ты находишь, что это оскорбляет их нежные уши? Какого пса! Да они сами...

— Вот именно. А у тебя это выходит ненатурально и натужно.

Улица была не столь проста, как казалась; природу одного её феномена я так и не смог постичь за всю жизнь.

Гоняем мяч. Появляется опоздавший Кемпель. Игра останавливается. Обе команды замирают как бы в безмерном восхищении — и тишина взрывается восторженным ура, высоко вверх летят шапки. Когда клики затихают, Илья Муромец мощно провозглашает: «Где Кемпель — там победа!» Рёв возобновляется с новой силой, Васька пронзительно-сверляще свистит, Корма кричит по-тарзаньи. Кемпель с достоинством подходит и пожимает всем руки. Начинается спор, в какой команде будет играть Кемпель, спорят долго и ожесточённо, наконец бросают жребий. Команда, которой выпала решка, снова вопит — уже одна.

Кемпель играл средне. Может показаться, что всё действие являлось особо утончённым издевательством. Но это было не так. Воля, мы испытывали искренний, беспримесный восторг — может, потому особо сильный, что ощущали полную его бескорыстность.

Игра начиналась, и о Кемпеле помнили не больше, чем о любом другом среднем игроке, — до начала следующей игры, на которую Кемпель опять опаздывал — и всё повторялось. Любопытно, что когда в футбол играли в школьном дворе, Кемпель интереса ни у кого не вызывал. Всеобщий восторг был феноменом массового сознания Улицы и принадлежал исключительно ей.

Рядом с тополями было место не менее памятное — парикмахерская. Всем учащимся мужского пола с первого по восьмой класс полагалось стричься в ней наголо.

Начиналась эта грандиозная ежегодная предзимняя процедура с санпроверки. Проводил её военрук капитан Корендясов.

— Встать! — командовал он, входя в класс, хотя все уже стояли и так. — Проверка на вшивость! — никаких эвфемизмов он не признавал. — Женщины остаются здесь.

Мужчины — слева по одному — в затылок — в физкабинет... Шаго-о-о-м марш!

Не знаю, что думали девочки, но нам именованье «мужчины» нравилось и скрашивало унижительность процедуры.

Постричься надо было в течение двух недель в чебачинской парикмахерской. Мастер был один (второй — дамский), ждать приходилось часами, особенно когда приходили солдаты, которых стригли без очереди. Вообще-то их стригли — тоже под ноль — повзводно по утрам, но всегда находились те, кто тогда был в наряде или карауле.

Приходили рабочие с движка, с водокачки — их тоже надо было пропускать. А то и просто какие-то взрослые: «Мальчик, я спешу». Антон весь покрывался испариной, но молча возвращался к своему стулу, который уже успевали занять, и следующий час приходилось стоять. Юрка Гайворонский, опередив собравшегося без очереди сесть в кресло какого-то солидного дядьку, ловко перед самым его задом юркнул в него сам, когда тот, с недоумением обернувшись, уставился на этого мальчика, ясноглазо глядя снизу, звонко бесстрашно произнёс: «Извините, но очередь моя! я тоже спешу!» Антон восхищался Юркой, но сам так не мог.

Наголо стриглось большинство клиентов, и вскоре возле кресла вырастала разномастная грудка волос, которую не успевала сместить уборщица. Она всегда была навеселе, мастер на неё покрикивал: Тимофевна! Поюрчей! А где одеколон?» — «Дак кончился», — умильно глядя, отвечала благоухающая шипром Тимофевна.

Приглядевшись, в волосяной грудке можно было увидеть шевелящихся насекомых, от чего становилось легче: наши мученья не напрасны.

Мученья же были велики. Тупая машинка драла невероятно, вырывая целые пряди; грязная простыня укапывалась слезьми. Я страшно завидовал братьям Шелеповым, у отца которых имелась своя машинка, но попросить постричь и меня стеснялся и только от порога смотрел, как стригут Вальку, а сам отец мне не предлагал. (Дети в Чебачьем находились вообще как бы вне этических норм — пришедший не вовремя товарищ сына мог весь обед просидеть в углу и не быть приглашённым к столу.) Завидовал я даже сыну Усти, коего мать тоже стригла сама огромными овечьими ножницами, и Шурка, пока не

обрастал, ходил, как молодой барашек после весенней стрижки — с клочковатыми волосяными уступчиками.

Было и третье кресло, но за ним стоял Соломон Борисыч, работавший только модельные стрижки.

Соломон Борисыч сорок лет проработал в Москве на Кузнецком мосту в известном салоне, где начинал ещё в мальчиках у Базиля. В Чебачинск он попал за язык.

— А что я такого сказал? Я такого ничего не сказал. Я только сказал... — он замолкал. — Базиль нас учил: клиента не только кругом обстриги, но и кругом обговори.

Я не мог этого знать, что тот из салона сразу повернёт в переулок, а потом — в те ворота — я не мог такого знать!

Было удивительно, что Соломон Борисыч наговорил только на пять лет и пять по рогам. Молчать он не умел — так прочно засели в его голове

уроки парижского парикмахера.

— Можно и под полечку, и под Клеопатру! Но лучше сделаем вам коровий язык — у вас волос с висков, для зачёса, хороший. Теперь наденьте ваши очки — под волос.

Видите, какая работа? Освежить — непременно! Айн момент — только сниму пудромантель (так называлась серая пятнистая простыня, которую мастер туго, невпродых обвязывал вокруг шеи). Одеколон мускус амбре! Красная Москва. Тэжэ. Сама Жемчужина душится! Сомневаетесь? И напрасно. Я самого Михаила Ивановича обслуживал! И Андрея Андреевича. И Николая Ивановича...

На скользком разгоне Соломон Борисыч с трудом замолкал. Но не надолго.

Если в гостях у родителей сидел Гройдо, то, взглянув на измученное лицо Антона, он спрашивал светски:

— Как стрижка? Сильно драло? Что Соломон? Про Жемчужину говорил?

Кто такая Жемчужина, Антон знал давно и помнил, как Гройдо сказал: «Фамилия похожа на опереточный псевдоним. Я бы не удивился, если бы она таковым и оказалась. У её супруга партийная кличка тоже не блещет вкусом — Молотов, впрочем, как и у всех остальных».

— Он ещё говорил, — спешил не растерять запомненное Антон, — что стриг самого Михаил Ивановича.

— Всесоюзного старосту то есть.

— И ещё Николай Ивановича.

— Ему не хватило Чебачинска, — повернулся Борис Григорыч к отцу.

— Мало ль Николай Ивановичей, — сказал отец. — Распространённое русское имя- отчество.

— Его счастье, что разговаривает он уже не на Кузнецком мосту. Там-то все помнят, кому принадлежало это распространённое имя-отчество.

У меня страшно чесался язык — сказать, что сам Гройдо, когда приходил играть с нами в городки, не раз говаривал:

— Ну-с, начнём любимую игру Николая Ивановича. Стрижку под ноль с первого по восьмой класс директор требовал поголовно и неукоснительно. Невыполнение считалось почти таким же крупным преступлением, как курение. Предупреждения уклонявшимся делали на линейке, перед строем. Пашке Золотарёву, не подчинившемуся после трёх, директор сказал: «В школу можешь больше не приходить». Пашка понял это буквально. Отец у него погиб на фронте, мать была безответная уборщица в техникуме, откуда её все время завхоз-казах грозился уволить и взять казашку.

Поплакала она поплакала, да и определила сына на одно из двух чебачинских предприятий — мебельный промкомбинат имени Карла Либкнехта и Розы Люксембург, где делали табуретки, столы и пользовавшиеся большим спросом шифоньеры. Пашку мы там через полгода и увидели, когда нас повели на промкомбинат на экскурсию. Работал он в одном цеху с Лёшкой Ехаловым, тоже исключённым из школы, но за курение. Это был цех первичной обработки — длинный полутёмный барак,

заваленный грязным сырым горбылём и неошкуренным кругляком. Пашка был в клеенчатом драном фартуке, с опилками в чёрных волосах, смотрел на нас печально. В школе он учился хорошо.

У магазина на лавке, закончив ночное дежурство, курил ночной сторож Казбек Мустафьевич Ерекин. В школьные годы Антона он преподавал казахский язык. Как вихрь, влетал он в класс и, на бегу ткнув журналом в кого попадая, выкрикивал: «Счёт!» Подвернувшемуся надо было, вскочив, как можно быстрее оттарабанить: «Бір, ею, уш, торт, бес...» Оценок существовало две: бес (пять) и кол (Антон с Мятон не раз обсуждали, почему эту оценку он называет по-русски, — казалось, что уж в тюркском языке должно быть такое слово). Поставив первую оценку, Казбек Мустафьевич несколько успокаивался и говорил уже тише: «Тегыст». Начиналось чтение и перевод текстов из учебника. Про завод или депо они были понятны: все слова, за вычетом служебных, оказывались русскими. Но попадались тексты и более общего содержания: «Из райкома ВКП(б) вышел аксакал. Он нёс чемодан. Он шёл в райком ВЛКСМ. Из райкома ВЛКСМ вышел человек.

Это был комсомолец. Он нёс только портфель. Человек комсомолец сказал: „Чемодан тяжёлый. Я молодой. Я сильный. Дайте, я понесу“».

Аксакала Антон представлял в виде тощего, седого, с жиденькой бородёнкой казаха с жестяного плаката у сберкассы, цепко держащего в костлявых руках миниатюрный, но обитый железными полосками сундучок; его трогал за плечо высывающийся из-за ковра другой казах, молодой и толстопалый, со словами: «Брось кубышку, заведи сберкнижку». Плакат нарисовал бывший моряк художник дядя Кузик; директор произведение не хотел принимать: аксакал, де, похож на дистрофика, скупого рыцаря и коршуна-стервятника одновременно; дядя Кузик своё творение защищал: персонаж безусловно отрицательный, всё правильно, а цепкие пальцы с узкими длинными ногтями — допустимая, художественная гипербола.

Ноги уже несли Антона по базарной площади, пустынной и грязной.

Базар собирался по воскресеньям, и в каждое Антон сопровождал туда бабу, считалось — для помощи, хотя она давала нести ему сущую мелочь: щавель, ягоды, десяток-другой рыбёшек. В хорошие годы привоз был приличный: из ближних сёл подвозили и продавали с возов капусту, замороженное огромными кругами молоко, согнутых подковой мёрзлых окуней (почему они любили замерзать именно в такой позе, не мог объяснить даже дед), живых гусей и уток, овечью шерсть, плетённые из ивяных прутьев вентера и корзины (во выючные верблюжьи мог поместиться человек); местные выносили своего изделия деревянные ложки и ковши — плашковые и из торца, табуретки, костыли (товар, пользовавшийся спросом), деревянные лопаты, ухваты, глиняные рукомайники, макитры, кувшины (среди них красовались узкожёрлые, с лебедиными шеями — влиянье Востока), свистульки; батмашинский стеклозавод с полуторки продавал графины, стаканы, возле машины всегда толпились и шумели: из кособоких ручного дутья стеклянных изделий что-нибудь подходящее выбрать было непросто.

Пока бабу надолго застревала в мясном амбаре, Антону разрешалось сходить за семечками. Их он подкупал у Хромого, семечки у него были крупные, хорошо жаренные, не смешанные с сырыми, и стаканом он мерял обычным, а не с толстым дном, как у тёток (Василий Илларионович смеялся, что такие на стеклозаводе им делают по спецзаказу).

Антон придумал и сам верил, что у него на огороде растёт не картошка, а одни подсолнухи. «Спекулянт твой Хромой, — сказала тётя Лариса. — Обыкновенный спекулянт. Купит в колхозе у кладовщика пять мешков и продаёт всю зиму».

К семечкам я шёл через барахолку. Сначала шла одежда: дублёные и сырые полушубки, волчьи малахаи с глубокой треугольной зашеиной, заправлявшейся под воротник и гревшей весь верх спины до надкрыльев, со споротыми погонями шинели, очень ценившиеся за знаменитое русское бесносное шинельное сукно (Кувычко носил шинель ещё с той германской), ватники, валенки — чёсанные и катанки. Кроме валенок, новых вещей не предлагалось — даже трофейное егерское бельё и немецкие же дамские

комбинации были ношенные, детские вещи — откровенно с заплатами. Ближе к забору стояли женщины с мужскими довоенными костюмами, рубашками, туфлями, называлось: вдовый угол. «Один, что ли, сапог продаёшь?» — «В чём вернулся. Может, кому такому же снадобитея». И снадобился. Вася-инвалид, ездивший по базару на тележке с крохотными колесиками, прикатился с ковылявшим на костылях обвешанным медалями

мужиком. Сапог был хорош: офицерский, малоношенный, австрийского хрому, но мужику не повезло: он оказался не на ту ногу. «Тебе б под снаряд-то другую догадаться подставить, — веселился Вася. И, глядя снизу на тетку, обнадёжил: — Приведу ещё кого».

Но, видно, не привёл: сапог стоял всё лето.

В следующем ряду можно было увидеть супницу без крышки, блюдо, на которое когда-то, видимо, укладывали целого осетра, таз с облупившейся эмалью, барометр, фарфоровые счёты, ходики с кукушкой, офицерский планшет, нелужёную медную миску.

И здесь был свой сапог — он придавался к ведёрному самовару, для раздувания углей. Он гляделся ещё лучше того, с вдовьего угла, — тоже офицерский, щегольской, поражавший всех невиданной шелковистостью кожи, глубиной матовой черноты голенища и сияньем головки; все уже знали, что он на другую ногу и подходит другу Васи-инвалида, но хозяйка продавала обе вещи только в комплекте, видимо надеясь, что отсветы блеска нового сапога скроют помятость боков старого самовара. Интеллигентные дамы с неприступными лицами продавали серебряные ложки, черепаховые гребни, броши, бусы.

Здесь толпились молодые казашки в монетах с пробитыми дырочками, нашитых во множестве на бархатные кацавейки. Был и отдел искусства — коврики с лебедями, замками и грудастыми красавицами, белые слоники, рамки для фотографий и уже окантованные чёрно-белые репродукции из довоенного «Огонька».

Антону больше всего нравились две вещи — их продавала красивая седая дама: муха-коробочка, у которой подымались крышечки-крылышки, и блестящий, медный, ростом с месячного щенка, носорог (к этому зверю у Антона слабость сохранилась надолго — в факультетской газете «Историк-марксист» свои заметки он подписывал «А.

Носорогов»). Обе замечательные вещи дама никак не могла продать, Антон успел к ним привыкнуть. Муху потом всё-таки кто-то купил, а носорог всё стоял, и однажды Антон насмелился. «Мадам, — произнёс он тоном виленского вице-губернатора из рассказов бабки, — можно мне, — тут голос его прервался, — поддержать... немножко вашего прекрасного носорога?» — «Боже, — сказала дама, — откуда ты здесь такой взялся? Елена Иннокентьевна, вы слышали, что говорит этот кавалер? Подержи, милый, конечно, подержи! Двумя, двумя руками — он тяжёлый», После этого Антон каждый раз, отпросившись у бабки купить семечек, бежал к носорогу, трогал его за острый рог, гладил по спине и под пупырчатым брюхом; дама смотрела грустно: «Милое дитя, я бы с удовольствием

подарила тебе это животное, но — увы, не могу». В одно из воскресений носорога и дамы на месте не оказалось. «А где та тётя?» — спросил Антон у Елены Иннокентьевны, с которой тоже был как бы уже знаком. «Нету тётти. Умерла. — И, повернувшись к соседке, сказала: — Так и не продала это страшилище... Что же ты стоишь, мальчик? Иди». Антон так расстроился, что когда покупал у какой-то тётки семечки, то забыл взять рубль сдачи, вернулся, но тётка стала ругаться и рубль не отдала; Антон шёл и плакал, и бабка дома рассказывала, какой экономный мальчик — из-за рубля рыдал всю дорогу.

В дальнем углу мясного амбара казахи продавали тяжёлые лошажьи ноги с шерстью и копытами, ещё они привозили на базар баранов — ободранные их белоснежные от жира туши с растопыренными ногами, как большие птицы, парили на крюках под амбарной крышей. Султан, огромный казах, с невероятной величины топором, как у кровавой собаки Тито из «Крокодила», рубил мяса сколько кому надо: два, три, пять кило — можно было не взвешивать. Продавец, старик казах, подслеповато вглядываясь в безмен, сказал:

— Султан рубил килограмм один болше.

— Целый килограмм? — рубщик оскалил зубы. — Султан не мог так рубить! Сто грамм — можно. Килограмм — нэт. Смотри, аксакал, на безмен лучше!

Вмешивался покупатель, смотрел, отрубленная баранья нога оказывалась грамм в грамм.

— Вых! Глаз — ватерпас! — восхищался отец, любивший высокий профессионализм.

Казахи только продавали, среди покупателей их было не видать.

Чеченцы, напротив, группами бродили по базару, правда, тоже ничего не покупали. Считалось: высматривают.

Про них говорили: живут в своем Копай-городе, за Речкой, дружно, одна семья помогает другой, заработанное и уворованное делится на всех. Но работают у чеченцев только жёны — ходят за валежником в дальний лес, ну и всё по хозяйству, вяжут на продажу носки, шьют рукавицы. Мужчины ничего не делают, только сидят на крышах землянок (устроили специальные приступочки) и бродят от одной к другой в тонких сапожках, а овчинные высокие шапки носят даже летом. Один чеченец развёлся (у них это без волокиты: сказал что-то жене, она собрала свои манатки и ушла к матери) — так дети остались у него. У некоторых по две жены. Старших почитают — не в пример нашим молодым охломонам. Спорить со старейшинами нельзя — как решат, так и будет.

Сыновья в присутствии отца не разговаривают со своими жёнами и детьми, считается неприлично. Девушки и парни не гуляют, не провожаются, а встречаются где-нибудь случайно. Какой-то молодой чеченец или ингуш знал, что девушка пойдёт к Каменухе за хворостом, и засел в лесу с утра. А она появилась к вечеру, мороз был под тридцать, бурка ихняя — не тулуп, он весь заоченел, заболел и умер. На похороны девушка не пришла — по обычаю хоронят только мужчины. Гостю отдают самое последнее из еды, но хозяйка к нему, как и у казахов, не выходит. Водку не пьют совсем.

Много на базаре было и чеченских мальчишек. Они юрко сновали в толпе — по одному-двое, но когда затевалась драка с местными, что случалось часто, — откуда ни возмись с визгом налетала целая орава; дрались отчаянно, с разбегу били, бритой башкой в живот, кусались, царапались. В конце концов местных сбегалось больше, но на чеченят это никак не действовало — стояли до последнего, не плакали, на кровь внимания не обращали и поле боя первыми не покидали никогда, пока драчунов, матерясь по-русски, не растаскивал батыр Султан, раскидывая тех и других за шиворот — одного, самого упорного, без видимого усилия зашвырнул на крышу амбара. Взрослые чеченцы драку не вмешивались, стояли молча в своих серых каракулевых папах, по лицам было не угадать, есть ли среди дерущихся их дети.

Старик Кувычко рассказывал, какими отчаянными в бою были чеченцы и ингуши Дикой дивизии (в ту германскую он одно время служил в ней ветеринаром): у них смерть не как у нас — они её не боятся.

После бериевского указа появились амнистированные, ходили по базару по двое, никого не трогали, их опасались, считалось: тоже высматривают. Василий Илларионович возмущался: «Что за провинциальный идиотизм? Все у вас высматривают. Кого, что? Сколько яиц у твоей бабки в корзине?»

Имелся на рынке и грузчик — один. Но стоил он четверых. Ван Ваныч был невысок, но так широкоплеч, что выглядел квадратным; играючи сбрасывал он с телеги мешки с картошкой, пятипудовые тугие канары с шерстью, носил в рогоже в мясной амбар по четыре-пять бараньих туш, да ещё норовил пробиться сквозь толпу рысцой и кричал: «Пади, пади!»

Иван Иванович Заузолков был известным в своё время партерным акробатом. В партерной акробатике у него была самая ответственная и тяжёлая специализация — он был нижний, то есть на нём надстраивалась вся пирамида гимнастов. На гастролях в Мурманске вышел поздно вечером прогуляться в порт: заграничный плащ, кашне в клетку, шляпа, жёлтые

туфли. В какой-то кривой улочке его остановили три здоровенных

бича: «Снимай всё». — «И туфли?» — «Колесики тоже». — «Что ж я босиком пойду? Глянь, у меня размер маленький, тебе не подойдут». Бич наклонился посмотреть. Гимнаст врезал ему ногой в челюсть. Как потом установила экспертиза, смерть наступила мгновенно — отделилась затылочная кость. Сила в ногах у нижнего страшная — на арене он держит на себе до пяти нехлипких мужчин. Да и в руках не меньшая — их нужно держать ещё и в партере, то есть стоя на четвереньках. Второму он вмазал наотмашь кулаком, но тот голову успел отклонить — оказались только переломанными плечевая кость, ключица и верхние рёбра. Третий бежал. Пострадавших Заузолков притащил на себе в портовую милицию. На суде ему хотели дать пять лет — за превышение предела необходимой обороны (зная свою силу, следовало бандитов бить послабее), но Заузолков сказал: «Это не советский суд». Заседание перенесли и судили его уже по политической статье, дали десятку. В Чебачинск он приехал, прослышав о климате, жаловался на здоровье, но сила ещё была.

У ворот рынка стоял пыльный автобус на Боровое. Тётки с корзинами привычно давились в дверях. Когда в зиму десятого класса нам с Петькой Змейко понадобилось попасть в Боровое, мы в двадцатиградусный мороз оттопали восемнадцать километров — в один конец. Цель была — разговор Петьки с тогдашней его любовью Риммой, которая, переехав из Чебачинска, два месяца не подавала вестей. Я залёг в сугроб — на этом настоял Петька, он стукнул в окно, Римма выбежала на крыльцо. Разговор занял не более трёх минут, Петька быстрым шагом удалился. Я вылез из сугроба и пошёл следом, держа дистанцию. В переулке нагнал Петьку. Он ребром ладони вырубил в воздухе крест и для верности пояснил: «Амба, что по-матросски значит крышка». Больше на эту тему только значительно-сурово молчали. К вечеру, уже в Батмашке, за пять вёрст до Чебачинска, силы оставили нас. К счастью, в киоске оказались чёрствы́е пряники, к тому ж ещё и замёрзшие, но с ними стало повеселее. За весь день нас обогнала только одна машина.

Последним в автобус садился полноватый слепец в чёрном костюме, ему помогал водитель. Антон помнил этого слепца ещё худым юношей, он сидел у базарных ворот перед кепкой с пятаками и пел песни военной тематики, которых Антон больше никогда и нигде не слышал: «Рвутся мины грохотом и свистом, у реки идёт жестокий бой», про то, как в смерш привели танкиста, покинувшего горящую машину, стали допрашивать, а он им сказал: «И я вам говорю: в следующий раз я обязательно сгорю». Особенный успех имела песня про Таню, которая «распрекрасная была,

всех парней она с ума свела». Но однажды в её деревне «затрещали, как сороки: «Яйки, курки и молоки, дай нам, матка, что-нибудь пожрать»». На Таню положил глаз рыжий фриц, который «всё чаще к ней ходил, Тане он конфеты приносил, и была Танюша рада за конфеты-шоколада и за то, что фриц её любил». Но тут «русский витязь объявился и на фрица обрушился». Один из витязей появился в доме Тани и, увидев, что «наша Таня, как конфета, ноги в туфельки одеты и блестит помада на губах», достал пистолет, и — «наша Таня первернулась, об пол ж... на. нулась и румянец с щёк её сошёл».

В следующем переулке жил Генка Меншиков — о нём все помнили только одно: он очень следил, чтобы его фамилию не написали где-нибудь с мягким знаком. Встречи с Генкой было не миновать — он всегда лежал во дворе под своей машиной, но почему-то при этом видел, кто проходил мимо.

Разговор получился скучный, как две капли воды похожий на тот, что был здесь же четыре года назад и позавчера с другим одноклассником — Вовкой Герасимовым, который снова доказывал, сколь полезна служба в армии и что он, Вовка, сильно там поумнел; Антон этого не заметил. Как мы все похожи, огорчился он. Почему мы цитируем одни и те же строчки из Маяковского и Николая Островского? Неужели дело в системе образования, в том, что в огромной стране все учат одно и то же и читают одно и то же? Но мы были похожи уже до того, как нас выучили. Почему пушкинский Лицей стал питомником таких разных растений, столь пышно расцветших? Не потому, что это учреждение было таким уж из ряда вон по системе образования и воспитания. Но потому,

что те одиннадцатилетние ещё до поступления, уже в семье были индивидуальностями, им было чем, перекрёстно опыляясь, умственно обогащать один другого. А сейчас создай любой лицей — и детки только усугубят тупость друг друга.

Антон входил в ворота своей школы. В этот самый день почти тридцать лет назад все её ученики, с первого по десятый класс, были построены во дворе на линейку.

Линейки наш директор, Пётр Андреич Немоляк, очень любил и по всякому поводу их собирал. Военрук капитан Корендясов долго ровнял строй, заставляя смотреть на грудь четвёртого человека. Мне это было просто, потому что моим четвёртым был Валька Сидоров, у которого уже тогда грудь была колесом; к концу школы она приобрела такую обширность, выпуклость и мощь, что наш физрук Гроссман говорил: если б у меня было столько силы, сколько у Сидорова.

Пётр Андреич вышел перед строем и долго молчал. Потом сказал, что должен сообщить нам о смерти — он выдержал скорбную паузу, возвысил голос — выдающегося деятеля партии большевиков и советского государства Андрея Александровича Жданова, злодейски. Тут директор замолчал. Жданова я знал: в его книжечке приводились очень нравившиеся мне стихи поэта-пошляка Хазина — как бы пародия на «Евгения Онегина»: «Судьба Евгения хранила — ему лишь ногу отдавило и только раз, пихнув в живот, ему сказали: «Идиот»». Он хотел вызвать обидчика на дуэль, но «кто-то спёр уже давно его перчатки; за неимением таковых смолчал Онегин и притих». Мы тоже затихли. Директор ещё раз сказал: «злодейски» и сжал кулак. Приглядевшись, мы успокоились: Пётр Андреич находился в некоем знакомом нам состоянии. Теперь мы ждали, когда он расскажет про Пашку Тарантикова. В войну директор был штурманом дальней бомбардировочной авиации. Летали с внутренних аэродромов на особо удалённые объекты, и даже однажды бомбили Берлин — немцы меж тем стояли у Сталинграда.

Полёты были ночные, туда шли на одной высоте, обратно — на другой, Пашка Тарантиков был хороший пилот, но недисциплинированный: плохо слушал, когда объявлялось задание, в строю болтал и толкался, вот как вы сейчас, Падалко и Ермаков.

Что в результате? Он забыл, на какой высоте возвращаться, и врезался во встречную волну своих же бомбардировщиков. Погубил боевые машины, товарищей и погиб сам.

Поводов говорить про Пашку Тарантикова было два: когда Пётр Андреич выпьет и когда плохая дисциплина; то и другое было перманентно, и историю эту мы слышали часто.

Мама рассказывала, что однажды на педсовете в этом же состоянии он говорил речь:

— Учитель в нашем советском государстве находится на такой высоте, на какой он у нас никогда не стоял, не стоит...

По законам риторики с необходимостью следовал третий член; Пётр Андреич смутно чувствовал, что говорит не совсем то, но в таком состоянии сопротивляться не мог и закончил:

— ...и стоять не будет.

Законы риторики ещё не раз подводили его. Перед самыми выпускными экзаменами умер учитель географии Василий Иванович Предплужников — охотник, рыболов, весёлый выпивоха. На весенней охоте основательно, по обыкновению, с другом выпил; вечером, на обратном пути, в газике, который вёл его сын, учителю стало плохо, его

начало сильно рвать, сын отчаянно гнал, но в больницу не успел — отец задохнулся.

Ехавший с ними собутыльник протрезвел только наутро.

На гражданской панихиде Пётр Андреич, по такому случаю принявший уже с утра, произнёс речь: покойный брал Берлин, был прекрасный педагог, надёжный товарищ, с ним было хорошо работать, хорошо разговаривать, хорошо сидеть за столом.

— И жил красиво, — возвысил голос директор, — и...

Все замерли. Мне казалось, я слышу, как у всех в голове стучит одна и та же мысль: как закончить? Потому что по всем правилам риторики надо было завершить: «И умер красиво», что про человека, захлебнувшегося в собственной блевотине, сказать было

уж нельзя никак. Пётр Андреич замолчал, затравленно огляделся и, пробормотав: «И мя- мя-мя», махнул рукой и отошёл от гроба.

На одной из линеек в годовщину освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков директор спел нам песню «Ой Днипро, Днипро, ты широк, могуч и волна твоя, как слеза». Мы и не знали, что у Петра Андреича такой хороший голос. Он любил свой предмет — историю — и любил нас, и за это мы любили его. Никто и никогда над директором не смеялся.

Вот мы стоим в строю: Витька Сидоров, его через десять лет завалит в забое карагандинской шахты со всей второй сменой; Генрик Гассельбах, он окончит местный техникум, будет работать на Каменном карьере, потом станет инструктором райкома, потом третьим секретарём, но так и не станет вторым — как немец; Федька Лукашевич — его через пять лет ткнёт кортиком, допырнув до позвоночника, любитель всего морского стоящий рядом Борька Корма, и Федька умрёт от потери крови в кустах горсада, а Борька получит срок и вернётся только через десять лет, снова кого-то пырнёт и исчезнет в недрах лагерей уже насовсем (он был щеголь, часто гляделся в карманное зеркальце и говорил: «Что-то я зарос, как Сталин» — только эта фраза и останется от него); Генка Гежианов, долго работавший агрономом в Алтайском крае, от которого я слышал самую уничтожающую критику советской системы сельского хозяйства и которого уже теперь увидел по телевидению с портретом Сталина в руках; Вовка Рыбинцев, застреленный во время службы в армии при невыясненных обстоятельствах; Рита Зюзина, груди которой были видны, наверное, и левофланговому и про которую потом никто не говорил ничего, кроме «Ну, Риточка наша...»; Васька Гагин, ставший известным всей Акмолинской области лектором общества «Знание» (освещаая проблему охраны природы,

Вася подчеркнул, что рыбная ловля с берега не несёт в себе никакого рецидива и не нарушает природный дисбаланс, а в лекции о советских спортивных достижениях произнёс гениальную фразу: на футбольный чемпионат собралось лучшее кредо Европы); Юрка Гайворовский, отоларинголог, талант, надежда карагандинского мединститута, дошедший до того, что пил розовый от крови спирт, в который клали инструменты во время вырезания гланд, и умерший в лечебнице для алкоголиков; Петька Змейко, горный инженер, вступивший в партию по пьянке и легкомыслию и всю жизнь объяснявший мне, как это получилось.

16. ООН

Гурка, как всегда, был во дворе; что он делал, Антон понял не сразу, приглядевшись: Гурка гнул дуги. Он как будто нанялся иллюстрировать чебачинскую патриархальную жизнь: в прошлый приезд Антон, идя к нему, специально захватил дочку, и не ошибся: Гурка вязал веники. Заготавливать берёзовые ветки было дело детское (хотя надо было знать — не позже чем три недели после Троицы, до образования серёжек, которые в бане липнут к телу), но вязать — нужна была опытная рука.

Гурка только мельком взглянул на Антона; момент был ответственный: он медленно-медленно стягивал верёвкой концы толстой, уже безкорой палки-заготовки, только что вытащенной из огромного кипящего чана. («А дуги гнут с терпением и не вдруг».) От белой выструганной заготовки шёл пар, видимо, она была очень горячая, потому что, взогнув её и завязав узел, Гурка долго дул на свои красные руки.

— Как живешь, Гурий?

— Как все.

— А все как?

— Кто так, кто эдак.

— А кто эдак?

— Да тот, кто не так.

— А тот, кто так?

— Ну, уж он не эдак. Он всегда уж так, ох как так! Антон замолчал.

Гурий умел всё. Его ивяные вентера, напоминавшие изяществом конструкции башню Шухова, служили годами, на санках его работы каталось три поколения детей всей Набережной. С соседей и знакомых Гурка денег не брал, за что жена Поля, дочь купца Сапогова, его ругала. Но Гурка считал — неудобно.

Ещё в школе Антон пробовал научиться у него плести лапти; Гурка терпеливо разъяснил разницу между русским глубоким и удобным круглым лаптем и мордовским, мелким, об осьми углах. Показал, как драть лыки.

— Лыки драл, куда клал? — сказал Антон.

— Чего? — не понял не знавший напечатанного фольклора Гурка. Учил Антона, как действовать главным орудием лаптёжного производства, называвшимся кочедык.

— Как? — холодея от восторга, переспросил Антон.

— Кочедык, — повторил Гурка и стал показывать, как низать и

накосую затягивать петли. — Правильно затянешь — лапоть будет что твоя галоша. Знаешь, как мою работу отец проверял? Налъёт воды в пятку, ежели пропускает — сапожной колодкой по башке, за то, что матерьял спортил. Берёшь эту штуковину...

— Какую?

— Кочедык. Заперво заводишь его внутрь...

— Кого?

— Да кочедык, мать твою, — потерял терпенье Гурка.

Не мог же Антон объяснить ему, что больше всех лаптей вместе взятых, настоящих и будущих, ему нравилось само слово и то, как Гурка его произносит, выдвигая на последнем слоге вперёд челюсть, при чём обтягивался кожей и заострялся его кадык — тоже хорошее слово, но попросить произнести его совсем уж не было никакого повода.

Обучение лаптёжному мастерству на этом закончилось.

Всему Чебачинску Гурий был известен как тот, Кого знают в ООН. Работал он на водокачке железнодорожной станции. Дал по мордасам наезжему инспектору-начальнику, тому самому, которому когда-то по этому же месту съездил бедолага Татаев. Никита- кочегар как-то по пьянке намекал, что он, Никита, тоже приложил к этой ряшке руку, но свидетелей не было, и дело продолжения не имело. «Заинтриговали вы меня вконец, — говорил Гройдо, — что за рожа у него такая притягательная, нет сил удержаться?»

Гурку уволили. На водокачке он всю жизнь работал на насосах, больше насосов нигде в округе не было. Гройдо говорил, что Гурку уволили незаконно, что за мордобой проезжий ревизор должен был подать на Гурку в суд, а к службе это отношения не имеет.

Никита посоветовал Гурке писать в ООН, недавно организованную. Разговор происходил в котельной. Сначала Никита прошелся насчёт начальничка, в закон его мать, чтобы его могила х. ми поросла, чтоб его бабушка ежа против шерсти родила, в прабабушку, богородицу и бога душу мать, священный синод и матушку Екатерину...

Антон подумал, что кочегар начал Загиб Петра Великого, где все упомянутые были уравнены в едином потоке, и что сейчас пойдут святые, всехвальные апостолы и боговенчаные цари, — но Никита, пожелав напоследок, чтобы Гуркину начальнику шакалы яйца отгрызли, остановился и перешёл к делу.

— Прямо в ООН, — горячился он, и его единственный глаз сверкал в отсветах топки. — Приняли Декларацию прав человека? Приняли. Ты что, не человек?

— Человек, — соглашался Гурка.

— Так пусть тебя и защищают! Они должны защищать всех!

— Не смогут, — подумав, возражал Гурка. — Если всех взять... в одном Карлаге тут у нас, почитай, тысяч тридцать.

— Хорошо, — соглашался Никита. — Но одного-то — смогут?

— Одного, пожалуй, потянут, — соглашался Гурка. — Да разве до их доберёсси? Как послать?

— Ты давай, что послать. Его отец, — Никита мотнул головой в сторону Антона, — напишет. А дальше — не твоя забота,

Никита слов на ветер не бросал. У него, был канал в свободный мир — сын его друга, кочегара с того же броненосца «Ослябя», моряк, жил в Одессе и ходил в загранку.

— Ермолай мне не откажет. Вместе в Цусиме полоскались. Уговорит сынка.

Письмо было написано, но адрес? Бывалого матроса Никиту и это не смущало.

— Да просто: Нью-Йорк, ООН — по-английски. Пусть Антон у своей англичанки спросит. Один раз, давно, когда ножей не знали, х... мясо рубили, одним словом, при Николашке ещё, ждали мы прохода через Суэц, было дело с одним нашим матросом. По пьянке. Ну, не отпускают его из полиции — и всё. К командиру корабля — нельзя. Мы сами, матросы, попросили мичмана написать на бумажке: дескать, где резиденция английского генерал-губернатора. И с этой бумажкой — по городу. Отыскали! Генерал- губернатор-то один. А ООН — одна на весь мир. Найдут.

И нашли. Из ООН обратились к Председателю Президиума Верховного Совета Швернику, в обком пришла телега за подписью Горкина — секретаря Президиума. На месте сначала на всякий случай Гурку арестовали — Поля, его жена, вся зарёванная, прибежала к Стремоуховым ночью.

В НКВД у Гурки спрашивали две вещи: кто написал письмо и как его отправили в Нью-Йорк. Но Гурка был к обоим вопросам готов и отвечал, что сам написал, а письмо опустил в почтовый вагон поезда «Караганда — Москва». Ему не поверили, но он стоял на своём, как партизан. А когда отпустили, то в это тоже никто не поверил — уже дома.

Соседи, все отбывавшие по пятьдесят восьмой и пять или десять по рогам, квалифицированно разъяснили, что собрать в узелок, он потом с месяц висел у печки в Гуркиной избе. На работе Гурия восстановили — в это тоже никто не верил. Ходил даже слух, что начальника, кому врезал по

замордку, уволили, но профессор Резенкампф, у которого как теплотехника были большие связи в депо, утверждал, что это неправда.

— Зайдёшь в избу, Антон? — сказал Гурий. — Выпьем.

— С утра?

— А что? С утра выпил — весь день свободен.

— Спасибо, Гурий, в другой раз. Тороплюсь к Атисту Крышевичу.

— А, к дипломату, Артисту Крысовичу! Сходи, сходи. Отчётливый мужик. Кофеем напоит. В Европах бывал, кофе делает хороший, крепкий, как рельс.

17. Гимн Советского Союза

Атист Крышевич не был учителем — он был атташе культурель посольства Латвии в Англии. Когда республику добровольно присоединили, посольство разделилось: большая часть осталась в Лондоне, меньшая поехала строить социалистическую Латвию.

Через Ригу они проследовали транзитом — кто в Потьму, кто на Колыму.

Атист Крышевич попал под Караганду, в Карлаг, а через десять лет, получив ещё пять по рогам, — сначала в Степняк, а потом в Чебачинск. С молодости он был на дипломатической работе, больше ничего не умел. Правда, вскоре выяснилось, что нужны его языки. Он их и преподавал в местных школах — где какой требовался: английский, немецкий. Преподавать, впрочем, он тоже не умел: никак не мог взять в толк, как человек, учивший язык с пятого класса, к десятому не может составить самой простой немецкой фразы; его это приводило в страшное недоумение — с чего начинать, чему учить; к тому ж он не знал, как учить, в чём простодушно и признавался, говоря, что не имеет представления ни о каких методиках.

— А и никто не имеет, — не менее простодушно говорила ему Сорок Разбойников. — Вы поступайте как я: как меня учили, так и я учу. Вас как учили языкам?

— Мы разговаривали с гувернанткой. Или с родителями за обедом. По дням: сегодня по-английски, завтра по-немецки...

Он переводил на латышский Гейне, был знаком с Балтрушайтисом. У Антона он не преподавал. Но однажды в школьном коридоре он услышал, как Антон говорил Мяту:

— Совсем в духе Апсишу Екабса, или, если вспомнить его настоящее имя, Яниса Яунземиса.

— Вы знаете эти имена? — как вкопанный, остановился Атист Крышевич.

Антон смутился. Не мог же он сказать, что и псевдоним, и имя латышского писателя запомнил единственно из-за их исключительной звучности. Уже в десятом классе Антон принёс ему свой перевод из Гёте со словами, вспоминая которые, до сих пор покрывался краской стыда:

— Может, вы помните, ещё Лермонтов переводил это стихотворение: «Горные вершины».

— Помню, — улыбался в роскошную седую бороду Атист Крышевич, — переводил...

— Понимаете, — горячился Антон, — у Лермонтова — сразу метафора: «спят». У Гёте ничего этого нет. «ber alien Gipfeln ist Ruh» — и я так и перевожу: «На вершинах горных — тишина».

Я очень гордился точностью своего перевода — соблюдением вольного метра подлинника, отсутствием перифраз. У Лермонтова был правильный хорей, были и перифразы. Но почему-то и «спят во тьме ночной», и «полны свежей мглой» — всё это мне безумно нравилось, завораживало и заставляло повторять. Свой перевод повторять не хотелось. Может, поэтому я горячился всё больше.

— Надо просто, безо всего, понимаете?

— Понимаю, — ещё ласковей улыбался Атист Крышевич. — Это стихотворение Гёте — великое искушение. Я тоже... Ты не понимаешь по-латышски... Но я всё же прочту. Тринадцать лет я не читал никому своих переводов.

Он закрыл глаза и начал читать. «Печаль на его лице сменилась тихим вдохновеньем», — определил Антон.

На прощанье он подарил Антону рукописный листок с русским переводом самого знаменитого стихотворения Гейне; писано было ещё по старой орфографии: «Фраки, белые жилеты, Тальи, стянутые мило, Compliments, поцелуи, Если б в вас да сердце было». На листке не было имени переводчика, но этот перевод Антону потом никогда не попадался, ни Копелев, ни Ратгауз, ни Гаев тоже его не знали.

В классе Антона немецкий язык преподавал не Атист Крышевич, а Роберт Васильич, суровый с виду немец; суровость ему придавала наглухо застёгнутая тёмно-серая сталинка. Про него говорили, что в Энгельсе у него осталась жена, русская, которая развелась с ним, чтобы не ехать в ссылку (условие властей).

Как-то он сказал, что мы будем разучивать Гимн Советского Союза по-немецки, спрашивать он будет каждого, потому что это не обычное стихотворение, а Гимн, мы должны его знать так же, как знаем по-русски. Гимн мы выучили — даже великовозрастный богатырь Илья Падалко, по прозвищу Муромец, не запоминавший вообще ничего.

Однажды Роберт Васильич вошёл в класс с видом таинственно-торжественным; не раскрывая журнала, подошёл к первой парте и объявил, что сегодня мы будем хором петь Гимн — по-немецки. Петь будем стоя, потому что при исполнении Государственного Гимна встают во всех странах, тем более в нашей стране — при последних словах Роберт

Васильич оглянулся на дверь.

Хлопая крышками, мы встали. Роберт Васильич поднял руки и стал очень похож на немца из фильма «Падение Берлина», но Антону стало стыдно, что он это подумал, он замотал головою, чтобы прогнать такие картины. Учитель плавно взмахнул руками и запел. Со второго куплета мы запели тоже:

О Sonne der Freiheit Durch Wetter und Wolke...* (* Сквозь грозы сияло Нам солнце свободы (нем.)).

Когда закончили, наш дирижёр сказал, что кто-то забегает, а кто-то отстаёт, нужно спеть ещё раз. Мы спели, Роберт Васильич отметил, что лучше, но недостаточно воодушевления, необходимого в данном случае. В конце урока мы исполнили Гимн в третий раз, видимо с воодушевлением, так как Роберт Васильич сказал, что всё хорошо.

На следующем уроке, когда он, отметив в журнале отсутствующих, уже взял мел и подошёл к доске, мы закричали: «Гимн, гимн!» Роберт Васильич смотрел, не понимая.

Илья Муромец, главный организатор всех несанкционированных мероприятий, с трудом выпростав из недр парты руки и ноги, поднялся и заявил, что мы хотим петь Гимн. Немец кивнул, мы встали и дружно запели. За десять минут до конца урока Рита Зюзина, владелица наручных часов, сделала знак Илье, который снова встал и сказал, что закончить урок мы тоже желаем Гимном, что мы и сделали.

Гимн мы слышали по радио каждое утро перед занятиями, в девять ноль-ноль — в Москве это было шесть утра. Грязно-серый колокол динамика в школьном коридоре включался на полную мощность. Бегать в это время не позволялось, поэтому мы подпевали репродуктору — несколько другим текстом: «Однажды в студёную зимнюю пору сплотилась навеки великая Русь. Гляжу, подымается медленно в гору великий, могучий Советский Союз». Но это можно было делать только тихонько. Теперь же мы могли петь в полный голос.

На очередном уроке мы, встав при входе учителя, уже не сели и, когда он удивлённо на нас посмотрел, завопили: «Гимн!» Роберт Васильич затравленно оглядел класс и поднял руки вверх.

Мы стали петь гимн на каждом уроке немецкого, в начале и в конце, а разохотившись, и по два-три раза. Однажды дверь отворилась и в класс вошёл директор, Пётр Андреич. Заканчивался первый куплет. Директор стал по стойке смирно и дослушал гимн до конца. Потом удовлетворённо кивнул головою и двинулся было к двери, но тут Илья Муромец мощно затынул: «О Sonne der Freiheit...», а мы дружно подхватили.

Директор снова замер в стойке смирно. За эти недели мы славно спелись, а в этот раз пели с каким-то диким вдохновеньем. Роберт Васильич не дирижировал, а понуро стоял у стола и глядел в левый угол, называвшийся «дойчланд», — там сидели Фрида Шмидт, Эдик Гасельбах и Володя Федерату. Что чувствовал он, слушая гимн той власти, которая забросила его в далёкий край, гимн на родном языке, исполняемый русскими, немецкими и казахскими детьми? Или он просто думал, что попал в западню, уроки срывались и что не мог же он, ссыльный немец, запретить этим жестоким детям петь Гимн Советского Союза.

Спевки продолжались.

Роберт Васильич покончил самоубийством, совсем немного не дожив до того времени, когда немцам разрешили возвращаться в своё Поволжье.

O Sonne der Freiheit Durch Wetter und Wolke...

18. Невеста графа Строганова

В его жизни всё стало приходить во второй раз. Книги, которые он некогда с таким трудом находил и покупал, отказывая себе во всём, появлялись как-то сами собою и часто даром, не потребовала невероятных усилий и новая квартира, не лихорадочно писалась вторая монография, не столь большим событием оказалась вторая женитьба. Жизнь шла по второму кругу, и круг этот был легче.

И вот он второй раз у того самого плетня. Как долговечны предметы — колья, жерди, палки и даже ветхие скворешни — всё покосилось, почернело, но стоит. Сколько с тех пор прошло, целая жизнь, и Валя отсюда уезжала, побывала замужем — и вернулась к тому же плетню.

Он не видел её с тех пор ни разу. Тогда у них был только один вечер, на другой день он уезжал. Это было смерти подобно, но почему нельзя было сдать билет, недоумевал теперешний Антон. Почему я так волновался? Вот я стою здесь, спокойно, и, вспоминая тот вечер, говорю даже словами моего друга Юры — был всего один сеанс.

Подбежал к калитке и залаял чёрный пёс. «Цыган, Цыган!» Что это я? Не может быть Цыган. Но пёс замолчал и поднял, как тот, левое ухо. Скрипнула дверь, на крыльце появилась Валя. Прежней походкой подбежала к калитке, распахнула. «Антошка».

Подняла руки, опустила. Антон тоже поднял и тоже опустил. В избе говорили о пустяках, о Цыгане, об Озере, она говорила мало, но постепенно разошлась, рассказала про наших, кто где, с кем; спросила про дочку. Пили чай с чабрецом. «На Каменухе насобирала?» — «Нет, с этой стороны, на Сопке. Не хочешь чего покрепче?»

Вечером с соседским мальчишкой Антон послал деду записку; придумывать не хотелось, но чтобы в доме прочли все — не хотелось тоже; написал по-латыни: «Amor arcet me ab auro»*. (* Любовь задерживает меня до утра (лат.)).

Утром гуляли у Сопки, потом Валя вдруг решила пойти к Тихой Глаше. Глаша была гадалка, но не любительница, как бабка, а профессионалка. У неё когда-то был муж.

Карты показали, что у него большая неприятность от трефового короля, в связи с чем предстоит дальняя дорога, а дальше вообще — выпадал туз пик. Глаша умоляла его уехать к брату в Минск, он не захотел, через месяц его выслали на Север как подкулачника, без семьи (кулаков

высылали подчистую — включая грудных детей), по дороге он помер.

Через два месяца от дифтерита умерли обе дочери Глаши; это тоже предсказали карты. С тех пор она нигде не работала, никуда не ходила, сидела дома и гадала — не только на картах: на свечке, капая с неё стеарином в холодную воду («ярый воск топили») и застывшие узорные пластинки потом держа перед лампой — на что похожа тень (силуэт собаки — вас ждёт новый друг, птички — жизнь без хлопот, змеи — опутает сплетня, наговор); на бобах, раскладывая их неровными кучками или рассыпая и рассматривая их расположение; на кофейной — из желудёвого кофе — гуще. Иногда, раскинув карты, вдруг их смешивала и говорила: не показывают ничего. Но все уже знали, что это значит; Глаша не ошиблась ни разу. Таксы не существовало — кто что принесёт, а если не приносили, по дням не ела, сидела, гладила сибирского кота Турксиба; на речистых шумных гадалок Глаша не походила, была тихоня и бледнавка.

В конце войны от отца Вали перестали приходить письма. Мать пошла к Глаше. Та раскинула карты, потом разложила вязочки какой-то травы.

— Скоро вернётся. Приедет на машине.

— Где ж он машину-то возьмёт? На весь Чебачинск две полуторки!

— На машине приедет и стукнет в стену.

— В стену? Никогда не стучал...

— Теперь стукнет.

Всё так и вышло. Муж приехал с солдатами, которые на грузовике везли в часть какие-то ящики из Омска; пока он прощался, слезал, шофёр постучал в стену.

Антон пошёл дальше по Нагорной, смотрел на Сопку. Левый её склон, по которому все они так любили лазать, сильно понизился: гору много лет рвали на строительный камень для Омска. В это лето взрывов было не слышно — видно, всё-таки запретили, а в ту, давнюю зиму они ухали постоянно, даже поздним вечером; когда он обнимался с Валею у плетня, как раз сильно рвануло, так что дрогнула земля, — Антон тоже вздрогнул и сильно прижал к себе Валею; она подумала, что это он от чувств, и тоже прижалась к нему.

Дорогу перегородила похоронная процессия. Я остановился. Теперь мне уже многие были не знакомы в Чебачьем — народилось и выросло целое поколение, да и понаехали. Но всех, кого хоронили во время моих редких наездов сюда, я знал. Старуха, вся в чёрном, с двумя клюками, перегнутая пополам так, что её вытянутый вперёд подбородок был где-то на уровне моих колен, вывернув голову, посмотрела снизу. Это

была Мария, бывшая монашка, которая в той жизни приходила к нам

на Пасху разговляться. Дед, правда, говорил, что она не совсем настоящая — дошла только до рясофорной монахини и не выдержала, вышла из монастыря (это не помешало ей получить максимальный срок ссылки).

— Строганову хороним, — сказала Мария, хотя Антон ни о чём не спрашивал. — Деушку нашу.

Старуху Строганову я помнил и историю её тоже. Это была её девичья фамилия. Родилась она где-то то ли под Соликамском, то ли в Сольвычегодске, то ли Солигаличе. К ней посватался её дальний родственник, но не из бедных Строгановых, как она, а из тех, кому уху из стерлядей в шампанском варили и французским коньяком в парной полы мыли. Девушка не соглашалась, потерявший голову молодой солепромышленник говорил, что сделает всё, что она пожелает. Своенравная девушка сначала слушать не хотела, но потом сказала:

— Желаю, чтоб завтра всё кругом запорошило — белым-бело!

— Доченька! — рыдала мать. — Дождись хоть ноября!

— Хочу, чтоб завтра.

Строганов ушел бледный, но твёрдым шагом.

Всю ночь скрипели телеги; утром девушка выглянула в окошко — кругом белым-бело, она в другое — ещё белее. Со своих соляных приисков Строганов пригнал триста пароконных подвод с белой пищевой солью, и за ночь её рассыпали по близлежащим улицам и крышам соседских домов.

Но капризная деушка всё равно отказала настойчивому искателю. Все её за это осуждали, прозвали «графова невеста» и сочинили частушку. Она уехала в Чебачинск, но частушка каким-то образом долетела и сюда: Соли, что ли, было мало — Девка графу не давала.

Частушку очень подходило распевать под скакалку, но бабка Антону это запретила.

А Строганова так и осталась в деушках.

В толпе оказался Иван, муж Антоновой одноклассницы Веры Выродовой. Это был суровый, молчаливый мужчина. К Антону он расположился с первого его визита к молодожёнам, во время которого Антон поведал им старый анекдот, рассказанный ему в детстве на уроке по-английски его учительницей Кошелевой-Вильсон — про ребёнка какого-то лорда. Этот бэби до семи лет, к горю родителей, не говорил. Но как-то за обедом вдруг сказал: «Мне кажется, бифштекс пережарен». Поражённые родители стали спрашивать, почему он немотствовал раньше. «А до сих пор, — сказал маленький лорд, — меня всё устраивало». Лишнего Иван не говорил. Но зато с первыми звуками его голоса ложки опускались, Вера кидалась выключать телевизор, воцарялась мёртвая тишина и даже

дремавший на вышитой подушке огромный кот Федот открывал глаза. И не зря: семья узнавала, что завтра на шесть утра назначен выход за грибами.

Вера вскакивала, вытаскивала резиновые сапоги, штормовки, корзины, сын помогал, старшая дочь начинала тихо плакать — у неё на воскресенье были другие планы.

Иван сам построил дом, отделал весь первый этаж внутри лиственничными панелями с выжженными узорами (второй этаж обещал быть ещё эффектнее, но уже лет десять был в работе, ютились пока на первом), прирезал к участку и вскопал большой кусок пустоши со стороны Речки (после этого огорода и сада уже не касался — считал, дело немужское), срубил баню, которая хорошо держала пар (правда, почему-то была грязновата), ловил рыбу, ездил в Степь охотиться на сайгаков (с автомобиля, ночью, при свете фар) и обеспечивал семью мясом на всю зиму, стрелял белок (шкурки уже лет пять копились на доху Вере). Собрал целую библиотеку путешествий, но сам, будучи чебачинским уроженцем, не ездил никуда — не поехал даже на две недели в Москву, куда жена выбила

себе командировку. О всех, кто живёт в больших городах, говорил тихим, соболезнующим тоном, как о тяжелобольных. Озёрами, лесами, Степью, своим городом, своей жизнью был доволен и считал, что Чебачинск — лучшее место в мире, но прямо это не говорил, а только показывал мордой лица, как выражалась его дочь Алевтина.

По утрам теперь я уходил за речку, в Степь. Солнце так же всходило над Каменухой и в полдевятого поднималось над ней на два копы, как и тогда, когда мы с Васькой шли в школу.

Приди, милый, стукни в стену, а я выду, тебя встрену.

19. Два горных инженера

Пришла телеграмма — приезжал Николай Леонидович, старший сын деда. Это он вывез всю дедову семью во время голода с Украины, завербовавшись на рудник треста Сибзолото Сумак, на границе с Северным Казахстаном.

Ему дали большую квартиру с мебелью. Дед тоже устроился — явившись в шахтуправление, сказал директору: нехорошо, что на таком знаменитом и богатом руднике нет парка. И предложил этот парк разбить, беря на себя в качестве учёного агронома руководство мероприятием. Директор устыдился, ассигновал деньги, работа закипела. Дед объявил, что парк будет точной копией — в миниатюре — Люксембургского сада в Париже. Это произвело впечатление, смету увеличили. «Но ты же не был в Париже!» — говорила бабка. «А, чего там!» — отвечал дед своим любимым присловьем, к которому иногда добавлял: «Не боги горшки обжигают». Благодаря этой затее он приобрёл на руднике большую популярность, ибо образовалось некоторое число рабочих мест, что было очень кстати для безработных жён ИТР и ссыльных. То ли эпоха была такая, то ли дед был таков, но он без малейшей робости брался за всё новые и новые дела. После духовной семинарии учительствовал; окончив экстерном сельхозинститут, стал преподавать в нём же практическую агрономию и пчеловодство; работал заведующим метеостанцией, преподавал литературу на курсах усовершенствования учителей.

Но долго в Сумаке семья не задержалась.

По службе дядя Коля был связан со старателями; в его лице они видели руку государства и находились с ним в постоянных контрах. Однажды он возвращался вечером с прииска. Дойдя до середины мостика через горную речку Сумку, увидел, что на той стороне дорогу загораживает старатель Васька Каторжное. Дядя Коля оглянулся — там, где он только что взошел на мостик, уже стоял другой Васька, тоже с каторжной фамилией — Непомнящий, не меньше первого. С предшественником дяди говорил как раз Каторжное, после чего инженер перевёлся на другой рудник. С новичком эта парочка тоже хотела что-то обсудить, но он разговаривать с ними отказался. Дело выходило дрянь, старатели были мужики лихие.

Васька неторопливо двигался навстречу. Дядя был силён — в отца, кроме того, здесь, на руднике, он свёл знакомство с отставным поручиком Семевским, участником японской войны, командиром роты маньчжурских

стрелков-пластунов, который утверждал, что приёмы русского рукопашного боя с оружием и без, восходящие к фельдмаршалу Салтыкову и генералиссимусу Суворову, превосходят по эффективности все эти джиуджитсу, каратэ и ушу. Приёмом Суворова — Семевского, который состоял в неожиданном глубоком приседании и ухватывании противника за подколенки, дядя Коля перекинул первого Ваську через перила в речку. И не оглядываясь пошёл дальше.

Второй Васька догонять его не стал; встретив на другой день у драги, сказал: «Каторжное шмякнулся головой, отдал концы. Теперь берегись, начальник».

Это была чистейшая туфта, Каторжное, живой и здоровый, где-то отсиживался; дядя потом долго не мог простить себе, что клюнул на такую простенькую наживку. Но он

клюнул и решил уехать. Тем более что подросли другие неприятности: он взял на работу бывшего колчаковца, которого, как заявил чин из НКВД, давно разыскивали (что было неправда — тот спокойно жил в посёлке). Дядя Коля перевёлся на такую же должность на золотой рудник Степняк в Северном Казахстане, а семью перевез в Чебачинск, от него в сорока километрах. Задача на этот раз была проще, чем когда ехали с Украины, семья значительно уменьшилась: тётя Таня вышла замуж за беднягу Татаева, тётя Лариса — за горного инженера, тётя Галя уехала учиться в Харьков и там тоже вышла замуж. Дед с бабой и оставшимися при них Тамарой, Анастасией и Лёней погрузились на две телеги, запряжённые быками, и через трое суток были на месте.

Так семья оказалась в Чебачинске. Городок лежал на берегу огромного чистейшего Озера (чебак — местное название плотвы), с десятков озёр поменьше блестело среди гор и сосен Казахской складчатой гряды.

Войну дядя Коля закончил капитаном. Рассказывал про неё всегда что-то совсем другое, чем Антону приходилось читать (он читал все книги о войне) и даже слышать.

Много — про дороги, точнее — что их не было. Как при отступлении где-то в районе Пинских болот орудия бесследно проваливались в трясину вместе с расчётом; пушки, по его рассказам, почему-то тащили всегда сами, без всякой техники, до тех пор, пока не стали поступать американские тягачи-студебеккеры. Одно время он был командиром батареи «Катюш». Каждая из установок гвардейского реактивного миномёта возила ящик с толом, и он, командир, имел приказ: оказавшись в непосредственной близости от противника и предполагая вероятность попадания установки в руки врага, взорвать её вместе с орудийным расчётом. «Почему вместе?» —

«Чтобы не раскрыли врагу секрет нового оружия». — «А они его знали?» — «Нет, конечно. Что мог знать простой боец?» Но именно так, рассказывал дядя, погиб расчёт одной из первых действующих установок «Катюш» вместе со своим командиром капитаном Флёровым. От дяди же Антон в первый раз услышал, что маршала Жукова солдаты не то чтоб не любили, но говорили: «Приехал.

Теперь живым навряд останешься». Потом Кувычко-средний рассказал: когда требовался проход в минных полях для танков, Жуков приказывал по полю пустить пехоту; проход образовывался, техника оставалась в целости. (Через много лет Антон будет писать — и, как почти всё, не допишет — работу о том, что такой социум, такая странная эпоха, как советская, выдвигала и создавала таланты, соответствующие только ей: Марр, Шолохов, Бурденко, Пырьев, Жуков — или лишённые морали, или сама талантливость которых была особой, не соответствующей общечеловеческим меркам.)

Говорил ещё дядя Коля о тех, кто выживал на фронте. Кто не ленился отрыть окоп в полный профиль, сделать лишний накат на землянке. Кто не пил перед боем наркомовские сто грамм — притупляется осторожность. Кто не шарил в Германии по домам. Дядя один раз попробовал — сержант сказал, что рядом в брошенном замке целая комната костюмов, а маркграф, судя по фотографиям на стенах, был мужчина крупный, как вы, товарищ капитан. Действительно, в гардеробной висело костюмов пятьдесят.

Когда дядя Коля стал один примерять, откуда-то сверху, видимо со шкафа, на плечи ему прыгнул здоровенный рыжий немец. Дядю и на этот раз спасли приёмы русского рукопашного боя. Но из Германии он не привёз ничего, кроме двух пар подмёток, которые ему подарил приятель — командир батальонной разведки, сын чебачинского сапожника дяди Дёмы, по всей Германии собиравший для отца кожаный товар.

Перед войной дядя оказался в Саратове, где золота не добывали. Но он быстро переквалифицировался и стал специалистом по нефтегазу. В Саратове первое время снимал комнату в доме у местного немца, которую превратил в пристройку с отдельным входом, построил сарай. От платы отказался и попросил хозяина заниматься с ним немецким языком — через год уже прилично говорил, что ему очень пригодилось ещё через три года.

К старикам из Саратова он приезжал на золотую свадьбу; я хорошо помню это торжество, когда съехались все; дед то и дело говорил: «лет шестьдесят тому назад», дядя Коля: «сорок лет тому назад», тётки: «тридцать лет тому назад».

До нынешнего его приезда надо было навестить двоюродную сестру

Иру, она передала, что хотела бы встретиться. Идти не хотелось; к удивлению, о наследственных делах не было сказано ни слова, Ира просто хотела поговорить о своей покойной матери — «ты так хорошо всё помнишь».

Её мать тётю Ларису и своих сестёр Иру и Галю Антон увидел, когда бабка выписала её с рудника после того, как только что разбронировали и отправили на фронт её мужа, в чём виновата была она сама.

Когда выпускник Петербургского горного института (он никогда не говорил: Ленинградского) Василий Илларионович Жихарев приехал на рудник Сумак, у Ларисы, третьей дочери деда, уже был жених, бухгалтер шахтуправления Энгельгардт — собственно, экономист, но работавший не по специальности за ненадобностью таковой на советском золотодобывающем руднике. И всё бы ничего, но он был ссыльный и только начал отбывать свой пятилетний срок. «Это, к сожалению, не партия для нашей семьи», — говорила бабка, намекая на то, что он хотя и дворянин, что вообще-то является несомненным достоинством, но репрессированных и сомнительных в семье и так достаточно. Отец деда, священник, остался за границей, в Литве, и о переписке с ним знали где надо; незадолго до отъезда семьи в харьковской тюрьме умер младший брат деда, Иосиф, тоже священник (его предсмертное письмо, где он прощал своих мучителей, ибо не ведают, что творят, бабка часто перечитывала и всегда плакала); другой брат, о.

Михаил, был расстрелян в восемнадцатом году в Иркутске; судьба третьего, полкового священника в армии Врангеля, была неизвестна (последние сведения о нём исходили от случайно встреченного дедом в Екатеринославе вольноопределяющегося Норова: о.

Георгий осеял крестным знаменем роты, входящие в воды Сиваша); младший брат, Павел, не дожидаясь неприятностей, бросил, воспользовавшись женитьбой, священство, переселился в Москву и работал фельдъегерем. Положение его, впрочем, было тоже сомнительно: жена была дочерью тверского вице-губернатора, расстрелянного по спискам в дни красного террора после покушения на Ленина. Дочери начинали в этом плане тоже не очень хорошо: у Галины, первой вышедшей замуж как будто удачно, оказался не в порядке свёкор — отбывал срок не то в Соловках, не то на Беломорканале.

Дядя Коля пригласил новоприбывшего инженера домой. Увидев Ларису, тот уже в конце вечера объявил, что сражён, таких русалочьих глаз и как водоросли волос не видел никогда, и стал бывать у Саввиных ежедневно. Новый претендент, уступая Энгельгардту в происхождении (его

отец происходил из казаков и хоть считался дворянином, но бабка в казацкое дворянство не верила), был зато перспективен, блестящ, всех очаровал. В первый же визит объявил: «товарищей» он не любит, в партию же вступил потому, что не хочет давать им форы; деду читал наизусть Пушкина, а тётё Ларисе — Есенина. Играл на гитаре, пел приятным тенором «К чему скрывать, что страсть остыть успела, что стали мы друг другу изменять»; с тётёй Ларисой они пели на два голоса «Оля любила цветы. Низко голову наклонит, Милый, смотри, василёк — Твой всё плывёт, а мой тонет»; потом этот романс Антон нашёл у Апухтина — конечно, без кровавого конца, которым заканчивался песенный вариант.

— Это — партия, — говорила бабка. — Дворянич. Конечно, казацкое дворянство... Но зато он состоит в РКП — у нас в семье ещё никого не было из РКП.

— Ты бы, мама, хоть название запомнила, — нервничала тётя Лариса. — Уже давно они — ВКП(б).

— И совершенно напрасно. РКП гораздо благозвучнее.

С этим Антон был совершенно согласен. Про РКП была песня: «РКП — мамаша наша, РКП — папаша наш», а про ВКП(б) песни не было. (Позже уже Антон поправлял

бабку — когда она вместо «Маленков» упорно говорила «Милюков».) Лариса колебалась...

Когда у неё спрашивали — почему, говорила какую-то чепуху: что все песни и романсы, которые поёт жених, — про измену. Над ней смеялись; дед говорил, что такова тематика двух третей любовных романсов. «Но не всех же», — возражала дочь.

Вскоре молодожёны уехали на другой рудник треста Каззолото, куда Василий Илларионович получил назначение на должность главного геолога. Оклады в Каззолоте, недавно перешедшем в подчинение НКВД, со всеми надбавками были сказочные: главный инженер получал в месяц несколько тысяч (зарплата матери Антона, учительницы, была двести пятьдесят рублей). Кроме того, Василий Илларионович большие деньги имел от своих выездов на рудники, где разведанные месторождения оказались выработанными и насущно необходимо было определить район дальнейших разработок — найти золотую жилу. Молва гласила: у Жихарева нюх.

Действительно, ему всегда сопутствовала удача: жилу он находил. Обставлял это театрально: водил за собою комиссию по колючим зарослям и косогорам, держал на ребре ладони на весу ивовый прут, наполовину очищенный от коры (так делали старики-рудознаты), велел выкапывать из

земли какие-то корешки и нюхал их; закрыв глаз, ложился ухом со стороны этого глаза на землю. Потом топал ногою: здесь. Пригоняли технику, забуривали шурф, промывали вынутую породу, работали день и ночь; где было топнуто, оказывалось золото.

— А как на самом деле вы определяете? — осторожно спрашивала бабка, когда в застолье зять в красках всё это изображал.

Источник знаменитого чутья геолога Жихарева был прост: «Горный журнал», комплект которого с 1888 года он купил ещё студентом и с которым никогда не расставался, возя его в двух чемоданах по всем рудникам и читая ежедневно на ночь.

— Ну, а зачем ивовый прут, ложиться на землю...

— А иначе с ними нельзя! Если сказать, что ещё в 1820-х годах маркшейдер Герман (кстати, знакомый Пушкина) обнаружил на Южном Урале самородное золото в хлористом сланце и известковом шпате, а через полвека другой маркшейдер, Лисицын, в своей статье писал, что в Сибирском Поясе, в его складчатой структуре золотым россыпям соответствует концентрация таких пород, как — ну, я не буду, вы всё равно не поймёте, — если это сказать, не поверят. Слишком просто! В чертовщину всегда верят охотнее. Тут меня приглашают в Бодайбо, так я им собираюсь сказать, что Хозяйка Медной горы... — от смеха он не мог продолжать.

Начальство плакало от счастья: руднику грозило закрыться, куда было девать людей многотысячного посёлка? Василию Илларионовичу выписывали деньги каким-то левым образом — будто бы он работал здесь по совместительству, хотя от места его постоянной работы этот рудник отстоял на тысячу километров. Дополнительно ему привозили из Торгсина ящик шампанского — все знали, что Жихарев пьёт только шампанское и бывший шустовский, а ныне армянский коньяк.

При всём том его жена, тётя Лариса, ходила в таком старом пальто, что перед жёнами других ИТР было стыдно. Из всех талантов Василия Илларионовича самый большой был — тратить деньги.

Каждый год, все восемь лет до войны, он ездил на курорт — всегда в Кисловодск. Деньги с собою забирал все — и отпускные, и левые. И каждый раз перед окончанием срока присылал телеграмму (не прислал, кажется, только раз) с просьбой выслать на билет. Не только привыкшая считать копейки бабка, но и дядя Коля, и все знакомые, зная, на кого это шло, всё же поражались, каким образом за три недели можно истратить такие сумасшедшие (всегда был только этот эпитет) деньги. Завесу с тайны снял Антон — уже будучи студентом.

В деканате Антону сказали, что ему звонили из приёмной замминистра геологии. Звонил, конечно, Василий Илларионович, который ехал через Москву в Кисловодск на бархатный сезон.

— Что делаешь вечером? — спросил дядя по пути в гостиницу «Москва». — Кстати, уже пять часов. Распакуюсь — и не рвануть ли нам в Большой?

— А билеты?

— Чудачок, кто ж туда по билетам ходит. У тебя случайно нет конверта?

Конверт случайно оказался, Антон поспешно стал выдирать лист из общей тетради. Но бумаги Василий Илларионович не взял.

Давали «Сусанина». Миновав толпу искателей лишнего билетика, мы с дядей подошли к билетёрше.

— Мы тут с этим симпатичным студентом хотели бы послушать Максима Дормидонтыча. Кстати, Перерепенко просил передать этот конверт. Через десять минут мы подойдём.

Я поинтересовался, кто таков Перерепенко.

— Никто. Какая разница. Ну Перебийнос. Или — как там звучала фамилия у казаха в твоём классе?

— Зайбашин.

— Лучше всех! Заебашин. Перерепенко — пароль. Она поняла, не волнуйся.

Когда мы вернулись, понятливая билетёрша уже издали лучезарно улыбалась нам, как всегда и везде улыбались главному геологу шахты «Первомайская» официанты, таксисты, продавщицы, контролёры, железнодорожные проводники, администраторы гостиниц, парикмахеры. Рядом с ней оказалась вторая, ещё улыбчивее, и проводила нас в ложу первого яруса.

В антракте Василий Илларионович говорил, что валенки Сусанину могли бы найти и не столь фабричного вида, что Дормидонтыч считался любимым протодьяконом патриарха Тихона (это не удивило — Михайлов до дрожи нравился мне в роли протодьякона в первых сценах эйзенштейновского «Ивана Грозного»), но был ещё один великий бас — Лебедев, его расстреляли, он был лучше Михайлова.

В антракте гуляли в партере; Антон процитировал классика: «Пожилые дамы были одеты как молодые и было много генералов».

— Скорее молодые, как пожилые — все в панбархате, чернобурках, песцах. А вообще эта вереница юных красавиц напоминает эшелон фрицевых жён, с которым я ехал в Казахстан. И оккупанты, и наш

генералитет отбирали, конечно, лучший женский материал.

Дядя вдруг видимо поскуchnел. Отправились в буфет. Официантки не было видно, за соседним столиком уже нервничала какая-то пара. Но стоило Василию Илларионовичу сесть, как к ним тут же подлетела симпатичная девица в белой наколке, и через несколько минут уже несла мельхиоровое ведёрко, из которого в разные стороны смотрели два шампанских горлышка: одно — золотое, другое — серебряное, поставила тарелку бутербродов с чёрной икрой — на столе лежали только с красной. Бутерброды и пирожные Антон с трудом доел, запивая шампанским, налитым из серебряной бутылки; вторую даже не открыли, Антон хотел её прихватить — заплачено! — но Василий Илларионович огорчился лицом, и златоглавую красавицу оставили симпатичной девице.

Вечером следующего дня мы уже сидели в известном «Поплавке», который тогда стоял на якоре на Москва-реке недалеко от кинотеатра «Ударник». Вскоре столик был уставлен тарелками с икрой, осетриной и бутылками с шампанским; Василий Илларионович выглядел довольным, что наконец-то племянник вырос и с ним можно как следует посидеть и выпить и поговорить на мужские темы.

— Меня твои родственники за Ларису осуждают. Они в чём-то правы... Тётка твоя хорошая женщина. Но она инфантильна. А я люблю, чтобы женщина у меня в руках пицала и билась!

Декламировал стихи: «Целовал я у Ортрудочки нежно-трепетные грудочки, как котёнок, часто голенькой на ковре резвилась Оленька».

Читал и что-то более знакомое: «Люблю как-то странно, туманно, нежданно, гипнозно-полночно, блудливо-порочно, так нежно-мимозно, так тайно-наркозно...»

— Северянин?

— Какое имеет значение! Ты послушай: тайно-наркозно...

Пили шампанское — любимое вино сэра Уинстона Черчилля. Я уже не раз слышал от дяди такую квалификацию советского напитка. Василий Илларионович с удовольствием рассказал её историю.

Когда во время войны Черчилль прилетел в Мурманск, за ужином адмирал, кажется, Кузнецов, угостил его советским шампанским; то же было и в Москве. Черчилль вино похвалил. Потом он вернулся и возглавляет себе спокойно вооружённые силы Великобритании. Однажды его будят глубокой ночью: пришла шифровка, через час должен приземлиться, если не собьют, советский самолёт. Премьер-министр, не любивший, чтобы ему прерывали еду и сон, чертыхаясь, одевается и едет на военный аэродром. Самолёт благополучно приземляется; майор

советской армии передаёт пакет лично сэру Уинстону Черчиллю от маршала Сталина. В нарушение всех протоколов Черчилль вскрывает пакет тут же, читает, читает ещё раз. Наши солдаты меж тем сносят по трапу какой-то груз. Груз оказывается ящиком с советским шампанским. Черчилль благодарит за сопроводительный подарок и спрашивает, где же основной пакет, ради которого был затеян столь опасный перелёт. Вежливо, но твёрдо майор говорит, что ничего более вручить или сообщить господину премьер-министру сэру Уинстону Черчиллю не имеет. Премьер отдалился позже кинофильмом «Багдадский вор», за что Антон ему был очень благодарен.

В конце рассказчик сделал знак, официант подошёл и открыл вторую бутылку любимого вина великого человека, за здоровье которого дядя и предложил, когда официант отошёл, выпить. Вкусы главы британского правительства и главного инженера сибирского рудника вообще совпадали: оба предпочитали сигары (в ту, докубинскую эпоху дядя доставал их за большие деньги у швейцаров «Националя» в Москве и «Европейской» в Ленинграде) и бифштексы, любимой лентой и того и другого была «Леди Гамильтон» с Вивьен Ли и Лоуренсом Оливье. Дядя расковался: говорил «наши союзники по соцлагерю», «госкапитализм».

— Но что нам сегодня играют? — он повернулся оркестру. — Врут кларнеты, как кадеты, врет тенор. Палкой машет, точно шашкой, дирижёр. Это я так, к слову, оркестр как будто ничего.

Оркестр действительно был на удивление профессионален, певец — для ресторана — тоже неплох. Репертуар сначала ориентировался на тридцатые годы: «Дымок от папиросы, дымок голубоватый» Агнивцева — Дунаевского, «Вдыхая розы аромат», потом пошло что-то новомодное. Василий Илларионович вручил мне пять рублей и послал в оркестр заказать танго «Брызги шампанского». Не успели музыканты закончить, как я был снова командирован, уже с десятью рублями, потом с пятнадцатью, затем с двадцатью.

Заказывать следовало всё то же — «Брызги шампанского». Дядя слушал, тихо напевая: «Новый год пришёл, законы новые, колючей проволокой наш лагерь обнесён, сквозь решёточки глаза голодные, и каждый знает, что на смерть он обречён». После четвёртого или пятого раза цель заказчика стала ясна: оркестр весь вечер должен играть только для него. Гонорар музыкантам стал расти уже в геометрической прогрессии. Раза два кто-то подходил к оркестру, но после разговора с маэстро уходил на своё место; оркестр проиграть «Брызги». За столиками стали улыбаться, подымали рюмки и кивали в нашу сторону. Вскоре Василий Илларионович

оказался главным лицом в зале; стали подходить чокаяться.

— Твоё здоровье! Лётчик?

— Нет.

— Подводник?

— Почти.

— Ну, всё равно. Наш человек. Выпьем!

Со своей бутылкой подсел хирург из Первой градской; через пять минут мы уже пели с ним «Gaudeamus» и он умолял меня лечь только к нему, клянясь, что разрежет меня всего по высшему классу.

Где-то в середине вечера дядя сходил в оркестр уже сам, о чём-то поговорил с маэстро и меня больше не посылал, очевидно, щадя юную впечатлительность; до закрытия оркестр играл «Брызги шампанского». Стало понятно, как за один вечер можно истратить несколько месячных зарплат.

Деньги Василий Илларионович тратил не только на оркестр. Во время войны на руднике у него было сразу две любовницы. Мужу одной кто-то стукнул. Муж-смершевец прислал письмо своим тыловым коллегам, где писал, что пока он защищает родину, некоторые другие и т. п. Коллеги дали сигнал в шахт-управление и партком, дядю сняли с должности главного геолога и отправили рядовым геологом в шахту; говорили, что он легко отдела́лся.

Второй его любовницей была цыганка Настя, украденная каким-то старателем в лагере; старателя вскоре зарезали товарищи при дележке намытого золота; Настя временно работала в подсобке магазина. Тётя Лариса, узнав про неё, явилась в магазин и при стечении народа устроила скандал, расцарапав распутнице всю рожу, а потом нажаловалась в тот же партком. Возбудили персональное дело, Жихарева за моральное разложение исключили из партии и рекомендовали разбронировать. Это означало — послать на фронт. Резко возражал новый главный геолог, говоривший, что с т. Жихаревым они только-только начали разведку нового месторождения, что талант т. Жихарева всем известен и что здесь он принесёт пользы гораздо больше, ибо сейчас стране особенно нужно золото. Но секретарь парткома сказал, что золото надо мыть чистыми руками, бронь сняли и Василия Илларионовича отправили на фронт. Кто как туда попадал, говорил кочегар Никита, ваш Василий — за блядство.

Бабка немедленно выписала тётю Ларису; та, бросив квартиру, мебель, огород, продав случайным людям корову (деньги они так и не прислали), приехала с двумя детьми в Чебачинск. В поезде вышла покурить в тамбур, оставив сторожить вещи шестилетнюю Галю и четырёхлетнюю Иру;

пришёл какой-то мужик и сказал, что мама велела перенести чемоданы в другой вагон, где лучшие места, — и был таков; приехали они в чём были, девочки потом долго ходили в мальчиковых — моих — рубашках. Поселились они в той же комнате, где жили мои родители и мы с сестрою.

Специальность у тёти Ларисы для сельской местности была как будто нужная — зоотехник. Но и ферма колхоза «Двенадцатая годовщина Октября», и конные дворы техникума, педучилища и стеклозавода обходились без зоотехнического надзора — местные коровы красной казахской породы никогда не болели, а лошадей в случае любого заболевания немедленно пускали на махан — конина пользовалась большим спросом у казахов.

Мама устроила сестру к себе в химическую лабораторию горно-металлургического техникума. Первое, что она там сделала, — уронила себе в туфлю кусок едкого натра — очень сильную щёлочь, и почему-то не сразу его вытащила, натр прожёл ногу до кости.

Через дорогу была прачечная, там у Федоры водился самосад, который она выращивала сама, тётя Лариса бегала к ней курить. Дверь в лабораторию она всегда оставляла не только незапертой, но открытой настежь (студентки дверь тщательно притворяли — после того, как мама придумала, что есть поверье: кто не затворяет дверь, не выйдет замуж). В результате пропала двадцатикилограммовая болванка свинца. Мама тут же поняла, кто украл: завхоз, которому она уже однажды, ещё до войны, отпилила от этой болванки кусочек на дробь для патронов. Она сразу сказала ему: «Свинец — стратегическое сырьё. Не вернёте — завтра пойду в НКВД». Болванка немедленно была

принесена. Рассказывались ещё какие-то истории на тему «Тётя Лариса в химлаборатории» — что-то связанное с газами, кислотами, треснувшими колбами, но я их уже забыл. Её деятельность закончилась, когда в техникуме появился эвакуированный преподаватель, жена которого имела химическое образование; тётю Ларису уволили.

Она устроилась в собес, но вскоре потеряла папку учётных карточек инвалидов, и две улицы перестали получать пенсии, инвалиды вламывались в собес, стучали костылями. Одного, без рук, без ног (таких на жаргоне называли самоварами), в детской коляске привозила жена. Бабка сказала: уходи, пришьют вредительство, пойдёшь под суд.

Тётя уволилась и больше уже нигде и никогда не работала. Нежеланьем работать вообще дядя Коля объяснял её неудачи на всех службах. Вместе с работой она лишилась и хлебных карточек, что её тоже, видимо, мало смущало; она считала, что жизнь её загублена и все должны

ей помогать.

У неё была подруга — Маруся Карась, такая же неудачница, приехавшая хотя с КВЖД, но тоже без всяких вещей и почему-то, рассказывали, без юбки под пальто.

Подала заявление, в техникуме ей выписали материю, но был только белый мадеполам, и она долго ещё ходила, как невеста, зимой и летом в белоснежных платьях. Как сейчас помню: подруги сидят на кухне вечером, не зажигая огня, курят и не говорят ни слова.

(«Курят и молчат!» — поражалась наша словоохотливая бабка.) Курение, которому обучил тётю Ларису Василий Илларионович, вообще сыграло в её жизни роковую роль: из-за него её обокрали, вторая её дочь из-за этого родилась семимесячной и всегда болела; умерла тётя от рака лёгких — в пятьдесят лет.

В июне сорок пятого возвратился Василий Илларионович. Его байки о войне совсем не походили на рассказы дяди Коли. Всё было как-то легче и почти весело, хотя на фронте он находился почти до конца и вернулся после госпиталя, с медалями и даже с орденом Красной Звезды. Правда, от него осталась только орденская книжка — саму звезду дядя в Торгау, на Эльбе, сменял у какого-то американца на бутылку виски — тому очень хотелось, а никто не соглашался отдать «Звёздочку». Жалел дядя, впрочем, не очень — орден он, по его словам, получил дуриком: какой-то автоматчик вёл шестерых пленных и уступил их за пачку трофейных сигарет; дядя привёл немцев в штаб и был представлен к ордену. А за то, что наводили переправы под огнем и гибли один за другим, — за это не давали ничего или скупое — по одной-две медальки на весь сапёрный взвод и никогда — орден. Даже возвращался с фронта он интересно: устроился при конвое, сопровождавшем в Карлаг эшелон фрицевых жён, или немецких овчарок, — женщин, осуждённых за сожительство с немцами. Но про это путешествие он почему-то помалкивал, говоря только, что никогда в жизни не видел столько красавиц разом.

В доме стало веселее — дядя всё время рассказывал эпизоды из своей военной и невоенной жизни. Ему, он считал, везло — даже в госпиталь он попал в столь любимый им Кисловодск, где сразу нашлась знакомая врачиха, которая устроила его в отдельную генеральскую палату, пока не было очередного генерала или полковника, — «ну, она, конечно, больше заботилась о себе». Но эта лафа продолжалась недолго — в палату врачиха вынуждена была подселить выздоравливающего корреспондента «Красной звезды», любимца её редактора Ортенберга, известного ещё до войны писателя, человека хорошего, компанейского, но в этой ситуации

совершенно лишнего. Василий Илларионович как-то заметил, что в больничном саду нянечка всегда сливает судна под кипарис. Проходя со своим соседом мимо этого кипариса, он обронил: «Вы заметили, чем пахнет от этого дерева?» Писатель принялся: «Странно. Как будто мочой». — «А вы не знали? Сразу видно, что на югах бывали редко. От кипарисов всегда так пахнет — как писателю вам это не мешает запомнить». Потом дядя хохотал, найдя эту выразительную деталь в очерке писателя, написанном после излечения.

Над его историями все смеялись, но потом кто-нибудь говорил: анекдот. Я не говорил, и скоро Василий Илларионович стал рассказывать только мне и смеялся сам, когда я открывал рот от восхищенья. На эскалаторе московского метро один гражданин

уронил цинковое корыто. Время было вечернее, эскалатор почти пуст, и корыто с грохотом понеслось вниз. Уже почти в конце оно ударило в подколенки какого-то военного, тот с размаху сел в него, и корыто, как тяжёлый снаряд, понеслось дальше.

«Стыдно, товарищ капитан, — сказала дежурная внизу. — Катались бы себе где-нибудь на горке».

Отменили военный запрет на хранение охотничьего оружия. Василий Илларионович немедленно продал свою ещё до войны купленную немецкую двухстволку «три кольца», выдав её за трофейную, и стал устраивать застолья — надо ж было отметить как подобает благополучное возвращенье с театра войны.

Выпив бутылку любимого вина Уинстона Черчилля, он сильно веселел. Начинал петь «Без тебя, моя Глафира, без тебя, как без души, никакие царства мира для меня не хороши» и спорить по любому поводу.

— В человеке, как писал Чехов, — говорил дед, любивший классические цитаты, — всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

— И обувь, — быстро вставлял Жихарев.

— У него нет про обувь.

— Есть, я читал!

— Где же это вы читали, милейший Василий Илларионович? В центральной публичной библиотеке рудника Сумак?

— Мало ли где. Вон моего земляка Шолохова спрашивали — было в какой-то газете, — вы работали в архивах? Да, отвечает, работал. А в каких? А он: в архивах.

Вообще, значит. Но — к Чехову. Вы были в его музее в Ялте? Если б вы там были, как я, то увидели бы, какую он носил прекрасную обувь,

какие изящные остроносые башмаки!

В такие моменты Василий Илларионович подшучивал и над тёщей, чего обычно себе не позволял.

— Ольга Петровна, я понимаю, предложение вам Леонид Львович долго не мог сделать — был без места. Но пока он у вас обедал — вам-то он нравился?

— Конечно. Он был очень представительный. Рост, фигура. Усы! Но были некоторые сложности. Недели две у нас обедал гвардейский офицер из Петербурга, в Вильне он занимался ремонтом.

— Что же он починял?

— Зачем ему было что-то починять? Он был ремонтёр.

Выяснилось, чего никто не знал: ремонт — это покупка полковых лошадей.

— Понятно. Он был конногвардеец. Рост, фигура, усы. И что же?

— Через неделю он подарил мне гелиотроп и адонис весенний. И я их приняла.

— Ну и что?

— А вы разве не знаете, что это значит на языке цветов?

— Ммм... Приблизительно.

— Сейчас этот язык, к сожалению, забыт. Между тем на нём можно было выразить всё. Бересклет — твой образ запечатлён в моем сердце, лисохвост — тщетное стремление, божье дерево — желание переписки, ландыш — тайная любовь, крокус — размышление, колокольчик — постоянство... И так далее — целая наука.

— А что означали те цветы, что ремонтёр преподнёс вам?

— Всепоглощающую любовь и просьбу о сближении. Намёк на серьёзные намерения. А что, сейчас разве барышням не дарят цветов?

— Дарят, — мрачно сказала тётя Лариса. — Корзинами. Розы. По сто рублей за корзину.

— Серьёзность намерений это означает и сейчас. — Василий Илларионович совсем развеселился. — А признайтесь, Леонид Львович, пока вы больше года ждали, у вас с Ольгой Петровной что-нибудь было? Я вижу, было.

— Было, — несколько смущённо говорил дед. — Я сколько хотел мог целовать ей ручку, и не только при матушке. Ну, конечно, приобнимешь слегка, как бы случайно, где-нибудь на лестнице... Времена были уже не такие строгие.

— Он был легкомыслен до неприличия, — вступала бабка. — Приезжал на обеды на велосипеде!

— С разновысокими колёсами? — встрепёнывался Антон.

— Нет, к этому времени, — уточнял дед, — колёса были уже одинакие. У меня был прекрасный английский велосипед.

Особенно возбуждала дядю частая гостя, соседка-учительница, грудастая кормящая мать. Он любил при ней спрашивать, правда ли, что женское молоко содержит десять элементов таблицы Менделеева — вы, Настасья Леонидовна, должны как химик-органик это знать. Или с серьёзным видом интересовался, не расстраивается ли у нашего милого младенца иногда животик?

— И очень часто, — озабоченно отвечала мамаша, которая хоть и была настороже, всякий раз покупалась.

— Антон, — строгим голосом говорил Василий Илларионович, и Антону уже было ясно, что будет востребована его способность дословно запоминать самые разнообразные прозаические тексты (стихи он запоминал несколько хуже). — Антон, не мог бы ты напомнить нам, что писал по этому поводу лет семьдесят тому назад врач Троицкий в своём известном курсе лекций о болезнях детского возраста?

— «У кормящих грудью матерей и кормилиц, — быстро начинал Антон, — умеренные половые отправления не оказывают вредного влияния, чрезмерные же могут производить пока неизвестные нам изменения в составе молока, благодаря которым последнее начинает вызывать у детей временные расстройства кишечника».

Мужчины хохотали, кормящая учительница становилась пунцовой:

— Пощадили бы ребёнка, Василий Илларионович. Это непедагогично.

— Он не понимает, — говорил дядя, и в данном случае это была правда, потому что Антон действительно очень смутно представлял, что такое половые отправления.

Чувствуя, что надо разрядить обстановку, он проявлял инициативу, возвращая разговор к прежней теме.

— Дед, а за что ты влюбился в бабу?

— Она очень изящно разливала чай, — дед ласково поглядел на потупившую взор жену.

— Ну конечно, — подхватывал Василий Илларионович, — локотки, шейка...

Бабка удивлённо вскидывала глаза.

— Оголённые руки и плечи — это могло быть исключительно на балу. За обедом — только закрытое платье с рукавами до запястья; возможны кружева — простые вологодские, выпущенные на четверть ладони.

Остановиться главный геолог уже не мог. Тамару посылали ещё за

шампанским. Пока она ходила, Василий Илларионович в нетерпении мерил шагами комнату, подходя к окну, к книжному шкафу.

— Леонид Львович, ну что у вас за книги? «Сорные травы на полях и их истребление». Санкт-Петербург, 1899 год. Ну кто сейчас будет истреблять на полях сорные травы? Наши колхознички? «Учебная книга свинарки». Какая нынешняя свинарка... Впрочем, тут ещё одно пособие на эту тему: «Учебная книга свинаря». Это уже любопытно! Значит, свинарь должен откармливать свинок как-то иначе? Очень интересный поворот темы! Полистаем. Так... Подсвинки... Запаривание отрубей... Да нет, что-то одно и то же и у свинаря, и у свинарки... А это что? Заставлено, но часть заглавия прочесть можно: «Конституция...» Неужто читаете про самую демократическую в мире? «...и экстерьер сельскохозяйственных животных». Даже по обложке видно: с конституцией и экстерьером у этих хряков и быков-производителей порядок полный. Ба, да тут вот что есть! «Женский половой аппарат...»

— Это не то, что вы думаете.

— «...живородящих мух». Н-да, действительно... Почему у вас нет настоящих книг?

— Я предполагаю, какие книги вы имеете в виду. Таких не держу-с.

— Понимаю, на что вы намекаете! А я имею в виду совсем другое. Zum Beispiel, то есть например, как сказали бы в Восточной Пруссии, где, кстати, Гретхен были весьма недурны. Читали ли вы книгу «Продажа девушек в дома разврата и меры к её прекращению», вышедшую в Москве в конце века? Или другую, изданную изданием Императорской Академии Наук в конце позапрошлого века: «О благородстве и преимуществе женского пола»?

— И подобных книг я не держатель.

— Ну, уж если хотите ближе к любимой вашей биологии, то знакома ли вам такая брошюра: «О возможности разведения кенгуру в Новороссийских степях»? Издана в Харькове в 1880 году. Прожектёрство? Здоровое прожектёрство необходимо для развития общества. А известна ли вам книга «Гонорея у горилл»? И напрасно! Там подробно обосновывается, почему венерические заболевания бывают только у приматов.

Это было прекрасное название. Даже лучше, чем «Жизнь жужулиц». «Гоноррея у горрилл, — бормотал в тот вечер Антон, засыпая. — Гоноррея у горрилл».

На пенсию Василий Илларионович как горняк мог уйти пятидесяти лет; перед этим он уехал, без семьи, куда-то на Север, чтобы пенсию получить максимальную. Там, разумеется, завёл молодую любовницу, но,

видимо, всегдашнее везенье кончилось: заболел тяжёлым воспалением лёгких и долго лежал в больнице; любовница сразу его бросила; когда наконец он вызвал жену, воспаление успело перейти в скоротечную чахотку; в Чебачинск она привезла его уже в отчаянно плохом состоянии. Его поместили в тубдиспансер на горе. Тётя Лариса ходила к нему каждый день, дочек не брала, боясь заразы. Василий Илларионович лежал тихий, на себя не похожий. Просил у жены прощенья, говорил, что испортил ей жизнь.

На ноябрьские праздники мои отец и мать пошли его навестить. Через соседку- медсестру он передал, чтобы принесли шампанское. Знал ли он, когда по старой врачебной традиции туберкулёзным больным дают шампанское? Мог знать — от персонала, работавшего ещё с профессором Халло, от старых больных. Мои родители посидели у его постели, выпили с ним. К ночи он умер.

Тётя Лариса пережила его всего на два года. Мужа она не простила: завещала похоронить себя отдельно, а не рядом с ним.

20. Отважный пилот Гастелло

Всё настоящее о войне Антон узнал на брёвнах перед домом лесника Шелепова.

Дом стоял над плотиной, и все, кто возвращался вечером с приречных или зареченских огородов, не могли его миновать; увидев знакомых, присаживались покурить, а то и выпить. Шелепов, сам человек трезвый и положительный, не возражал, и в нужный момент говорил негромко: «Мать!» — и жена, каким-то образом услышав его за двойными рамами, выносила миску картошки в мундире, всегда тёплой, и солёных огурцов. Был он кавалеристом — в гражданскую во второй конной Миронова, а в эту — у Доватора. Низкорослый, кривоногий, он обладал неимоверной силой, и когда на брёвнах доходило до грудков, начинал покашливать, как бы прочищая горло, и спорщики поутихали.

Самогон обычно приносил Зарубайло, тоже кавалерист, и сам же до прихода остальных сильно бутыль и починал.

— Ты сколько беляков срубав? — приставал он к Шелепову. — А я про себя скажу: не мене, чем десять — вот этой рукой.

Антону было понятно: что ж ещё делать с такой фамилией. (Правда, Генка Меншиков сказал по секрету, что Зарубайло на самом деле служил у белых, а рубал красных.)

— На моём дончаке. Оставил его у Крыму... Хотел пристрелить — не смог. У друга весь живот разворотило, сильно мучился, просил облегчить — тоже не смог...

Разговор шёл военный-откровенный — все были фронтовики.

Первым, по-соседски, приходил Сумбаев, капитан (и нам, и взрослым он велел называть себя не по имениотчеству, а именно так), ещё когда на брёвнах после лапты сидели мы. С нами он любил разговаривать, кажется, больше — мы не смеялись, когда он рассказывал: «Слышим — мотор. Броневики белых! Я загибаю левый фланг, шашки наголо, в атаку — рысью — марш!!!»

Себя Сумбаев именовал ветераном пяти войн. По возрасту не сходилось, и Генка Меншиков, помнивший наизусть всё, относившееся к войне, как-то отважился:

— Товарищ капитан, а какая пятая?

— Какая? Считай: русско-японская — Цусима, оборона Порт-Артура, слышал? Загибаем второй палец: та германская, третий: гражданская, потом

— финская и — вторая японская. Ну?

Антон только что прочел замечательный роман «Порт-Артур» и тоже помнил дату. Как же Сумбаев мог успеть?..

— Вижу, сомневаешься, — капитан уставил указательный палец в сторону Антона. — Бухгалтеришь: сколько годков мне было. А хоть бы и пять! Мой отец, штабс- капитан Сумбаев, — участник обороны, Георгиевский кавалер. Я в Порт-Артуре и родился. Японцы били не слабее, чем в эту войну. Знаешь, какие калибры были на их крейсерах? То-то, не знаешь. А шестнадцатидюймовый снаряд не разбирает, солдат ты или титьку сосешь.

Сумбаев преподавал военное дело в техникуме. На первом месте у него стояла строевая подготовка, гонял студентов по двору часами, до изнеможенья; группы менялись, со всеми он маршировал сам — подтянут и свеж. Директор, если ему нужно было в сортир, старался поймать момент, когда капитан уводил своих питомцев на пятачок за здание маминой химлаборатории, где, я не раз видел из её окон, отрабатывал с ними ползание по-пластунски. Но старый солдат ориентировался мгновенно:

— По направлению — к одинокой фигуре — товарища директора — бегом — марш! Смирна! Равнение на середину. Товарищ директор Чебачинского горнометаллургического техникума! Студенты первой группы второго курса вверенного вам учебного заведения отрабатывают строевую подготовку на плацу. В списочном составе группы значится...

Директор с тоскою поглядывал на дощатый домик в углу двора, но прервать военрука не решался.

— Из них участников Великой Отечественной войны пять. По состоянию здоровья как инвалиды войны третьей группы военную подготовку не проходят трое. На занятии отрабатывается приём «на плечо!», а также передвижение по-пластунски.

Это была вторая любовь капитана: студенты ползали в любую погоду, вставали грязные, отказники наказывались строго. Третьей любовью было рытьё окопов. Рыли лёжа, сапёрными лопатками, комплект которых из восьми штук принадлежал лично капитану и которые он, зачехлив и обвязав шпагатом после занятий уносил домой. Копали ячейки и полупрофиль; капитан очень сожалел, что нет времени на окопы полного профиля. Рытьё окопов вообще не входило в программу, но Сумбаев смириться с этим не мог.

— Что за солдат без окопа! Вон в педучилище (там работал его конкурент капитан Шарпатый) все в аудитории сидят да схемы чертят. А мои орлы — хоть сейчас под огонь, в бой, в атаку!

Похоже, это было действительно так.

Долго усидеть на брёвнах он не мог, вскакивал и тыкал пальцем — в Антона как самого внимательного или в Генку Меншикова как наиболее подкованного по военной части:

— Марш-бросок. Шинели в скатках. Вдруг — дождь. Какую команду даёт ротный?

— Накройсь! — Генка тоже вскакивает, так как к нему обращается старший по званию.

— Ошибка! Это — про головной убор. Ты хотел сказать: скатки раскатать!

— Хотел.

— А шинель намокнет? Чем ночью укрыться? Она — одна на всё про всё.

— Тогда не раскатывать.

— Гимнастерка вымокнет. Что лучше: сухому спать под мокрой шинелкой или мокрому — под сухой?

Генка оторопело смотрит на Антона, Антон на Генку.

— Раскатать! — с торжеством говорит капитан. — Русское шинельное сукно чтобы промочить, полдня проливному дождю идти надо.

— Вопрос другой: как располагаются солдаты второй линии в двухшереножном строю? — Сумбаев вглядывается в каждого из нас своими пронзительными серыми глазами и сам же отвечает: — Строго в затылок. А какая дистанция между линиями в многошереножном строю? Один шаг! Вопрос последний и главный: как надо равняться в шеренге?

Это знал и я:

— Видеть грудь четвёртого человека.

— Точно. А что было записано в армейском уставе сто лет назад? Видеть грудь третьего человека. Смекаете, в чем разница?

Генка, может, и смекал, я — нет, не знаю до сих пор. Остальные сведения очень пригодились (сведения — самые посторонние — все когда-нибудь пригождаются, ненужных не бывает): на занятиях по спецподготовке в университете подполковник Гицоев однажды задавал точь-в-точь те же вопросы, и я поразил его своей строевой эрудицией.

Подходил егерь Оглотков, бывший минёр, танкист Крысчат, сапёр-шофёр, или шофёр-сапёр («и так и так верно!») Кувычко. Антон знал: опять начнётся спор, солдату какого рода войск опаснее всего. Когда зацвели огурцы, сошлись на том, что связисту, таскавшему катушку. Поражались, что Антонов дядя остался жив и даже не был ранен.

«Небось в штабах ручку крутил». Антон в тот же вечер передал это

дяде Лёне. «Их бы. В мои штабы». Антон воспользовался случаем и спросил, знает ли дядя про героя-связиста Титаева, о котором есть в очень интересной книге о комсомольцах — «Идущие впереди», автор Гуторович.

Дядя не знал, и Антон прочел ему наизусть: «Порвалась связь. Линейный надсмотрщик Титаев был послан исправить повреждение. Ночь. Мороз. Вьюга. (Это место особенно нравилось.) Нужно проползти в глубоком снегу вдоль окопов жестокого врага.

Когда комсомолец нашёл обрыв, его трижды ранило. Умирая, он последним усилием схватил оба конца оборванного провода и зажал их в зубах. Связь возобновилась». Дядя Лёня покачал головой: «Вряд ли. Контакты. Сместятся». Антон очень огорчился.

Приходил на брёвна и Петя-партизан. Его все уважали: из брянских лесов он привёз ящик гранат (ими глушил на озере рыбу) и — шёл слух — много чего ещё; Генка клялся, что партизанский сын Мишка показывал ему трофейный «Вальтер». Нас, говорил Петя, в деревнях недолюбливали. После немцев кое-какие продукты ещё оставались, партизанам же надо было отдавать всё, подчистую — свои, защитники, да и не спрячешь, знают, где искать. У нас один был, большой спец. Я, говорит, продотрядовец, ещё во время продразвёрстки изымал, знаю, куда ховают... Выбьют партизаны немцев из деревни — сгорит половина домов, немцы вернуться — сожгут другую. А там бабы, дети, с собой

в лес их наши не брали. Почему? Чтоб не обременяться, не терять мобильность. Раз отбили группу евреев — тоже больше старики, женщины, — так тоже с собой не взяли.

Потом их всех постреляли, свои же.

— Как свои?..

— А очень просто. У карателей только офицеры были немцы. Остальные — наши: русские, хохлы, литва... Те, кого мы разбили, потом вернулись и наткнулись на евреев, которых мы бросили. И тоже не взяли — расстреляли тут же и даже не закопали.

— Чего ж все шли в партизаны? — интересовался Крысчат.

— Сам мало кто шёл. Мобилизовывали — всё равно как в Красную Армию... Много вранья про партизан.

— А про армию мало? — вмешивался Кувычко, навсегда обиженный на власть за то, что сначала уволили из вооружённых сил, а потом посадили его отца, кавалера трёх георгиевских крестов, полученных в царской армии, каковой факт он преступно скрыл. — Ты много читал про заградотряды, про приказ 227?

Танкист Крысчат считал: приказ правильный, военная необходимость.

— Военная-о. енная! Потому что тебя не касалось! Сидел в своей железной дуре, сам чёрт не брат, куда хочу — туда ворочу! пэтээрами заградников не комплектовали. А пехота или наш брат, шофёр? Только увидят — хохотальником в ихнюю сторону повернулся, тут же очередями, из пулемётов, сначала настильно, поверх, а не развернулся обратно — пеняй на себя... Хохотальник — радиатор, — пояснял Кувычко, видя, что Антон открыл рот, и догадывался верно; фронтовики сразу после войны вообще отличались большой сообразительностью; потом стали как все.

Петя-партизан рассказывал много такого, чего из фронтовиков не знал никто, и рассказывать не боялся. Как-то между прочим обмолвился, что на оккупированных территориях открылось много храмов. На другой день на брёвна единственный раз пришёл дед — узнать поподробнее.

В Смоленске при немцах снова открылся кафедральный собор, в котором до этого был антирелигиозный музей; в Клинцовском округе на Брянщине до войны не было уже ни одной действующей церкви, а за два года открыли около трёх десятков. По воскресеньям по радио транслировали богослужения, выступали священники. В пасхальную ночь в городе отменили пропуска.

— Мы считали, всё это — нацистское заигрыванье и пропаганда, а когда один поп выразил благодарность новой власти за восстановление своего храма, мы его повесили в церковной сторожке на потолочной балке... Я не вешал — у нас этим занимался один — то ли чоновец, то ли продотрядовец, его учитель из нашего отряда называл Самсон-палач.

Он настаивал, чтоб повесить в алтаре, но наш командир, хоть и партийный, не разрешил.

Оккупация оккупацией, а жизнь шла. Думаешь, все в лесах сидели? Немцы организовали даже какое-то женское молодёжное движение. Что делали? Ходили строем, в волейбол играли... Их потом в одном эшелоне с фрицевыми жёнами отправили в Карлаг, к нам поближе... А зверства, про какие пишут, тоже были, что говорить.

Сын Пети Мишка тоже рассказывал кое-что, пока не появлялись мужики. Когда отец партизанил, он оставался в деревне. Возле школы стоит кучка немцев. На улице появляется красноармеец. В форме, со скаткой, за плечом винтовка. Идёт, по сторонам не смотрит. Немецкие солдаты — ноль внимания. Из школы выходит офицер. Кричит что-то красноармейцу. Тот подходит, становится по стойке «смирно». Офицер что-то говорит своим, один солдат подходит, вешает на забор шмайссер, берёт у красноармейца винтовку за ствол и — хрясь прикладом...

— По голове?

— ...об камень. Открывает подсумок, вываливает оттуда на землю патроны. Офицер машет рукой — иди, мол, куда шёл. Он и пошёл себе. Немецкий солдат берёт свой шмайссер и...

— Та-та-та-та-та-та! — показывает Генка Меншиков, и мы съеживаемся.

— Да нет. Уходит к другим, в кучку.

— А наш?

— Пошёл дальше. И не оглянулся.

— Куда ж он шёл?

— Кто его знает. Можя, к другим, что в риге сидели. Сидели и сидели.

А как немцы появились, стали выходить с полотенцами, с нижними рубашками на палках, а кто просто руки вверх.

Когда бутылъ опорожнялась, разговор переходил на баб. Немок в целом не одобряли: две доски, сложенные вместе. Однако случая не упускали. Средний Кувычко, когда стояли на хуторе в Восточной Пруссии, где хозяйевали две вдовы, сначала жил с молодой немкой, а потом с её 45-летней матерью, которая ему нравилась больше: «Понимаешь, так подносит!» Правда, сперва были разногласия: она не привыкла, чтобы больше раза в ночь, но Кувычко ее переучил.

О войне я читал всё. Во время войны — газету «Правда» (вслух деду) и журнал «Крокодил», позже — все попавшие в Чебачинск книги, художественные и нет. Одно из первых воспоминаний — карикатура в «Крокодиле» после сталинградского разгрома. На фоне карты с кольцом окружения пригорюнившийся Гитлер в платочке поёт: «Потеряла я колечко, а в колечке 22 дивизии». Фюрера было даже немножко жалко, хоть он был и гад.

А в конце войны инвалид, собиравший в шапку медяки на базаре, пел ещё более жалистную песню: «Печальный Гитлер в телефоне тихонько плачет и поёт: «Я вам расскажу про фронт по блату. Русские на Запад к нам идут. Чувствую я близкую расплату — скоро шкуру с нас они сдерут»». Очень нравилось кино: девушка-свинарка разоблачает шпиона и одновременно лечит большую симпатичную свиноматку.

Уже в школе отец подсовывал статьи о пионерах-героях, но их читать Антон не любил: сомневался, что никого не выдаст, если ему, как пионеру Смирнову, станут отпиливать ножовкой правую руку, и очень от этого мучился.

...Американский психоаналитик, пытаясь выяснить детские комплексы Антона, страшно удивился, узнав, что больше всего ребёнок страдал от подобной мысли. И сказал, что теперь понимает разницу между

своим и русским народом — по крайней мере, в середине двадцатого века.

На всякий случай Антон учился писать и строгать левой. Начал было и ходить босиком по снегу, чтобы натренироваться, если его будут гонять, как Зою Космодемьянскую, но бабка, увидев за сараем следы босых ног, пришла в ужас, как Робинзон, и, хотя Антон пытался отрицать принадлежность следов ему, нажаловалась родителям. А тут ещё отец принес очерк о пионере-герое, который, чтобы не упустить на снежном поле немецкого генерала, разулся и генерала догнал. Мама попросила приносить очерки о взрослых героях.

Больше всех Антону понравился один лётчик, настоящий герой, с необыкновенной фамилией: Гастелло. Другие герои носили фамилии какие-то слишком простые: Матросов, Клочков. Последняя была совсем никуда, хотя этот герой сказал слова, которыми восхищался отец: «Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва». Про лётчика хотелось написать стихи с такими же красивыми словами. До этого Антон уже сочинял кое-что воинственное: «Раз полунощной порой, Проходя тропинкой, Парень вынул пистолет и взмахнул дубинкой». Но сейчас, чувствовал он, надо что-то другое.

После заглавия «Отважный пилот Гастелло» дело пошло: Что же там гудит в тумане? Там пилот на эроплане По фамилии Гастелло Самолёт ведёт свой смело Прямо к немцам, прямо к гадам, Угостить своим снарядом.

После нескольких стихов, живописующих картину боя, сообщалось, что лётчик направил «горящую машину прямо к вражьему бензину». Продолжение не получалось, и остаться бы стихотворению среди невыброшенных листков в папке «Школьное», но Васька Гагин проболтался Клавдии Петровне. Она попросила Антона стихотворение прочесть и сказала, что оно вполне патриотическое, но нет концовки, и что Антон должен её досочинить и выступить на вечере в день Красной Армии.

Концовка не давалась; завтра было уже выступать. Дед помочь отказался, сказав, что тема ему неблизка и вообще он сочинял только акафисты, да и то шестьдесят лет назад. Выручил отец. Достав свой «Паркер», он присел к подоконнику Антона, и через десять минут стихотворение было завершено: Запылали языками пожаров цистерны врагов.

Храбрый из храбрых Гастелло Погиб смертью верных родине сынов.

Антону особенно понравилось «языками пожаров». Клавдия Петровна сказала, что конец несколько в другом стиле и размере, но годится.

Много, много позже Антон прочтёт, что на самом деле с Гастелло всё

обстояло не так: были гибель, самопожертвование, но не было «вражьего бензина» и огненного тарана в немецкую колонну.

Так, впрочем, получилось в конце концов почти со всеми героями, но об этом Антон узнал ещё на брёвнах. Как-то, в годовщину Победы, вечером, как следует выпив, все вышли посидеть-прохладиться. Оглотков рассказал, что Матросов вовсе не первым закрыл амбразуру: в ихнем полку сержант Семенко сделал это на два месяца раньше; Крысчат слышал, что амбразурщиков вообще было больше сотни. Гурий, воевавший в дивизии Панфилова, точно знал, что из двадцати восьми героев несколько осталось в живых. Домой Антон бежал бегом — не потому, что опаздывал к ужину.

На столе стояли рюмки и кособокая бутылка, заткнутая кочерыжкой; сидели гости: Гройдо, шахматист-огородник Егорычев, это было хорошо — Антону не терпелось поделиться потрясающими сведениями со всеми.

— Когда мне начинает казаться, — выслушав, дед повернулся к Егорычеву, — что эта власть уже ничем не сможет нас удивить, она всякий раз подбрасывает такое, что в нормальную голову не придёт никогда. Какой будет вред, если опубликовать то, о чём рассказали эти солдаты? Народ бы только порадовался, что погибли не все двадцать восемь. Чему вы улыбаетесь?

— Вашей неистребимой неисторичности, Леонид Львович. Народу, с точки зрения власти, нужна не истина — нужен миф. А какой миф построишь на живых — хоть с «Варяга», хоть с разезда... с того, где эти панфиловцы...

— Дубосеково, — быстро сказал Антон, уже не удивлявшийся, что дедовы друзья, всё на свете знавшие, путают, где город Молотов, а где Киров, куда летала Раскова, не помнят имён папанинцев и челюскинцев.

— Да. Вы, зная историю христианства, его святых и мучеников, должны понимать это лучше меня.

— Народу надо, — засмеялся уже хорошо выпивший Гройдо, — заливать за шкуру сало, как говаривал на обсуждении проспекта «Истории гражданской войны» Климент Ефремович.

— «Климу Ворошилову письмо я написал, — забормотал Антон, но бормотом тихим: дед не любил советских стихов. — Товарищ Ворошилов, народный комиссар!..»

Дочитывая стихи до конца, он не уследил, как дошло до ворошиловских стрелков. Выяснилось, что Егорычев думает: это те, кто охраняет Ворошилова, как латышские стрелки — Ленина.

— Вы шутите! — кричал отец, тоже уже выпивший. — Это невероятно, чтобы мимо вас прошли все эти плакаты, огромные фанерные

значки, лозунги, призывы, коллективные походы на стрельбища! Может, вы не слышали и благозвучного слова Осоавиахим?

Егорычев разводил руками.

На минутку заглянул ещё один гость, майор в отставке, на фронте — сотрудник политотдела дивизии и переводчик, комиссованный по ранению ещё в сорок третьем году.

Он что-то писал о войне, но его не печатали; только раз в областной газете появился его материал о боях на Волоколамском шоссе, после чего республиканская газета опубликовала письмо какого-то подполковника, который, ссылаясь на Александра Бека и Баурджана Момыш Улы, именовал автора фальсификатором в майорских погонах.

Антон майора знал по брёвнам. Василий Илларионович как-то травил там одну из своих невероятных историй. Когда археолог, нашедший гробницу Тутанхамона, преодолев все решётки, колодцы, ловушки, дошёл до последней двери, то для определения материала в неё постучал. И вдруг слышит — на чистом древнеегипетском языке чей-то голос говорит: «Войдите».

Рассказ имел неожиданный результат. Майор про Египет судить не брался, а вот у нас на западной границе была действительно похожая история. Уже после войны один подполковник сообщил, что под Брестом при отходе наших войск он, тогда лейтенант, получил приказ взорвать в лесу вход в большой подземный цейхгауз с военным имуществом и продовольствием. Взяли взвод солдат, раскопали. Но когда начали газосваркой резать в бетонной стене последнюю железную дверь, раздалось кляцанье затвора и хриплый, но твёрдый голос громко произнес: «Стой! Кто идёт?» Пять лет назад, когда взрывали, забыли про часового. Банки консервов в складе считались тысячами, как и свечи в ящиках, вода просачивалась из стены, вместо бани он раз в неделю менял бельё из сотен тюков солдатского обмундирования. Всякий раз, когда Антон вспоминал это «Стой! Кто идёт?», мурашки бежали по спине: солдат считал себя на посту. Через много лет в каком-то журнале Антон прочёл очерк об этом — детали отличались, но в главном майор ничего не присочинил.

Разрешил майор и один спор. Улыбченко, оправдывая отступление, говорил: «Побежишь. Когда из Буга танки выползают!» Ему не верили, но майор сказал, что танки, которые могли двигаться под водой, подготавливались к операции на Ла-Манше, но потом их придали Гудериану, а тот использовал их под Брестом.

За общим столом майор не пил, хотя вообще был очень не прочь, однако предпочитал это делать с глазу на глаз с отцом (они в разное время

учились на истфаке МГУ). Отец, очень интересуясь рассказами о войне, на брёвна не ходил — Антон только потом понял: ему было бы неловко среди фронтовиков; его не взяли из-за глаз, испорченных на сварочных работах — без щитков — на строительстве московского метро. (Даже мама чувствовала какую-то вину и сказала как-то: тем, кто воевал, можно простить всё.)

Антон, вычислив, когда майор с отцом выпьют по второй, приносил огурцов, пучок редиски с грядки и незаметно оставался. Майор не рассказывал про разные боевые эпизоды, как Кувычко или Крысчат, а говорил, что Гудериан использовал тактику Ганнибала, который сосредоточивал тяжёлых боевых слонов для прорыва на одном участке. И о нашей армии говорил обо всей. Самым слабым местом была её прославленная пехота. Трёхлинейки образца девяносто третьего дробь тридцатого года очень надёжны, но обладают низкой скорострельностью. Пехотинцев бросали в бой, не научив окапываться (про это говорил и Сумбаев), строить дерево-земляные точки. Даже сапёры не умели возводить нормальные доты: в сорок первом году их делали с непомерно широкими амбразурами; если бы у немцев появился Матросов — провалился бы как в яму.

— Понастроили, как витрины в Амстердаме, в которых сидят проститутки! — вдруг закричал майор. — И это после финской войны, когда... — лицо майора задёргалось.

— Воды! — бросил отец. — Холодной, из кадки. Антон опрометью кинулся в сени. Так он узнал, почему майор не пьёт на людях. Стукая зубами о край, майор опорожнил полковша. Потом глубоко вздохнул и продолжал с того самого места:

— ...когда на линии Маннергейма положили несколько дивизий. А почему? Потому, что была доктрина наступательной войны, в обороне — считалось — не будем.

Окружённый Берлин, полагал майор, штурмовать не следовало. Отец спорил, говорил что-то про политику и безоговорочную капитуляцию.

— Без боя бы капитулировали, и безоговорочно. Политика политикой, а полмиллиона жизней не вернёшь.

За одно сведение Антон обиделся. Он обожал Покрышкина и Кожедуба, складывал вместе число сбитых ими самолётов. Оказалось, что какой-то немецкий ас один сбил вдвое больше, чем оба трижды героя вместе!

Студентом Антон уже сам задавал майору вопросы. Почему продолжают подымать на щит Зою Космодемьянскую, которая пыталась

поджечь какую-то конюшню? А о партизанах Игнатовых, изобретших не обнаруживаемые миноискателем деревяннокорпусные мины и подорвавших десятки поездов, не пишет никто? Конечно, Зоя погибла мученической смертью, но ведь и Игнатовы погибли.

— Ты мне напомнил своего деда с его вопросами тогда, у вас в доме, на годовщине Победы. Тот же тип мышления. Помнишь, что ответил тогда Егорычев? Нет? Система построена на мифе. А миф требует единичности: один, как Бог, над всеми, ниже — идола поменьше, но в каждой области — тоже по одному: Чапаев, Джембул, Стаханов, Чкалов, Маяковский, Мичурин, умрёт — заменим Лысенкой... А к Егорычеву надо прислушиваться — он очень давно выпал из системы и всё это время думает.

— А Гройдо?

— И Гройдо. Так же давно. Но более редкий случай.

— Редкий — что давно или — что занимал высокое место в иерархии?

— И то и другое. Он говорил мне, что благословляет судьбу, вытолкнувшую оттуда его столь рано: давно лежал бы в лагерной яме или был советским вельможей, что ещё отвратительней. Я не встречал никого — даже здесь, кто бы их так ненавидел. Иногда мне кажется, что подсознательно он жалеет, что не наверху.

Антон спрашивал про его книгу о войне, собирается ли публиковать.

— Хотел. У меня большой материал по матросовцам до Матросова. Один случай даже в финскую войну. Но тогда солдатам-свидетелям замполит, справившись где полагалось, велел молчать, чтоб не подумали, что у нас плохо с боевой техникой, раз ложимся на амбразуры. В эту войну было уже другое указание... А тараны были и до Талалихина — у меня тоже много данных. Правда, большинство моих материалов основано на устных свидетельствах солдат, которых я опрашивал в Алма-Ате, Омске, в Карлаге, а после него уже здесь — Оглоткова, Крысцата, Гурия, да почти всех... До архивов мне уж не добраться.

— Вы сидели?

— Недолго. Меня взяли в ту же кампанию, что и вашу учительницу математики. Тебе не стали говорить, — лицо его омрачилось. — То, что я записал в лагере, удалось вынести — нас отпускали уже пачками, — это из моих записей самое ценное, там говорили всё.

Вскоре он умер. Его бумаги квартирная хозяйка отдала за банку солёных огурцов торговке Мане Делец на кульки.

На брёвенных посиделках Антон запомнил его только один раз: сначала он расспрашивал Оглоткова всё про тех же матросовцев, а потом

сцепился с Кувычкой, который любил повторять, что всю войну, от Бреста до Берлина, провёл на передовой.

Майор говорил: все, кто заявляют, что воевали в боевых порядках три месяца в Сталинграде или месяц на Курской дуге, — врут. И прекрасно знают, что в части, ведущей непрерывные бои, можно находиться неделю, максимум — две. Потом ты или в госпитале, или — известно где. Если остался цел с месяц или больше — значит, был во втором эшелоне. Да и всю часть через две-три недели отводят на переформирование.

Вывали на брёвнах и одноразовые гости — заглянул ленинградец Гольдберг. Ему, хотя он и через два года после блокады доходил, дали срок, но из лагеря «Спасское» под Карагандой вскоре комиссовали, и он лечился в чебачинском тубсанатории. Срок он получил за язык: сказал, что в Смольном в блокаду ели ветчину и икру. Ему не поверили; когда он ушёл, Петя-партизан сказал, что к евреям относится хорошо, а с одним даже дружил в отряде, но это — типичные еврейские штучки.

Когда я потом вспоминал рассказ ленинградца, он тоже не вызывал у меня особого доверия. Но в институте истории меня по распоряжению дирекции подключили к коллективному труду в честь одного из юбилеев великой победы, хотя я был специалистом по XIX веку: книга шла на границу и требовалась в кратчайшие сроки. Я попросился в ленинградскую группу — прошёл слух, что допустят к закрытым архивам.

Допустили; мы читали документы с грифами «Секретно» и «Совершенно секретно»: отчёты о работе всех двадцати двух ленинградских кладбищ с цифрами — приблизительными — ежедневных захоронений, протоколы отделений милиции о случаях каннибализма. И — накладные на продукты, доставляемые в Смольный: шпроты, крабы, икра зернистая, икра лососевая, осетрина горячего копчения. Ни один из этих документов даже в пересказе включить в книгу не удалось. Впрочем, на Западе, видимо, кое-что знали. В музее обороны Ленинграда в спецфонде мы нашли вырезку из неуказанной газеты, где один американский писатель, единственный из западных литераторов побывавший в осаждённом городе, рассказал о своих впечатлениях от обеда у первого секретаря ленинградского обкома. «Я не увидел отличий от обеда, которым меня угощали здесь два года тому назад. Та же икра в тарелках, та же жёлто-розовая лососина, отличная водка. Изменился только сам господин Жданов: он ещё больше пополнил, хотя, как я узнал, каждый день играл в бункере в теннис».

На брёвнах и пели: «На позиции девушка», «Бьётся в тесной печурке огонь», «Синенький скромный платочек». Эти песни любили все — и

фронтовики, и Гройдо, и Егорычев. Правда, они не очень понятно спорили: Гройдо удивлялся, как «Землянку» мог написать такой поэт. Но Егорычев говорил, что в подобные годы народные песни пишут именно такие поэты. Но пели и песни, каких по радио Антон не слышал. Старшие братья Кувычки, воевавшие на Северном флоте, исполняли дуэтом: «Англичанин затаится русской махоркой, а русский матрос сигарету возьмёт». Отец, услышав, как Антон, шкура мутовку, это мурлычет, заставил пропеть до конца: «И над рейдом протянутся дымки голубые: русский дымок, русский дымок и британский дымок». После чего сказал: не вздумай спеть это в школе. На что Антон находчиво ответил, что есть даже газета «Британский союзник», которую ты сам привёз из Москвы. Была, сказал отец, а тот давний номер пора сжечь.

Анюта Кувычко, фронтовая медсестра по прозвищу Анка-пулемётчица, пела частушки. Начинала с понятных: Обещался милый мой Сшить полусапожки, Обманул, подлец такой, — Только смерил ножки.

Но в других вместо некоторых слов мычала «м-м-м-м», и все смеялись, а Антону было обидно.

С японской войны вернулся самый младший, пятый Кувычко (народ поражался, что вернулись все пять братьев и сестра), было интересно про косоглазых, на Востоке никто не воевал, тем более что он служил шофёром при дивизионной газете и многое знал в масштабе. Антон как раз был в пионерлагере и приставал к Ваське Гагину, чтоб тот хоть что-нибудь передал из рассказов Кувычки. Но Васька запомнил только стихи дивизионного поэта, которые, став в позу, и прочёл очень выразительно. Кончались они так: И вырвав нож из рук японца, Его добил ножом его.

При последнем слове Васька щёлкал языком и делал движение, которое военрук Корендясов рекомендовал в драмкружке старшеклассников при ремарке «Закалывается».

21. Вечерний звон

Двадцатого июня был вечер встречи их курса — раз в пять лет. Встречи эти Антон ни разу не пропустил; среди причин скорого отъезда в Москву была и эта.

Первую половину пути думают о тех, кого оставили, вторую — о тех, куда едут. В этой железнодорожной мудрости Антон убедился снова, как раз после полпути открыв главу своей монографии, которую добивал перед отъездом в Чебачинск. Её название, в плане института истории означенное как «Кризис самодержавия в России в конце XIX — начале XX в.», Антон надеялся заменить на нормальное.

Это была четвёртая из задуманной им серии книг по рубежу веков; он говорил: я занимаюсь историей России до октябрьского переворота. Первая книга серии — его диссертация — не была напечатана, требовали переделок, ленинских оценок. Уговаривали и друзья. «Чего тебе стоит? Вставь две-три цитаты в начале каждой главы. Дальше же идет твой текст!» Антону же казалось, что тогда текст опоганен, читатель и дальше не будет автору верить. Книга не пошла.

Вторая и третья книги лежали в набросках и материалах — он уже говорил: полметра; постепенно он охладевал к ним. Но четвёртую книгу почему-то надеялся издать. Последняя глава называлась «Русская художественная культура начала XX века».

Чего никак не хотели принять в институте и из-за чего уже завернули первый вариант главы, была та простая мысль, что русская культура этого времени — не только Лев Толстой, Чехов, Серов, Рахманинов, Шаляпин, Шехтель, но и северная изба, и лубок, и доходные дома, и цыганский и жестокий романс, Вяльцева и Вертинский, что вершинная культура не существует и не может быть описана без второй, более массовой или совсем массовой.

Ему не надо было выискивать описаний русской печи — он сотни раз заглядывал в её зев, когда бабка рогачом выхватывала оттуда горшки или вытаскивала противни с горячими хлебами, не надо было выписывать из мемуаров, какие романсы пели тогда.

...Вечер. Мягко, глубоко тикают большие маятниковые часы. Посреди стола на высокой ножке сияет медная семилинейная лампа, её фитиль, вымоченный в крепком уксусе, бьёт жёлто-оранжевым огнём. За круглым окошком чугунной печной заслонки ровно гудит белое пламя, бабка шьёт,

Тамара перебирает крупу, тётя Лариса курит у печки, дед держит в руках скрипку.

Дед, как и все его братья, сыновья священника и семинаристы, сызмальства пел в церковном хоре, в молодости у него был замечательный тенор. Когда после окончания семинарии он жил в Вильне в ожидании места, его охотно приглашали всюду, так что в один день он пел и в заутрене, и в обедне, и в вечерне, а в рождественские и пасхальные

дни и того больше — и сорвал себе голос, уже не мог брать высокие ноты, а до этого в «Хуторочке» держал верхнее «до» полторы минуты.

Видимо, как раз тогда деда приглашали в виленский оперный театр. Дед хотел, но запретил дедов родитель, о. Лев: чему можно выучиться среди актёров — только пьянствовать; послушаться не могло быть и речи. Антрепренёр очень жалел и говорил, что дед начал бы, конечно, не с главных партий, но со временем оказался б среди первых теноров.

— Жалеешь? — в прошлый приезд спросил Антон.

— Нет... пожалуй. Театр, богема... Изболтался бы, давно уж лежал в могиле. Что молчишь? Хочешь напомнить мне сказку из «Капитанской дочки» об орле и вороне? Подожди. Вспомни её, когда доживёшь до моих лет.

Антон стал ждать.

Перед войной дед, поранив ладонь ржавым гвоздём, получил флегмону, после операции пальцы стали плохо разгибаться. Ссылный врач, лечивший когда-то Керенского, а потом наркома юстиции Крыленко (сел он, чего никак не ожидал, за второго пациента), посоветовал играть на скрипке. Думали, он шутит, но он говорил всерьёз и даже нашел в областном центре бывшего скрипача Мариинского театра, который продал деду очень приличный инструмент.

«Забыты нежные лобзанья, — начинает бабка, — утихла страсть, ушла любовь...» — «И радость первого свиданья, — вступает вторым голосом Тамара, — уж не волнует больше кровь».

«В глубоких волнах океана, — заводит опять бабка, — я горе своё утоплю. И может настанет то время, когда ты мне скажешь: люблю». И все подхватывают припев: «Прошло, всё прошло, и вновь не вернётся оно никогда, никогда...»

Так жалко было бабушку, у которой всё прошло и не вернётся никогда-никогда — «умрёшь, похоронят, как не жил на свете».

На саму бабку больше всего действовал романс «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит», особенно последние строки, завершающие печальную историю девушки, которую, как чайку,

погубил «один неизвестный»: «Нет жизни, нет счастья, нет веры, нет сил».

Иногда дед пел соло — чаще всего «Глядя на луч пурпурного заката». Автор романса, Павел Алексеич Козлов, чиновник особых поручений при виленском генерал-губернаторе, пел его в доме у дедова отца; он умер, когда деду было лет пятнадцать. Но всего больше любил дед песню «Воронье, удалые». Не вспоминал ли он свою лошадь Липку, когда с особенным чувством пел: «Время минет, кровь остынет, замолчит печаль, вороную, удалую тройку только жаль», и неожиданно лихо: «Гей вы, нули, что заснули, шевелись-гляди!»

Жалко было всех, ведь они умрут раньше.

Дед ненадолго выходил и возвращался с кладкой дров, которую у печи сбрасывал с грохотом, как все истопники.

Пенье не мешало деду следить за печкой и заодно всё объяснять про неё Антону: делая всякое дело, он показывал и учил. И через десять, двадцать лет Антон обнаруживал, что знает, как надо на ремне править опасную бритву и отбивать косу, чистить стекло керосиновой лампы, делать компост из куриного помёта и окулировку яблони. Как-то незаметно, готовя обед, учила и бабка, — хотя зачем? — не девочка, но Антон с удивленьем убеждался, что помнит, как шинковать капусту, обжаривать лук, чтобы он приобрёл золотистый цвет, и что делать, чтоб такой же цвет оказался у бульона; когда в холодную, а когда в горячую воду класть мясо (первое — если хотите нежное мясо, второе — для хорошего бульона), как вырезать плавники у рыб, как красить яйца луковым отваром, получая полдюжины оттенков.

Топить печь — целая наука. Первая трудность — растопка. Но Антон её любил больше всего — составлять щепки шалашиком, слоями укладывая топливо: вниз —

берёзу, она — и растопка и горючий материал в одном полене, которое занимается не вдруг, только береста, и всё сооруженье долго сохраняет свою форму, потом кладётся что-нибудь потоньше и полегче, наверх — средние полешки. Поджигал дед сам — огонь высекался кресалом, а это было особое искусство: неумеха будет только без толку бить по кремню. И даже когда мама с дедом произвели серные спички (Антон тоже принимал участие, выстругивая тонюсенькие щепочки, за что именовался Ивар Крейгер — по имени шведского короля спичек), дед никому поджиг не доверял — может оттого, что эти спички, загораясь, почему-то стреляли во все стороны.

Антон делал всё как надо, но у деда дым с весёлым воем устремлялся в трубу, а у Антона весь уходить не хотел и тихо змеился из прихлопа

заслонки в комнату.

— Сегодня Антон растапливал? — входя, безошибочно узнавал отец. «Сейчас скажет про дым и про окошко», — думал Антон, и отец послушно говорил: «В избу, в окошко и в трубу немножко». Иногда он принимался экзаменовать:

— Что подбросил дедушка? Послушай.

Антон вслушивался в шум пламени — оно гудело всё так же, наугад ляпал:

— Сосну!

— Сосна гудит и стреляет. А шипит — только осина. Обижается, что её заругали. Зря, дерево хорошее, стойкое, в парную, в колодец, на купол...

Больше всего отец любил дрова из старых яблонь, договаривался и сам ездил спиливать их в питомник, в доме от них пахло садом.

Самое увлекательное — работать кочергой: сгребать поленья в кучу, подбивать к хорошо горящим сухим сырые, стучать по догорающим головешкам. В конце — подгрести угли к той стороне печного свода, которая обращена не к стене, а к комнате.

Но главное — определить, когда закрывать трубу: опоздаешь — уйдёт тепло, поторопишься — будет самое страшное, угар. Рассказывали ужасные истории, как умирали целыми семьями; соученики Антона, пропустив первые уроки, часто говорили: «Мы угорели». Закрывать трубу можно не только когда угли отдымятся, но и отпляшутся над ними голубые огоньки, угарный газ СО, яд, смерть. Огоньки завораживали. Но долго открытую заслонку держать было нельзя, хотя отец тоже закрывать не торопился, задумчиво поглядывая на мерцающие язычки. В вечерних посиделках отец участвовал редко — что-то писал в другой комнате. Но когда выходил — погреться у печки, покурить с тётёй Ларисой, — рассказывал про Москву, чаще всего про Сандуновские бани (особенно потрясал бассейн, в котором можно плавать зимой), про пивную на Пушкинской площади с вот эдакими раками, про «Метрополь» и «Прагу» с её знаменитым швейцаром, у которого была такая борода, что меньше червонца дать ему было никак невозможно (время там, видно, стояло: когда Антон стал студентом, было всё то же — и борода, и червонец).

Знание отцом московских ресторанов объяснялось его коротким, но основательным опытом в начале тридцатых. Когда умерла мать, по её завещанию Петру, как младшему из братьев, досталось из наследства больше всех. Деньгами он распорядился просто: прокутил всё в полгода. Стоило послушать, как они обсуждали сравнительные достоинства кухни «Националя» и «Савой» с Василием Илларионовичем.

Рассказывал отец и о родовом гнезде, квартире на Пироговке, в «девятке», бывшей гостинице, с потолками в пять метров — не меньше, чем в знаменитом «Англетере» в Питере. Уезжая на стройки социализма, отец жилплощадь сдал и получил справку, что она сохраняется за ним. Старший брат, Иван Иванович, в лицах изображал, как веселились чиновники из Моссовета, когда он после войны по порученью Петруши явился к ним с этой справкой. Но отец почему-то все годы надеялся получить площадь обратно и вернуться в Москву. В Москву!..

Мама в музицированиях тоже принимала участие не часто: после десяти- двенадцати уроков (потом, короткое время работая в школе, Антон рассказывал об этом коллегам — никто не верил), придя домой, она ложилась в постель, накрывала голову

подушкой и не вставала уже до утра. Но иногда, по субботам, воскресеньям, всё же выходила и всегда просила, чтоб выступил наш с дедом дуэт. Я пел, дед аккомпанировал на скрипке: «В тихом сумраке лампада светом трепетным горит, пред иконой белокурый внучек с дедушкой стоит». Репертуар был монархически-жалостный: «Не росой ли ты спустилась, не во сне ли вижу я, зная горячая молитва долетела до царя», «Вечер был».

Эту песню я особенно любил: Вечер был. Сверкали звёзды.

На дворе мороз трещал.

Шёл по улице малютка, Посинел и весь дрожал.

В этом месте со своим детским альтом должен был вступать я. «Боже, — говорит малютка, — Я прозяб и есть хочу, Кто согреет и накормит, Боже добрый, сироту».

Шла старушка той деревней, Увидала сироту.

Приютила и согрела И поесть дала ему.

В виде доброй старушки всегда представлялась только бабка, она уж точно привела бы сироту к нам в дом и даже оставила насовсем.

Была в репертуаре Антона песенка, которую надо было петь, надев Тамарин цветастый ситцевый платочек. Ему песня не очень нравилась: «Лет пятнадцати не боле Лиза погулять пошла и, гуляя в чистом поле, птичек гнёздышко нашла». Все веселились, особенно в конце, когда Лиза говорила случившемуся тут барину «моё гнёздышко не тронь»; Антон не находил в этом ничего смешного.

Особенным успехом пользовалась «Лучинушка». Дед научил Антона после заключительной фразы «Догорю с тобой и я» печально-обречённо никнуть головою; это вызывало смех гомерический.

Хором пели «Трансваль, Трансваль, страна моя», где мне особенно

нравились слова: «Пусть мал я, слаб, крепка рука моя». А в песне про Хасбулата удалого — куплет «Тут рассерженный князь саблю выхватил вдруг, голова старика покатила на луг». Но сосед Леонид Сергеевич, услышав это, сказал: «Такой куплет слышу впервые. И правильно, что его не поют. Что ещё за луг возле горной реки? ещё бы запели: на заливной луг!» После этого мне куплет разонравился, и я стал в знак протеста незаметно петь «Голова старика покатила на юг», а наедине — свою пародию: «Под чинарой густой воет пёс молодой». Леонид Сергеевич окончил факультет небесной механики в Сорбонне, во всём любил точность и в песнях находил много ошибок. Например, когда в степи глухой замерзал ямщик — почему его не отогрел товарищ, которому он отдавал наказ? Некрасовский Кудеяр резал дуб булатным ножом: «Годы идут, подвигается медленно дело вперёд». Но самый мощный дуб даже при такой технике можно срезать за два-три месяца.

Иногда, без деда, пели дуэтом тётя Лариса и Тамара — их репертуар был из городской низовой культуры: жестокий романс «Маруся отравилась» или песня из иностранной жизни: «Девушку из маленькой таверны полюбил суровый капитан».

Полюбил он пепельные косы, алых губ нетронутый коралл... С берегов, похожих на игрушки, где как шёлк зелёные луга, привозил он разных безделушек, ожерелья, кольца, жемчуга. И она с улыбкой величавой принимала радостный привет, но однажды гордо и лукаво бросила безжалостное «нет». А наутро «чайкой белоснежной таял в море его

белый бриг». Но девушка затосковала, «её очи как у дикой серны отцвели от песен и вина».

И никто не знал во всей таверне, даже сам хозяин кабака, что та девушка с глазами дикой серны бросилась в море с маяка». Такие песни пели и на улице — много их знал Борька Корма, уже в шестнадцать лет обладавший могучими плечами и мощным баритональным басом. На школьных олимпиадах он пел что-нибудь из патриотического репертуара: «Присяги не нарушу, не пожалею жизни, об этом и гармоника поёт. Мамаша, до свиданья, подруга, до свиданья, иду я моряком в Балтийский флот». В этом месте он распахивал отцовский глухой пиджак-сталинку, под которым оказывалась настоящая матросская тельняшка, обтягивающая его широкую выпуклую грудь. На улице Борька чаще всего пел про Джона Гри, красавца: «Был он большой по весу, с силою Меркулеса, храбрый, как Дон Кихот». Антон, услышав песню в первый раз, поколебавшись, сказал, что, конечно, «Геркулеса» и, видимо, не «большой по весу», а «большой повеса». Результат был предсказуем.

— Какой ещё повеса? — оскорбился Корма. — Всё правильно: мощный мужик, тяжеловес. Ишь, профессор нашёлся!

И Антон получил щелчок по носу — это был коронный номер Кормы: после такого щелчка из любого носа мгновенно шла кровь.

Иногда не пели, а декламировали. Бабка — «Белое покрывало», дед — «Сакья Муни» Мережковского. Любознательный Антон как-то переспросил имя автора, но отец сказал: «Не надо». Читали вслух: Диккенса, Толстого, Чехова. (Когда у Антона подросла дочка, он пытался устроить такие же семейные чтения, и позже — когда появилась внучка. Но не получилось ни тогда, ни потом — что-то ушло безвозвратно, и нельзя было повторить даже такую простую вещь.)

— Что читать из Чехова? — спрашивал дед.

— «Полиньку»! — высказывал Антон.

— Странный вкус у ребёнка, — говорила тётя Лариса, но дед уже открывал книгу и читал — особенно отчётливо те места, которые нравились Антону: «Цвет, ежели желаете, модный теперь гелиотроп или цвет канак... Есть два сорта кружев, сударыня! Ориенталь, британские, валансьен, кроше, торшон — это бумажные-с, а рококо, сутажет, камбре — это шёлковые...»

«Валансьен, кроше, торшон, — чуть слышно, закрыв глаза, шёпотом повторяла бабка, — рококо, сутажет, камбре...»

Когда приходил кто-нибудь из соседей, Василий Илларионович просил Антона почитать из настольного календаря за 1940 год. Нужные места он заранее отмечал синим карандашом. «Вы — как наш вождь, — серьёзно говорил Гройдо. — Он все резолюции накладывает — во всяком случае, накладывал — синим карандашом».

Антон звонким голосом начинал: «Ногти должны содержаться в чистоте, поэтому надо вычищать из-под них грязь. Ноги необходимо мыть водой с мылом не реже одного раза в два-три дня. Немытые ноги дурно пахнут. Волосы на голове расчёсывать ежедневно личной гребёнкой. Спать лучше не в той рубашке, которую носят днём. Не ложитесь в постель с обутыми ногами и в платье». Рекомендации календаря имели большой успех, Антону было непонятно, почему все смеялись: многое совпадало с тем, что заставляла его делать бабка. Всё лето он бегал босиком и по вечерам споласкивал ноги на крыльце из ковшика, но через два дня на третий бабка, как и календарь, велела мыть ноги с мылом.

«Источником кишечных микробов в пище, — продолжал Антон, вдохновенно подняв голову (этот текст, как и почти весь настольный календарь, он давно знал наизусть), — являются либо персонал

учреждений общепита, страдающий желудочно-кишечными расстройствами и не соблюдающий правил гигиены (например, мытьё рук после клозета), либо мытьё посуды водой, взятой из болота, лужи или другого стоячего водоёма. Правильно приготовленная пища выдаётся в первую очередь детям работниц и колхозниц. Не кормите животных из той же посуды, из которой едите сами, и не давайте вылизывать свои тарелки. Укусившее вас животное надо доставить — лучше живым — к

ветеринарному врачу. Соблюдение правил личной гигиены повысит вашу производительность труда». К концу чтения хохот усиливался. Не смеялся только один человек — Стенбок-Фермор. Он, напротив, делался печален и говорил горько: «Несчастливая страна. Бедный народ». Или что-нибудь уж совсем непонятное: «Рекомендация интеллигенции мыть дурно пахнущие ноги в национальном масштабе. И это страна Достоевского и Чехова!»

Пели и потом, когда Антон приезжал на каникулы. Теперь ему из «Хасбулата» нравился уже другой куплет: «И скользила рука по груди молодой». А в некрасовских «Двенадцати разбойниках» — про режим Кудеяра: «Днём с любовницей тешился, ночью набеги творил». А ещё через много лет — до дрожи — строки оттуда же в шалашинском исполнении: «Вдруг у разбойника лютого — совесть! — Господь пробудил».

Пока читали, разговаривали и пели, пеклась картошка — ужин: продукции всего разветвлённого натурального хозяйства не хватало на дюжину едоков, из которых только родители имели нормальные хлебные карточки, а остальные — иждивенческие или вообще никаких. Дед откладывал скрипку, открывал заслонку, шуровал кочергою, скатывал печёные картофелины в облупленную бело-голубую эмалированную миску. В самый первый картофельный ужин дед сложил их в большое деревянное блюдо, стоявшее обычно за русской печью. Но бабка пришла в ужас:

— Это ж блюдо для репы!

Репы не предвиделось, но дед не спорил никогда; печёный картофель стал подаваться в миске. Он ставил её посреди стола и говорил:

— Ребята, мимоскаль за нами!

Замечательное слово «мимоскаль» означало: налетай. Только много позже Антона осенило, что дед говорил: «Ребята, не Москва ль за нами!» Клич нравиться перестал.

Перед общей делёжкой, не раз замечал Антон, дед несколько картошек откладывал в карман своей толстовки. Он вообще себя не забывал, и когда они с Антоном завтракали вдвоём, обосновывал: «Тебе семь лет, а мне

шестьдесят семь! Во сколько раз я тебя старше? Во столько раз мне и надо больше». Антон чувствовал, что тут что-то не так, но логически опровергнуть это не мог. Бабка деда не забывала тоже, всегда ему накладывала больше и лучшие куски. «Так привыкла, — оправдывала её мама, — кормилец! Случись чего с ним — она с семерыми детьми, в ту войну, в гражданскую, в голод, что стала бы делать?» После обеда дед спал — ровно час, больше — нельзя, русская обломовщина.

Почему-то именно в это время к нему любили приходиться по служебным делам. Но бабка всегда была настороже: «Леонид Львович отдыхам». Ничто в мире не могло заставить прервать его сон. 22 июня сорок первого он всю ночь прошагал за возом с дровами, утром лёг спать, и бабка не разрешила его будить даже когда говорил Молотов. Считалось, что у деда больной желудок, и перед обедом он выпивал рюмочку кагоры. Кагор ещё с довоины хранился где-то у бабки, сколько его было, никто не знал, но на него никогда, ни в какие праздники не покушались. Только раз бабка выдала бутылку на общий стол — в день Победы.

В последний Антонов чебачинский вечер пришли тётя Таня, Ира, из своей деревни, где она работала в поликлинике, приехала Галя. Антон с дядей Лёней из пристройки на стуле принесли деда. «Поём по заказу отъезжающего, — сказала тётя Таня. — «Вечерний звон»?» Дед рассказал, как эту песню восемьдесят лет назад пел объединённый семинарский хор (Антон и не знал, что такой хор мог петь светское) и как басы — какие были басы! восемь профундо! вы такого не услышите никогда — не пели, а только вторили, вступая на «ре» во фразе «Как много дум»: «Дон! дон! дон!» И когда все начали, сам стал вторить, неожиданно низко и сильно: «Дон! дон!»

Бабка сидела склонив голову, лицо её ничего не выражало. Пропели: «И многих нет теперь в живых, тогда весёлых, молодых!» Баба вдруг подняла голову, глаза её наполнились слезами и стали голубыми, как когда-то. Все замолчали, но дед сделал знак

рукой. «И уж не я, а будет он в раздумье петь вечерний звон... Дон! Дон. Дон...» Баба повернулась к Антону, прижала к себе. Тёплые слёзы закапали Антону на макушку.

22. Озеро

Это был тот самый 92-й поезд, на котором Антон в шестнадцать лет ехал в Москву начинать свой первый год в университете. Всё было похоже: пьяный проводник, мусор, влажные простыни, только уже не бегали за кипятком и на станциях не накрывались длинные столы, за которыми успевали пообедать огненным борщом.

Тогда соседом Антона оказался очень энергичный мужчина лет тридцати пяти, назвавшийся: Леонид Корнилов, поэт. Тут же он дал Антону почитать пачку газет — «Кузбасский рабочий», «Новокузнецкий рабочий», «Социалистический труд» — со своими стихотворениями. Стихи были посвящены дню советской армии, дню железнодорожника, дню пограничника. Судя по названьям газет, печатался он в городах, через которые проходил 92-й. И на этот раз он собирался сделать остановку — отнести в «Челябинскую правду» стих к надвигающемуся празднику: «Небо чисто, сегодня, друг мой, мы с тобой встречаем день танкиста». Далее говорилось о том, что пока друг воевал, лирический герой каждый день «спозаранка ему броню варил для танка». Поэт считал, что Челябинску эти стихи очень подходят, ибо там на ЧТЗ во время войны делали танки.

Раскрыв рот Антон слушал рассказы о свободной богемной жизни поэта.

— Одна моя невеста... — рассказывал он. — Другая моя невеста... Всех женщин моложе меня, — пояснил он, — я называю невестами.

Антон страшно удивился, когда поэт, узнав, что его спутник уже без пяти минут студент исторического факультета МГУ, вдруг сник и сказал совсем другим тоном, что смертельно завидует, и как это замечательно вот так начать жизнь и дальше жить так же нормально... Но долго печаловаться он не мог и уже через минуту говорил о литературе, поражая Антона смелостью суждений.

— Пушкин же исписался! Думаешь, почему он перешёл на прозу? Стихи уже не шли. И вообще фигура его преувеличена. Все, кто твердят: великий, гениальный, не читали его со школы. А он устарел! Да и если сравнить его с Блоком, Есениным — насколько он слабее. А Бальмонт, Северянин?

Из Северянина благодаря маминым тетрадкам Антон кое-что помнил, но о Бальмонте знал только пародию, начинающуюся словами «Будем, как

солнце» и кончающуюся: «Тусклым пятном догорает Бальмонт». Подавленный, он молчал. Но когда Леонид Корнилов стал говорить, что и мнение об образованности Пушкина сильно преувеличено, робко возразил: уже мальчиком Пушкин настолько хорошо знал французский язык, что лицеисты прозвали его французом, читал по-латыни, по-английски, хорошо знал историю — написал даже «Историю Пугачёва».

— Французский тогда знали все, про латынь он сам писал, что после лица не прочёл ни одной латинской книги и совершенно забыл этот язык, — побивал эрудицией поэт, — английский знал плохо. В нашей необразованной стране знание языков вообще считается почему-то эталоном учёности. А его «История Пугачёва» — это же компиляция!

Антон «Истории» не читал и замолчал ещё подавленней. И много лет после, когда он уже как специалист изучал эту книгу и остальные исторические сочинения Пушкина, — о, как страстно он хотел найти своего попутчика. Но Пушкин остался неотмщённым — имя Леонида Корнилова в центральной прессе Антону не попало ни разу.

По странному совпадению, на этот раз был тот же самый — третий вагон и то же самое место. В купе, кроме молчаливой старушки, было ещё два человека. Одного как в Петропавловске привели под руки и уложили, так он и спал мёртвым сном. Второй — капитан, танкист, сразу поставил на столик бутылку и уже до Таинчи успел рассказать

свою жизнь — Антон ему сразу понравился тем, что назвал Кошкина, конструктора танка Т-34, великим.

— Сразу видно понимающего человека. Несправедливость же! Все знают: Ильюшин, Туполев, Калашников. А про Кошкина — никто! Ни слова. А ведь Т-34 — лучший танк второй мировой!

Антон сказал, что и Гудериан так считал.

— А вы откуда знаете? — слегка нахмурил брови капитан.

— Об этом есть в его книге «Panzer, vorw hits!» Танки, вперёд!

— Слыхал про такую. А вы что, читали?

— Нет. Но этот его отзыв приводит Типпельскирх в своей «Истории второй мировой войны».

— А её где?..

— В научной библиотеке МГУ. Она даже стояла в свободном доступе в аспирантском зале. Её издали под грифом «Для научных библиотек».

— Сволочи! — капитан ударил кулаком по столу так, что задребезжали стаканы.

— Кто?

— А кто нам, специалистам, не даёт читать такие книги. И про

чехословацкие события — тоже не дают. Мне говорили, на русском языке вышла об этом книга. Мне же интересно, я там был в 68-м году.

Выяснилось, что капитан ещё лейтенантом участвовал в рейде советских войск. Рассказ был впечатляющим: по дорогам и без дорог, через равнины, холмы лавиной на предельной скорости несётся армада в сотни танков. Лязг гусениц, рёв моторов, заглушающих всё. Сквозь облако пыли видны только пылающие факелы на обочинах — это горят катапультированные бочки от бензина. Сначала открывали люки, высовывались из них, но после того, как убили одного солдата и подстрелили офицера, — перестали.

— Ну, а в целом ваши войска как на всё это реагировали? — спросил Антон.

Капитан со стуком поставил стакан. — Ваши? А ты чей? — капитан тяжёлым взглядом уставился на Антона. — Ты что, ихний? — махнул он рукой на закат.

Возразить было нечего. Выдало подсознание, выдал язык.

Капитан вмиг протрезвел. Убрал бутылку и залез на полку. В купе стало тихо.

За окном появилась надпись: «Миасс». Недалеко от этого города было знаменитое на весь Урал озеро Тургояк, тектонического происхождения. Про него рассказывал одноклассник Сергей Юновидов. «Ну совсем как Чебачье — один к одному. Утром вышел из палатки: где я?» На озеро Чебачье Антон в этот приезд не пошёл: говорили, что из-за хищнического использования воды городом его ладонь уменьшилась в два раза, на остров Зелёный, куда вплавь было добираться час, теперь ездили посуху на машинах. В уральском же озере вода, напротив, прибывала, говорил Юновидов.

Антону вдруг безумно захотелось увидеть озеро, похожее на Чебачинское своего детства. Капитан лежал на полке, отвернувшись. С ним предстояло пробыть вместе ещё день и две ночи. Антон быстро собрал чемодан. Проводник, к счастью, почему-то оказался в своём купе. «Вы же до Москвы?» — удивился он. «Делаю остановку». — «Не забудьте сразу отметить билет».

Через час Антон автобусом уже ехал на Тургояк. Юновидов оказался прав: озёра были очень похожи: огромными валунами на берегу, жердевым, оглобельным — маломерным лесом на подходах и корабельной сосной на взлобках, зелёным островом; только уральское было поменьше. По берегу бродила такая же чёрная дворняга.

— Рекс! — позвал Антон. Пёс оглянулся и вильнул хвостом. Закон,

выведенный Антоном, действовал: чем пёс беспороднее, тем кличка у него иностраннее.

...Озеро Чебачье было большое. В ширину — семь, в длину тринадцать вёрст. Глубина, утверждали, была девяносто метров; дед говорил, что это местнопатриотические враки, но на пятьдесят соглашался и он.

Озеро было необычайной красоты. Другие озёра в округе называли по именам: Карасье, Жукей, Еловое, Темиркуль; Чебачье — всегда только Озеро. Оно значилось в энциклопедиях и книге «Озёра мира»; другого такого не было; попав на знаменитую Рицу, Антон потом при расспросах о ней только мотал головой и скептически мычал.

На той стороне синели горы — отроги Чебачинской цепи Сибирской складчатой страны: Синюха, Летяга, Юрма, Откликная — на ней отзывалось необычайно чистое, ясное эхо. Если крикнуть: Кому! Не спится! В ночь глухую!.. — то гора отвечала очень отчётливо последним слогом фразы. Самая знаменитая гора была — Спящий Рыцарь.

После каждого купанья, когда лежали на животах на тёплом песке лицом к Озеру, шли споры: где у Рыцаря шлем, где ноги. На Рыцаря ходили за малиною, тёмной, бархатистой горной малиною, прогретой в расщелинах меж камнями, сладкой и душистой, не имеющей ничего общего с водянистой промязгой садовой малиной. На ближнюю гору, называвшуюся просто Сопка или Сопочка (Васька Гагин называл ее «Собочка», и никто не мог его переубедить), ходили за черникой, коей у её подошвы была прорва, существовала даже норма: литровая банка в час. Ягоды на рынке были баснословно дешёвы; бабка купила как-то огромную корзину за пятьдесят дореформенных рублей. А ведь чтоб набрать такую корзину, надо было в субботу под палящим солнцем и комарами пройти двадцать километров на отроги Спящего Рыцаря, почти всё время в гору, а потом проделать этот путь обратно с десятикилограммовой ношею. «Главный признак пауперизации населения — дешевизна труда», — объяснял отец. Живых денег колхозники не получали никаких. Что-то давали вдовам офицеров, им завидовали. Учителя, служащие считались богатеями. Из промышленности работали стеклозавод — в Батмашке и промкомбинат имени наркома просвещения трудящихся А.В. Луначарского — этим несколько архаическим наименованием (сохранившимся, впрочем, только на вывеске с выпиленными из осины десятивершковыми буквами) обозначались три плохо отапливаемых барака, в которых пилили и строгаели еловые доски человек двадцать.

Бедность вокруг была ужасающая. Соседка Устя поллета, пока не

подходила молодая картошка, питалась щами из крапивы и дикого щавеля. Видимо, такая диета плохо действовала на желудок, потому что Устина голова часто виднелась в бурьяне на задах огорода — специального отхожего места не предполагалось. Однажды Антон и его друзья, ночуя на Карасьем озере, наткнулись на семью местных туристов; мать после ужина при свете костра песком отчищала от сажи кастрюлю. Антон знал, что такое жирная, смолистая сосновая сажа. На удивлённый вопрос глава семьи отвечал, что делать это лучше сразу, потом не отдерёшь. И они драили свои кастрюли до блеска три раза в день. О том, чтобы завести походный комплект из двух-трёх котелков, видимо, не могло быть и речи.

Ещё ближе была Каменуха, по излогим склонам к ней вели перелески из кривульника, на полянах зверобой, душица, болиголов, щитовник, сныть, конский щавель, целые поляны медвянки, от её аромата кружилась голова; над ней гудели, как аэропланы, пухлые шмели-медовики. На подходах к сопке начиналась каменистая степь с островками ковыля, пырея, но господствовала над всем низкорослая полынь (из неё делали веники — в подметаемых комнатах пахло солнцем, ветром, не заводились ни мыши, ни тараканы); глубже в Степь шло уже сплошное ковыльё. Перед самой Каменухой тропа шла среди валунов, покрытых серыми, синеватыми и грязно-зелёными лишайниками, пробивалась заячья капуста, раннее, до ягод, лакомство. На валунах местные жители увековечивали свои имена; мы с Васькой мечтали расписаться на боку самого большого, со стационарный двухэтажный дом. И однажды, запасаясь верёвкой и глиняным кувшином с белилами, мы этот проект осуществили — правда, только вполовину. Запечатлев своё имя, Васька долго болтался на верёвке, так как втащить его обратно у меня не хватало сил, а влезть самому ему мешал кувшин. В конце концов кувшин разбился о камень, мне расписаться не удалось.

Васькина надпись была хорошо видна с дороги, Антон огорчился до слёз. Через тридцать лет аршинные буквы «Гагин здесь был» лишь чуть-чуть облупились.

С Каменухи открывался вид на все семь озёр округи. За ней — смешанный лес, в нём сумрачно, смолой и земляникой пахнет тёмный бор, у подножия сосен смыкаются зонтики папоротников, как зонты на Трафальгарской площади в дождливый день, написал бы писатель одесской-метафорической школы. Сосны в таком лесу кряжистые, с мощными уже с середины ветками. Царство корабельной, мачтовой сосны, совершенного творенья природы, начиналось ближе к Озеру.

У самой воды не росли вербняк, буза, ветловник, как при других

озёрах. С берега в Озеро спускались ступенями огромные плоские валуны, площадью в половину хорошей комнаты, выше шли кучи небольших, как будто кем-то набросанных острых камней — гнейсовые граниты с грубообломочными осыпями. Попадались скалы, сложенные из гигантских плоских плит; бабка бы сказала, что эти скалы похожи на обкусанный со всех сторон невоспитанным гостем торт «Наполеон». Антону плиты напоминали груды матрасов во дворе военкомата перед отъездом солдат в летние лагеря.

Воинская часть раскидывала палатки сразу за Каменухой. Командовал ею майор Еднерал, предвосхитивший идеи глобального дизайна знаменитых маэстро — американца Христо Христова и француза Жана Вирана. В число известнейших осуществлённых миллионных проектов американского дизайнера входило задёргиванье каньона на Среднем Западе оранжевым занавесом в полкилометра шириной, а также укутыванье в прозрачную плёнку прибрежной полосы необитаемого тихоокеанского острова со всеми скалами, кустами и песком. (Проекты финансировались фирмами, производившими оранжевые занавеси и плёнку.) Жан Виран за четыре месяца разрисовал абстрактными узорами несколько километров тридцатиметровых скал в Чаде, потом делал то же на Синае и в Марокко. Сильно задолго до американца и француза майор Еднерал осуществил идею не меньшего масштаба без капиталов каких-либо фирм, равно как и последующей всемирной славы.

Ожидался визит министра обороны маршала Булганина. Нога человека такого ранга не ступала на чебачинскую землю. К его приезду проложили первую в округе асфальтированную дорогу. Мели, драили, чистили и мыли две недели. За Каменухой установили посты, чтобы заворачивать коров и прочий скот. Но Еднерала как-то томило, всё казалось: что-то не то. И он додумался. За два дня до приезда маршала все огромные валуны смотревшего на лагерь склона Каменухи были выкрашены в зелёный цвет. Но то ли масляная краска была слишком ядовитого оттенка, то ли это входило в глубинный замысел майора, но крашенные валуны на фоне прочей зелени так резко ударяли по сетчатке, что все, кто видел это в первый раз, вздрагивали и на секунду столбенели.

Выйдя из машины, маршал окинул взглядом пейзаж и вздрогнул. Потом посмотрел на майора Еднерала. Тот вытянулся, но маршал ничего не произнёс. Правда, капитан Кибаленко-Котырло рассказывал, что потом, во время обеда на свежем воздухе, маршал время от времени поглядывал в сторону Каменухи, а потом как бы вопросительно на майора, но так ничего и не сказал. Положили считать, что такое улучшение пейзажа маршал

одобрил.

Встававшие из Озера и поросшие лесом горы поражали цветовой палитрой: ближние, с зубчатым верхом, были зелёные, дальние — синие, совсем далёкие — серо-голубые. В дождь тучи, как серая вата, почему-то висели над сопками длинными вертикальными клочьями. В тихие началоиюльские предвечерние часы воздух становился так прозрачен, что были видны дремлющие на воде в версте от берега чайки.

Озеро всегда было пустынно, на берегах построек никаких, а на воде лишь изредка появлялась чёрная точка — лодки, возникала ниоткуда и потом не двигалась никуда.

Озеро было чистое: с гор сбегали родниковые ручьи, дно просматривалось на десять метров, в Чебачинске считалось, что по прозрачности оно занимает третье место —

после Байкала и ещё какого-то озера в Швейцарии, это сведение не уставали сообщать друг другу.

Озеро было рыбное; от местного названия плотвы — чебак — оно и получило свое имя. Но чебак, как и ёрш, считался рыбой сорной, его скармливали кошкам, за серьёзную добычу признавались щуки (попадались по аршину), язь, линь и, конечно, краснопёрый полосатый красавец озёрный окунь. Утром даже в центре Чебачинска можно было встретить любителей, возвращавшихся с зоревой рыбалки с куканами, на которых было нанизано три-четыре десятка таких окуней. Васька Гагин однажды поймал сорок три. Это случилось в тот день, когда в школе объявили, что он остался на третий год, — таким способом Васька думал избежать домашнего наказания. Дядька окуней одобрил, но костылём Ваську вздул. Антон рыбачил неудачливо. Сидеть два-три часа у водоёма и не поплавать ему казалось диким, он лез в воду, распугивал рыбу, удильщики ругались.

Когда после долгого перерыва Антон снова приезжал на Озеро, он всякий раз горестно поражался возрастающей захламленности берегов. Раньше на них не попадалось никакого рукотворного мусора: консервы были редкостью, пластиковых бутылок ещё не существовало, а стеклянные никому и в голову не могло прийти выбрасывать; ничего не продавалось в упаковках, даже газетная бумага была в дефиците.

После одного из своих поздних наездов Антон написал в «Литературную газету» имевшую некоторый успех статью «О природолюбии бедности». Статья начиналась с ностальгического описания того, как человек домашних культур, перекусив в пути под сенью дуба или пальмы, горшок, бурдюк запихивал обратно в свой хурджин;

гражданин же цивилизации нынешней консервные банки и все упаковки оставляет под этой самой сенью. Это происходило, делал вывод автор, не потому, что папуас, бедуин или русский барин так трепетно заботились о среде обитания грядущих поколений, а по той причине, что бурдюк и горшок имели товарную ценность; предлагалось искусственно повысить в мировом масштабе цены на стеклянные бутылки, назначить цены на пластмассовые, платить за сдаваемые консервные банки. Были щемящие подробности о галапагосских двухметровых черепахах, благополучно проживших по сто пятьдесят лет и теперь погибающих от заглатываемых плавающих прозрачных целлофановых пакетов, которые они принимают за медуз, а эти пакеты закупоривают им кишечник. Антон предвидел, что возражения вызовет пассаж о природолюбии нищих цивилизаций. Поэтому кроме бедуинов в качестве примера фигурировала Москва двадцатых годов, в которой, по рассказам отца, мусора никакого не было, хотя никто ничего не убирал.

Озеро было холодное: со дна били ключи. Взрослые начинали купальный сезон лишь в начале июля. Антон же с друзьями купался уже в мае, иногда волны прибывали к берегу небольшие льдины, за которые весело цепляться; вид посинелого со стучающими зубами купальщика воспринимался как нормальный.

У Озера Антон пережил свое самое сильное разочарование в человечестве. Два лета он ездил в пионерлагерь, который ненавидел за то, что в воду там заходили по команде и по команде же выходили, и из-за мёртвого часа после обеда.

В последний свой сезон, после шестого класса, Антон, с этого мёртвого часа сбежав, пробрался лесом в уединённую бухточку и уже разделся, как вдруг увидел, что недалеко от берега некто очень странно купается: то покажется над водою, то снова нырнёт. Нырял он всё дольше. Похоже, собирался тонуть. Делал он это молча — боялся себя обнаружить, видимо, как и Антон, сбежав с мёртвого часа.

Антон плавал и нырял с шести лет; как раз недавно в лагерной библиотеке в замечательной книге «Спутник сельского физкультурника» по рисункам он изучил транспортировку утопающих — с захватом сзади внутренней частью сгиба локтя за шею под подбородок. На картинках мускулистый спортсмен в плавках очень эффектно транспортировал к берегу утопающего, руки и ноги которого вяло полоскались в волнисто заштрихованной воде. Но Антонов утопающий повел себя не по правилам. Он мгновенно применил приём, который по инструкции принадлежал исключительно спасающему:

обхватил внутренней частью сгиба локтя сбоку Антона за горло так, что прервалось дыхание и потемнело в глазах. Другой рукою он плотно обвил своего спасателя за талию, после чего оба дружно пошли ко дну. Утопающий был сильным мальчиком, и кончилось бы всё печально, но он, почувствовав, что опускается вниз, инстинктивно рванулся вверх и разжал руки. Освобождённый Антон, вынырнув, судорожно глотал воздух и с хрипом кашлял в воду. Утопающий попытался повторить захват сгибом локтя, но Антон теперь был настороже, и дальше всё пошло, как в «Спутнике физкультурника»; уже через три минуты Антон на берегу надавливал спасённому обеими руками на грудную клетку. Но тот снова повёл себя не по инструкции: его начало страшно, с клёкотом и рёвом рвать, и в несколько секунд он так обблевал кусками синеватой плохо пережёванной капусты себя и всё вокруг, что от намерения сделать искусственное дыхание по системе «изо рта в рот» пришлось отказаться.

...Секция плавания МГУ принимала знаменитого спасателя Махмеда Бедия, который за шестьдесят лет работы на центральном пляже в Баку спас две тысячи человек, в том числе несколько лиц королевской крови, и был кавалером всех европейских медалей за спасение на водах. Это был крепкий старик восьмидесяти лет, всего три года как ушедший на пенсию и теперь делившийся опытом.

В предбассейном зале сухого плавания были развешаны красочные изображения — Антон узнал всё тот же захват сзади сгибом локтя и смирных утопленников.

Заслуженного спасателя попросили рассказать о главных приёмах, которые он применял при спасении утопающих.

— Главный? Совсем один. Подплываешь — сзади подплываешь — и кулаком! По затылку башке. Как следоват. А потом — тащи как хочешь, как у вас на картине.

Махмед сжал свой поросший чёрным волосом кулак. Инструктор, читавший пловцам цикл лекций и успевший показать с десятков самых сложных и надёжных способов, был смущён.

...Назавтра было воскресенье, родительский день. Лагерники после завтрака сидели по койкам, чтобы приехавшим родителям было легче их найти.

В палату шестого отряда влетела какая-то дама.

— Где он? Где этот пионер-герой? — Какой герой? — несколько опешила вожатая.

— Его имя — Антон! Он спас человека, он спас моего сына! Антон смущённо встал с топчана. Дама схватила его за руку и поволокла к двери.

За дверью она крепко прижала Антона к своей пышной груди. Антон попытался освободиться, но она держала его так же крепко, как её утопленник-сын.

— Ты! Спас! — восклицала счастливая мать. — Мы! Я! Тебе! Говори, что ты хочешь? Антон молчал.

— Ну, что ты хочешь? Футбольный мяч? Велосипед? Я знаю, все мальчики хотят велосипеды.

Дама угодила в точку. Велосипед был заветною мечтой Антона.

— Да? Велосипед? Я вижу, вижу, ты это хочешь, хочешь, — страстно восклицала дама. — Считай, что он у тебя уже есть.

Теперь Антон целыми днями думал о велосипеде. В следующий родительский день он видел издали, как дама под сосною кормила своего сына конфетой, не выпуская её из пальцев, а сын откусывал и, как жеребёнок, мотал головой. Антон понял, что велосипед купить не так просто, что, видимо, она привезёт его в следующий раз. Но и в следующий велосипеда не было, а дама, встретив Антона возле столовой, сделала вид, что его не видит или не узнала. Спасённый тоже, как показалось Антону, стал обходить его стороной.

В последний раз Антон увидел мать спасённого в день отъезда, когда она приехала за сыном на бежевой «Победе». Сердце Антона застучало, вспотела спина. Вот сейчас она

подойдёт и скажет: с велосипедом трудности, Антону надо позже прийти к ним домой, по адресу... Когда «Победа» скрылась за поворотом, Антон заплакал. Ведь он у неё ничего не просил. Она сама, сама. Как же, как же так?..

Над Озером нависали отвесные скалы; на одной, за которой в глубине леса был санаторий, кто-то ухитрился написать белой масляной краской: «Спасибо мужьям, отправляющим сюда жён!» Чтобы сделать такую длинную надпись на середине пятидесятиметровой стены с отрицательным уклоном, надо было испытывать чувство исключительной благодарности.

В ольшаниках возле впадающих в Озеро ручьев был невероятно пышный травостой («где ольха, там сена вороха»); однажды, когда Антон точил косу и звон хорошей стали разносился далеко, он увидел косулю. Настобурчив уши, она стояла на поляне и слушала.

Антон давно уж всё наточил, но она не уходила, и он продолжал, а она стояла, и он опять точил, пока не стала дрожать рука и он побоялся, что обрежется. Косуля с ушами-веерами и лёгкими ногами потом долго снилась ему в печальных снах.

Кому-то пришла в голову идея завезти в местные леса медведей.

Привезли пару, медведи попались, с одной стороны, очень бодрые, так как не залегали на зиму в свои берлоги, а с другой — ленивые: вместо того чтобы добывать еду, они предпочитали стоять у дороги и поднимать лапу. Из проезжающего недавно пущенного автобуса бросали колбасу, пряники, крутые яйца — медведи ели и пряники, и яйца прямо со скорлупою.

Продавщица, она же зав продуктового магазина в Батмашке, утром явилась в милицию и заявила, что ночью магазин разграбил медведь — в частности, съел двести кило копчёной колбасы. Расследование установило: медведь действительно приходил, нашли его помёт, шерсть, борозды от когтей. И все убытки хотели уже списать, но у молодого следователя возникли некоторые сомнения, результатом которых явилась служебная телеграмма в Алма-Атинский зоопарк, в которой прокуратура Батмашинского района просила сообщить, может ли бурый медведь съесть такое количество копчёной колбасы. Несмотря на то, что телеграмма была служебная, зоопарк запросил подтверждение, получив которое, ответил: половозрелый бурый медведь двести килограмм колбасы съесть за один раз не может. Продавщица пошла под суд.

На Озеро мы с Васькой Гагиным направлялись с утра. Через весь город шли босиком и в одних трусах, не брали с собой ничего: ни подстилок, ни еды, ни одежды, больше всего цenia непривязанность к вещам, к месту, свободу передвижения; плыли вдоль берега, плылось хорошо, выходили где хотели, грелись на солнышке, плыли дальше, снова выходя в любой приглянувшейся бухточке.

...Так когда-то плыли на триремах или под парусом вдоль берега ласкового Средиземного моря, высаживались на любом пустынном берегу, жили там день, неделю, месяц, могли остаться навсегда, основать город. Вот так же, не связанный дорогою, князь по полю ехал на верном коне, по Дикому Полю, вот так же скакал поэт по уже не дикому, но всё ещё пустынному, свободному полю: «Есть нам, конь, с тобой простор! Мир забывши тесный, мы летим во весь опор к цели неизвестной... Конь мой, конь, славянский конь, дикий, непокорный!» Ныряли с Круглого Камня, или просто с Круглого, — было известно, что там глубина ровно пять саженей. Васька доставал со дна камешки, я до дна не доныривал — где-то после четвёртой начинали страшно болеть уши. Кочегар Никита советовал по примеру каких-то ныряльщиков за жемчугом проколоть барабанные перепонки (потом зарастут, ну не будешь слышать неделю-другую, зато поныряешь) и даже сам брался сделать эту пустяковую операцию, отколов от лацкана пиджака огромную медную иглу, вывезенную из Бомбея и уже сильно позеленевшую; увидев её, я отказался.

Докупывались до синевы и зубного лязга, долго отогревались на горячем песке.

Лежать надо было подальше от Борьки Кормы. Он в воду заходил редко, глядел в небо и жал правой рукой пружинящий кусок тележной рессоры — тренировал кисть; для проверки силы пальцев давал щелчки (называлось: шелобаны) случившимся рядом.

Малолеток по голове не щёлкал, понимал, старался по руке или ноге. Но если шелобан приходился на лодыжку, она вспухала и долго болела. Когда Антон прочёл про Балду, от первого щелка которого прыгнул поп до потолка, а от второго лишился языка, он ничуть не удивился.

Плавали не только вдоль берега, однажды сплавали на Зелёный остров, до которого было с полкилометра. Пока обследовали территорию, солнце зашло за большое облако, сильно замёрзли, страшно было подумать, что надо лезть обратно в Озеро. Лязгая зубами, вошли в противную и холодную воду. На середине дистанции Васька сказал, что вода потеплела; после этого плыть стало значительно легче. Экспедицию больше не повторяли.

Дождь не смущал, купаться в хороший ливень было особенно приятно, но, видно, не только нам — такое очень нравилось гаршинской лягушке-путешественнице. Мы вели счёт: кто сколько раз искупался в лето. После седьмого класса я искупался 277 раз.

Когда я засыпал, в голове была одна мысль: с утра — на Озеро. Нырять. Плавать. И послезавтра — то же. Плавать, плавать, плавать.

Отец летом был занят так же, как и зимою, — вёл занятия у приехавших заочников, принимал экзамены; нормального, хотя бы на несколько дней отпуска у него не было двадцать лет. На Озере я запомнил его только один раз. Оказалось, что отец плохо плавает. Это было странно, невероятно, я привык, что он всё делает хорошо.

С мамой я ходил на Озеро раза два-три. Всякий раз — глубокой осенью, и расстраивался, что нельзя купаться. Она садилась на камень, глядела на Озеро, молчала. Я, как юный пёс, мыкался по берегу, не зная, чем заняться.

— Посиди со мною рядом, — говорила мама.

Я садился и смотрел на Озеро. Я видел его тысячу раз. Но теперь, когда я вспоминаю Озеро, то — не бесчисленные купанья, а эти две-три осенние с ним встречи.

23. Другие песни

Когда Антон через три дня сел на поезд в Миассе, в соседнем купе пели. Чувство недопетости хором преследовало Антона все годы после Чебачинска, а стремительность исчезновения этого обычая сильно его огорчала. Как он завидовал, когда в Мюнхене на пивном празднике Октоберфест в огромном павильоне три тысячи полупьяных немцев дружно и согласно запели какую-то старую баварскую песню — и все до единого знали её слова. Проходя, Антон приостановился в дверях. Пели «Вот кто-то с горочки спустился».

Жестами показали: присоединяйся, он присоединился, он любил современный лубок, считал его ничуть не хуже старого и не раз спорил на эту тему с друзьями-филологами.

Запели песни военного времени, их Антон, как всё его поколение, дети радио, знал хорошо.

Одна из самых первых таких песен, которую Антон запомнил, была про коней.

Коней Антон любил, у них в это время жил Мальчик, в песне же содержались интересные лошадские сведения, но много было и не совсем ясного. «Пролетают кони шляхом каме- нистым». Шлях — дорога, это Антон знал: «партизанские шляхи». Но почему каменистый? Возле Каменухи, за речкой, были каменистые тропинки, но они были кривые и узкие, пролетать по ним на конях навряд ли получилось бы. «В стремени пристал передовой». В Чебачинске так говорили вместо «устал», было ясно: притомился скакать по каменистым тропам. «Передовой» — тоже понятно: в «Правде», заголовки из которой Антон всякий день читал деду, это слово попадалось в каждом номере и значило — самый лучший: «передовой колхоз», «передовик производства», «передовое учение». Видимо, передовой из песни — передовее других или конь у него всех лучше. «И поэскадронно бойцы-кавалеристы, потянув поводья». Первое слово было самое красивое, а от непонятности — ещё красивее. «Потянув поводья» тоже было непонятно: когда у Мальчика натягивали вожжи, он останавливался. Зато «кони сытые бьют копытами» — тут было всё ясно. Гурка, когда проходил мимо стоящего у ворот Мальчика, всегда пихал

его кулаком в бок и говорил: «Ишь, сытый!» Правда, копытами Мальчик не бил, хотя был весьма копытист, а только вяло иногда прискрёбывал, Антон даже спросил у профессора Резенкампа, который

всегда очень долго запрягал, и с ним можно было потолковать, — почему не бьёт. Профессора это очень развеселило.

Про коней дома вообще говорили много — и в войну, и после. Дед считал, что коня изничтожили рано. Многотонный трактор, едъ по полю, уплотняет землю, разрушая структуру почвы; вот если б плуг ходил один — это была б настоящая революция. Все с ним соглашались, мама читала печальные стихи про то, как на поля «скоро выйдет железный гость» и зерно «соберёт его чёрная горсть».

Василий Илларионович, напротив, полагал, что где коней сохранили — везде зря. Увидев у Антона книгу «Доватор», говорил, что кавалерия в эту войну — одна пропаганда, будённовщина, что Тухачевский предлагал ликвидировать конницу ещё в тридцать пятом году, что конники Доватора всё равно воевали спешенными — не бросишь же их с шашками на пулемёты и миномёты. А что в шахтах у нас до сих пор сохранилась лошадиная тяга и коногоны — так это только из-за нашей дикости: в Руре коней из штреков убрали ещё до первой мировой войны. После таких разговоров он пел жалистную песню: «Прощай навеки, коренная, Прощай, товарищ ствольной, И коногона молодого несут с разбитой головой».

В купе запели «Эх, махорочка-махорка, породнились мы с тобой».

— А ты откуда знаешь? — когда кончили, заинтересовался толстый подполковник.

— В армии слышал? Так вроде не поют её уже. — В пионерлагере, сразу после войны. Наша строевая песня.

— А ещё что?

Ещё в лагере пели «Краснармеец был герой, на разведку боевой» — как у него хотели вызнать военную тайну, а он её не выдал: «Краснармеец промолчал, штык стальной в груди торчал». Красноармейца было жалко, как и комсомольца из другой песни, умиравшего возле ног вороного коня.

Были и ещё хорошие песни. Одна имела два припева. Первый: «Так за царя, за родину, за веру, мы грянем громкое ура-ура-ура». Второй: «Так за совет народных комиссаров, мы грянем» то же самое «ура». Чтобы исполнялись в очередь оба припева, всегда следил отец.

Песни гражданской войны и особенно дореволюционные революционные — «Колодников», «По пыльной дороге телега несётся» — Антон любил, собирал старые пластинки; хорошие песни были в торжественно оформленном комплекте «Любимые песни Ильича». Однажды на банкете он поразил коллег знанием текстов. Больше всех удивлялась подвыпившая старая стукачка Мария Сергеевна: «Антон Петрович! Откуда вы эти песни знаете? Ведь в глубине души, сознайтесь,

вы антисоветчик!» И сама весело смеялась удачной шутке. Эту фразу она произнесла вскоре и на парткоме, утверждавшем кандидатуры на очередной съезд славистов (в том числе и не членов партии), и Антона не пустили, хотя доклад его был опубликован в сборнике советской делегации. Его не выпустили никуда ни разу, хотя приглашений было много; как рассказывала потом секретарша Галочка, директор на звонки из отдела внешних сношений, того самого, в вывеску которого кто-то регулярно клеивал слово «половых», отвечал всегда коротко и без вариантов: «Нецелесообразно». На первый свой конгресс — в Германию, где он позавидовал хоровым традициям баварцев, Антон поехал только в начале перестройки.

Какая-то тётка начала «Ах вы горы мои, горы Воробьёвские» и крикнула Антону: «Подпевай, по морде вижу — такие песни знаешь!» Но морда подвела: в семье Саввиных исконных народных песен не пели. Заводилой была бабка, а народная песня, как теперь знал Антон, изгонялась из обихода русского дворянства уже с начала XIX в., ещё Грибоедов сожалел об этом. Из настоящего фольклора в семейной памяти застряла только «Уж ты степь моя, степь широкая, ох далёко ты степь легла-раскинулась, эх-ой-да пораскинулась, ой да пролегла-попротянула-ся...» Про что речь велась далее, Антон так

никогда и не узнал — ни у кого не хватало терпенья допеть хотя бы до середины. Только в университете, почитав собрание Киреевского, послушав записи настоящих народных хоров, он к фольклорным песням помягчел. Но всё же продолжал считать, что лучшие русские народные песни сочинили Дельвиг, Мерзляков, Никитин, Суриков — как лучшую былинку написал Лермонтов, а сказку — Аксаков. Вагонной тётки тоже хватило только на то, чтобы спеть, как степь попротянулася.

Запели «Эх, дороги». Эта песня его всегда волновала, и он обрадовался, когда услышал от известного музыкального педагога, вдовы одного академика, что это сочинение обладает высокими мелодическими достоинствами.

Подполковник начал «Тёмную ночь». Сколько раз слышал её Антон, не раз слышал и пародию: «Ты меня ждёшь, а сама с лейтенантом живёшь, и у детской кровати тайком сульфидин принимаешь». (Только недавно Антон узнал, что сульфидин считался тогда противозачаточным средством.)

Было понятно, почему и кто в Чебачинске пел «Цека играет человеком» (Антон считал, что в первичном тексте звучало: «Чека») или «Вставай, проклятьем заклеймённый, вставай, иди кормить быков! Кипит наш суп недоваренный в холодной печке и без дров», — в этой

антисоветской деревне, как называл Чебачье отец, Антон слышал тексты и похлеще, просто посадочные, вроде надписи к советскому гербу. Но про лейтенанта пели те же, кто со слезами на глазах пел и сам оригинал, и «Землянку». Зачем? Но и сам он, вспоминал Антон, делал в детстве нечто ещё более странное, то, что теперь никак не мог себе объяснить: пел официозные переделки из «Огонька» и «Крокодила» своих любимых песен: «Вечер был, сверкали звёзды генеральских эполет. Шёл по улице малютка так шестидесяти лет». В конце сатиры использовались самые лучшие строки: «Бог и птичку в поле кормит, и цветам росу дарит. А фашистским генералам помогает Уолл-стрит».

Крокодильско-огоньковским авторам идея, видимо, понравилась, потому что вскоре Антон нашёл там ещё одну политсатиру, переиначивающую тот же источник: «Вечер был, сверкали звёзды, побродвейски выл джаз-гол. В этот час, ещё не поздний, по Монмартру янки шёл. А навстречу брёл прохожий, парижанин, некий Жак, на скелет весьма похожий, и на Жаке был пиджак». Янки отобрал пиджак у Жака, тот пошёл туда, «где глаза мозолит галлам полосато-звёздный флаг», и встретился там с самим Эйзенхауэром. Генерал, понятно, пиджака не вернул.

Привыкнув всем делиться с дедом, я спел ему обе переделки тем же высоким альтом, которым пел оригинал под аккомпанемент его скрипки. Уже в конце первой песни я понял, что делаю что-то не то: на лице деда появилось выражение, с каким он иногда глядел на чужих, и никогда — на меня.

— И до этого дитяти дотянулись, — сказал он, встал и вышел.

Пародий, переделок дед вообще не понимал и не принимал. Меня ж подмывало продемонстрировать свои именно ему. Например, петь: «И за борт её бросает в надлежащую волну». Или читать: «Куда ты скачешь, гордый конь, и где откинешь ты копыта?» Однажды я прочёл ему из книжки «Литературные игры» пародию на поэта Прокофьева — как бы его стихи, обращенные к Пушкину: «Александр Сергеич, брось, не форси, али ты, брательник, сердишьси?»; там были строчки: «Как били мы буржуев в семнадцатом году, как вспарывали с гадов крутые потроха». Помолчав, дед сказал нечто совсем не на литературную тему: «Всё-таки большевики отличались особой жестокостью».

Пародии деду я читать перестал, но однажды, уже классе в девятом, когда стал сочинять их сам; не выдержал и прочёл свою переделку популярной песни, куда вставил высказывание Менделеева, что русской нефтью «мы Европу осветим, натолим и смажем».

Выглядело это так: «Мы железным конём всю Европу пройдем,

осветим, и натопим, и смажем». За прошедшие годы дед не помягчел. «Прошли. Смазали. Вселенской смазью.

Бог помиловал — не всю». И добавил: «А ты что-то не умнеешь». И, как тогда, посмотрел как на чужого. Пародии Антон бросил писать после того, как Атист Крышевич

процитировал ему измайловскую пародию на Бальмонта: «Я плавал по Нилу, Я видел Ирбит. Верзилу Вавилу Бревном придавило, Вавила у виллы лежит».

«Крокодил» дед терпеть не мог и всегда старался использовать для растопки или чистки лампового стекла. Антон потом разглаживал смятые листы, журнал ему очень нравился. Там были замечательные рисунки Бор. Ефимова. Например, британский лев.

Над ним всяко-всяко измывались, к хвосту привязывали бомбу, рука с американскими звёздами на обшлаге держала его за ухо и ошейник, дядя Сэм бил его длинным кнутом.

Выглядел этот с печальной мордую, тощий, кожа да кости, лев очень несчастно, его было страшно жалко, а вместе с ним и бедную Британию. Другой художник, Сойфертис, фамилию имел красивую, но картинки рисовал страшные: палач-предатель Тито держит в руке фуражку, куда сыплются золотые доллары, а второй рукой воткнул в колоду огромный, как у мясника Султана, топор, с которого уже успела натечь лужа крови. Обе руки тоже в крови — по локоть. Вспоминались стихи, которые он читал совсем недавно в «Огоньке»: «Югославский маршал Тито подарил ему коня». В «Крокодиле» тоже попадались разные интересные стихи: «Бедняк-китаец Чи Фу Гой, поднявшись спозаранку, пошёл на рынок городской купить товар недорогой — пилёных дров вязанку.

Пошёл китаец Чи Фу Гой с корзинкой камышовой, набитой доверху деньгой, хрустящей, новенькой такой, красивой, но — дешёвой». На дрова денег не хватило, китаец вернулся домой «и затопил сухой деньгой в холодной фанзе печку.

Спалил деньгу бедняк-простак, при этом понимая, что доллар превращен в пустяк в провинциях Китая». Через много лет, в разгар инфляции Антон прочёл эти стихи в одной московской компании и сорвал бешеный аплодисмент. Он прочёл ещё: Люди радостью объаты в Ново-Псковской эмтээс. Ликованье всюду — в стане и в бригадах полевых. Как же: план подъёма зяби перевыполнен у них». И — уже на бис — про проститутку Марину, из то-же «Крокодила»:

Ночь проходит в забытье неверном,
Красный отблеск лежит на траве.

А Марины отец в сорок первом
Пал на подступах ближних к Москве.

В его голове задержались все стихотворные подписи Маршака в «Правде», почти наизусть он помнил «Гадательные советы г-жи Ленорман», биографию Ворошилова, календарь колхозника, «Памятку кормящей матери».

В библиотеку записывали с 7-го класса, а чтобы до этого ему там брал книгу кто-нибудь из взрослых, как-то никому не приходило в голову; родители не раз ездили в Москву, но тоже почему-то не догадывались купить ему что-нибудь из книг. Нина Ивановна на день рождения подарила том Пушкина, а сам себе он подарил большой однотомник Некрасова, и скоро знал их наизусть. У Петьки Змейки был Лермонтов, и он иногда давал его Антону, но ненадолго. Поэтому Лермонтова Антон знал хуже. Всю жизнь, когда он не читал или писал, а шёл, бежал на лыжах и так, плыл, ехал, строгал, сверлил, копал, косил, в его голове полоскались стихотворные строки. И хорошо ещё, если это были действительно стихи. Но чаще всего всплывало: «Огненным адом стал Бомбей. Пуля, сердце моё пробей», «Мы живём под солнцем золотым, дружно живём», «Эту песню не задушишь, не убьёшь», «Москва — Пекин, Москва — Пекин, клятву дают народы».

Гройдо, которому Антон в этот приезд целый вечер цитировал крокодилские стихи Яна Сашина, лирику Софронова, куски прозы Бабаевского и статьи об академике Лепешинской из «Блокнота агитатора», сказал задумчиво: «Видимо, тут случай, когда детская фотографическая память соединяется с почти патологическим интересом ко всякому знанию. Интересно, что было бы, если б в доме стоял Брокгауз?» Но Брокгауза не было ни в доме, ни в городе.

Я мог бы, наверно, постигнуть другое,
Что более важно и более ценно,
Что скрыто от глаз, но всегда несомненно.

24. Гибель «Титаника»

Поезд Караганда — Москва всегда опаздывал часа на три-четыре, поэтому Антон не давал телеграмм, на вокзале его никто не встречал.

Дома в Москве уже всё было по-зимнему... Зима была ни при чём, но когда он избавится, когда я избавлюсь, избавлюсь ли вообще и надо ль избавляться от этих мириад строк и стихов, которые толпятся в голове и непрошено всплывают по всякому поводу и без всякого повода. Но как можно, увидев в своей тарелке мозговую кость, не вспомнить: «В гуще огненного борща находится то, чего вкуснее нет в мире, — мозговая кость». Как-то Антон даже написал об этом стихи. «Этот мир окутан душным словом: море, небо — всё уже слова. Кто-то шёл вселенским злобным ловом и опутал сетью ночь и дерева».

Кончалось так: «Но проклятье слова не сотрётся в нас». К стихам своим он относился плохо, никому их не читал и каждый раз обещал себе больше не писать, но они время от времени всё равно возникали.

Проезжая мимо бассейна «Москва», Антон вспомнил, как всегда, о своём деду по отцу Иване Борисыче Стремоухове. Родился он в деревне Андреевка под Бежецком, происходил из однодворцев, но уже его отец был обычным мужиком, членом общины, участвовал в переделах наделов. Дед общиной вообще, а особенно этими переделами тяготился, своим умом дошёл до мысли, что они тормозят развитие земледелия — кто ж будет лелеять полосу, которая через пять-семь лет отойдёт неведомо кому. Ещё до столыпинских отрубков он подался в Москву, овладел мастерством сначала ольфрейщика, а потом позолотчика; с бригадой таких же, как он, тверских мужиков золотил-реставрировал купола храма Христа Спасителя.

После Рождества артельный шёл в банк, там ему выдавали два пуда золота, он клал его в свой ситор и в сопровождении жандарма на пролётке вёз в подвал храма, где была мастерская. Метод был старинный и простой. Мастер изучает свой участок купола, каждый его сантиметр, прикидывая, как ляжет золотое покрытие. Поверхность ровняет, инструментов готовых нет, не угадать, какой понадобится на морщину, который — на пазуху, делает нужные сам, золотильщик всегда ещё и слесарь-инструментальщик.

Наносит слой грунтовки; золото вручную раскатывает до тонкости папиросной бумаги и этим листом обволакивает малую палестинку на куполе, разглаживает ладонью, потом пальцем — не дай Бог под листом останется пузырьёк воздуха. Плёнка получалась гораздо более долговечная,

чем при позднейших технологиях, ей не страшны были ни дождь, ни лёд, ни главные враги куполов — вороны, которые любят съезжать с них, как дети с ледяной горки или как самолёт с авианосца, царапая при этом позолоту когтями. Была такая позолота как будто рассчитана и на кислотные дожди — старые мастера смотрели на века вперёд. И не торопились, техника эта была медленной, над главным куполом возились лет пятнадцать, до самой первой мировой войны.

— Иван Иванович, — спрашивал Антон у старшего из дядьёв, — а не проще ли было в бригаду вместо четырёх человек набрать двенадцать? И золотить купола не пятнадцать лет, а пять?

— Отец говорил — не получится. К каждому жандарму не приставишь. Эти четверо были свои, проверенные. Бога помнили. Сусальное золото — оно липкое, к пальцам пристаёт легко.

Прихожане храма, конечно, мастеров не знали, хотя те всегда ходили кто к ранней заутрене, кто к вечерне, но с дедом Иваном кланялись. Известен он был тем, что как-то после одной из служб на Страстной неделе Шаляпин, отпев и сядясь в сани, сказал, про-

должая разговор, своему спутнику: «Ростом вот с этого гвардейца». В гвардии пришлось служить старшему сыну деда Ивана, Иван Ивановичу, — в Царском Селе. В первую мировую он был участником Брусиловского прорыва.

Когда взрывали храм — тогда делали это ещё не скрываясь, — дед пошёл смотреть. Его уговаривали остаться дома — не послушался. Видел, как в три секунды осел с неба к земле Храм; с Каменного моста была видна как раз та часть большого купола, которую десять лет золотил он. Как всегда в памяти Антона услужливо-ненавистно всплыли очередные строки — на этот раз из довоенного журнала «Пионер»: «Толстой купчихой расселся над Москва-рекой храм Христа. Похож храм был на гриб, выросший над старой Москвой».

После взрыва дед слёг, болел, долго не могли определить чем; через год выяснилось: рак. В семье были уверены: от этого.

Малахитовые колонны из храма установили в клубной части здания МГУ на Ленинских горах; сколько Антон там ни бывал, неприятное ощущение при их виде не притуплялось.

Вечером предстояло важное мероприятие — рассказы дочке перед сном. Это был целый особый институт; круг тем определился давно: «Про умных псов», «Про мифов», «Про детство».

Наибольшим успехом пользовался последний цикл; к школе Даша знала чебакинское детство Антона не хуже, чем он — виленское

прошлое вековое дедово. Да и сама традиция шла от деда.

Дедовых рассказов Антон желал страстно, думал о них и перебирал их в памяти, уже часов с восьми вечера спрашивал деда: когда пойдём разговаривать про календарь.

Отрывной календарь на 1939 год висел у деда над тумбочкой. Так как в обозримые годы другого не предвиделось, дед странички не отрывал, а загибал вверх, под растянутую проволочку. Перед тем, как идти в тёмную комнату, где уже был уложен Антон, дед прочитывал листок и рассказывал про тех, кто там упоминался: про Докучаева, который развёл в Каменной степи мачтовый лес; про капитана Скотта, который, замерзая в Антарктике, написал на пакете: «моей жене», а потом переправил: «моей вдове»; про французскую революцию, во время которой все занимались тем, что казнили друг друга на особой машине — гильотине. Когда до французской революции добрались в школе, отец рассказал Антону, что машина была названа по имени её изобретателя, доктора Гильотена, которому и отрубили голову при её посредстве. Мысли о том, что думал доктор, когда его голова уже была надёжно зажата в специальном приспособлении его собственного изобретения, мучила Антона годами; на втором курсе он, узнав, что легенда не подтвердилась, сочинил стихи и послал их в Чебачинск — в это время ему ещё нравились собственные стихи: «Эвклида вызубривал школьник, всемирной науки азы.

Сиял в вышине треугольник, и мазали салом пазы. Его равномерная сила правдивей, чем взмах палача. Скользил он, скользил он, скользил он, равенству и братству уча». Лёжа на эшафоте, доктор видел, «как в раме беззвучно и ровно идёт тот нож, то начало скольженья согласно законам движенья». В конце, несмотря ни на что, автор верил, что «умер на плахе Гильотен, и нож треугольно скользил». Отец ответил: великая французская революция кровава, но это была историческая необходимость, феодализм должен был быть похоронен. Дед написал: «»Равенству и братству уча» — хорошо. Таким способом внедрять братство с тех пор охотников развелось — несть числа». Антону тоже нравилось «равенство» — за ударение, намекающее на XVIII век, и ещё нравился стих «скользил он, скользил он» — в нём чувствовался звук и энергия падающего ножа гильотины. Тема продолжала беспокоить его и потом, подпитываясь новыми материалами, например предсмертным письмом Камилла Демулена своей жене: «Прощай, моя дорогая Люсиль! Я чувствую, как берег жизни удаляется от меня. Я ещё вижу её, мою обожаемую Люсиль! Мои связанные руки обнимают тебя и моя отрубленная голова ещё смотрит на тебя угасающими глазами!» Или опытом тюремного доктора из Орлеана. Когда падающий

нож

отделил голову от тела, этот экспериментатор назвал казнённого по имени. Голова подняла веки и взглянула ему в лицо. Через несколько секунд он снова позвал несчастного и тот опять открыл глаза, в которых застыл нечеловеческий ужас.

Утром Антон отгибал из-под проволоочки обратно листок, чтобы проверить: про всех ли дед рассказал? Если нет, упрашивал деда дополнить после обеда, когда они лежали на его топчане. Обнаруживались и несоответствия. В календаре про Александра Невского было сказано просто «князь», а дед именовал его святым и благоверным, ничего не было в листке ни про патриарха Тихона (на похороны которого — «тебе потом расскажет твой дядя Иван Иванович, он там был» — народу пришло поболее, чем на похороны Ленина), не писали и про расстрел царя Николая со всеми детьми (портрет цесаревича Алексея в матросской форме был наклеен у бабки на внутренней стороне крышки сундука). Часто попадались лица, про которых дед совсем не рассказывал: Андрей Александрович Жданов, Андрей Андреевич Андреев. «Про них отца расспроси, — говорил дед. — Или соседа, Бориса Григорьича: он их ещё молодыми мерзавцами знал». Антон не расспрашивал.

Некоторые особенно понравившиеся истории он просил рассказать ещё раз, и ещё, и дед послушно повторял, а если забывал какие-нибудь подробности, Антон перебивал:

— Дед, ты забыл рассказать, как на «Титанике» радист отказался оставить рубку и до конца посылал сигналы SOS.

Гибель «Титаника» была одной из самых любимых тем. Впервые об этом пароходе я услышал, видимо, в шесть лет — как раз тогда я увлекался дурацкой игрой: вставлять внутрь слов посторонние буквы, с тех пор эта тема так и звучала: «Гвибвель Твитванвика». Поражало всё: размеры, скорость, роскошь салонов, коллекция бриллиантов стоимостью в пять миллионов фунтов стерлингов, 1523 человека погибших.

Особенно потрясал оркестр, игравший на верхней палубе до конца, когда нижние уже погружались в пучину океана. Много лет до боли в глазах я вглядывался в выцветшие портреты-медальоны восьми музыкантов с их инструментами на пожелтевшей вырезке из английской газеты: W. Hartey — Band master, G. Krins — Violin, фамилии остальных было не разобрать. Они не побросали свои скрипки и трубы и не пробовали спастись.

Эпизод навсегда остался в сознании Антона эталоном беспримесного высокого героизма. Играть в оркестре атакующего полка или на холме,

среди разрывов, — тоже мужество. И всё же — ты среди своих, с надеждой на победу, под знаменем. Музыканты «Титаника» играли чужим, случайным людям, но они хотели сказать им: вы не одни, есть ещё кто-то, кто не оставил вас в эти тяжкие минуты.

В теперешний свой приезд Антон развлёк деда двумя вычитанными из польского журнала историями на волнующую тему. Недавно где-то в Северной Атлантике с борта лайнера увидели в прозрачной вершине проплывающего мимо айсберга что-то чёрное. Не поленились спустить шлюпку. Это был вмёрзший в лёд официант во фраке и галстук бабочкой. В кулаке он сжимал салфетку с надписью: «Titanic». Видимо, кельнеру удалось взобраться на тот самый айсберг, который потопил корабль века. Это, писал автор заметки, сильно меняет наши представления о сроках существования ледяных гор — оказывается, они могут жить более полувека, а может и дольше.

Вторая история, предупредил Антон, припахивает мистикой.

— Мистикой? Это мы в нашей глуши любим, — сказал входя Егорычев. — Здравствуйте! Прослышал о госте и собрался. Извините, я прервал вас. Покорнейше прошу: продолжайте.

Старый шахматист, а в последние сорок лет огородник-тепличник, ходил уже с приволочкой, но взгляд его был жив и ясен.

— Мистика в том, что за четырнадцать лет до катастрофы в Лондоне вышел роман «Тщетность, или Гибель «Титана»». Всё очень похоже: в Европе построен гигантский пароход с почти идентичным названием, считавшийся непотопляемым, который апрельской ночью в тумане наталкивается на айсберг и тонет; из-за нехватки

шлюпок большинство пассажиров гибнет. Дальше совпадений ещё больше и они детальные, я их специально выписал. Смотрите. «Титан» в романе мариниста: 3000 пассажиров, водоизмещение — 70 тысяч тонн, 3 винта, длина — 243 метра, 20 шлюпок, скорость — 25 узлов. «Титаник»: вместимость — те же 3000 персон, сколько и в романе членов экипажа и офицеров, 66 тысяч тонн водоизмещения, тоже 3 винта, 24 шлюпки — и отмечено, что их явно недостаточно, — та же скорость... Большой шум в широких кругах парапсихологов, а также сторонников теории нелинейного времени, события которого можно считать из будущего — в нашем понимании, а в их — просто из другой временной ветви.

— Любопытно, — сказал Егорычев. — Но логика шахмат и науки учит нас, что из двух возможных решений и объяснений надобно выбирать более простое, а именно: писатель — вы, кажется, обмолвились, что он маринист? — продумал всё так же, исходил из тех же технических

возможностей времени, что и строители корабля.

— Но название?..

— Ну, это совсем просто. Соревнователи — люди одной культуры, с одною мифологической базой.

Пробуя рассказывать про «Титаника» уже своей внучке (без особого успеха), Антон думал: почему о нём до сих пор помнит мир, написали десятки книг, сняли полдюжины фильмов, берут интервью у последних оставшихся в живых пассажиров? Но вот через восемьдесят лет в Красном море, напоровшись на риф, тонет паром «Салем экспресс», который за размеры называли «Титаником» нашего времени; гибнет 600 человек. И кто помнит про это? Или про катастрофу другого огромного парома — «Эстония», в которой жертв было больше, чем на «Титанике»? Гибель «Титаника» ощущалась как первый сокрушительный удар по идее бесконечности технического прогресса — непотопляемый корабль, чудо двадцатого века вдруг исчезает в океанской пучине, унеся полторы тысячи жизней. Между той катастрофой и нынешними пролегли две мировые войны, революции, лагеря на всех континентах и много чего ещё. И всё это — в пределах одной человеческой жизни. Но как обесценилась эта жизнь.

Больше всего и тогда, и много позже Антон любил дедовы рассказы о молодости, его жизни в Вильне.

— Лучший чай был у чаоторговца Попова.

— Что ты, дед! У Перлова! Как же: «А чаем торговал Перлов, фамильным и цветочным сказал-один-из-маляров-другой-ответил-точно».

— Это в Москве. У нас — Попов. А конфекты, сласти — конечно, в розничном магазине акционерного общества «Виктория».

Венчались дед с бабой в Пятницкой церкви, той самой, в которой Пётр Великий крестил Ибрагима Ганнибала и венчался сын Пушкина; видывал дед и самого Григория Александровича, служившего в виленской судебной палате, был на его похоронах как раз накануне бунтов девятьсот пятого года. Семинаристом он пел в церковном хоре на отпевании Помпея Николаевича Батюшкова, брата поэта. Приглашали деда часто — и о.

Серафиму, и о. Гермогену очень нравились его высокие ноты в чине отпевания. После литургий он любил бродить по кладбищам и запомнил разные забавные эпитафии. На мраморной плите: Такая-то. «Жду тебя. 30 октября 1840 г.». Ниже свежевыбито: «А вот и я. 5 апреля 1893 г.». Фамилия та же. Не очень торопился.

То, что дед видел сына Пушкина и брата поэта — предшественника Пушкина, Антона не удивляло: когда родился дед, ещё были живы Некрасов, Достоевский, Тургенев; Толстой только что закончил «Анну

Каренину», Чехов был гимназистом, электрическое освещение лишь пробовали, и оно сильно мигало, как напишет потом этот гимназист в своём великом предсмертном рассказе, который дед прочтёт совсем молодым, ещё не женатым; не было радио, аэропланов, велосипеды были с разновысокими колёсами: большим передним и маленьким задним.

Через Антона дедовы истории переключались к дочке Даше, но только некоторые — то, что поражало мальчика сороковых, было ей не удивительно: ни как в первую мировую из пушек «Берта» за сто километров обстреливали Париж, ни как прокладывали телефонный кабель через Атлантику, ни как рыли Панамский канал. Не поражали её и путешествия, хотя Антон серию сильно модернизировал, заменив Ливингстона и Нансена на сэра Фрэнсиса Чичестера, Тенцинга и Дмитрия Шпаро. Совершенно не могла слушать Даша любые рассказы про охоту: даже отстреливаемых тигров-людоедов ей было жалко, не нравились и безобидные охотничьи истории Пришвина и Бианки — вообще всё, где возникала тема насилия над зверьми. При всей своей любви к абсурду не приняла песню, которую так весело распевали в Антоновых туристских компаниях: «У бегемота брюхо толстое, у бегемота ноги толстые, он не умеет танцевать. Его по морде били чайником, его по морде били чайником, он научился танцевать. У крокодила морда длинная, у крокодила зубы острые, он не умеет целовать. Его по морде били чайником, большим зелёным старым чайником, он научился целовать». (В туристских компаниях лица, родившиеся до войны, с особым сладострастием пели про мордобой и издевательства, а также как бы пародийно, но с большим чувством, про то, как, «сталинской улыбкою согрета, радуется наша детвора».)

Неожиданный успех у Даши имела история, которую рассказал Антону Натан Эйдельман в ресторане после вечера встречи выпускников истфака. В революционном Петрограде матросы, реквизируя жилфонд, в дальних комнатах брошенного особняка обнаружили древнюю старушку перед клеткой с попугаем. Старушка сказала, что птица — самое ценное в доме, потому что это попугай Екатерины Великой. Трясущейся рукой она три раза стукнула в решётку. Попугай, зеленоватый то ли от природы, то ли от старости, взмахнул крыльями и хрипловато-ласково произнёс с чуть заметным немецким акцентом: «Платоша, Платоша!» Старуха сказала, что попугая надо кормить орешками и какой-то травкой. Матросы попугая забрали, клетка висела в одной из комнат чеки в клубах махорочного дыма; перед попугаем стояло блюдечко с мочёным горохом, к которому он не притронулся. Недели через две попугай Екатерины Великой издох.

На волне успеха темы Антон прочитал Даше своё произведение из извлечённой с антресолей пыльной папки «Школьное». Называлось оно «Рассказы старого ворона».

Биография у тоже двухсотлетней птицы оказалась богатой: пожар Москвы восемьсот двенадцатого года, когда у ворона обгорел хвост, после чего он перебрался в Петербург, рассчитывая на более спокойную жизнь, но там была пальба на Сенатской площади, наводнения, строительство первой железной дороги до Царского Села, взрыв в Зимнем дворце. Была, впрочем, и лирическая тема: любовь к юной сороке, жившей на крыше гатчинского дворца при Павле I. В этом месте ворон говорил стихами: «Я был брюнет.

Имел жилет — средь воронов большая редкость». Рифма к последнему слову была тоже редкая — «светскость».

Очень любила дочка серию «Как кого поймать». Льва: разделить Сахару пополам, если нет в одной части — значит, лев в другой, та тоже делится надвое и т. д. (так искали во время войны оброненную иголку). В самом последнем секторе надо сгрести весь песок, просеять его на большом решете, на котором в конце концов останется укачанный тряской лев. Тигра или снежного барса поймать проще. Надо лишь взять с собою лист фанеры и молоток, и как только зверь бросится, спрятаться за эту фанеру, а когда он вонзит в нее длинные когти всех четырёх лап, быстро-быстро загнуть их молотком со своей стороны.

После этого положить фанеру с тигром-барсом на снег, привязать к ней верёвку и везти распяленного зверя, как детскую игрушку, в зоопарк. Обнаружив в понимании проблемы большую сообразительность, Даша сама придумала, как поймать крокодила: когда он широко раззявит пасть, вставить туда бамбуковую палку. Ради научной истины хорошую в целом идею пришлось слегка откорректировать: палку он ломает, даже бамбуковую, потому что в челюстях мышцы-сгибатели у крокодилов очень сильные, а разгибатели —

слабые, поэтому на пасть лучше всего накинуть верёвочный аркан, а потом всю её быстро-быстро верёвкой обмотать.

Одна историческая серия послужила причиной некоторого конфликта. Известный астроном Камилл Фламарион получил посмертный подарок от своей почитательницы: кожу с её собственных плеч, «которыми он когда-то восхищался». Кожа была доставлена врачом почившей, в предсмертной записке просившей астронома переплести в этот материал первую же его очередную книгу; Фламарион просьбу выполнил, переплёт вышел очень изящным. Когда в советское время перезахороняли с Донского на Новодевичье кладбище тело Гоголя, писатель Лидин оторвал кусок от полы

его хорошо сохранившегося сюртука и переплёл в эту ткань прижизненное издание «Мёртвых душ».

Гостившая жена тётка-учительница три вечера подслушивала под дверь, чтобы выяснить, в правильном ли направлении развивают её внучатую племянницу, и попала как раз на эту серию.

— Я, конечно, не вмешиваюсь в ваш воспитательный процесс, но что за рассказы! Как Марата зарезали в ванне, про переплёты из человеческой кожи — фашизм какой-то! А песни какие поёт — то как Наполеон смотрит на горящую Москву, то про развратную царицу Тамару, которая бог знает что делала в своей теснине Дарьяла, или вообще монархизм — что молитва долетела до царя...

В следующей серии в центре была заумь. Ещё в раннем детстве из рассказываемого бабушкой Даше больше всего нравилась байка про гуся («— Расскажи про гуся. — Вона уся»), а дедушкой — про волка и какого-то другого неведомого зверя: «Жили-были волк да кувыльюшка. Накосили они стожок сенца, да поставили посреди польца. Не начать ли опять с конца? — Начать. — Поставили посреди польца, накосили стожок сенца, жили- были волк да кувыльюшка...» Даша и сама сочиняла чушевизмы, любила, как и её отец, переиначивать что-нибудь: «Ты не лапай, кошка, лапой птичку-воробья. И у птички- невелички лошадь есть своя». В шесть лет сочинила стих, пользовавшийся в семье большим успехом: «Папа, мама и Шаляпин чай спокойно пили. Вдруг Шаляпин перелапал всё, что они пили». Теперь же абсурдизм пошёл основательный, классический: лимерики, Козьма Прутков, Хармс.

Но хотя круг общения был как будто один и тот же (Даша каждое лето проводила в Чебачьем у дедушки с бабушкой), дочь показала, что она — другое поколение, которое, при всей любви к поэзии, равнодушно к «Коньку-горбунку» и басням Крылова, нашего любимого с отцом и дедом великого русского поэта, строчки коего были у нас на слуху, на языке всякий день и час и по всякому поводу. Я не удержался и как-то на то ей попенял, это было в период её молодого критицизма, и она сказала, что старшее поколение вовсе не во всём авторитет. И прибавила:

— Тебя послушать, папа, так твой дед вообще всё знал и всё умел.

— Почти. Я, во всяком случае, не помню, чтобы на какой-нибудь мой вопрос он не ответил или не мог что-либо сделать в доме, во дворе или в огороде.

— Прямо Леонардо да Винчи какой-то. Ну хоть что-нибудь вспомни другое.

Я вспомнил. У деда была плохая зрительная память. Как-то,

отправившись на Мальчике за дровами, он, нагрузив телегу, поехал по лесной дороге обратно. Уже в сумерки показались первые дома, которые выглядели как-то незнакомо. Спрошенная бабка сказала, что это Котуркуль и что дед с лесосеки поехал в обратную сторону.

— Да ты не выпил, старый?

Темнело, до Чебачинска с нагруженным возом ехать часа четыре, пришлось заночевать у той же бабки. Меж тем дома забеспокоились. Когда дед выезжал со двора, за ним увязался пёс Буян — он любил дальние прогулки. Но ещё на лесосеке сообразил, что уже вечер, а хозяин едет куда-то не туда, и решил вернуться. Дома, увидев Буяна, переполошились.

— Его убили, — твердила бабка. — Бибиков убил.

— Да кому он нужен? Ни тебе денег, ничего, одёжа — старая толстовка, ещё небось до японской войны сшитая.

— А конь? — возражала бабка. — Разбойникам всегда нужны были кони.

Антону это соображение показалось очень тонким, но все, несмотря на серьёзность ситуации, почему-то слегка посмеялись, представив, а Тамара даже изобразила, как Бибиков ведет в поводу нашего уже тридцатидвухлетнего одра.

В шесть утра отец уже шагал по дороге на лесосеку. Лесник сказал: дед погрузил дрова и выехал на своём шкилите вчера, под вечер. Отец вышел на дорогу; не зная, что предпринять, сел покурить. Со стороны Котуркуля приближались дроги, в кои была впряжена медленно трусившая чало-пегая лошадь, которая шла несколько боком, подёргивала головой и слегка загребала левой передней. Во всём мире такая побегка была только у одного коня — нашего, принадлежащего кооперативу «Будённовец».

Был недостаток у деда и как у учителя. Ученикам он себя отдавал целиком. Умел научить читать любого дебила. Но не любил тупых и нелюбознательных. Даже тех своих детей и внуков — Лёню, Тамару, Иру, кои не проявляли особой тяги к знаниям, он учить бросал и ничего им не рассказывал.

Но всё же Даша была ещё человеком из моего времени. Внучка была уже из времени третьего. Дитя мира абсурда, она тем не менее не любила абсурдистской поэзии, зауми, что хорошо сочеталось с её юным прагматическим умом. Но с этим же умом как-то странно уживалось равнодушие к позитивным сведениям. Напрасно я изощрялся, объясняя, что грифы сидят с распыленными крыльями потому, что те выполняют у них роль солнечных батарей, а их привычка испражняться на лапы — охлаждение, регулировка температуры (у слонов таким охлаждающим

устройством являются их замечательные уши, каждое из которых весит 80 килограммов и изящно махая которыми, как веером, они могут понизить температуру тела на четыре градуса); что крокодилы не видят снов — это показывают их электроэнцефалограммы; что папирус в Египте уже тысячелетие как не растёт; что перепады воды в африканском озере Ньяса объясняются тем, что время от времени огромные стада бегемотов залегают в воду южной части озера, и его уровень повышается на четыре метра, а когда бегемотам надоедает и они вылезают на сушу — падает до обычного. Зверьё внучка любила, регулярно смотрела по телевидению «В мире животных», а если показывали слонов — от экрана её было не оторвать, но когда я интересовался, сколько весят бивни или новорождённый слонёнок, или до какого возраста он сосёт мать — то, что я узнавал уже из первой страницы слоновьего раздела у Брэма, — она это даже отдалённо не представляла. «Про что же рассказывает твоя передача?» — «Показывают, как слоны обливают друг друга водой из хоботов». — «И всё?» — «Ну, как они идут по саванне, а слонятки бегают у них под брюхом». — «А тебе не хотелось бы узнать, какого веса бревно может поднять слон или сколько он живёт?» — «А зачем?» Её вполне устраивала сама цепь визуальных образов — без их содержательного наполнения.

Мир моего детства отстоял от неё на те же полвека, что от меня — дедов. И как его — без радио, электричества, самолётов — был странен и остро-любопытен мне, так мой — безтелевизионный и безмагнитофонный, с патефонами, дымящими паровозами и быками — должен, казалось, хотя б своей экзотикой быть интересен ей. Но ей он был не нужен.

25. Пельмени Ильича

Школ в Чебачинске было две. Семилетка располагалась над бывшим лабазом купца Сапогова; здание пережило три войны, две революции, обходясь безо всякого капитального ремонта, как и все сапоговские постройки. Вторая школа, десятилетка, в которой учился Антон, была построена в тридцатые годы в модном барачном стиле, ударно (из сырого леса и со штукатуркой по невысохшему срубу) и требовала ежегодного

ремонта, но выглядела всё равно сарайно, а за войну, такового не получая, совсем обветшала. В ней было промозгло, в коридорах пахло угаром, а в классах — плесенью и мышами, которые вылезали через дыры в прогнивших половицах почему-то именно во время уроков. Девочки и Мишка Хмаров вскакивали на парты и пронзительно визжали; Мишку за это мы презирали. В классе сидели в пальто, в стёганках, по трое на парте — не повернуться, от холода ручка не держалась в пальцах. Чернила были в стеклянных чернильницах — невыливайках. Названьё мы удивлялись, неизвестному номинатору хотелось сказать, что он дурак, потому что они прекрасно выливались, надо было лишь их встряхнуть по особой методике; сначала тихонько, а потом два раза подряд сильно и быстро — выплеск тогда получался хороший, толстый. Это я испытал на себе, когда подрался с Вовкой Гудзикевичем, — именно таким приёмом он полностью залил мою трофейную курточку, что очень расстроило маму.

Учились в три смены, занятия начинались рано. Те, у кого дома не было часов, сбивались на школьном крыльце для тепла в кучку: внутрь технички запускали только за десять минут до начала, чтоб не наследили; на крыльце без козырька на морозе или под дождём стояли по часу; с нетерпением ждали Фомку Линника, которому бабка давала большой ржавый зонт, но он часто задерживался перед окнами райкома, где на ночь не тушили свет и можно было прочесть страничку-другую интересной книжки: день Фомка любил начинать с приятного. По особому распоряжению директора в виде исключения зимой впускали четверых батмашинских — ихний газик отвозил только обратно, а в школу они шли пять километров через лес на лыжах.

Первый урок начинался ещё в темноте, включали тусклую лампочку под потолком; если тока не дали, зажигали керосиновую лампу перед доскою, для чего, кроме дежурного по классу, заранее назначался поддежуривающий — ламповой. Тетради были не у всех, писали на книгах,

особенно котировались за добротность бумаги тома Ленина на казахском языке. Для чистописания сами сшивали тетрадки, в начале урока линовали одну-две страницы; в косую ровно налиновать было трудно, у меня получалось нечто в виде веера. Эти тетрадки из-за большой их ценности учительница домой брать зимой не разрешала — в морозы у многих в комнатах жили телята, ягнята, даже куры; у Федьки Лукашевича тетрадь зажевал телёнок, у Ильи Муромца — куры закапали помётом.

Переменок ждали с нетерпением — можно было согреться, если устроить кучу малу или жать масло. На большой перемене девочки, взявшись под руки и образовав овал человек из тридцати, медленно двигались по кругу и хором пели, так и называлось: петь кружком.

Были они в подшитых валенках, в выглядывавших из-под платьев широких байковых шароварах, в растянутых материнских кофтах, застиранных, заплатанных, худые, прозрачно-бледные, но, спевшись за годы, вели мелодию стройно. Песни пели больше русские народные — про Ваньку-ключника, слюбившегося с молодой княгиней («и за грудь, за грудь тугую было хватано не раз»), про достающую из колодца воду красну девицу: «Достаёт и озирается, одинёшенька, кругом, а водица колыхается, чуть подёрнутая льдом». Но пели и современные: «Может, в Суздале, может, в Рязани не ложились девушки спать, много варезек тёплых связали, чтоб на фронт их в подарок послать». Этих песен я почему-то никогда больше не слышал.

Младшие классы занимались во вторую смену, Антон выходил за час — полтора, чтобы пробраться в школу через парк, или горсад, с которым граничил школьный двор.

Парк, заложенный ещё отцом Сапогова, был тенист, глух, в левом его углу на поляне громоздились развалины взорванной церкви — огромные пласты стен из кирпичей, намертво схваченных раствором, замешенным на твороге и яйцах.

Вход в горсад попытались сделать платным, за вход положили рубль; в воскресенье продали двадцать билетов; парк меж тем оказался полон солидной публики — мам с детьми, парочек; Васька Гагин клялся, что видел, как через забор два молодых мужика перебрасывали старушку.

Путь в школу через горсад связывался с некоторым риском. Сторожем там был хромой ингуш Аслан, который, шёл слух, так умел кидать свою палку, что она за двадцать шагов точно попадала по ногам убежавших. До этого подобный слух ходил про другого хромого сторожа, солдата Петра, охранявшего колхозный сад, но это вызывало сомнения, в способность же ингуша верили вполне, хотя и за двадцать и даже меньше шагов он ничего

не бросал, а только кричал:

— Комсомолец-пионер-бандыт-дурак!

Перед уроками в школьном дворе можно было поиграть в зоску: к куску длинношёрстой овчины подшивалась свинцовая блямба, это сооружение подбивалось ногой вверх и парашютировало, давая возможность подготовиться к следующему удару.

Мастер мог сделать это без перерыва пятьдесят и даже сто раз. Зоску привёз Генка Куликов, приехавший после ашхабадского землетрясения, — был разрушен весь город, погибли тысячи. Старшая пионервожатая сказала: «Врёт ваш Генка. Иначе про это сообщалось бы в нашей печати». Мы больше верили Генке.

В школьном же дворе играли в футбол. Старую покрышку туго набивали тряпками, такой мяч плохо катился, а о подскоке не могло быть и речи, на фильме «Вратарь» мы подталкивали друг друга: как подпрыгивает! Нормальный мяч появился классе в седьмом.

Но у тряпичного имелось одно крупное преимущество: его можно было гонять даже в двадцатиградусный мороз.

В классе был интернационал — правда, представителей всех наций, кроме немцев, было по одному: кореец, каракалпак, эстонец, полька и даже китаец. Евреев не было, хотя ходил слух, что мать Витьки Бурлакова принадлежит к этой народности, о которой у нас представления были самые смутные — знали только, что она обитает в каком-то Биробиджане. Казашка тоже была одна — Джабагина, ей потом по рекомендации райкома дали серебряную медаль.

Казахов в Чебачинске почти не было; радио тем не менее две трети времени вещало на казахском языке. Транслировали казахские национальные оперы — «Кызжибек», «Жалбыр», «Ертаргын», написанные, как говорил Гройдо, евреем Брусиловским, выпускником Ленинградской консерватории. Но чаще всего читали передовицы из алма-атинских газет и областной — «Кокшетау правдасы». Иногда радио давало литературные передачи — чаще всего стихи Джамбула, которые, впрочем, любило читать по-русски: «Пойте, акыны, пусть песни польются, пойте о сталинской конституции». Лучше всего звучала первая строка в заключительном двустии: «Слушай, Каскет, Каскелет, Каракон, — я славлю великий советский закон». Кто слушал передачи по-казахски, было неясно: на казахской улице на краю города, у Степи, не стояло никаких столбов с проводами. К казахам относились не враждебно, но к администраторам и врачам из «хозяин страна» предпочитали не обращаться.

Немецкий преподавали ссыльные немцы. Побеседовав как-то с одной

из таких учительниц на преподаваемом ею языке, Атист Крышевич с изумлением обнаружил, что она говорит на каком-то поволжском диалекте, в котором, в частности, нет артиклей, и что этому наречию она обучает сотню детей уже целый учебный год. Антону повезло — в его классе преподавал Роберт Васильич, человек образованный. У него была неудачная фамилия. На первом занятии он её уточнил и попросил запомнить: он — Херинг, не Геринг, а — Херинг. Но нас сходство с фамилией рейхсмаршала не смущало — мы уже знали одного хорошего Геринга, председателя колхоза в Павлодарской области, гремевшего на весь Казахстан. В этом колхозе построили пекарню, колбасный цех, пивоварню, молодёжкам выделяли безвозвратные ссуды, уходящим в армию заводили счёт, к которому они возвращались; очередь из желающих переселиться в этот колхоз составила на несколько лет. Антон хорошо помнил споры о колхозе Геринга у печки.

Отец: читали сегодня, сколько зерновых с га собрал шеф Люфтваффе? И на сколько он перевыполнил план поставок? Значит, нормальное хозяйствование при социалистической системе возможно! Дед: что это за система, когда всё держится на таланте и невероятных

усилиях одного человека, который уйдя — всё рухнет. Так потом и вышло. Местные власти, люто ненавидевшие Якова Геринга, его буквально затравили, он рано умер, колхоз сразу развалился. Судьба однофамильца, чебачинского Херинга, тоже была печальна.

Антон учился ещё и английскому — у миссис Кошелевой-Вильсон, приятельницы бабки, по прозвищу «Хадуду». На урок он являлся с кувшином молока. С ней Антон переводил «The Gadfly», этот роман она очень любила, с его автором, Этель Лилиан Войнич, встречалась в Америке. «Father director, cannon Montanelli», — с выражением читал Антон и записывал перевод в толстую тетрадь: «Отец директор, каноник Монтанелли, остановился на одну минуту в своей переписке...» Когда Антон начал учиться в МГУ, во всех группах на уроках английского читали всё того же «Овода», никто не верил, что его автор жив, пока в какой-то газете не появился портрет симпатичной старушки, благополучно здравствующей в Нью-Йорке. Больше всего Антону нравились детские английские песенки, которые миссис Вильсон знала в большом количестве, так как пела их когда-то своему утонувшему в Темзе сыну: «Король считал свои деньги, королева сидела за столом, она ела хорошую тартинку, на которой было много, много масла, масла из Девоншира, а также варенье из горшочка, стоявшего рядом». Песенка была хорошая, но грустная: очень хотелось непонятной тартинки с вареньем; масла из Девоншира, видимо,

совершенно необыкновенного, сильно хотелось тоже. Миссис Вильсон также омрачалась, а слушая пение Антона, капала слезами.

На физкультуре всю зиму катались на лыжах, участвовали в соревнованиях то городских, то районных. Все призовые места занимала компания из Батмашки: пробегая каждое утро в школу на лыжах по пять километров, за зиму они здорово натренировывались. Но первенствовал на всех дистанциях всегда Юрка Зорин, вырывавшийся вперёд уже на старте — на лыжах он скользил, ставя их косо, как на коньках, за что его грозились снять с дистанции. Через тридцать лет Антон увидел такой бег в передаче с зимней олимпиады, называлось: коньковый ход.

По военной подготовке Антон успехи обнаруживал средние — где было в строевой угнаться за такими асами, как Генка Меншиков или Витька Сидоров, но когда с инспекцией из военкомата являлся капитан Кибаленко-Котырло, военрук Корендясов всегда вызывал Антона:

— Рядовой Стремоухов! Что бывает при неправильных бросках гранаты в разных положениях?

И Антон не подводил.

— При неправильных и неудачных бросках как с места, с разбега, с колена, так и лёжа, граната может сорваться, полететь в ненужном направлении и нанести урон не противнику, а живой силе и технике бросающего.

Географию преподавала Марфа Ивановна, добрая, нестрогая женщина, на её уроках мы играли в морской бой или, делая вид, что изучаем атлас, загадывали города. От неё в памяти остались только имена глав компартий, знанию которых она придавала большое значение; некоторые звучали даже лучше, чем Трюгвели, — например, Виллли Пессси, с которым сравниться мог только несколько позже появившийся Мосаддык и совсем потом — Мубарак. Впрочем, запомнился ещё Америго Веспуччи — его имя Марфа Ивановна выговаривала надув щёки и выпучив глаза, и мы думали, что его только так и следует произносить.

С историей у Антона в младших классах всё время случались какие-то неприятности: то восстание декабристов назвал бунтом, то нечаянно выразился так: «Его Императорское Величество Государя Николая Второго прозвали после этого Николаем Кровавым».

— Мальчик получил монархическое воспитание, — говорила тётя Лариса, указывая через плечо в сторону дедова топчана, — что с него возьмёшь.

Но дело было, видимо, не только в монархическом воспитании. Уже в девятом классе на вопрос о том, что говорил Сунь Ятсен о главной

особенности и принципе

китайского государства, Антон ответил: «В Китае все жители китайцы и даже сам император китаец». Но историк Пётр Андреич, человек хладнокровный, заострять внимание на этом не стал (не то что историчка, раздувшая историю с ленинскими пельменями), а сказал только: «Не совсем так. Я хотел бы услышать высказывание не сказочника Андерсена, а создателя «Объединённого союза»». Выручил всё знавший правильно отличник Мят: «Китай — государство китайцев, и управлять им должны китайцы». С точки зрения Антона высказывания были идентичны.

А с пельменями Ильича была связана такая жали-стная история.

Вызванный к доске, Антон бодро начал про ссылку, как Ленин ходил там на охоту, а хозяйка кормила его вкусными котлетами.

— А где в Шушенском жил Владимир Ильич? — спросила историчка Сорок Разбойников.

— В доме крестьянки Петровой. Учительница удовлетворённо закивала головою. Тонкость заключалась в том, что она жила в доме, как две капли воды похожем на дом крестьянки Петровой (фотография была в учебнике): пять окон по фасаду, глухой сибирский заплот и двускатный козырёк над воротами. Сорок Разбойников этим очень гордилась и вместо урока водила к своему жилью весь класс.

— А какие главные события произошли в жизни Владимира Ильича в Шушенском? — спросила Сорок Разбойников.

— Когда В.И. Ленин уезжал из ссылки, он забыл пельмени.

Класс грохнул.

— Тысячу пельменей, — уточнил Антон.

В каких-то подсунутых отцом воспоминаниях Антон прочёл, что на дороге Ленину и Крупской налепили и заморозили тысячу пельменей. Технология Антону была хорошо знакома: бабке он помогал лепить и сам выносил готовую продукцию на мороз в сени и устраивал под застреху, чтобы не достали Буян и кот Васька. Тысяча — это много. Чтобы наделать такую прорву, надо было, не разгибаясь, работать день, а то и два. И такое богатство в суматохе забыли! Этих оставленных полвека назад пельменей было безумно жалко. Позже цифра забытых мёрзлых пельменей была оспорена. Оказалось, что она — из мемуаров старого большевика Пантелеймона Лепешинского. Но когда Антон уже студентом познакомился с его дочерью (известной тем, что она во время той же суматохи была вождём взята на руки и омочила святейшие колени), та сказала, что, по словам покойной матери (знаменитой своей скандальной теорией порождения клетки из бескле- точного вещества), пельменей было не

тысяча, а две. Их стало ещё жалче.

Тогда на уроке общий смех, прервав ответ, уберёт Антона от ещё больших неприятностей со стороны Сорока Разбойников: он собирался щегольнуть песней, которая нравилась Ленину и которую, находясь в том же Минусинском уезде, сочинил революционер Мартов. Эту песню раза два, подвыпив, пел Гройдо, слышавший её от Дмитрия Ильича Ульянова: «То не зверь голодный завывает — дико разыгралась пурга. В шуме ветра ухо различает хохот торжествующий врага».

Рисованию нас учил человек таинственной национальности — дунган. Кто такие дунгане, или дунганы, не знал никто. Отец, у которого Антон пытался что-нибудь выяснить, сказал: «Садись и записывай: «История мидян темна и непонятна. Точка. Конец истории мидян»». — «Папа! — недоуменно остановился Антон. — Я спрашивал про дунган!» — «Ну, исправь на дунган», — великодушно разрешил отец. Имя-отчество у учителя рисования было какое-то сложное, под стать национальности; Васька Гагин считал, что оно звучит как Автоген Мустангович — так мы его и называли, правда, стараясь произносить невнятно, только Васька, наоборот, выговаривал оба слова особенно отчётливо.

В школьном сарае, где хранились транспаранты, портреты и прочий инвентарь для демонстраций, мыши отъели правое ухо у Ленина и левое — у Сталина. Рассказывали шёпотом, это было чепэ — через два дня не с чем идти на демонстрацию и вообще.

Автоген брался выручить — изготовить за это время оба портрета, но с помощью учеников. И научил нас, как можно точно скопировать, причём в каком угодно масштабе, любой рисунок, портрет, разграфив его на клетки. Обмолвился, что сам он так нарисовал не меньше сотни портретов Ленина и с полтысячи — товарища Сталина.

Профессиональный живописец сделает копию с чего угодно без всяких клеток, но там, где он писал эти портреты, нужна была полнейшая, до самомалейших деталей, идентификация с фотографией. И ещё что-то добавил, но так тихо, что услышала только расчерчивающая рядом горошковый галстук Ленина (неровные горошины очень напоминали маленькие пельмешки) Вера Выродова: «Они спасли мне жизнь». Автоген учил нас теории и практике перспективы, попутно объяснив, что прямая перспектива — отнюдь не единственный и обязательный способ изображения видимого мира; это, наряду с двенадцатиричной системой исчисления, изложенной математичкой Алуизой, перевернуло сознание.

Алуизой для простоты мы называли Ольгу Алоизиевну Белоглазек. Даже мы чувствовали, что она — не то, что другие педагоги, в том числе и

ссылъные. Начинала она с Лифшицем и Ландау, высоко ценившими её математический талант; это она придумала школьные математические олимпиады. Но в 34-м попала в кировскую высильную волну.

В Чебачинске все пятнадцать лет жила у одной и той же хозяйки, ходила в одном и том же пальто, утром ела манную кашу на воде, а вечером — кислое молоко с сухарём. Когда в 60-е годы она умерла, на книжке у неё оказалось 75 тысяч, которые она завещала местному детдому. Деньги она охотно одалживала, но если кто не возвращал их в срок, им самим назначенный, больше тому в долг не давала.

В сорок девятом её арестовали — Антон с Мятот видели, как её всё в том же пальто через огород вели двое. Донос написал другой математик, Ефим Георгиевич, взявший у неё большую сумму на покупку дома и рассчитывавший таким образом избавиться от неприятного долга. Но ему не повезло. В лагере Алуиза, свободно перемножавшая в уме трёхзначные цифры, оказалась незаменимой при подсчёте кубометров грунта и бухгалтерских расчётах. Начальник лагеря, узнав в отделе перлюстрации, что она уже дважды в письмах напоминала коллеге о долге, прося отдать эти деньги своей бывшей хозяйке, сказал заключённой, что поможет. Математика прямо с урока вызвали в НКВД, где майор Берёза его предупредил, что если долг не будет возвращён в 48 часов, он проследует туда же, где находится его заимодавца. Ефим Георгиевич двое суток мотался по городу, занимая у встречного и поперечного. Всё это Ольга Алоизиевна рассказала Антону, когда через пять лет освободилась. Тогда же от неё Антон впервые услышал о теории связи важнейших исторических событий с периодами солнечной активности — с автором этой теории, профессором Чижевским, учительница подружилась в карагандинском лагере «Спасское». Уже после её смерти Антон узнал, что в год окончания войны она, дописав диссертацию, послала её на свою бывшую кафедру в Ленинградский университет. Работа вернулась с фиолетовым штампом на титуле: «Возврат без рассмотрения».

Алуиза, кроме школы, нигде не ходила. Но однажды в июле, когда было плюс сорок, Антон встретил её на Озере. Она сидела на мелководье в чёрном купальнике с юбочкой (такие он видел в альбоме бабки на пляжной фотографии её подруги в Ницце) и тихонько поливала себе плечи из ладони, сложенной ковшиком.

В пионеры принимали в первом классе, в торжественной обстановке, но так как Антон пришёл сразу во второй, ему просто объявили, что он теперь пионер, и сразу назначили звеньевым. На рукаве курточки следовало сделать нашивку. Дома чисто красной материи не нашлось, раскрыли

старый красный платок в чёрную полоску. Тётя Тамара в советской символике не разбиралась, нашивка получилась шириной в два пальца и охватывала рукав полукругом, сильно напоминая траурную повязку.

— Издеваешься? — предсовета дружины китаянка Соня сузила свои и без того узкие глаза. — Ты где живёшь? Нашивок не видел? Спороть! И не дома, а немедленно! Придёшь показаться.

Антон пошёл в сортир, зубами и ногтями отодрал нашивку, бросил её в очко, посмотрел, как она там плавает, и пошёл показываться.

«Пионерская правда» обсуждала, должен ли пионер доносить на товарищей. У нас этот вопрос решался просто: доносчика били, жестоко, втёмную, набрасывая на голову пальто, чтоб не видел на кого доносить.

Пионерских сборов, которые, судя по «Пионерской правде», во всех школах страны проходили беспрерывно, в чебачинской школе устроить не удавалось: после уроков одного ждал огород, другого — хлев, третьего, опоздай он, не сажали за стол.

Когда новая старшая пионервожатая попробовала затащить Гуркиных детей после уроков на какой-то сбор, Маня заявила, что ей надо пригнать с Речки утей, и вчера одну уже съела лиса; её брат Ерёма тоже отказался, потому что должен вывозить из заполнившейся сортирной ямы экскременты. Он употребил другое слово, которое в сфере натурального хозяйства не имело обеденной коннотации и воспринималось как обычный синоним к словам навоз, помёт: коровье, птичье, овечье, лошажье. На уроке химии, рассказывая об азотных удобрениях, Илья Муромец сказал: лучшее из них — скапливающееся на островах от птичьих базаров птичье говно. «Гуано», — мягко поправила учительница. «А я что? — возразил гулким басом Илья. — Я и говорю: говно».

Сборы, слёты — всё это происходило где-то далеко, там, где пионеры ходили на торжественные линейки в Колонный зал и встречались с внуком Маркса Эдгаром Лонге.

С удивлением мы разглядывали снимки в той же «Пионерской правде», из которых явствовало, что московские школьники всегда были при своих красных галстуках — и на уроках, и на экскурсиях, и когда мастерили авиамодели (все столичные школьники мастерили авиамодели). В газете серьёзно обсуждался вопрос, допустимо ли галстук носить с цветной рубашкой; после печатания материалов обсуждений и писем пионеров тридцатых годов общее мнение склонялось к тому, что предпочтительнее всё же с белой, которую нужно менять через день — над этим помирал со смеху сын Усти Шурка, у коего была только одна неопределённого экономического цвета рубашка, которую мать стирала по утрам в

воскресенье, а Шурка сидел и ждал, когда она высохнет.

В нашей школе всякий надевший галстук должен был быть всегда готов за него ответить.

Увидев галстучника, кто-нибудь (чаще всего Борька Корма) хватал его за галстук под самое горло так, что перехватывало дыхание, и говорил грозно: «Ответь за галстук!» И галстучник сипло выдавливал: «Не трожь рабоче-крестьянскую кровь — она и так пролита в октябрьские дни». В галстук я помню только одного из всех своих товарищей — Юрку Бутакова. Было удивительно: этот коновод, зачинщик всех наших шалостей, почти хулиган всегда носил пионерский галстук. В нём он и лежал в гробу — в одиннадцать лет. Его отец взял Юрку на охоту, собаке в прошлый раз по пьянке вlepили в глаза утиной дробы, и он плавал за подстреленными утками, а шёл уже сентябрь, Юрка простудился и заболел воспалением лёгких.

На районные олимпиады галстуки собирали со всей школы, чтобы повязать их хотя бы тем, кто участвовал в монтаже, т. е. стоял в выстроенных на сцене шеренгах, из которых выходили по одному и читали по четверостишию: «От пен океанского вала до старых утёсов Кремля такой молодёжи не знала выдавшая виды земля». Скандал, впрочем, всё равно разразился. Вместо узла у нас использовали зажимы — металлические приспособы, в которые пропускались оба полотна галстука и в нужном месте зажимались.

Приехавшая из области толстая дама в пионерском галстукe, увидев наших монтажников, пришла в ужас: зажимы давно отменены, их придумал визнаеткто (наши деятели не знали, но спросить не решились), это политическая ошибка, концы зажимать нельзя — только связывать, что символизирует связь, сплочение, соединение детей пролетариев

всех стран. Старшая пионервожатая, пересказывая нам речь пионерской дамы, делала понимающее лицо, ожидая такие же лица увидеть у нас — и мы сделали такие лица.

Районные школьные олимпиады являлись большим событием. Из деревень в розвальнях приезжали участники — иные за тридцать, пятьдесят вёрст. Пели, плясали, декламировали. Большой успех имел скетч, показанный казахской школой: «Трумэн келдім кабинетте», где мечущегося с огромной сигарой по кабинету американского президента изображал казахский школьник ростом не больше этой сигары.

Песню «Жил в Ростове Витя Черевичкин», который «отлично в школе успевал, а в свободный час после урока голубей любимых выпускал», пел школьник из Котуркуля Вольдемар Хлыстун. На самой высокой ноте

Хлыстун дал петуха. Попробовал повторить — сорвался опять. Попытался в третий раз — то же самое. Высоким голосом Вольдемар зарыдал и убежал со сцены. Вышла его учительница и сказала, что в бараке, где их разместили, холодно, титан не работает, и нельзя дать артистам даже горячительных напитков.

От успешно-юрьевской средней школы выступал какой-то молодой человек с потрясающей чечёткой. Был он мал ростом, очень худ и острижен под машинку, но всё ж таки выглядел старше прочих участников. Выяснилось, что этот якобы ученик — ссыльный заслуженный артист СССР, известный мастер степа.

Антон за чтение стихотворения получил грамоту и в числе победителей поехал на олимпиаду-смотр школ Сибири и Северного Казахстана в Петропавловск. Там он на второй вечер познакомился с худой и высокой польской девочкой Анной, немного его старше. Девочка Юля, с которой он гулял в первый вечер, сказала зло: «Я знаю, почему она с тобою ходит. Потому что ты длинный, а она дылда! И ещё страшила!» Они гуляли по улицам, снег лежал почему-то грязно-серый, никто не ездил на санях.

Антон ходил в овчинном дублёном полушубке и валенках, Аня носила длинное красное пальто и ботинки с высокой шнуровкою, то и другое Антону безумно нравилось, но пальто было без ваты, а ботинки в смысле тепла вообще курам на смех, она страшно мёрзла, грелись в магазинах, но там не было ни товаров, ни покупателей, их быстро замечали и прогоняли.

На смотре Анна пела песню из фильма «Цирк» «Слип, май бэби» — очень трогательно, ей даже хотели присудить первый приз, но на комиссии та же толстая дама- пионерка, которая приезжала в Чебачинск, заявила, что первый нельзя, так как девочка пела по-английски, а когда учительница Ани робко заметила, Любовь Орлова тоже поёт по-английски, пионерская дама ответила: это было сто лет назад, а теперь, особенно после фултонской речи Черчилля, давать за такое первую премию политически неграмотно. Аня уезжала раньше; когда шофёр пошёл ручкой заводить грузовик, она выскочила из кузова и при всех поцеловала Антона в щёку.

Антон читал стихотворенье Майкова «Емшан», выбранное дедом из-за его степных как бы казахстанских реалий: «Отдай пучок травы сухой, отдай емшан, и он вернётся».

Стих «И нет уж больше Мономаха!» он читал, повесив голову, как Васька Гагин, и сорвал большой аплодисмент, но премии тоже не получил — из-за неактуальности темы стихов малоизвестного поэта. Дед потом долго плевался: «А кто у них многоизвестный? Голодный? Бедный? Безымянный — или как его там? Тьфу!» — «А вы чего хотели? — почему-

то удовлетворённо, как всегда в таких случаях, сказал отец. — Это вам не наша дыра. Там — бдят».

Когда Антон с дочкой Дашей и её мамой пошли на концерт знаменитой Анны Герман, он объяснил Им, откуда у этой польской певицы такой замечательный русский язык, но почему-то не сказал, что знал её тогда.

Пионерлагеря, куда Антона, к его великому огорчению, запикивали лета два-три, отрывая от Озера, Речки и — главное — Улицы, тоже мало напоминали галстучные республики с цветных обложек журнала «Пионер». Как и там, подымали флаг, жгли костры открытия и закрытия, но сосредоточивалась жизнь вокруг пропитания. Сбегав

умыться к озеру и позавтракав кашей из шрапнели или пшена с крохотной лужицей подсолнечного масла в продавленной ямке, поотрядно выходили в лес за ягодами и грибами. Ягод была прорва — земляника, малина, Душистая лесная клубника, не имеющая ничего общего с водянистой и несладкой садовой, смородина, костяника — за два-три часа наедались до отвала. Грибные походы любили меньше, хотя сданные на кухню грибы превращались на ужин в замечательное блюдо. Порции в столовой были маленькие, кто хотел получить лишние, мог записаться в дежурные по дровам, но всё знающий Радик Левинтант говорил, что энергозатраты по пилке и колке не компенсируются двумя и даже тремя добавками, попросту — есть хочется ещё больше.

Иногда вместо леса выходили на прополку. Сорняки видывали — у всех дома имелись огороды, но заросли бурьяна на колхозном поле, среди которых невозможно было найти какое-либо окультуренное растение, при первом знакомстве ошеломяли. За прополку колхоз кормил обедом на полевом стане, а в одно лето за несколько прополок получили плату натурой — вели на верёвке упирающегося курдючного барана под песню: «Был я у барыни да первое лето, получил у барыни утицу за это. Моя утя-воду-мутя! Был я у барыни да второе лето, получил у барыни барана за это. Мой баран-по-горам!» Эта смена вообще оказалась удачной: прирезали павшую на ноги водовозную конягу Милку, и весь лагерь каждый день, а не через два на третий, получал к обеду бешбармак из конины; об этом вспоминали все следующие сезоны.

После леса или прополки купались в солёном озере Жукей, оставшемся после древнего моря. Плескались кто сколько хотел; друг другу передавали рассказ одной вожатой, которая перед войной отдыхала в Артеке, что там в море запускают раз в день на десять минут, — такой ерунде не верили.

Жили в больших армейских палатках с земляным полом, в пасмурь в

них было сыро и холодно, в вёдро — душно, но зато когда из Степи дул полынно-ковыльный ветер, было не холодно и не жарко, а хорошо и ароматно.

Антон навестил отец — пришёл пешком за тридцать километров, оставил денег, и пока их не отобрали ребята из старшего отряда, Антон целую неделю подкармливался — ходил вечером в деревню, съедал стакан сметаны и поправился на девятьсот грамм. Вес — первое, о чём спрашивали по приезде домой: на сколько поправился? И кто на мало, чувствовал себя виноватым. Самый большой общий привес был в отряде детдомовцев — пудов до шести, т. е. каждый внёс в отчётную отрядную копилку не меньше трёх килограммов; они вообще считали, что в лагере кормят очень хорошо. Но рекордсменом из сезона в сезон оказывался сын Усти Шурка — он жил в лагере всё лето, не уезжая даже в пересменку (помогал белить печи, драить котлы), и к концу третьей смены набирал шесть-семь кило и ходил, пыхтя и култыхаясь.

С первых часов после возвращения с нетерпением ожидалось, когда спадёт жара и можно будет играть — в лапту, в городки, в немецко-народную игру штандер, которой научил Кемпель. Отец пробовал реанимировать игру в бабки, целый месяц мы их копили, запоминали правила. В первой же игре Васька Гагин, обладавший невероятным глазомером и твёрдостью руки (он сам присвоил себе прозвище «Твёрдая рука Гамбусино», увидев эти слова на обложке книги, и хотя Фомка Линник говорил ему, что это два разных произведения и Твёрдая Рука никакого отношения к Гамбусино не имеет, именовать себя так продолжал — он был очень самостоятельный и не верил никому), выиграл все бабки, включая чёрную — битку, налитую свинцом. Собирать кости заново никто не схотел. Но это был предлог — игра давно умерла, как вскоре умерла и шумная, азартная лапта.

Наигравшись и уставши, рассаживались на брёвнах. Толстый кругляк предназначался для нового дома, но строительство всё откладывалось из-за отсутствия присутствия, брёвна за три-четыре лета высохли до звонкости, за день они под солнцем нагревались, сидеть на них было приятно.

Рассказывали разные истории, больше страшные.

Поздним вечером в один дом — там, у Озера, постучали: «Хозяйка, вынеси напиток». Голос был мужской, и воду понёс хозяин. В сени вошли четверо (почему он вообще ночью такой ораве открыл — подобные вопросы жанром не предусматривались).

Первый отпил и отдал ковш второму. Тот, напившись, передал третьему. Третий — четвёртому. Последний воду допил и протянул ковш

хозяину, а когда тот подошёл, ударил его ковшом по голове. Хозяин упал, обливаясь кровью (это было понятно, потому как дома у всех слушателей на кадках висели ковши — чугунные или кованого железа).

Хозяйка подставила под голову мужа его шапку, туда сразу до половины натекло крови (это тоже было представимо, потому что подкладки в ушанках всегда делали почему-то ярко-красные). А разбойники пошли дальше. Когда Валька Шелепов, не выдержав, всё же спросил (хотя мордой лица и выражал, что понимает всю некорректность вопроса), зачем они это сделали, рассказчик, Борька Корма, выражением своей морды эту некорректность подтверждая, сказал: «Разбойники жа!»

Один мужчина — дело было в противоположном от Озера конце, у станции, — лёжа с женой, не докурив папиросу, положил её возле кровати на кердпич (историю рассказывал Васька Гагин). И уже повернулся к жене, но вспомнил, что папиросу не затушил, повернулся обратно и — видит: из-под кровати протянулась огромная волосатая рука и взяла непотушенный бычок. Но это был не спрятавшийся хахаль, а совсем даже бандит.

Однако и без разбойников ужасов было невпроворот; потом одна писательница из таких историй создала в толстых журналах целую литературу.

Демобилизованный капитан вошёл в свой дом, навстречу ему кинулась маленькая дочка, держа в своих ручонках ножницы, которыми играла, споткнулась, упала и, наткнувшись на концы ножниц, выколола себе оба глаза. Капитан вынул из кобуры свой тэ-тэ, застрелил дочь и застрелился сам. Слушатели все до одного знали, что офицеры с войны с пистолетами не возвращаются (единственный, кто привёз — гранаты, — был Петя-партизан, но на то он и партизан), однако поведавшему эту трагическую историю Генке Меншикову никто недоверия не выразил.

Впрочем, на брёвнах не менее необычные истории можно было услышать и от взрослых, приходивших покурить, когда работать на огородах было уже темно. Одна была опять про капитана, только пехотного. Он вернулся с крупным мужским дефектом.

Рассказчик Филя Крысчат начал былр словесно таковой описывать, но всяких-энтых слов не нашёл, а нормальные при пацане (Антон оставался, когда все его приятели давно сидели по домам) употреблять, видимо, считал непедагогичным и поэтому тотальность дефекта показал выразительным рубящим жестом. Семья, двое детей, жена ещё молодая.

С собой капитан привёз ординарца Федьку, который и пользовал капитанову жену, и родился ещё один сын, и офицер, когда выпивал, брал

его на руки и плакал. Но на этом история не кончилась. Федька нашёл себе другую, девку, и наострил себя жениться. Жена капитана плакала, и он, пьяный, тоже плакал и кричал, что Федька свой, а другого, кто к жене прискребётся, зарубит топором к такой-то матери. Антон ждал, когда зарубит, но капитан упросил Федьку, чтоб тот к его жене иногда приходил, и выставлял бутылку, и они сначала вместе пили. Но топор, как повешенное в первом акте ружьё, ударил: невеста Федьки всё узнала и зарубила, но кого из троих, рассказчик вспомнить не смог. Кочегар Никита предположил, что скорей всего жену. Гурий сказал, что хорошо б самого капитана — всё из-за него, да и на кой... ему такая жизнь. Но рассказчик Крысчат веско бросил: никто не виноват, виновата война. И все поразились такой мудрости Фили Крысцата, но он честно признался, что так, ему передавали, выразился на суде защитник.

Рассказывали, что у убитого на сетчатке отпечатывается, как на фотоплёнке, портрет убийцы, почему многие убийцы выкалывают своим жертвам глаза. Научным фактом про сетчатку очень заинтересовался разведчик Бибилов, который потом подался в бандиты, а тогда ещё, наоборот, сидел со всеми по вечерам на брёвнах.

Вокруг шеи приговорённого к повешению шла наковка: «Ради Бога, не надо». Когда начали вешать и разорвали воротник, все её увидели. Приговорённого отпустили.

Уличной жизни мешала не школа. Школа была одно, улица — другое, миры эти не соприкасались, имели разную мифологию, разный язык; слова «советский», «пионер», «комсомолец» на улке не произносились. Уличной жизни мешало натуральное хозяйство.

У Гагиных жили собака, куры, гуси, корова, хряк, казённая лошадь, полагавшаяся дядьке Васьки как заготскоту, и Васька, придя из школы, должен был вывезти несколько тяжёлых тачек навоза, настелить корове и лошади свежей соломы, задать одной овса, а другой сена, надёргав его занозой из стога, предварительно отгребя от него снег.

Дядька-заготскот вдобавок ко всему имел приличное жалованье, у тех же, кто, как Гурка, зарплату получал пустячную и тянул семью — семеро детей, тёща, свояченица и ещё какая-то жившая в кладовке-темнушке слепая старуха, — надежда была только на хозяйство. С необозримого огорода, занимавшего огромный кусок косогора над Речкой, набивали в подпол по четыреста вёдер картошки, ниже по-над речкой тёща и свояченица разводили капусту и огурцы, слепая сродственница пряла в тёмном чулане, как парка, бесконечную шерстяную нитку, и жена Полина днями и ночами вязала варежки, одевая всю семью в носки, свитера и даже

платья. Сам Гурка плёл корзины и вентера, бондарил, для своих катал чёсанки, не брезговал брать с конного двора починять хомуты и чересседельники. На дворе их дома было не пройти из-за вязок прутьев для корзин, заготовок для дуг и куч навоза; во всём этом копошились большеголовые маленькие дети (у большеньких головы были нормальные) и орали — то на них обваливалась поленница, то бодал козёл или щипал гусак, ростом козлу не уступавший. Гурка, матерясь, отгонял метлой гусака, пинал в бок козла, подпирал поленницу слегами. Но своё разветвлённое хозяйство любил и его необходимость и значение теоретически обосновывал:

— Что мне ваш райком сделает? Уволит? Ну и увольняй к... матери. Когда я тому мордовороту нюх начистил и два месяца не работал, — мы что, подохли? Ещё лучше жили: время — вагон, я такую партию корзин за...л, весь базар о...л. Клал я на энтот райком с прибором и присвистом.

Что-то в этом роде говорил и отец: Сталин удушил середняка и продолжает давить личное хозяйство потому, что хозяин в деревне и полугороде свободнее горожанина, зажатого и прикованного к кормушке, в которой дверку подымает и опускает власть.

Улица не только бегала, играла, хулиганила, она — читала. Здесь тоже была оппозиция школе — в её домене. Читали не так и не то, что проходили и что рекомендовали в ежегодно спускаемых откуда-то списках. Из рук в руки передавали распадающиеся книги, часто по старой орфографии, без начала и конца и почти всегда без титула. В основном это были исторические романы — как потом установил Антон, Мордовцева, Данилевского, Дмитриева, среди девочек ходила Чарская, которую мы презирали, позже, когда их начали издавать, появились Стивенсон и Дюма.

Главным читателем Улицы был Фомка Линник. Читал он целыми днями, по ночам при лунном свете, когда мать отбирала керосиновую лампу, по дороге в школу, прислоняясь к телеграфным столбам (один раз зачитался у столба перед школою, и мы весь урок видели его из окна). Но — странное дело — в голове его не задерживалось ничего, учился он неважно и особенно плохо почему-то по литературе и истории.

Дед не любил, когда Антон приносил уличные книги, и старался подсунуть Гоголя, упреждая: тебе с твоей чувствительностью не надо читать «Вия» на ночь; Антон читал как раз на ночь, но гоголевские ужасы его не трогали; ни разу не улыбнулся он и при чтении будто бы смешных «Вечеров на хуторе» и мнение это не переменял выросши, и сразу согласился с Набоковым, что Гоголь сам выдумал знаменитую историю о том, как типографские работники помирали со смеху, набирая эту книгу.

«Мёртвые души» же, которые, полагал дед, читать ему рано, Антон страстно полюбил с первых строк про въезжающую в город N бричку Павла Ивановича Чичикова, который ему чрезвычайно нравился: был не слишком толст и не то чтобы слишком тонок, всегда умел найтись и

замечательно брился, подперши щёку изнутри языком, так что в рассуждении гладкости она стала совершеннейший атлас. Про героев из других книжек можно было вспоминать какими угодно словами, но из этой — только теми, которые стояли там.

Вспоминая, Антон удивлялся, как мало влияла на них идеологически собственно школа. Влияние было скорее общегосударственное. Мы верили, что страна кишит шпионами. Читали, передавая друг другу, толстую красную книгу с рассказами, как пионеры помогают пограничникам. В журналах «Пионер» и «Дружные ребята» тоже печатались такие истории, в прозе и стихах. Герой одной из них, Вася Иванчиков, гуляя с другом возле колхозного поля, увидел как среди моря золотых колосьев вдруг что-то «зачернело, словно лодка на волне». Лодка оказалась плечами и кепкой незнакомого мужчины, который вежливо поздоровался с пионерами: «Здравствуй, русские ребята», — и пошёл своей дорогой. Вася послал друга на погранзаставу, а сам залез на высокую сосну — наблюдать. «Как узнать врага ты мог?» — спросил старший сержант после поимки диверсанта. Находчивый Вася секрета не скрыл: «Русский русскому не скажет: — Здравствуй, русский, здравствуй, брат».

Мы страстно мечтали обнаружить хотя бы одного шпиона. Петька считал, что на худой конец подошёл бы какой-нибудь диверсантский пёс: «Защита в ошейнике пачка бумаг: собаку послал с донесением враг». Но ближайшая граница находилась в трёх тысячах километров, к тому же Антон полагал, что пёс из стихотворения — редкое исключение в благородной собачьей генерации.

Другое дело — люди, например, физик Александр Петрович Баранов. Приехавший с КВЖД, а до этого живший в Харбине, весёлый, мелкокудрявый, носивший роскошную серую тройку японского шевюта (агентурное сведение из подслушанного Мятom разговора возле учительской), Барашек идеально подходил на роль японского шпиона.

Рассказывал, что в Харбине бывал на концертах Вертинского и Лемешева. Вертинский — понятно, но Лемешев? Не могли разрешить народному артисту выступать перед белоэмигрантами. Было ясно: за Барашком надо следить. Мы залегали в бурьяне на краю соседнего огорода, но видели только, как Барашек ходил в клозет и сушившиеся на верёвке его кальсоны — шёлковые, как у штабс-капитана Рыбникова. Забавнее всего

оказалось то, что, как узнали мы через много лет, Баранов действительно был завербован ещё на КВЖД, но разведкой не японской, а вовсе даже советской.

Одно время на роль шпионки у нас пробовалась ботаничка, дочь Кибаленко- Котырло, сотрудницы дореволюционного «Нижегородского листка». В Чебачинск она попала, сказав в учительской: по мнению её матери, молодой Горький печатал в этой газете очень плохие статьи и рассказы, а в другой раз высказав уже своё мнение, что роман Панфёрова «Бруски» надо бы назвать «Булжники».

Подозрение на ботаничку пало по причине её исключительно уединенной жизни. Она даже не ходила на переменках в учительскую, а стояла в коридоре, положив портфель на подоконник. Знакомство водила только с одним человеком — своей землячкой, дочерью известного саратовского краеведа и историка Гвоздаво-Голомбиевского. Но у ботанички обнаружился брат, переведённый из Забайкальского военного округа, — он вряд ли позволил бы ей податься в шпионки.

Школьная комсомольская организация, как и пионерская, работала вяло, плохо выполняла роль кузницы кадров, что сильно расстраивало парторга Сорок Разбойников — в её время комсомольцы устраивали шествия возле церквей, пели «Долой, долой монахов, долой, долой попов, мы на небо залезем, разгоним всех богов!», комсомольский билет носили у сердца. У нас билет с собою таскал только Петька Змейко, но, сильно помяв его в куче мале и вымочив, когда свалился с лодки, носить перестал.

В комсомол принимали чохом, всем классом сразу, что Сорока Разбойникам тоже не нравилось, она значительно поглядывала на огромную копию маслом с цветной репродукции в «Огоньке» «Приём в комсомол. Сталинское племя» — там вступающего горячо обсуждали, а он стоял потупясь. Правда, на втором этапе, в райкоме, выборочно

задавали вопросы, список которых передавался в школе из поколения в поколение: какие должности занимает И.В. Сталин? Сколько членов в составе Политбюро? (Тут многие сбивались.) Как расшифровывается ВКП(б)? Но бывали и отклонения. Галю Гладун спросили, есть ли среди её родственников члены партии? «Есть. Крёстная», — простодушно ответила вступающая.

Впрочем, был случай индивидуального приёма. Когда в седьмом классе все вступали коллективно, Генка Гежианов заготавливал дрова и остался вне рядов. В десятом в видах предстоящего поступления в институт он этот недостаток решил ликвидировать.

Отец погиб на фронте, у больной матери он был единственный

работник. С весны до поздней осени копал, сажал, окучивал, полон пятнадцать соток огорода, ухаживал за кабаном, стеклил теплицу, пилил, колос, косил сено, которое они с матерью вывозили на корове.

Я любил Генку за неунываемость, знание сельского хозяйства и за то, что он хорошо пел «Выхожу один я на дорогу», и охотно дал ему рекомендацию, рассказав, как он возит сено и дрова на корове, которая от этого даёт мало молока. Всё шло путём, но в середине приёма Генрик Гассельбах, сделавший позже карьеру в райкоме, вдруг спросил:

— Ты вступал в пионеры?

— Вступал.

— Значит, ты пионер?

— Пионер, — не очень уверенно ответил Геннадий.

— А почему ты не носишь пионерский галстук? Генка растерялся. Галстук у нас не носили даже сентёпки-второклашки и пескари-третьеклассники, и представить его на шее восемнадцатилетнего парня ростом под косяк двери и с плечами грузчика можно было только в виде дикой шутки. Однако вопрос очень понравился Сорока Разбойникам.

— Да, действительно. Пусть вступающий в ряды ответит на этот вопрос.

Антон физически ощущал гнусность вопроса — будто ему, как однажды в детстве, за шиворот засунули клубок пиявок, но как выйти из положения, придумать не мог; сковывала и Сорок Разбойников.

Ситуацию спас Петька, не смущавшийся присутствием никаких Разбойников. Он заявил, что удивлён некомпетентностью члена комсомолитета, не знающего, что из пионеров выбывают по возрасту.

— После этого ещё не вступивший в комсомол считается несоюзной советской молодёжью, — веско, как бы на что-то намекая, заключил Петька и сел на место.

— Откуда сведения? — по-индейски, не разжимая рта, спросил Антон.

— Только что выдумал, — ещё с большим индейским искусством отвечал Петька.

— Их бить их же оружием.

Петька не боялся ни учителей, ни директора, ни даже секретаря райкома, которому на встрече с молодёжью сказал в лицо, что на хоздвор райкома завозят лучший карагандинский антрацит, а в школу — угольную пыль. Такой смелости Антон завидовал.

Когда умер Сталин, Антон, придя домой, стал рассказывать, как плакали школьники и учителя.

— А я буду плакать позже, когда все перестанут, — сказал дед.

Про Сталина от него кроме слова «бандит» Антон не слышал ничего другого и деду верил. Но когда по радио пели «Чтобы руку поднял Сталин, посылая нам привет», Антону тоже хотелось идти в колонне мимо мавзолея.

Когда возвращались с траурного митинга и молчать было вроде неудобно, Антон сказал мрачно:

— Умер последний классик марксизма-ленинизма.

— При чём тут марксизм-ленинизм! — возразил Петька. — Человек какой!

Из репродуктора на столбе нам сказали: по всей стране на пять минут будут остановлены поезда и пароходы (дед вчера интересовался — а самолёты?), фабрики и

заводы и включены заводские и прочие гудки. И действительно, заглушая радио, заревел гудок промкомбината — единственного промышленного предприятия Чебачинска. Мы остановились, послушали. Занятия были отменены, и мы пошли к Петьке и под траурную музыку из чёрной тарелки репродуктора до вечера играли в дурака.

26. Приобретённые признаки наследуются

Надо было ещё съездить на дачу к тётке жены — помочь в саду-огороде. Делать это Антон не любил из-за её агрономической и общебиологической безграмотности, которая не уменьшалась, хотя дача существовала уже лет тридцать. Владелицу Антон не мог убедить завезти на участок перегной и птичий помёт, да и самим устроить землеудобрительные туки, не перекапывать приствольные круги, что разрушает поверхностную корневую систему, а только мульчировать их, делать посадки под зиму. С дедова голоса он произносил речи о том, что на тяжёлых и холодных землях такие посадки необходимы: зерно будет мучнистее, волокно конопли и льна — плотнее, ядро у масличных — тяжеловеснее и выход масла больше, подзимние лук и чеснок обладают большей укоренённостью и лучшей кустистостью, более тучной зеленью, морковь содержит больше каротина и поэтому ярче, оранжевее... Завести Антона на любую научную тему можно было с пол-оборота. По утрам, за чаем на веранде тётка просила провести очередную беседу по агрономии.

— Вы же всё равно ничему не последуете.

— Мне нравится сам язык. Как жаль, что я не знакома с твоим дедом. А ведь, в сущности, можно было бы съездить, поговорить...

Но людей с подобным отношением ко всякому знанию дед терпеть не мог и разговаривать с ними избегал.

На огороде и в саду дитятей Антон проводил с дедом целые дни. Высевали семена, сажали рассаду, вносили органические удобрения, по ходу дела дед осуждал увлечение неорганическими и предсказывал, что мир вернётся к навозу. Много лет спустя Антон прочёл — уже некому было об этом рассказать, — что в Англии возникло целое движение «натуралистов», отрицающих минеральные удобрения. Ещё позже в какой-то газете он увидел идущего за плугом с симпатичной лошадкой пахаря, напомнивших ему левую часть картинки «Прежде и теперь» из «Календаря колхозника» (на правой был трактор).

Подпись гласила: «В Англии создаются курсы для фермеров, которые отказываются от использования тракторов в сельском хозяйстве и возвращаются к «лошадиной силе» в прямом смысле слова. На снимке: практические занятия на курсах фермеров». Деда это тоже бы не удивило, он всегда говорил: трактор слишком тяжёл, нарушает структуру почвы, вот если б плуг один ходил по пашне.

О структуре дед говорил часто, это красивое и полезное слово Антону очень нравилось, ещё лучше звучало структурирование, которому помогали прекрасные животные — дождевые черви, в хорошей почве их может быть несколько сот пудов на гектар, дед объяснял, почему они выползают после дождя на дорожки. Трудно было потом удержаться, чтобы не написать про это стихи. «Дождь прошёл, струи его косые затопили дышащую слизь. Мраморные черви дождевые по дорожкам сада расползлись. Персть его безжизненно-нелепа, вялая покинутость чехла. Где Земли частицы слиплись слепо, там его дорога пролегла. Кольцевые мышцы совершенны, безупречны, как Линнея лист, дух структуры господинно-пленный...»

Идеи Костычева и Докучаева дед излагал девяти-десятилетнему, верил, что тот запомнит.

Формировали кроны деревьев и кустов, делали прививки, посыпали смородину табачной пылью (ядохимикатов дед, разумеется, не признавал).

Отдыхали под старой яблоней на сделанных из старых пней и узловатых ветвей креслах, очень удобных, дающих развязку членам, и разговаривали. Это Антон любил больше всего, это была компенсация рассказов на ночь, которые летом прекращались, ибо дед дотемна копался на огороде, а ребенка по швейцарской системе укладывали спать рано. Антон рос, разговоры продолжались. Темы задавал он сам.

— Расскажи про семинарию.

Дед рассказывал про Виленскую духовную семинарию.

— Учителя у нас были хорошие. Отец Панкратий Добронравов, впоследствии он стал епископом, Евфимий Федорович Карский, будущий академик, — он, собственно, был преподавателем русского языка и словесности второй виленской гимназии, а у нас совместительствовал, вёл церковно-славянский язык.

— А соученики?

— Нет, никто как-то не прославился. Впрочем, вру: один, уроженец Лиды...

— Где родилась наша баба?

— Помнишь. Фамилия его была Коган, выкrest, я уже забыл, учился он у нас или только бывал в нашей компании, талантливый, эрудит, легко усваивал языки. Он стал потом известным критиком-марксистом. Я, когда преподавал литературу в техникуме, взял почитать его книгу — чушь какая-то.

Старшие семинаристы назывались философами, средние — риторам.

— Как у Помяловского? — Антон уже прочел только что полученные в приложениях к «Огоньку» «Очерки бурсы».

— Что описывает Помяловский — ничего такого не было. У него бандиты какие-то, а не бурсаки!

Диспуты у нас на темы догматические (дед косился на Антона, но слова не объяснял) вели философы и, пожалуй, риторы. Как преобразится мир после Страшного суда? Что есть вера? Бог создал мир сразу или по частям? Мы, синтаксисты, младшие, больше любили разговоры.

— Болтать друг с другом?

— Нет, так называлось нечто вроде театральных представлений, на которые приходила и посторонняя публика — актовая зала иногда не могла вместить всех. Какие разговоры? Между частями речи: каждая утверждает, что она в языке самая важная. Или дьячок Филогел защищает новое время, а Харофил — старое, когда все семинаристы знали, что около земли стоит «иже», буква, а не какая-то атмосфера, или умели не думая сказать, в каком псалме ни разу не встречается литера «буки».

— Дед, а зачем это знать, про «буки»?

— Знание, кроме прикладного, существует не для чего, а для самого себя.

— А какие вопросы были на экзаменах?

— Разные... Например: в чём состояла ересь Ария? Или: каковы различительные черты каждого из четырёх Евангелий? Или попроще: изложить любое из Посланий Павловых. Но это для нас было просто, а какого-нибудь гимназиста спроси — станет в тупик. Разве он знал Евангелие? — дед начинал кому-то возражать, волноваться, этот вопрос и сейчас, через полвека, трогал его. — Гимназист знал не Евангелие, а священную историю Нового Завета сочинения священника Рудакова. Да и то нетвёрдо. Наговорит законоучителю всякой чепухи, а тот только: «Усвоили невразумительно», и ставит удовлетворительный балл.

Но это мне было уже неинтересно, я спешил сменить тему, спрашивал, как развлекались семинаристы.

— Как все отроки. Играли в чехарду, в карты, хотя они строго запрещались. Пели что? Светское не одобрялось. Но мы находили способ. Пели, — дед начинал на церковный распев, — такое: Отец благочинный купил нож перочинный... А хор: «У-ди-ви-тель-но!»...и тулуп овчинный... Хор: «Во-схи-ти-те-льно!» Пели вечерами, но внизу сидел сторож, он всё доносил по начальству. А тут — чисто: разучиваем литургию на глас шестый или

седьмой... Ну а паче чаяния, коли всё ж, слышим, подымается по лестнице наш Аргус, начинаем: «Et tonat, et donat» — старый бурсацкий перевод малороссийской песни: «И шуме, и греме, дрибен дощик иде, а кто

мени молодую тай до дому доведе...» Сторож послушает-послушает: латынь! значит, всё в порядке...

— Дед, в «Огоньке» кто пишет про слова, рассказал, как семинаристы получали фамилии вроде Преображенский, Рождественский. А как — присваивали такие: Алмазов, Элефантов?

— У нас в семинарии говорили: по церквам, по цветам, по камням, по скотам и яко восхощет его преосвященство.

— По скотам — это как?

— Лебедев, Павлинов, Единорогов, тот же Элефантов.

Но разговоры незаметно — видимо, влиял сад-огород — опять перетекали в естественнонаучную сферу.

В шестом классе Антон объявил, что будет агрономом, как дед, или биологом. Ему очень нравились яблоки и груши, нарисованные на цветных вкладках учебника ботаники.

Особенно аппетитно выглядела Бере зимняя Мичурина; при всяком удобном случае Антон спрашивал про этот сорт, но хотя насельники Чебачинска раньше жили почти во всех городах страны, никто такой фрукт почему-то не едал и в магазинах, на рынках не видал — как, впрочем, и другие мичуринские сорта.

Раз, придя из школы, Антон застал у деда какого-то старичка. Он приехал к дочери из Тамбова, когда после сессии ВАСХНИЛ был сначала лишён в институте кафедры как пригревший вейсманистов-морганистов, а затем вообще уволен. Узнав, что тамбовец не раз бывал в Мичуринске, Антон, не положив портфеля, вцепился в него насчёт Бере зимней Мичурина. Профессор серьёзно ответил, что, возможно, раньше Бере и была хорошим сортом, но когда он после войны приехал в те края, есть её было невозможно: твёрдая, несладкая, вяжет язык — видимо, к ней вернулись признаки её дикого предка.

Это произошло и с другими сортами Мичурина.

Антон как раз одолел пятьдесят страниц первого тома зелёного собрания сочинений Мичурина, которым дед премировали за хорошую работу в Батмашинском лесотехникуме, и параллельно читал брошюру общества «Знание» «И.В. Мичурин — великий преобразователь природы». Захлебываясь, Антон процитировал наизусть приведённую там цитату из какой-то довоенной газеты: «С юношеским задором работает старик Мичурин. Он вывел красящие сорта вишни и смородины, крыжовник, больше похожий на виноград. Новые мысли вспыхивают в мозгу великого садовода. Он спит и видит вишню без косточек, которую нужно создать по заказу советской промышленности». Великий селекционер вывел 300

сортов!

Эту цифру Антон уже раньше, тоже с захлёбом, называл деду (сам дед советскую научно-популярную литературу читать не любил: пока доберёшься до чего-нибудь осмысленного, занозишь вею душу, продираясь сквозь дурнолесье цитат из вождей и фарисейское многоглаголение). Но тот воспринял её скептически.

— Дед, ты опять ничему не веришь! — расстраивался Антон (огорчение усиливалось оттого, что дед в своей древней шляпе очень походил на портрет Мичурина).

— Ведь это же напечатано в брошюре!

— А отчего я должен верить именно в данном случае? Чем он отличается, например, от полной липы об урожаях зерновых?

— А Шыганак Берсиев?

Антон хватал учебник казахского языка и, старательно, как учил Казбек Мустафьевич, выговаривая задненёбные и фрикативные, читал, а потом переводил текст, где сообщалось, что казахский рисовод вырастил урожай в 200 центнеров с гектара.

— Ну? — с торжеством орал он. — Уж тут-то — правда! Это же здесь, в Казахстане!

— 1200 пудов... — задумчиво говорил дед. — Ни одна зерновая культура в мире до сих пор не давала такой массы на гектар... Смахивает на рекорд Стаханова. Хорошо б проверить, да где уж.

— Ему же героя дали! Дед только поднял брови.

— И не только 300 сортов! — продолжал волноваться Антон. — Он создал материалистическое учение!

— Чтобы создать учение, — серьезно сказал профессор, — нужны такие, как Вавилов, не знаю, знакомо ли тебе это великое имя, — он почему-то опустил голову. — Нужен дар систематизатора, сплавленный с другим, редчайшим даром — обобщения. А собрание сочинений Мичурина — это что? Не сведённые воедино многолетние наблюдения. Я думаю, он был талантливый и честный садовод-селекционер и в том, что лысенковцы после его смерти сделали из него знамя, неповинен. Хотя... Один из сортов его яблок назывался — пасхальное. Натыкаюсь случайно на фото в брошюре вроде твоей — именуется уже: антипасхальное... Мне кажется, в подымании его на щит Лысенкой важную роль сыграло то, что Мичурин тоже был самоучка — мы университетов не кончали. Как и Лепешинская: фельдшер по образованию, а опровергла основные положения клеточной теории!

Потом они заговорили про кок-сагыз, и я ушёл: растение это я

ненавидел. На кок-сагыз нас гоняли с третьего класса. Считалось, что этот маленький кустик-каучуконос изменит нашу экономику, дав стране отечественный каучук. Мы сламывали стебель, разглядывая и пробуя на язык выступившую каплю горького молока, которому предстояло выполнить такую задачу. Наша же была проще: ручной сбор каучуконоса.

Кок-сагыз был низкоросл, плантации густо зарастали подорожником, осотом, одуванчиками, его трудно было отыскать, корень у него был трематодный, длинный, сочные кустики ломались в руках, белый клейкий сок, смешиваясь с землёю, образовывал липкую холодную грязь. Горы облепленных этой чёрной с беловатыми пятнами грязью каучуконосов гнили потом возле силосных ям в колхозе; представить, что такое может куда-то сгодиться, было невозможно. Но так обстояло дело у нас — у нас вообще всё, что касалось сельского хозяйства, было плохо. Но где-то колосилась замечательная лысенковская ветвистая пшеница, шумели молодые леса, посаженные гнездовым способом.

В девятом классе Антон начал проходить «Основы дарвинизма». Эти основы преподавала Елена Дмитриевна Гулько. Она только что окончила биофак Свердловского университета, хотя было ей уже под тридцать: её исключили перед самой защитой диплома по генетике; восстановиться удалось только через пять лет; второй диплом она писала на другую тему: «Идеалистические основы и антинаучный характер вейсманизма-морганизма». На уроках она подробно рассказывала, как мичуринская биология отбросила реакционную выдумку — хромосомную теорию с её мистическими генами, мифическими носителями наследственности, и ещё более подробно, пол-урока, об опытах с горохом Менделя. В конце этого урока она вдруг замолчала, а потом стала говорить громко:

— Которые ничего не доказывают! Он был монах! Всё это — идеализм и поповщина! В выдающихся работах академика Трофима Денисовича Лысенко, — заговорила она ещё громче, — было показано! Главное — запомните: приобретённые — признаки — наследуются! — почти в крик повторяла она, стуча в такт указкой по столу.

— На-сле-дуются!

Когда проходили Лысенко, голос Елены Дмитриевны вообще становился другим, менялась даже осанка, лицо шло красными пятнами; звонок заставлял её посреди фразы, чего никогда не бывало раньше. Мы не понимали причин её волнения, но сидели тихо.

На одном уроке она продемонстрировала фотографию монумента, недавно установленного в городе Остроге: Лысенко сидит рядом со Сталиным, который смотрит на зажатый в своей руке снопик ветвистой

пшеницы. Когда вождь умер и мы всей школой, без строя стояли в коридоре у репродуктора и слушали музыку, время от времени

прерываемую голосом Левитана, Елена Дмитриевна вдруг захохотала, зарыдала, стала что-то выкрикивать, её увели. Но это было позже, а пока мы изучали теорию и практику Лысенко. Подробней, чем в учебнике, — и яровизацию, и внутрисортное скрещивание, и летние посевы люцерны, и превращение ольхи в берёзу, ржи — в василёк.

Дед высказывался о Лысенке, но всегда очень кратко: невежда, шарлатан. Может, он плохо знал его теорию и не представлял успехов его практики? Я пересказал одну из лекций нашей учительницы. Что дед не со всем согласится, я предполагал. Но я не знал деда! Он впал в бешенство — это был тот единственный случай, который я потом мог вспомнить за всю жизнь. «Бред сивой кобылы», «безграмотная чушь», «дубовым поленом, да всё по коленам!», «мура собачья» — я и не представлял, что дед знает такие современные слова, как «мура».

— Про превращение сосны в ель или граба в лещину я как агроном, да и просто нормальный человек не буду и говорить. Но все другие его идеи, — дед постепенно успокаивался, — это обычное советское очковтирательство, только более наглое. Но хорошо: возьмем едва ли не единственную более или менее здравую — собственно, после неё он и пошёл вверх, — яровизацию. В нашем известном тебе колхозе её применили.

Прибавка была — четыре килограмма на га. А у Лысенки — центнер, шесть пудов! Конечно, «Двенадцатая годовщина Октября» — ужасный колхоз, но зато у него какие чернозёмы. Нет, в прибавке не может быть такой огромной разницы.

Говорили о Лысенке до вечера, а на другой день Антон, отвечая на уроке, привёл один из дедовых антилысенковских аргументов. Дулько его ответ — чего никогда не делала — тут же прервала.

— Это ты откуда взял? — спросила она нервно. Антон замялся, но сказал про деда.

— А кто твой дедушка?

— Агроном.

— Я тебе пока не ставлю оценки. Прсле урока подойди ко мне.

Елена Дмитриевна сказала, что хотела бы поговорить с дедушкой, а узнав, что ему семьдесят семь лет, добавила, что готова прийти сама, если дедушке трудно. Дед ещё этим летом ходил пешком за двадцать вёрст в Котуркуль и в тот же день к ночи возвращался, но Антон промолчал, не помня, чтоб он хоть раз к кому-нибудь пошёл в гости — не стал даже

смотреть дом, который после войны купили тётя Лариса и Василий Илларионович.

Елену Дмитриевну ждали в субботу. Некстати зашёл Бондаренко. Задержал его, впрочем, сам Антон, тут же в него вцепившийся:

— А как вы используете на вашей бойне кровь?

— Никак, — удивился тот. — Стекает себе по сливам в траншею.

— «Собираемая при убое кровь, — затараторил Антон, — может быть перерабатываема или в пищу, для изготовления колбас, или на выработку светлого и чёрного альбумина, клея, пуговиц, красок...»

— Это ты где вычитал? В брошюре, что я у твоего дедушки видел?

— Нет, в книжке «Зависть».

— Что за чепуха.

Антон принес тоненькую потрёпанную книжку, которую ему дал преподаватель русского языка и литературного чтения в пятых классах, ссыльный куйбышевский доцент.

— Юрий Олеша, — прочёл вслух боец скотобойни. — Зависть. — Перевернул страницу, прочёл: «Он поёт по утрам в клозете». Что за чепуха, — повторил Бондаренко.

— Когда это напечатано?

Интересный разговор прервала появившаяся Елена Дмитриевна. Дед встретил её в своём знаменитом, сшитом ещё до первой мировой войны бостоновом костюме, усы его были тщательно подстрижены.

— Рад познакомиться с коллегой, тем более с такой очаровательной дамою, — дед пожал учительнице руку, при этом низко наклонившись; она руку испуганно отдернула.

— Я пришла поговорить о вашем внуке, — сказала она тоном, показывающим, что тут не до светских любезностей. — Точнее, о его судьбе, его будущем. Которое меня беспокоит.

— Чем же оно беспокоит вас, глубокочтимая Елена Дмитриевна?

— Вы, Леонид Львович, получили агрономическое образование давно. В последние годы как в теории, так и в практике сельского хозяйства произошли большие перемены.

— Не могу компетентно судить о теории, но в практике — пожалуй. Урожайность по сравнению с довоенной упала на 18–25 пудов... на 3–4 центнера с га.

— Не знаю, откуда у вас такие цифры, — на лице учительницы появилось первое красное пятно, — в печати их не было. Но я не об этом. Антон, слыша в школе одно, а дома другое...

— Антон, — сказала появившаяся на пороге мама. — Дай дедушке

поговорить с педагогом.

Антон со вздохом поднялся. Когда через полчаса мама куда-то ушла, он шагом Чингачгука подкрался к закрытой двери. За ней бушевали страсти. Говорили не о нём.

— Овсяг порождается пшеницей и овсом и сам порождает овёс! — гремел дед. — Сосна превращается в ель, малиновка в кукушку! Неужели вы можете верить в эту чушь? Ведь вы биолог, Елена Дмитриевна, а не какой-нибудь пишуций о Лысенке Фиш («Фиша прочёл!» — поразился Антон), понимающий — простите за плохой каламбур — не больше рыбы в сухопутных растениях и животных. Кукушка не откладывает яиц. Что за детский лепет! В учебники вошло — ещё знаменитый Дженнер наблюдал её кладки.

— Но вы не можете отрицать, — нервно говорила Гулько, — теоретическую ценность учения о наследовании благоприобретённых признаков.

— Могу. Чистейшей воды ламаркизм — вы не хуже меня знаете, что всё это давно опровергнуто.

— А новое учение о клетке Ольги Борисовны Лепешинской? А идеи Вильямса? Или вы с трудами этих ученых не знакомы?

— О Лепешинской квалифицированно как не цитолог судить не берусь, хотя чтоб клетка возникала не из клетки, а неизвестно из чего... Что же касается Вильямса — его я читал, а «Травопольную систему земледелия» даже преподавал. Там есть здравые идеи, но из неё тоже сделали панацею на все случаи жизни. Да и самое систему лысенковцы извратили. А что Вильяме пишет об урожайности? «Земля будет работать на социализм», средний урожай социалистических полей будет 100 центнеров с га — это же 600 пудов! А реально по Союзу до войны, когда он всё это писал в «Правде», было 60 пудов с га — тогда ещё публиковали цифры. Сейчас же во многих районах — 30. Столько собирали, наверное, при Владимире Красное Солнышко, да, я думаю, и поболее!

Дед был прав. Для местного колхоза «Двенадцатая годовщина Октября», где мы проработали все школьные годы, 50 пудов считалось — потолок. Антон однажды рассказал деду, как в романе про кавалера золотой звезды на собрании главный герой взял обязательство собрать 250 пудов с га, а какая-то председательша — 180, и ей никто не хлопал; дед очень смеялся.

Заскрипела калитка — вернулась мама. Антон с сожаленьем открался от двери. А когда минут через двадцать кто-то её распахнул, дед говорил о летних посевах люцерны — видимо, и эта директива Лысенко не годилась,

а про люцерну дед всё знал: роясь как-то в его тумбочке, Антон нашёл пожелтевшую газету с дедовой статьей: «Сейте люцерну!» Жалко, он не прочитал статью, а попросить у деда было неудобно, потому что сам он про неё ничего не говорил, как и про свою статью «Пчелиное молочко» — продукт, видимо, потрясного вкуса. Учительница была уже в пальто, когда дед перешёл к гнездовым посадкам деревьев — работники лесополос, не зная, что это высокая теория, отсутствие внутривидовой борьбы, а просто видя, что одни саженцы угнетают другие, самостийно такие посадки разреживали.

От внутривидовой борьбы было рукой подать до Дарвина, стало ясно, что теперь всё пропало совсем.

У деда было особое отношение к Дарвину, которого не разделял даже тамбовский профессор, ставший приятелем деда и во всём остальном проявлявший с ним удивительное единодушие. В подробностях дедову позицию Антон не знал — после одного спора друзей, при котором случайно присутствовал отец, он сказал деду: «Оставьте мальчику хоть Дарвина. Ему экзамены сдавать — и в школе и в институте».

— Я антилысенковец, но я дарвинист-эволюционист, — говорил профессор во время того спора. — Как можно не признавать заслуг такого великого ученого.

— Я признаю, — смиренно соглашался дед (Антон знал этот тон — он был сигналом к высказыванию самых твёрдых убеждений деда). — Дарвин — крупная величина. Но абсолютно всё сводить к естественному отбору, отверганию целеполагающих начал и полному господству хаотических случайностей, из которых вдруг возникает изумительное по стройности замысла здание Природы (при этом слове дед должен был поднять руку над головою — и поднял), — извините.

— В вас говорит семинарист, с детства уверовавший в чудо и гармонию творения.

— Возможно, хотя и из семинаристов выходили Добролюбовы и Чернышевские. Главный наш гонитель Бога тоже учился в семинарии.

Но Елена Дмитриевна, было заметно, хотела поскорее уйти и тему не поддержала. Когда Антон провожал учительницу до калитки, уже всё её лицо было в красных пятнах.

— На следующей неделе в школе, — сказала она, — комиссия РОНО. На уроке будет Энгельсина Савельевна, биолог из железнодорожной школы. Она всегда просит вызывать тех, у кого пятёрки. У меня к тебе просьба: отвечай строго по учебнику.

Договорились? — она скомкала косынку и быстро пошла по улице.

Дед тоже выглядел взволнованным — такое приходилось видеть нечасто.

— Я и так высказал ей, — возражал он на что-то маме, — половину того, что думаю про этого мракобеса, умолчав о главном: падение урожая из-за всё новых и новых его фокусов даже на десять пудов на га — а на самом деле больше — даёт по стране не менее миллиарда пудов! Мерзавец не мелочится! До войны везде искали вредителей. Вот он, настоящий, не липовый!

Советскую прессу дед почти не читал, но сведения о состоянии сельского хозяйства и биологической науки как-то стекались к нему: писали бывшие слушатели его лекций в агрономическом институте в Екатеринославе, то с оказией присылал письмо в тридцать страниц на ремингтоне знакомый по киевскому съезду зоологов 1930 года, то что-то целыми днями рассказывал проживший неделю за печкой хромой старик, которого только что выгнали со знаменитой Харьковской опытной станции, той самой, куда, с удивленьем узнал Антон, приглашали когда-то и деда после нескольких его статей о люцерне; недели две ходил обедать другой старик, беззубый, отбывший срок то ли в Долинке, то ли на Балхаше, ученик зоопсихолога Вагнера, поразивший Антона заявлением, что самое великое произведение русской классической литературы — рассказ «Каштанка».

Антон запомнил много непонятных и звучных слов: номогенез, инцухт, гетерозиготный, полиаллельное. Фамилии упоминались тоже красивые: Шмальгаузен, Эмме, Бей-Биенко. Старики много спорили, но в одном сходились все: в ненависти к Лысенко. Антон тоже стал его ненавидеть, и всё больше. Потом, в Москве, когда он узнал про судьбу Вавилова и всей генетики и когда на выступлении Лысенко в МГУ увидел его безумные глаза и услышал скрипучий голос, ненависть выросла до отвращения, зубовного скрежета. Через много лет, когда все подписывали письма в высшие инстанции, а Антон считал, что толку с этого не будет никакого, единственное исключение он сделал, подписав письмо против народного академика, хотя по-прежнему не верил, что выйдет толк. Не было никого и никогда, кого Антон ненавидел бы сильнее.

27. Вольф Мессинг, гр. Шереметьев, барон Унгерн и прочие

Отец был человеком признательным и часто вспоминал своих благодетелей: Ивана Порфирьича Охлыстышева, учившего его слесарному делу, директоршу семипалатинской средней школы Екатерину Фёдоровну Салову, взявшую его на работу, несмотря на то, что он только что был исключен из комсомола (за разглашение на политинформации цифры пособия американского безработного, которое оказалось в несколько раз выше зарплаты токаря седьмого разряда), бывшего ученика деда сотрудника чебачинского НКВД Шаповалова, предупредившего, что у деда, если он не перестанет болтать, будут большие неприятности. Запомнил эти имена Антон именно от частого их упоминанья. Такое же благодарное отношение отец предполагал и у других. Уезжавшего учиться в МГУ Антона он снабдил рекомендательными письмами к своим довоенным друзьям.

Первым, к кому поехал Антон, был некто Ратинов, в своё время два месяца проживший у Стремоуховых на Пироговке, где он отсиживался от НКВД. Впрочем, даром времени он не терял и к концу второго месяца женился на соседке по коридору. Взяв её фамилию (своя была — Драпов, и Антон, недавно узнавший, что ратин — тоже ткань, думал, что отец шутит), вышел из подполья, с новой фамилией явился на швейную фабрику «Большевичка» и сказал, что хочет в пошивочный цех, где как раз начали шить входящие в моду у аппарата ратиновые пальто. Это тоже походило на среднего качества юмор, однако Ратинова-Драпова тут же зачислили, и он сделал большую карьеру: в войну был замом главного интенданта 2-го Украинского фронта, одевал маршала Конева, а ныне занимал какой-то большой пост в Министерстве лёгкой промышленности. Жил он в высотном доме на Котельнической набережной.

Прочитав письмо, Ратинов с некоторым недоумением посмотрел на визитёра.

— Тут Петруша пишет, чтобы я со своими связями в министерстве помог тебе купить зимнее пальто. Он хочет — что? чтоб я сходил в наш закрытый магазин с тобою? Но зачем? То, что там висит, тебе не по карману. Тебе сколько денег дали? Я так и предполагал. Вообще, или я что-то не понимаю, или твой отец. На дворе не тридцатые годы, про которые он

в письме вспоминает... Пальто на тебя можно купить в любом универмаге. Где ГУМ, ЦУМ, ты, наверное, уже знаешь.

Второе письмо было адресовано некоему Юрию Сергеевичу Ивашкину, с которым отец, кажется, прогуливал материнское наследство. Он тоже уже был каким-то чином — в исполкоме г. Электросталь ведал пропиской. К нему Антон явился прямо в служебный кабинет. Тот, ожидая Антона, прочтя письмо, добро улыbnётся и скажет, как немец генерал в «Капитанской дочке»: «Так он ещё помнит стары наши проказ». Но Ивашкин ничего не сказал. Ещё раз пробежав длинное письмо (о чём мог ему писать отец на четырёх страницах?) и подняв глаза на Антона, который в это время внимательно разглядывал большой во весь рост портрет Сталина в мундире генералиссимуса, хозяин кабинета бросил: «Перенесли из кабинета главного» и вопросительно уставился на Антона.

— Так что вы с твоим отцом хотите? Пётр пишет: «Ты, ведая пропиской всего города...» Ну, он несколько преувеличивает, но в общем и целом, конечно... А что нужно- то? Ты живёшь — где? В вашей старой квартире на Малой Пироговке? В общежитии МГУ? Тебе нужна прописка в Электростали? Нет? — Ивашкин поднялся из-за огромного двухтумбового стола. — Ну, звони. Телефон возьми у секретарши.

Телефона Антон брать не стал, а из прочих рекомендательных писем решил отнести только одно — к графу Шереметьеву.

В начале тридцатых граф уцелел потому, что при смене документов паспортистка вставила мягкий знак в его фамилию, и он везде говорил: «"Полтаву" читали? Откройте том Пушкина: «И Шереметев благородный...» А я — Шереметьев, из жителей подмосковной деревни Шереметьево, где собираются строить аэродром». Однако он всё ж таки загремел, глупо, уже в тридцать девятом, когда, наоборот, кое-кого выпускали. Впрочем,

получил скромно — пятилетнюю ссылку, которую отбывал в Чебачинске. После истечения срока ему каким-то образом удалось — редкий случай — не получить минус десять (городов), а вернуться в Москву.

Бормоча «И Шереметев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин», Антон отыскивал старый дом в Богословском переулке.

Когда Шереметьев представлялся, перед фамилией он делал паузу и издавал некоторое небольшое как бы мычанье, будто пропуская какое-то слово. Многие догадывались и, как в «Подростке», спрашивали: «Граф?» — на что граф снова неопределённо мычал.

По телефону отвечал его дядька. Он тоже делал паузу: «У аппарата

Фёдор», и после маленького молчания: «Нилыч». Дядьке перевалило за восемьдесят, это был крепкий, свежий старик с длинными пушистыми седыми висками, очень похожими на баки. Он был сыном другого дядьки Шереметьевых, родившегося ещё при крепостном праве и состоявшего при отце графа. Граф-сын называл своего дядьку Фёдор и на «ты».

Будучи старше графа Григория Александровича лет на двадцать и находясь при нём с младенчества, Фёдор поехал за ним и в ссылку, хотя его как социально близкого никто ссылать не собирался. В Чебачинске граф бедствовал, существуя только огородом, который они обрабатывали вместе с Фёдором, да небольшими денежными переводами, посылаемыми ему из Омска другом отца, бывшим белым офицером, сумевшим это скрыть и в новой жизни хорошо устроившимся — завскладами при гортопе.

В Москве Григорий Александрович существовал, как он острил, тоже переводами, переводя на язык родных осин со всех основных европейских языков, с каких требовалось в данный момент. «Я не брезглив, — говорил он, заворачивая, однако, нижнюю губу, — перевожу даже с польского». Жил он вполне безбедно; за столом неизменно подымал тост: за кормильца и поильца; таковыми оказывались то прогрессивный писатель Алан Силлитоу, то Луи Арагон, то Анна Зегерс. Подписывал он свои переводы так: «Гр.

Шереметьев».

Антон привёз ему приветы от своих родителей вместе с трёхлитровой банкою солёных груздей — граф очень уважал их под водочку и говорил, что таких груздей нет больше нигде в мире. Пригласил бывать, и несколько раз Антон присутствовал у графа на приёмах.

Фёдор надевал белые перчатки и расставлял потемневший старый сервиз с сеткой мелких трещин, устраивал на колесиках вилки и ножи — второй после бабкина стол, где Антон увидел такие колесики.

Антон Фёдор заужал по случайности. В первый свой визит опоздавший Антон попросил передать ему вон ту тройную менажницу. Как потом выяснилось, этот предмет только что был объектом обсуждения — никто не мог вспомнить, как он называется (Фёдор, бесспорно, знал, но вмешиваться в барский застольный разговор не смел).

Самый старый из гостей, бывший приват-доцент Санкт-Петербургского университета, уже успел выстроить целую теорию. Он заявил, что в последний раз видел эту деталь сервировки в ресторане Палкина в тринадцатом... нет, на год раньше, когда погиб «Титаник». А от долгого неупотребления атрофируются не только внешние органы, но и мозг. Так считал Ламарк, который, кстати, не так давно снова вошёл в

большую моду.

Гости были — какие-то старики, глухие и молчаливые. Справа от Антона оказалась седая дама с трясущейся головой в наколке со стеклярусом, ей время от времени сосед переводил на французский кое-что из разговоров — прожив последние сорок лет в Париже, она по-русски говорила плохо, и с годами всё хуже. Съев свой пудинг, она быстро отрезала кусок пудинга на Антоновой тарелке и ловким движением при помощи ножа и вилки перебросила на свою. Антон подумал, что здесь так принято, и сделал вид, что ничего не произошло. Про визави Антона, с бородою сильно впрозелень (до того вечера Антон считал, что эпитет «зеленобородый» — метафорический), Шереметьев

сказал, что он — писатель, правда, последняя его книга вышла у Сабашниковых в двадцать пятом году.

Однажды Антон увидел здесь знакомое лицо: князя Голенищева-Кутузова, который недавно вернулся из эмиграции, — однокашника графа то ли по кадетскому корпусу, то ли по какому-то пансиону. Рассказывали, что, из-за редкости таких возвращений или уважения к фамилии, князя сразу по приезде пригласили к зампредседателя Моссовета Суворову. Заместитель встал и, протянув руку, представился: «Суворов». Голенищев протянул свою и сказал: «Кутузов». Суворов побагровел, но референт что-то шепнул ему на ухо, тот успокоился и заулыбался. Голенищев-Кутузов читал на филфаке спецкурс по Данте, на который ходили и историки, и философы. На первой лекции произошло небольшое недоразумение. Седой, красивый князь, выложив на кафедру огромный с золотым обрезом том *in folio*, оглядел битком набитую аудиторию и сказал что-то по-итальянски. Во фразе было имя Данте, студенты приветливо заулыбались. Он сказал ещё несколько фраз по-итальянски. Через несколько минут у аудитории закралось подозрение: не собирается ли парижский профессор весь курс читать на языке «Божественной комедии»? Прошло ещё несколько минут, он что-то спросил; сидевшие в первом ряду студенты и аспиранты-итальянисты закивали головами, лекция продолжалась. Аудитория зашумела. К кафедре, ступая, как по раскалённым углям, и взмахивая попеременно руками, чтобы показать, что он идёт необыкновенно тихо, подкрался завкафедрой романо-германской филологии и что-то зашептал князю в большое ухо. Голенищев замолчал, посмотрел на зава, на слушателей и сказал по-русски, приятно грассируя: «Дамы и господа! Пгошу пгощения! Видимо, я невежно понял свою задачу. Я полагал, что буду выступать пред теми, кто в подлиннике читает великого флорентийца. И даже несколько удивился, — он изящно-округлым манием

руки обвёл многочисленную аудиторию. — Но если будет угодно, я готов читать на родном языке».

И стал; но прочитав одну-две терцины, ещё несколько фраз, видимо, разогнавшись, произносил по-итальянски.

О языках у Шереметьева говорили часто: многие из присутствующих преподавали — кто французский, кто английский, кто немецкий. Об уровне знания языков в новейшее время мнения граф Шереметьев был невысокого; позже, в 60-е годы, он говорил Антону, что за ощущение живой плоти даже самого распространённого, английского языка ценит только: среди писателей — Набокова, среди переводчиков — Суходрева, а среди филологов — профессора Аничкова.

До войны Шереметьев преподавал в какой-то шпионской школе под Москвой.

— Любопытно узнать, каковы были эти ваши ученички? — поинтересовался один из гостей, бывший (здесь бывшие были все) старший инспектор Второй московской гимназии Акакий Акакиевич — при его имени Антон всякий раз вздрагивал. — Усердные или не очень? Вы их встречали потом?

— Где ж я их мог встречать, милый Акакий Акакиевич, — развёл руками граф. — На Унтер-ден-Линден?

Все вежливо заулыбались, а старуха со стеклярусом сказала восхищённо: «О, это прекрасная улица! C'est la belle rue!»

— Впрочем, об одном все наверняка слышали. Это — знаменитый Кузнецов, Герой Советского Союза, застреливший — кажется, в 43-м году — имперского министра финансов генерала Геля, главного судью генерала Функа и кого-то ещё из гитлеровских бонз, раскрывший, что ставка Гитлера — Вольфшанце находится под Винницей.

— Пауль Зиберт? — встрепнулся Антон, читавший всё о партизанах и разведчиках; Кузнецов был его кумиром. Казалось непостижимым, как в уральском городе обычный инженер смог так изучить язык, бытовую культуру, немецкий военный обиход, что свободно вращался в кругу офицеров третьего рейха и не попался. — Но как же?.. Ведь он, как известно, работал инженером на Уралмаше, был призван в армию, ушёл в партизаны...

— Не знаю, кому это известно, но он учился у меня в разведшколе — первый год. А потом — абшид, перешёл, как все, в Fortgeschrittene Gruppe, высшую, это уже в другом месте, которую вёл туземец. Потом, сколько я знаю, его заслали лет на пять в Германию.

— А туземец — это кто?

— Наш жаргон. Означает: носитель языка. Этот преподаватель был немецкий коммунист, потом его, понятно, расстреляли. Меня, собственно, из-за него и выслали — за связь с иностранцем. Правда, у меня ещё до этого была провинность, но тогда обошлось.

Про ту провинность Антон уже знал: во время пушкинского юбилея 37-го года в речи на каких-то торжествах в институте иностранных языков Шереметьев сказал, что Пушкин испытал влияние Байрона.

— Но вы же с этим немцем всего лишь преподавали вместе, одна кафедра, да ведь...

— От уроженца Чебачинска, Антон Петрович, не ожидал, извините, голубчик, таких наивных вопросов.

Антон замолчал. Вслед за капитаном Гастелло, героями-панфиловцами, рядовым Матросовым рухнула последняя красивая легенда — простой уральский инженер оказался профессиональным разведчиком, стажировавшимся в Германии.

Рассказывал чаще всего сам граф, его истории были всегда интересны. От него первого Антон услышал о съеденном каннибалами профессоре-египтологе, с дочерью которого он потом близко познакомился; как-то граф рассказал о своей летней поездке по бывшим своим именьям — знал, конечно, что там колхозы или совхозы, но надеялся, что от усадеб что-то осталось. Не осталось ничего. Местоположение бывших своих вилл он, как Шлиман, угадывал по реке, холмам, остаткам парков.

Однажды он поведал про последнего представителя индейского племени ара. Люди этого племени отождествляли себя с попугаями ара и очень этим гордились. На последнего индейца из ара местные фермеры из-за каких-то земельных дел устроили целую охоту. Сначала подбросили ему в комнату, как в рассказе Конан-Дойля, ядовитую змею. Но они не знали, что этот индеец — ещё и попугай ара, а на этих птиц не действует змеиный яд; индеец выжил. Потом его выбросили из авто с высокого обрыва, но он раскинул руки и ноги и спланировал на песок — ведь он был ара. Умер он всё-таки не своей смертью: на утиной охоте оказался под выстрелом. В него попало всего несколько дробинок на дичь, никто даже особенно не беспокоился. Но индеец умер, и врач не мог понять, как такой сильный крупный мужчина мог погибнуть от двух-трёх мелких птичьих дробинок в лёгких — врач не знал, что индеец был птицей, что он — из ара.

Гораздо больше, чем по отцовским друзьям, Антон любил ходить по отцовским местам, о которых слышал столько раз, что, казалось, он уже здесь бывал: по Усачёвке, скверу на Пироговке, вдоль стены Новодевичьего монастыря. На Новодевичьем кладбище были похоронены дед с бабкой по

отцовской линии. Но когда перед войной дядя как-то собрались посетить могилы, на их месте они увидели ровную асфальтированную площадку. В конторе возмущённым сыновьям показали затёртый номер «Вечерней Моск- вы», где в уголке было несколько петитных строчек о реконструкции кладбища, в связи с чем родственников таких-то участков просят в месячный срок и т. д. Но дядьям газета на глаза не попала: Василий Иванович был уже под Магаданом, Иван Иванович, отовсюду уволенный, обивал пороги в поисках работы, Алексей Иванович, специалист по горным машинам, уехал от греха подальше куда-то на шахты, а отец Антона — в Казахстан.

Перекусить Антон заходил в закусочную на углу Дзержинской, где бутерброды попрежнему за жетоны выдавали автоматы. За хлебом он как-то специально пошёл на Тверскую, про которую отец забыл сказать, что она теперь именуется улицей Горького, но булочная Филиппова, видимо, называлась по-старому, её сразу показали. Антон робко спросил французскую булку.

— Опоздали, молодой человек, — сказал седой приказчик, — лет на пять! Французских булок больше нет.

— Вообще?

— Вообще где-то, — махнул рукой куда-то очень вдаль продавец, — конечно, есть. Но у нас они теперь — городские. Пожалуйста, 70 копеек в кассу!

По-старому назывался и гастроном Елисеева, там тоже до сих пор работал старый приказчик, ещё хозяйский, очень не любивший нынешних дамочек. Одна из них попросила его нарезать рокфор.

— Рокфор в жизни не резал, мадам! — презрительно сказал он, сначала с низким поклоном, а потом гордо вздёргнув голову, протягивая сыр, туго запелёнутый в пергаментную бумагу так, как это умели делать только приказчики Елисеева.

Когда вышло послабление и в Москву стали приезжать эмигранты, приехал и старик Елисеев. Зашёл в свой магазин, увидел своего приказчика, они долго обнимались и плакали. Собрался народ, стали спрашивать, как Елисееву показался магазин. Бывший хозяин хвалил всё:

— Икра хорошая, как и раньше. Баранина тоже. Правда, мы мясо продавали только парное, но и теперешнее ничего, ледники сейчас морозят хорошо.

Ветчину он даже попробовал и нашёл пристойной. Правда, удивился, что почему-то мало сортов; в его магазине было не три сорта, а тринадцать — присутствующие затихли, пытаясь представить себе остальные десять,

но гастрономщик охотно назвал их.

К сожалению, до рассказчика история прошла через много рук, и из названий дошло тонкая три: окорок лифляндский, ветчина краковская и фаршированная фисташками; Елисеев особенно подчёркивал красоту фисташковых орешков на срезе, но магазинные и последующие слушатели, орешков этих в жизни не видевши, вряд ли эту красоту оценили.

Отцовским Антон считал и немое кино, с детства зная содержание и «Закройщика из Торжка», и «Праздника святого Йоргена», и «Папиросницы из Моссельпрома»; в Кинотеатре повторного фильма он вскоре все эти ленты и пересмотрел. Несмотря на блистательную игру Ильинского, разочарование получилось сильным, хотя Антон и боялся себе в том признаться. Это разочарование сопровождало его и когда он увидел классические фильмы Чаплина — трюки напоминали цирк, а ожидалось что-то совсем другое. «Площадное искусство», — вспоминал он; видимо, оно остаётся в своем времени.

Бывал в доме Фалька на Кропоткинской, куда вдова пускала по воскресеньям; три раза, потрясённый, ходил на выставку Павла Кузнецова.

Выстаивали огромные очереди на выставку только что вернувшегося из Южной Америки Эрзи, который казался гениальным. Рассказывали, что когда его водили по Москве и спросили, в частности, как он оценивает недавно водружённый памятник Юрию Долгорукому, Эрзя сказал: «Как сумели, и сделали».

На выставке Кончаловского Антон встретил — чего никак не ожидал — их курсового комсорга Генку Буланова, известного своей нетерпимостью к стилям, к искусству толстых — джазу, своей бедностью и манерой не отдавать долги. Брал, правда, мало, но никогда не возвращал; все это знали, но почему-то всё равно давали.

«Искупление вины перед бедными», — объяснял Юрик Ганецкий.

Генка стоял перед портретом Алексея Толстого.

— Хорошо, правда? — сказал Антон. — Сразу виден характер сидящего за столом. Ты чего надулся, как мышь на крупу?

— Да не в характере тут дело. Ты глянь, что на столе.

Весь передний план картины занимал гастрономический натюрморт: огромный окорок, румяная курица с торчащими вверх лоснящимися от жира ногами, огурчики, водка в старинном штофе, серебро, хрусталь.

— По-моему, тоже очень недурно. Особенно хорош окорок: так и сочится. Я такого и не видал никогда.

— Вот именно! — обрадовался Генка. — Ты не видал. Даже сейчас! Через десять лет после войны! А ты обратил внимание на дату? То-то и

оно-то! Сорок четвёртый! ещё только-только снята блокада Ленинграда. Страна в руинах. У нас под Белгородом ели

картофельную шелуху — я сам ел. А тут: женщина в чёрном, портрет сына с семьёй — видел натюрморт? девочка трогает бараний бок, рядом рыбы в рост этой девочки, опять ветчина, фрукты, кругом ковры, красное дерево, трубки, сигары... Засакай даты: 43-й, 44-й, 47-й год!

— А вон совсем наоборот: полотёр, рабочий класс. 46-й год.

— А у кого этот рабочий класс натирает пол? — вскинулся Генка. — У них же.

— «Нехлюдов оделся в вычищенное и приготовленное на стуле платье и вышел в длинную, с натёртым вчера тремя мужиками паркетом столовую...»

— В какую столовую?

— Это я так. Но, Геныч, — миролюбиво сказал Антон, — это же знаменитый художник, а на портрете ещё более знаменитый писатель. Они что, должны пить из горла и закусывать селёдкой на мятой газете?

— Не должны. Но всё лишнее должны были отдать! В фонд обороны. Как Ферапонт Головатый. Даже твой любимец Вольф Мессинг и то перечислил туда на самолёт.

— На два.

— Тем более. А не хошь на оборону — голодным сиротам. В детдома! Небось не почесались!

Голос Генки дрожал от ненависти, на них стали оглядываться.

— Старик, мне пора, — сказал Антон.

Через много лет судьба опять столкнула его с Генкой — снова в том же зале на Кузнецком, на выставке только что умершего скульптора Мишуты. Антон познакомился с ним на единственной его прижизненной выставке. Рисуясь перед будущей женой (был разгар романа), Антон говорил что-то об Адольфе Гильдебранде; скульптор сказал, что впервые встречает среди неспециалистов человека, знающего это имя. Антона же Мишута поразил тем, что сказал: опекушинекий памятник Пушкину с профессиональной точки зрения слаб. Антон был тогда ещё влияем, но что-то в нём сопротивлялось, и позже он всё собирался сказать Мишуте (так и не успел), что в каждой культуре есть явления, которые и не выше и не ниже какого-то уровня, потому что они — вне уровней, в другой плоскости, они — культурная кровь народа. В дом Мишуты Антон привёл как-то и Генку — от него трудно было отвязаться.

Генка теперь был толст и лыс, но заговорил, как будто они расстались на этом месте не двадцать лет назад, а позавчера:

— Ты обратил внимание, сколько Мишута сделал надгробий? И кому?
— По-моему, достойные люди. Ученые, полководцы...
— А ты знаешь, сколько скульптору платят за надгробие? Не знаешь? Будь спок. Ты — за жизнь не зарабатываешь.

— Но я не скульптор, не народный художник РСФСР. Кстати, у него при жизни была только одна выставка — после присвоения звания. Я смотрю, твои уравнилельно-пролетарские замашки не исчезли.

— А потому что — ненавижу! Его семья, видите ли, диссидентствует, не любит советскую власть. А живут в центре, в огромной квартире, предоставленной этой властью, и квартира эта ломится от заграничных вещей, которые папа-мидовец понавёз из Европ!

— Они сейчас этим и живут: хрустальную люстру, которую ты тогда трогал, продали.

— И, небось, живут безбедно всей семьёй на эти деньги полгода! И я бы продал, да у меня нету. И у тебя нету. А у них — есть! — в голосе Геныча появились знакомые интонации.

Антон, как тогда, хотел улизнуть, но бывший комсомольский секретарь хотел говорить и тоже пошёл в гардероб.

— А твой профессор Барабанов? Ты читал его интервью в «Неделе»? То-то и оно- то!

Генка попал в болезненную точку. Антон не завидовал ни квартирам, ни люстрам, ни машинам, ни дачам. Завидовал он одному — библиотекам, большим, доставшимся по наследству. В этом интервью профессор Барабанов, успешно перешедший несколько лет назад с изучения права Киевской Руси на славянскую демонологию и фольклор, рассказывал: «Когда я стал заниматься мифологией, все нужные книги я нашёл в шкафах моего покойного отца». Отец его был советский исторический романист. У Антона, который свою библиотеку собирал по книжке, тратя на это все деньги, а когда жил один, из-за этого вообще сплошь и рядом голодал, что-то сжалось внутри, тёмные чувства, мысли о социальном неравенстве, несправедливости слишком разных стартовых возможностей замутили голову.

Чуть не через день Антон бегал в консерваторию, благо она находилась в полуверсте от истфака. Во МХАТе успел посмотреть знаменитые «Три сестры» в постановке Немировича-Данченко сорокового года и почти в том же, хоть и постаревшем, составе; был от этого спектакля странный, больше не повторившийся эффект: его мизансцены стояли потом перед глазами всю жизнь. Приезжала «Комеди Франсез»; Пол Скофилд играл в «Гамлете». От всего этого Антон находился в постоянной эйфории

— впрочем, и коренные москвичи тоже: и Скофилда, и Питера Брука они видели впервые.

Всё было новым, всё начиналось, во всё верилось.

Проездом, как метеор, мелькнул в столице Василий Илларионович. Немедля в общежитии на Стромынке был назначен междусобойчик.

— Так, камерный. Собери друзей, самых близких, человек 15–20, не больше, узкий круг. Дам не надо — жанры и напитки смешивать нельзя. В 19 часов к вашей проходной подошли двух-трех ребят, поднести кое-что.

— Я сам!

— Ты тоже.

Втроём мы справились лишь за несколько ходок: надо было отнести два ящика водки, два — пива, один нарзана, три авоськи с шампанским, банки с соками, какие-то коробки. Свирепый страж на проходной был кроток, как овечка, и, помогая, суетился больше всех.

Сдвинули столы, тумбочки, кровати; сбегали за стаканами. Впрочем, выяснилось, что пять плоских перевязанных голубой лентой коробок — рюмки (Стромынка много лет поражалась потом изысканности питейной тары в комнате № 9).

— Не бывает рюмок вообще, — объяснял Василий Илларионович. — Вот эти — водочные: гранёные, пирамидообразные, конусовидные, все из толстого стекла, их всех чохом именуют у нас стопками, что неверно. А то, что вы расставляете сейчас, — средний размер, тонкое стекло, тюльпанообразный вид, — лафитники, но название это означает не форму и не меру объёма, а лишь функциональное назначение — рюмка для красного вина. Однако, я заболтался. Как говорил классик, лучше пять часов на морозе ожидать поезд, чем пять минут ждать выпивки.

Через час в комнате номер девять дым стоял коромыслом, Василий Илларионович уже объяснял, что водку запивать водой ни в коем случае нельзя, что 40° — оптимальная крепость, установленная великим Менделеевым. Американцы проделали сотни опытов на добровольцах, и выяснилось, что если говорить о крепких напитках, то наиболее благоприятен для слизистой желудка именно такой процент. Как Менделеев установил это без всяких опытов? Тайна гения. Но если кто-то хочет всё же запивать, то лучший вариант — волжский квасок, рецепт Нижегородской ярмарки 1880 года: холодное шампанское с соком ананасов, персиков и абрикосов.

Мы с интересом рассматривали банки с незнакомыми этикетками.

После шампанского дядю, как и год назад в «Поплавке», потянуло на стихи.

— «Полночный пир, шальные речи, бокалы вдребезги летят. Покровы прочь! Открыты плечи, язвит и жжёт горячий взгляд». Среди вас есть филологи? Знакомы вам эти стихи?

Дядя прочёл ещё два-три похожих произведения. И филологам, и историкам, равно как и философам, воспитанным на советской поэзии, такие стихи знакомы не были.

Антону, хотя он уже просиживал дни в Ленинской библиотеке за листаньем журналов двадцатых годов, тоже ничто не вспоминалось эдакого, в голове вертелось что-то совсем в другом, неподходящем роде: «Гробы, отяжелевшие от гнили, живым давали страшный адский хлеб, во рту у мёртвых сено находили». Со скрипом он вспомнил четверостишие Виктора Тривуса, которое с натяжкой втискивалось в намеченный поэтический ряд: «Кэт умерла в начале мая, ей было восемнадцать лет. Как жаль! Весёлая такая, беспечная такая Кэт!» Стихи успеха не имели. Саша Сысаев, который сам писал стихи, правда, совсем другого толка, но зато ходил на литобъединение филфака, припомнил строчки кого-то из членов этого объединения: «Не лучше ль в долях секунды муки свои исстрадать» и броситься с моста в воду, «противную, как нарзан», — что было несколько некстати ввиду стоявших на столе многочисленных бутылок этой целебной воды. Но тут пришел Алик Мацкевич, с которым Антон познакомился в общем читальном зале Ленинки, где Алик, хотя был скандинавистом, заполнял уже вторую тетрадь стихами Есенина, не вошедшими в трёхтомник 27-го года. Он спас честь филологов, прочтя два никому не известных стихотворения, примыкающих к циклу «Москва кабацкая», а потом и свои стихи, написанные как раз в нужном ключе: «От трёх лишь вещей прихожу в азарт: женщин, вина и карт». И другие, которые тоже понравились: «Распустив по залу перья длинные, вы летите в танце, как комета, ваши брови, томно-паутинные, чуть дрожат от розового света.

Ты скользишь в такт танго-меланхолии, в твоём платье — аромат о-де-коло-на, вы мне кажетесь цветком магнолии с дальнего, зелёного Цейлона».

Голодные студенты, намешав пива с водкой, вскоре уже все хором пели: «Инженером станешь, с толстым чемоданом ты в Москву приедешь при деньгах. Ты возьмёшь такси до «Метрополя». Будешь пить коньяк и шпроты жрать. А когда к полночи пьяным станешь очень, будешь ты студентов угощать. Станешь плакать пьяными слезами и стихи Есенина читать».

Потом Василий Илларионович пел соло: «Для возлюбленной Алины рвал я струны ман-до-ли-ны, для небесно-нежной Аси я гудел на кон-тра-ба-се, для игриво-нежной Мирры рокотал на струнах ли-ры».

Затем снова вместе пели какие-то получастушки, семантическим центром в которых везде было одно слово: «Продай, мама, лебедей, вышли денег на б...ей»; «Кудри выются, кудри выются у б...ей, почему они не выются у порядочных людей? У порядочных людей денег нет на бигудей, денег нет на бигудей — они сходят на б...ей». Заглянул комендант, но была середина песни, и его никто не приветил, что было неразумно: за эту пьянку Антона чуть не выселили из общежития. Но Василий Илларионович из Москвы ещё не уехал и сходил к коменданту, после чего тот стал при встречах, напротив, глядеть на Антона ласково и даже выделил ихней комнате лишнюю тумбочку и заменил ржавый чайник.

Деньги родители присылали — немного, но регулярно; по расчётам отца, на жизнь должно было хватать. Но львиная доля уходила на консерваторию, театр, книги. Конечно, в отчётах отцу славно было небрежно отметить: купил рубашку, ботинки, но ложь бы обнаружилась, поэтому приходилось писать про покупку ваксы, мыла, зубной пасты. Как всякое мелкое враньё, это забывалось, и в следующем письме Антон снова писал про гуталин и пасту. «Письмо, где ты упоминаешь, что в третий раз за месяц купил пасту, — отвечал отец, — получили. И сколько же её уходит на зубы твои лошадиные?»

Надо было изыскивать дополнительные источники дохода. Ночная разгрузка вагонов не подошла. После неё бывший морячок Коля Сядристый на лекциях сидел как ни в чём не бывало, Антон же засыпал. Помог Сэмэн Копыто. Не поступив, он родителям

написал, что в МГУ учится, продолжал нелегально жить в общежитии и про приработки знал всё. Сэмэнкопыто устроил Антона в институт психологии в качестве подопытного.

Это была редкая удача: институт находился на задах университета, за час платили десять рублей (стипендия составляла двести девяносто), вместо лекции по истории КПСС можно было получить двадцать рублей.

Интересны были и сами опыты: запомнить, что сможешь, из комбинации зажжённых лампочек, а потом воспроизводить это через день, через три, через две недели, через месяц, заодно узнав свойства своей памяти. У Антона выше нормы оказалась краткосрочная память. Это ему сильно помогало, когда он по вечерам стал записывать свои случайные или постоянные разговоры с Тарле, Лосевым, Арсением Тарковским, Кручёныхом, Зайончковским.

Проводились и другие опыты — сенсорные. В тёмной комнате надо было полчаса адаптироваться, а потом реагировать на появляющуюся на экране светящуюся точку.

Васька Весовщиков, которого Антон тоже привлёк к опытам, рассказывал в общежитии:

— Ждём в коридоре. Подходит красивая аспирантка, радостно улыбается, берет Антона за ручку и уводит в комнату. Закрывается железная дверь, лязгают засовы.

Слышно, как запирают и вторую дверь. Зажигается красное табло: не входить! 70 %, 80 %, 100 % — абсолютная темнота, значит. Проходит час. Табло гаснет. Лязгают засовы, обе двери отворяются. Антон и аспирантка выходят — очень довольные.

Васька делал многозначительную паузу: — А диван, на котором вы... адаптируетесь, чёрный? Для лучшего светопоглощения?

Аспирантку звали Виктория, было ей под тридцать, и она, как Антонова учительница биологии Дулько, писала уже вторую диссертацию — первую, почти законченную, пришлось бросить: при обсуждении представленного на кафедру варианта там нашли влияние бихевиоризма, фрейдизма и элементы мистицизма. Антон не знал, избавилась ли она от этих элементов в новой диссертации, экспериментируя на нём, но всем тем, что вскоре стали именовать парапсихологией, Виктория интересовалась пристально — это Антон установил во время первой же, ещё тонной, адаптации на чёрном диване (он действительно был как антрацит), когда она обмолвилась о Вольфе Мессинге.

Об этом гипнотизёре, без труда читающем мысли, Антон всё детство слышал от отца, который бывал на его сеансах в Москве, и от Василия Илларионовича, видевшего его психологические опыты в Кисловодске. Рассказы были фантастичны. Поэтому, когда появилась афиша, что Вольф Мессинг будет выступать в клубе МГУ, Антон с утра стоял у кассы.

На сеансе всё было так, как рассказывали, ещё и похлеще. Мессинг вынул из внутреннего кармана добровольца колоду карт, которую по мысленному желанию того разложил на столе в сложном порядке: верхний ряд — все валеты, второй и третий ряды — карты с шестёрки по десятку трёф и пик, четвёртый ряд — дама, король, туз бубен; продиктовал расположение фигур на каждой из половинок картонной шахматной доски, спрятанной студентами под креслами в разных концах зрительного зала, и сделал несколько ходов староиндийской защиты (ассистентка сказала, что в шахматы играть он не умеет). Когда не мог с ходу угадать мысль, сердито покрикивал на испытуемого: «Думайте о вашем предмете! А я вам говорю — вы не думаете! Думайте!» Глаза артиста лихорадочно блеснули, пот крупными градинами катился со лба, воротничок сорочки намок.

Виктория видела Вольфа Мессинга не только на эстраде, поэтому

Антон так и прилип с просьбами про него рассказать, и она обещала, если Антон будет во время опытов вести себя хорошо. Антон постепенно понял, что значит вести себя хорошо, и Виктория рассказала ему всё, что знала о великом гипнотизёре, факты и легенды. Как он, когда ещё были разрешены публичные сеансы гипноза, внушал пяти-шести рядам, что началось наводнение, дамы подбирали юбки и вскакивали на кресла; как, вызванный на Лубянку, он прошёл туда без пропуска, потрясав вызвавшего, и так же вышел обратно,

хотя тот специально предупредил охрану; как у какого-то контуженного немого майора прочитал мысли о том, где он, попав в окружение, зарыл ценности и деньги смоленского банка; как, увидев свою знакомую, сопровождавшую из загса новобрачных, сказал ей потом, что те проживут вместе только пять месяцев — так и оказалось.

Но самым большим достижением великого экстрасенса она считала знаменитое заседание в том же институте психологии во время борьбы с космополитизмом. Вольф Мессинг для кампании подходил лучше не придумаешь: полунемец или полуполяк, но уж точно полуеврей, пропагандист мистики и идеализма. Институт получил задание: ознакомиться с эстрадными программами т. Мессинга и дать заключение об их соответствии установкам советской материалистической психологии и физиологии.

Точно в назначенный час члены учёных советов институтов психологии и философии АН СССР, а также приглашенные из МГУ и соседствующего с МГУ мединститута собрались в роскошном беломраморном институтском зале. В торце длинного, во всю комнату, стола, покрытого тяжёлой зелёной скатертью, сидел патриарх отечественной психологии академик Н. Ты, Антон, сказала Виктория, несомненно слышал его имя, но я не хочу его называть.

Старинные часы пробили четверть; Вольф Мессинг опаздывал; председательствующий с беспокойством поглядывал на дверь. Но вот её массивные створки медленно задвигались, и в притвор просунулось мясистое, вытянутое вперёд лицо. «Какой неприятный, — подумал председатель. — Он похож на крысу». — «Почему на крысу?» — сказал вошедший, протянув руку к председателю. Это был Вольф Мессинг, и то были его первые слова. Председатель открыл рот, но тут же закрыл. Учёный секретарь института повернулся к вошедшему, привстал и тоже хотел что-то сказать, но Мессинг, не опуская указующей руки, а только поведя ею в его сторону, упредил: «Не беспокойтесь. Вы подумали, что заняли моё место. Но я не в обиде». Учёный секретарь сначала застыл, а

потом суетливо кинулся собирать бумаги. Мессинг сел на освободившееся место, и никто не успел ещё промолвить слова, как он снова поднял руку и, указывая на основного докладчика (как узнал, кто — основной?), сказал:

— Вы хотите начать с того, что материалистическая нейрофизиология и психология не признаёт передачи мыслей на расстояние, что ещё великий Павлов говорил...

Воцарилась мёртвая тишина, был слышен только хриловатый голос Мессинга, излагавшего инвективы докладчика.

— А вы желаете возразить, — указал Мессинг, не поворачиваясь, большим пальцем через плечо на психолога из Академии педнаук, ученика Выготского, после смерти учителя вот уже четверть века его разоблачавшего, — вы хотите возразить, что если мы примем постулат возможности существования подобной субстанции — носителя этой психической энергетики, и что хотя некоторые философий, например, индийская...

Нет, я так не думаю, вы не правы, — перебил он себя сам, повернувшись в другую сторону и протянув руку к креслу, в котором еле виден был сухонький старичок, ученик Ухтомского. — Я хочу только уточнить...

Осталось незамеченным, когда Вольф Мессинг, встал и отошёл от стола, оказавшись в пустом пространстве у стены, как бы на эстраде. Но все вдруг увидели, что он в чёрном дивном смскинге (сшитом во Львове Мовшовичем, одевавшим самого Пилсудского), кипенно-белой сорочке, галстук-бабочке и глянцево сверкающих туфлях.

Никто не произнёс ни слова, все как замороженные только поворачивали головы к очередному немому оппоненту, речь которого, будто читая лежащий перед глазами текст, пересказывал артист.

Никто не заметил и того, как пробило полчаса, — все слушали только энергичный, но одновременно какой-то странно-усыпляющий голос гипнотизёра. Председатель опомнился, только когда пробило без четверти.

— Кто из членов учёного совета или из присутствующих ещё хотел бы выступить? — вяло промычал он.

И почему-то никого не удивила эта обычная процедурная формулировка, хотя в данном случае была совершенно неуместна, ибо ни из членов учёного совета, ни из вообще присутствующих никто не сказал ни единого слова. И все только молча закивали, когда председатель сказал, что нужно принять резолюцию.

И резолюция была вынесена! Это был, видимо, единственный в те годы случай, когда собравшийся по поводу некоего лица ареопаг вынес

положительную относительно этого лица резолюцию. Она была краткой и гласила, что выступления «Психологические опыты» артиста Мосэстрады такого-то могут быть продолжены, ибо не противоречат материалистической психологии, необходимо только, чтобы перед началом ведущий или ассистент делал вступительное слово, текст которого будет составлен специалистами.

(Антон застал уже такие выступления артиста: перед каждым какая-то дама минут десять жевала что-то про материалистическую советскую науку, Сеченова-Павлова.) Виктория сама по просьбе учёного секретаря бегала в машбюро, а потом организовывала гербовую печать. Позже она не раз присутствовала на сеансах Мессинга и говорила, что ни после какого не видела его таким измученным — видимо, слишком многое было поставлено на карту.

Второй случай неэстрадного общения с парапсихологом у Виктории был совсем недавно, год или два назад. Она возвращалась от своих друзей в Комарово, под Ленинградом. Был уже белый день, в вагоне электрички у окна сидел только один пассажир, не узнать которого было невозможно. Виктория вошла и, сев в противоположный конец вагона, сконцентрировалась на затылке артиста и стала посылать ему сигналы: «Поверните голову к окну. Поверните голову к окну». Или: «Оглянитесь. Вы меня видели в институте психологии. Оглянитесь». Мессинг не оглянулся и головы не повернул. Приехали. Мессинг вышел в тамбур. Виктория прошла через вагон и стала за его спиной. По-прежнему не оглядываясь, Вольф Мессинг сказал ровным голосом: «Вы напрасно напомнили мне про институт психологии. Это был самый тяжёлый день и самый трудный сеанс в моей жизни. А вам, девушка, я бы советовал бросить эти игры. Это тяжкий крест — так считал и Фрейд, о котором вы только что думали, — я разговаривал с ним два года. Вы молодая и красивая. Всё это не принесёт вам счастья». И, не оглянувшись, сошёл на платформу.

Рассказывая, Виктория стремительно расхаживала по комнате за двумя железными дверьми, показывая, кто, где и куда подошёл; с копной волос а ля Бабетта, в чёрной короткой юбке и сером тонком свитере под горло она была чудо как хороша.

Антону страшно хотелось взволновать Викторию — чтобы она так же красиво-нервно ходила по комнате — какой-нибудь подобной историей. Вроде той, что сохранило семейное предание. В тридцатые годы дед короткое время был директором совхоза на Украине. В совхозе был большой ВИшневы́й сад — так он назывался в отличие от чеховского, ибо

имел хозяйственное значение. Однажды бабка собирала в нём ягоду.

Вдруг перед ней появился человек — неведомо откуда, бабка клялась: по аллее он не подходил, — очень похожий на дедова брата Михаила, расстрелянного в Иркутске.

«Уезжайте отсюда и увозите мужа, — сказал он. — И немедленно. Немедленно!» Пока бабка опоминалась, он исчез так же внезапно и непонятно, как появился, — словно истаял в воздухе. У бабки время между решением и действием всегда было исчезающе мало; пришедший через час домой дед застал упаковку вещей уже в самом разгаре. Как позже узнала переехавшая в Екатеринослав дедова семья, в совхоз осенью стал поступать реквизированный у кулаков скот, сначала единичный, потом стадами. Совхозные запасы сена приели мгновенно. От бескормицы начался падёж. (В точности повторилось то, что уже было в тех же местах в девятнадцатом — двадцатом, только тогда экспроприированный скот был помещичий.) Директор, назначенный на дедово место, был арестован как вредитель и сгинул в недрах НКВД. История была с хорошим мистическим

запасом, но на фоне Мессинга, за пять лет точно предсказавшего дату начала «большой войны в Европе», как было напечатано в корреспонденции ставропольской газеты об одном его довоенном сеансе, и — в год Сталинградской битвы — точную дату её окончания, эта история выглядела всё же бледновато.

У Антона возник комплекс. Уже окончив университет, он всё ещё мечтал найти историю, достойную рассказа Виктории. Историй он за это время узнал много. Но у всех был один недостаток: они были не документированы. Где зафиксировано, что экстрасенс Х предсказал появление пенициллина, а парапсихолог Y угадал дату запуска первого спутника? Таких апокрифов, объяснял Антон доброхотам, исправно поставлявшим ему подобные сообщения, можно сочинить сколько угодно.

Но наконец удача улыбнулась ему. Знакомый переводчик пересказал ему статью из американского журнала об удивительном предсказании.

Во время гражданской войны в соединение под командованием прибалтийского барона Унгерна, которое действовало близ монгольской границы и в самой Монголии, прибыл с целью написать о сибирской Белой армии известный польский журналист, которого переводчик, забыв его имя, стал называть Сяндовским. Вскоре журналист узнал, что совсем недалеко, всего в полутора днях верхом, в небольшом монгольском буддийском монастыре находится в эти дни лама Джелубу. Упустить такую возможность было бы непростительно, и Сяндовский предложил барону Унгерну к ламе съездить.

В монастыре, когда они представились, их без проволочек провели к ламе. По дороге служитель, буддийский монах, спросил по-английски, на каком языке господа желают говорить с ламой.

— А какие языки знает лама?

— Лама знает все языки людей.

Решили, что говорить будут по-немецки. Лама несколько медленно, но правильно заговорил на берлинском диалекте. Побеседовав с прибывшими о ситуации в России и проявив необычайную осведомлённость, лама спросил, отчего *gnadige Herren* не говорят ничего о цели своего визита — не просят предсказать их будущее. Но почему, сказал Сяндовский, великий учитель решил, что мы хотим знать своё будущее? Все хотят его знать, промолвил задумчиво лама и добавил, что если угодно, он может сказать, сколько им осталось жить. Сяндовский в ужасе отказался. Барон же сказал, что ему как человеку войны это было бы небесполезно.

Служитель принёс жаровню и овечьи лопатки. Слегка подзакоптив кости над огнём, лама разложил их на коврике и погрузился в созерцание чёрных пятен-узор, приборматывая что-то вроде: «Девяносто... Сто пять ступеней... Сто десять... Сто двадцать. Сто двадцать две ступени».

— Моему уважаемому гостю, — подвёл итог лама, — осталось жить ровно 122 дня.

— Я на войне, — сказал, криво улыбнувшись, барон Унгерн. — Я могу погибнуть в любой день.

— Почему же в любой-всякий? — вдруг по-русски сказал лама. — В сто двадцать второй. Эта война, — добавил он, — ничто по сравнению с той, которая, — он, как и Мессинг, назвал дату, — ожидает Россию через двадцать один год, и тем голодом, который постигнет мир через шестьдесят больших ступеней после её окончания.

На прощанье лама сказал, что, уважая волю другого гостя, он не назовёт дату его смерти, но огонь коснулся священных овечьих лопаток, и лама заметит только — что не будет нарушением воли, — что незадолго до своей смерти Сяндовский услышит имя барона Унгерна.

Путешественники вернулись в отряд; барон вместе с откатывающейся армией медленно двигался к океану, а Сяндовский с первым же надёжным поездом КВЖД уехал сначала в Харбин, а оттуда — в Гонконг. Там он в местной английской газете сразу же опубликовал корреспонденцию о своём посещении ламы Джелубу. Автор статьи в

американском журнале сопровождал её снимком из этой газеты. Копия вышла неважная, но кое-что прочесть было можно — во всяком случае, цифра 122 виделась явственно. Факт публикации был особенно важен:

статья с предсказанием появилась до того, как стало известно, сбылось оно или нет.

Пророчество исполнилось в точности. «По странному совпадению, — писал автор журнала, — решением Сибирского реввоенсовета попавший в плен генерал Унгерн был расстрелян на 122-й день после своего визита к ламе Джелубу».

— По странному совпадению! — взволнованно-язвительно ораторствовал Антон перед Юриком Ганецким — главным скептиком, на котором Антон оп-робовывал материал. — Не на 121-й, не на 123-й, а — заметь — именно на тот, который назвал лама Джелубу! Дорого б я дал, чтобы узнать, что думал в этот день барон Унгерн.

Сбылась и другая часть пророчества. Во время войны (начавшейся в указанное время) Сяндовский скрывался от гестапо в варшавском гетто. Когда он явился на одну из своих квартир, хозяйка предупредила, что его разыскивал какой-то немец. «На гестаповца не похож, в армейской форме, интеллигентный, — сказала хозяйка обеспокоенному журналисту. — Уходя, представился: барон Унгерн».

Если б она знала, какое впечатление произведет это имя на Сяндовского. К вечеру он слёг, его старая болезнь осложнилась новой, какой-то непонятной. Через несколько дней он умер. Уже после подавления варшавского восстания воскресший барон Унгерн разыскал хозяйку в шалаше среди развалин её дома. Всё объяснилось просто. Немец оказался сыном покойного белогвардейца, он знал гонконгскую публикацию и хотел поговорить с человеком, который последним, не считая, разумеется, красноармейцев, видел его отца. Но варшавский эпизод, полагал Антон, нарушает чистоту пророчества: здесь мог действовать второй Эдипов комплекс — предсказание исполняется по причине его воздействия на психику объекта. И хотя Антон подозревал, что пересказчик или автор статьи кое-что напутали в деталях, всё же наконец явилась возможность избыть свой комплекс (единственный, который смог наблюсти у себя Антон, когда с одним американским историком России, а по совместительству психоаналитиком целый день обшаривал своё подсознание). С трудом узнал он адрес Виктории. Едя к ней, он вдруг понял, что комплекс за годы трансформировался. На самом деле его мучило желание обсудить научную основу как малых предсказаний, так и глобальных пророчеств, которая несомненно существовала, обсудить с той, которая так была увлечена всем этим ещё тогда, когда почти никто ничем подобным не интересовался. Свои мысли Антон собрался сжато изложить так. Время, вопреки обыденным представлениям, не движется

однонаправленно от прошлого через настоящее к будущему — оба его потока текут одновременно и параллельно, но в противоположных направлениях. Мы находимся внутри одного — настоящего времени, язык которого нам доступен. Но есть гадалы, кудесники, ясновидцы, прорицатели, оракулы, пророки, а также великие поэты, которые способны считывать информацию и с других временных потоков, поэтому им доступно знание и о прошлом, и о будущем.

Обсудить ничего не удалось. Виктория, едва дослушав его взволнованное повествование, сказала: неудивительно, что эта история всплыла, сейчас все ударились в мистику, экстрасенсов как собак нерезаных, и вообще теперь она считает, что всё это не нужно и малоинтересно.

Но больше, чем такое предательство, поразило Антона другое — когда открылась дверь и он увидел Викторию, немолодую, полную женщину, в лице которой чуть брезжили черты красавицы из комнаты за железной дверью. Это был первый случай, потом они пошли косяком — знакомые женщины почему-то вдруг начали дурнеть, толстеть, меняться, Антона это ранило, всё в нем протестовало, после каждой такой встречи он заболел.

— Что же это творится? — жаловался он Юрику. — И что теперь с ними делать?

— То же, что и раньше, — острил друг — Тебе надо было жить на Олимпе, среди бессмертных богов, где нет увядания.

Но и жизнь олимпийцев была непроста — нити и их судеб тянули мойры, и судьбы эти тоже предсказывали оракулы, и даже бессмертные боги не могли изменить ни направление нитей, ни скрещение их.

28. Прекрасное есть революция

У графа Шереметьева можно было встретить людей самых неожиданных. Именно там Антон познакомился с философом Григорием Васютиным. В его облике внимание привлекали университетский значок, хотя, судя по виду его носителя, свой философский факультет он окончил лет пятнадцать назад, и нахмуренно-мучительно-вдумчивый взгляд.

В доме он был впервые; граф, всегда щедро аттестовавший своих гостей, рассказал, что когда несколько лет назад в Москву после долгого перерыва снова приехал известный философ Георг, или Дьёрдь, Лукач (с ним Шереметьев сблизился, редактируя немецкую версию его знаменитой работы о реализме), то, почтаив и послушав, сказал: в столице есть два настоящих философа — Михаил Лифшиц и Григорий Васютин.

В этот раз за столом ругали социализм, и когда стали рассуждать о принудительном труде, особенно напирая на субботники и воскресники, Антон оказался всеобщим оппонентом — стал горячо говорить, что никогда не воспринимал их так, но как общее дело, *res publica*, что кадры с «Потянем дружнее» в «Волге-Волге», которые так заругал Акакий Акакиевич, на него производят совсем другое впечатление, хочется включиться в бодрый труд над вечною рекою. (Лет через десять Антон будет спорить с автором известной тогда книги «До свидания, мальчики», которому не нравилось, как вдруг увлёкся кладкой кирпича лагерник Иван Денисович — Антону же эта сцена казалась одной из лучших в великом произведении; спорил он на эту тему и потом.) Если всякий коллективный труд считать социалистическим, то я — истинное дитя социализма!

Это был недолгий в жизни Антона период увлечения Сен-Симоном, Фурье, ранними работами Маркса. Да, у нас всё извращено, но возможен, а где-то (в Польше? Венгрии?), может, уже и зарождается истинный социализм, как где-то бродят настоящие пионеры в красных галстуках. Это был период, когда Антон изо всех сил пытался найти в строе что-нибудь положительное. После двадцатого съезда сильно помягчел к строю отец, надеялся, писал, что историю партии излагает по учебнику Емельяна Ярославского, а там, глядишь, дойдёт и до других имен; Антон спрашивал, что обо всём этом думает дед; отец написал, запрятав сообщение в середину фразы: «Баба жива-здорова, гадает на картах, Леонид Львович, как всегда, не верит в возможность чего-либо положительного, Тамара по-прежнему поёт в хоре (следовало понимать: в церковном), Колька копит на

машину».

Антон считал очень полезным изучение «Капитала» в вечерних институтах марксизма- ленинизма и технических вузах: без его обязательного конспектирования сотни тысяч людей никогда бы не прочли научный труд столь серьёзного содержания.

Сильно развеселил как-то Антон Шереметьева, объяснив ему положительную для страны роль образа жизни советских бонз: и очень хорошо, что дача Молотова занимает сколько-то гектаров, где не бывает никто, кроме хозяина, и что там бродят олени. Это значит: сохранена девственная природа! Где ещё вблизи Москвы вы найдёте такой уголок? Оленям и ёлкам всё равно, член политбюро разрешил им жить в нетронутой среде или кто иной. Был у Антона и другой пример пользы советской идеологии. В Англии хотят создать музей — «Дом в Лондоне середины XIX века», дом, в котором жила не какая-то знаменитость, а обычные люди, с самыми обычными предметами быта, мебелью, посудой. Сделать это непросто: дома-музеи великих людей, относящиеся к этому времени, здесь не помощники — на бережно сохранённых интерьерах, вещах, картинах лежит

отпечаток оригинальной личности их владельцев. Жизнь простых людей надо воссоздавать по крупицам.

— А в нашей стране не будет такой проблемы! — радовался Антон. — Ничего не придётся собирать. У нас существуют дома-музеи таких писателей, как Николай Островский, Бирюков — вы, наверное, их не читали...

— Фамилию одного, кажется, слышал, — сказал Шереметьев.

— И когда всё встанет на свои места, и эти мелкие писатели абсолютно никому не будут интересны, их сохранённое жильё будет выполнять ту функцию, которая предназначается устраиваемому лондонскому дому, — это будут готовые музеи быта среднего, тривиального полуинтеллигента советской эпохи!

Когда расходились, к Антону подошел Васютин.

— Мне очень близко то, что вы говорили о радостном коллективном труде. Люди коммунистической эры, в отличие от нас, людей предыстории, будут трудиться с наслаждением, с полной отдачей сил, не думая об оплате — как это предсказал Ленин в работе «Великий почин». Вы читали «Святое семейство» молодого Маркса? Прекрасно! Мне почему-то так и показалось. Приходите, поговорим о коммунистической революции.

А вам никто не говорил, что вы похожи на «Брута» Микеланджело?

Через неделю, стоя перед дверью коммунальной квартиры, Антон

отыскивал среди разнопочерковых ярлычков фамилию философа; звонить надо было семь раз.

— А, Брут! — встретил его Григорий (морщины на его лбу на секунду разбежались, но тут же снова вернулись на место) и добавил, понизив голос: — В коридоре ничего не говорите: услышат контрреволюционеры.

Философ обитал в бывшем ватерклозете; подобные службы в начале века ещё не догадались делать без окон и невоворот — в комнатке было метров семь. Осталась и маленькая раковина, так что философ, не выходя в коридор, мог умываться, стирать бельё, наливать воду в чайник, который он здесь же на электроплитке и кипятил, — всё это позволяло свести к минимуму общение с контрреволюционерами, каковыми были все насельники квартиры, включая и его мать с отчимом.

Показав, где пройти между стопками книг на полу, Григорий усадил Антона на стоявший на четырёх кирпичях продавленный пружинный матрас, для чего пришлось убрать прислонённый к изголовью топор. «Орудие Раскольникова», — нахмуренно улыбнувшись, сказал Григорий. Потом закурил и без всяких предисловий (у революционеров нет времени на этикетный мусор) начал излагать свою теорию прекрасного, главный тезис которой звучал так: «Прекрасное — это жизнь в её революционном развитии», или — короче — «Прекрасное есть революция». Это было неожиданно, ново и непонятно.

— Революция оздоравливает общество, — сказал Антон. — Она выдвигает такие фигуры, как Наполеон. Она свергает замшелые авторитеты, которым больше не надо кланяться. Улучшает даже семейные отношения — после переворота семнадцатого года у всех погибли сбережения и не надо было лицемерить перед своими и прочими старыми идиотами.

— Именно! — обрадовался Григорий. — Наша революция оживила общество, как летняя гроза! Я сразу почувствовал, что мы единомышленники. Человек с лицом Брута не может мыслить иначе!

Антон смутился. В спорах он следовал совету Гройдо: старайтесь отыскать в своей душе аргументы — а они есть всегда — в пользу вашего оппонента. Как хороший адвокат, который мысленно становится даже на сторону убийцы. Про авторитеты и семейные отношения — это было почти всё, что наскрёб в голове Антон в защиту убийцы.

— Гроза, конечно... Но при чём тут прекрасное? Категория, мне кажется, — из другой оперы. Я привык думать, что прекрасное — это совершенство, гармония в искусстве, человеке...

— Абсолютно верно. Но это только начальная стадия прекрасного, его

первое определение. Необходимо второе, которое является развитием и дополнением первого.

Все великие произведения искусства — детища революции. Революционер с головы до пят — так называл Шелли Маркс. Байрон — лорд-карбонарий — погиб за свободу Греции. А помните, что сказал Шуман о музыке Шопена? «Это пушки, спрятанные в цветах»! В статье «Искусство и революция» Рихард Вагнер высказал великую мысль, что искусство и революция имеют общую цель.

Антон пытался возражать, приводя другие примеры, но каким-то образом выходило, что и Пушкин, и Мусоргский, и Достоевский — продукты или декабризма, или шестидесятничества, и кем бы был Достоевский без петрашевцев? Антон был странно заморожен подобным подходом к искусству — значит, можно и так? — при котором не существовало ни историзма, ни иерархии, ни художественного уровня: в один ряд попадали «Спартак», «Овод» и «Былое и думы», революционные стихи Пушкина и Огарёва, «Что делать?» и «Преступление и наказание», «Дни Турбиных» и «Любовь Яровая». Назывались имена Фурманова, Говарда Фаста, Анны Зегерс, «Генерал» Симонова и «Шумел сурово Брянский лес» Софронова. Все эти произведения служили единой цели.

— Подлинная поэзия — не результат вымысла, а продукт наиболее глубоких законов революционного развития реальной действительности. Эти законы есть также и законы красоты.

Важнейшим доказательством этого тезиса Григорий считал поразительное сходство даже внешнего облика борцов за свободу с великими образцами классического искусства.

— «Мадонна Бартоломео Питти» Микеланджело — буквальный физический прообраз Зои Космодемьянской.

Точной копией мадонны то ли Тициана, то ли Мурильо — Антон позабыл — была внешность революционерки Люси Люсиновой.

Говорил Григорий хорошо, даже блестяще, не затрудняясь выбором ни слов, ни примеров из искусства всех времён. Но с лица его почему-то не сходило мучительно-напряжённое выражение. Один из зеленобородых шереметьевских друзей (про него было известно, что на шестом заседании Религиозно-философского общества Мережковский пожал ему руку и произнёс: «В вас есть мистическое чувство, молодой человек!») сказал как-то: «Почему у него всегда такое лицо, будто он велосипед выдумывает? Я видел философов — Трубецкого, Лосского, Розанова, — обычные спокойные лица. А у Канта? Простецкая физиономия!» Это страдательное выражение напряжённой работы мысли парализовывало у Антона всякую

способность и охоту к возражениям: не может быть неправ тот, кто так страстно и мучительно над всем этим размышляет.

Григорий вдруг остановился и сказал, что понимает, его теория непривычна, и вы, Брут, должны её обдумать, а сейчас пора обедать.

Обед состоял из чая с хлебом и соевыми конфетами «Кавказские» — 1 руб. 40 коп. сто грамм. Это была, видимо, основная еда философа: другого Антон в этой комнате не едал. Жил Григорий на пенсию по инвалидности (что-то по психической линии), едва превышающую стипендию второкурсника (этим объяснялись и тазы с бельём), да ещё ухитрялся покупать книги. Книги он, впрочем, покупал только дешёвые, более ценные же целиком переписывал от руки — Антон с оторопью листал нумерованные общие тетради с переписанной чётким почерком «Историей первобытного общества» и алпатовской «Историей искусств».

К следующим визитам Антон готовился, даже записывал на бумажку возражения. Но однонаправленный, неотклоняемый ум философа проходил сквозь них как нож сквозь масло.

— Разумеется, глубоко неверно ограничивать объём лучших произведений мирового искусства вещами с явно выраженной революционной тематикой. Он ими

далеко не исчерпывается. «Страшный суд» Сикстинской капеллы — апофеоз уничтожения и творчества, грандиозная революция на том свете. Но не противоречит ли положение, что прекрасное — это революция, тому, что революционность — критерий художественности? Не противоречит. Дело в том, что прекрасное революционно в своей первичной коренной сущности. Аполлон Бельведерский или Афродита Книдская не менее революционны, чем Гармодий и Аристокитон или микеланджеловский Брут.

Революционны по своему содержанию «Афродита Милосская» и «Сикстинская мадонна», «Весна» Боттичелли и «Спящая Венера» Джорджоне — ибо всякая подлинная красота всегда революционна. Все без исключения законы художественной выразительности и законы красоты есть законы диалектики революционного развития. Следовательно, высокие эстетические идеалы вообще и все подлинные художественные творения революционны в своей основе!

Зная отрицательное отношение Григория к модернизму, Антон хотел подловить его на футуризме, кубизме, супрематизме — течениях несомненно в искусстве революционных, но, закалённый в дискуссиях не такого уровня, философ клал его на лопатки одной левой:

— Все эти направления основаны на эквилибристике геометрических

форм, их симметрия рассматривается как самоцель, а не как средство отображения социальной гармонии человека, долженствующее быть подчинённым последней. Геометрическое поработает человеческое!

Чтобы человеческое поработалось чем-нибудь, Антон не любил. В эти годы он всегда хотел есть — львиная доля денег уходила на книги, консерваторию, театры; бассейн тоже ощущения сытости не прибавлял. Однажды, опоздав на заседание возобновлённых после тридцатилетнего перерыва Никитинских субботников, он оказался далеко от стола с закусками, с которого сидевшие поближе время от времени брали бутерброды с икрой и ветчиной и меланхолично жевали; это продолжалось более двух часов, желудочный сок вскипел, и Антон под конец чуть не упал в обморок. Особенно аппетит развивался почему-то во время разговоров с Григорием; с какого-то времени Антон уже плохо соображал, ожидая чая с соевыми конфетами. Григорий при видимой хлипкости обладал невероятной выносливостью в умственных занятиях и спорах; как-то вечером после трёхчасового разговора он обмолвился, что всю первую половину дня у него просидел руководитель гегелевского семинара философского факультета Миша Овсянников, а уже при Антоне ушел Эвальд Ильенков — его вечный оппонент в толковании Маркса, в спор с которым Антон даже рискнул вмешаться, на что Ильенков, удивленно повернувшись к Григорию, сказал: «Есть философская жилка у мальчика!» — «Ты говоришь, как Мережковский про мистическое чувство у друга Шереметьева!» — засмеялся Григорий. Антону же это напомнило другое — слова лучшего спортсмена Чебачинска десятикоассника Юрки Зорина, пришедшего посмотреть встречу седьмого «А» и седьмого «Б» и сказавшего после того, как Антон пробил пенальти: «Есть ударчик у мальчика!»

Иногда спасала соседка Григория — приносила кусок домашнего пирога и чай в коллекционных чашках на тусклом серебряном подносе.

— Диалектическое противоречие, — после первого ее посещения сказал Григорий. — Контрреволюционеры хранят высокое — то есть революционное — искусство. Но эти чашки впервые покидают стан врага — для вас. Ведь я с соседями давно почти не разговариваю. Сначала мы дружили, вместе рассматривали их коллекцию фарфора, одну из лучших в Москве. Но потом, когда я узнал их взгляды, мы навсегда разошлись.

— А какие у них взгляды?

— Они не верят в грядущую коммунистическую революцию. Про вас они говорят, что вы нормальный единственный человек из моих знакомых. Чем вы их так расположили?

Однажды, не застав Григория (у того были свои отношения с временем: он мог опоздать на два, на три часа, позвонить не через день, а через месяц, встретиться с человеком через пять лет и считать, что они виделись недавно), Антон на кухне разговорился с коллекционерами. По своему обыкновению говорить с каждым человеком об его интересах и благодаря другому обыкновению — запоминать что ни попадя, Антон рассказал им о нескольких самых знаменитых подделках: фальшивкой оказалась знаменитая статуя греческого дискобола, один монах ещё в середине прошлого века наводнил библиотеки поддельными средневековыми пергаменами; самый известный и талантливый фальсификатор Ян ван Мехерен уже в наше время написал около десяти картин под Вермеера Дельфтского, за которые получил полмиллиона гульденов, а две из них — «Дама и кавалер» и «Христос и грешница» — специалисты провозгласили вершиной творчества великого голландца. В конце прошлого века антикварные лавки Старого и Нового света заполнили роскошные сервизы японского фарфора. Вскоре выяснилось, что это — европейские подделки. К сожалению, определить подлинность можно было, лишь разбив чашку и сделав химический анализ; крупнейшая антикварная фирма назначила огромную премию тому, кто найдёт способ установить подлинность, не разбивая. Премия досталась сыну рязанского полицмейстера Грязнову, студенту-математику из Сорбонны. Способ, как всё гениальное, был прост. Окружности чашек и тарелок, сделанных в Стране восходящего солнца вручную на гончарном кругу, были не совсем правильной геометрической формы, периметр же посуды, произведённой на станках подпольной европейской фабрики, всегда представлял идеальную окружность.

Последней историей Антон попал в самую точку: соседей Григория в это самое время чрезвычайно волновал вопрос о недавно купленных нескольких предметах из японского сервиза как раз конца века.

Приходя за чашками, носить которые по квартире соседка не доверяла никому, она не могла удержаться, чтобы не спросить невинным тоном: все ли при коммунизме будут пить из таких чашечек? На это Григорий очень серьёзно отвечал: вне всякого сомнения.

— Люди не понимают, — говорил он, закрыв за соседкой дверь на ключ, — что коммунизм такая же реальность, как сиюминутная эмпирическая действительность, в которой они пребывают. Революции прошлого — действительный прообраз коммунизма, а красота классического искусства — его идеальный прообраз.

Юрик Ганецкий, остривший, что Антон своими периферийными

рассказами завершил его антисоветское образование, послушав один раз Григория, недоумевал: «Как ты можешь целыми вечерами выслушивать эту официальную фразеологию?» Антон защищал философа, говорил, что под привычной терминологической оболочкой у него — совсем другое и что недаром его нигде не печатают, хотя в заглавии каждой его статьи стоят слова «революция» или «коммунизм». И напоминал историю с летним письмом Григория ему в Чебачинск, в котором тот излагал содержание своей статьи о коммунистическом идеале. Письмо почтальон случайно занёс к соседу — инструктору райкома партии, который, случайно же его прочитав, провел серьёзную беседу с Петром Ивановичем: как старший партийный товарищ он настоятельно советовал не поощрять такие знакомства сына; Антон имел неприятный разговор с отцом. Григорий говорил: «Я их бью собственным оружием и на их же территории». Похоже, они это чувствовали.

С трудом освобождался потом Антон от гипноза васютинской теории, где всё было так логично, пригнано и красиво. А пока он ходил к Григорию каждую неделю, брал у него книги, слушал и не возражал.

На день рождения, приходившийся на седьмое ноября, в чём, разумеется, был провиденциальный революционный смысл, Антон подарил Григорию пластинку с «Интернационалом». Радиола была старая и плохая, но динамик у неё оказался мощный.

Когда сосед (не коллекционер, а другой, но тоже контрреволюционер) постучал в дверь и испуганно поинтересовался, не сделали ли партийный гимн снова государственным, раз передают по радио, Григорий радовался как ребёнок.

— Пусть содрогаются перед коммунистической революцией! Коммунистическая революция — последний страшный суд истории!

У Григория был приятель, литературовед Игорь Грибов, красавец и сердцеед, который уговаривал его не игнорировать вопрос любви и даже приводил раза два каких-то своих приятельниц, интересующихся проблемой прекрасного. Но кончилось это тем, что он забросил диссертацию и целыми днями сидел подле Григория с блокнотом и, как Эккертман, записывал всё, что тот говорил, так что вскоре мог развивать идеи о прекрасном и революции не хуже их автора, а некоторые слушательницы находили, что даже лучше. В близком окружении стали поговаривать, что если Васютин — Маркс, то Грибов — по крайней мере Энгельс. Прошёл слух, что он заканчивает большой труд с изложением идей мэтра.

Однажды рано утром в воскресенье Антон получил от Григория

срочную телеграмму с просьбою немедленно приехать по важному делу; отправлена она была в два часа ночи.

Через час взволнованный Антон уже сидел в комнатухе ещё больше взволнованного Григория.

— Брут, вы можете сейчас поехать со мной за город, в лес? Нужно сжечь одну рукопись, — он нервно шерстил стопу исписанных мелким почерком листов, по виду страниц в триста.

Узнав, что важное дело заключается в этом, Антон успокоился.

— А зачем в лес, да жечь? Раздерём ее, как говорил Кувычко, на шмаття — и в мусорный контейнер. Или в два-три, если нужно, чтоб никто не собрал.

— В данном случае это никак не подходит! Она должна быть предана огню!

Выяснилось, что сожжению подлежало сочинение Грибова, в котором он, изложив идеи Васютина, их искажил, упростил и выхолостил так, что из них полностью исчезло революционное содержание.

— Очистительный огонь! Аутодафе!

Рукопись сожгли в лесу возле Опалихи.

Чаще всего Антон вспоминал одну встречу с Григорием во двореике старого здания университета на Моховой, куда философ иногда приходил посидеть, покурить, поглядеть на памятники Герцену и Огарёву. Сказал, что ни с кем не видаётся и очень занят проблемой: имеет ли революционер право на робинзонаду? Когда Антон уже зашагал в сторону «Националя», он вдруг услышал:

— Брут! — Григорий стоял и смотрел ему вслед; Антон остановился. — Храните революционные традиции!

Был час окончания лекций, из университета косяком валил народ. Антон мог бы поручиться, что головы повернули все, а многие и призамедлились. Во всяком случае, комсорг курса Геныч, считавший Антона тайной контрой, остановился как вкопанный.

— Не забывайте! — ещё громче прокричал Григорий, вытянув вперёд руку. — Храните!

29. Псы

Одиноким путник на пустынной, далёкой от жилья дороге странен. Калик перехожих, пеших паломников, странников уже нет, они давно ездят и летают. Почему он идёт по дороге, зачем один? Какое-то чувство, воспоминание чего-то, быть может, не в вашей жизни, волнует и заставляет смотреть ему вслед — может, и мне надо так, одному, по обочине, неведомо куда?

По шоссе от Судака на Новый Свет бежал пёс. Я шёл медленно, отдыхая после долгого бега, никто не отвлекал меня, я мог смотреть на него сколько угодно. Это был не холёный городской, но и не бродячий, а хозяйский хороший пёс; бежал он ровной

иноходью, под шкурой за загривком мерно ходили его лопатки. И раздавался какой-то странный звук, я нескоро понял: в вечерней тишине явственно слышался сухой костяной стук — когтей по асфальту.

Вы замечали, что сущность животного вернее всего выявляется в беге? Я не говорю уж о профессиональных бегунах — борзых, гепарде, неправдоподобный бег которого просится в замедленную киносъёмку, о совершенном ходе ахалтекинца — не на ипподроме, а в степи. Речь идёт о тех, для кого бег — нечастая необходимость. Тяжёлый бег коровы, оторванной от своего мирного занятия, мощный топот склонившего до земли рога рассерженного бугая, бестолковый бег овец, пыhtящая трусца служащего с портфелем, скачки невесомых козлят на сухих копытцах, хитроватая, поросычья, косая побегка ежа.

Но никто не бежит так осмысленно, как бежит пёс. Не возле своего дома, вперебежку через проулок, а где-нибудь далеко, на загородном шоссе. Он не рыскает, как тротуарная собака, туда-сюда, он движется сосредоточенно, по прямой — к знакомой цели. На Киевском шоссе за Москвой я видел бегущего пса, держащего в зубах упакованный в несколько слоев целлофана батон. До ближайшего посёлка было не меньше трёх километров. Пёс обогнул меня по дуге, ни на йоту не сбив свою иноходь. Он бежал по делу.

В глазах Антона этот целеполагающий пёсий бег был недостижимым образцом своего пути, дела, жизни. В детстве у него было одно желание, о котором он один раз сказал маме, но она положила ему тёплую руку знакомым движением на лоб и сказала: спи, спи. Второй раз он поведал об этом желании в минуту бесконечного ночного доверия женщине. Она

немного помолчала, потом засмеялась и сказала: «Ты и есть такой». И выражение лица у неё было как у мамы тогда. А сказал он им обеим, что хочет быть псом: маме — что толстым щенком, как Буян, с висячими замшевыми мягкими ушами и холодным носом, возлюбленной — что большим псом с широкой грудью и длинными мощными лапами. И когда ему удавалось что-то долго и успешно преодолевать, он чувствовал себя таким псом. Пёс бежал по шоссе, равномерно, долго, далеко, летом, в жару, осенью, когда фонтанчики пара отрываются от чёрной морды, как от вскипающего на костре закопчённого чайника, это он, Антон, это я бежал по шоссе — я много бежал тогда, по десять, пятнадцать километров. И когда он вбегал в придорожный посёлок, собаки, повинаясь древнему инстинкту, с лаем бросались вдогонку, становясь его врагами, он огрызался на ходу, и ему хотелось крикнуть: я ваш, я такой же, как вы, я тоже бегу по шоссе и слышу, как стучат по асфальту мои когти.

Там, на Судакском шоссе, на другой день перед закатом я снова увидел его. В тот день у меня был вечерний бег и я мог составить ему компанию. Искося посмотрев на меня, пёс пересёк шоссе и, немного прибавив, побежал по другой обочине. Но оторваться ему не удалось, я в то лето был в хорошей форме и не отстал, когда он прибавил ещё. Так мы долго бежали параллельно, разделённые лентой шоссе, пёс на скок не переходил — было ещё далеко, и иноходь оставлять не стоило. Когда мы вбежали в Новый Свет, у цистерны с выбракованным шампанским, продававшимся в розлив, стояла очередь.

Бегущих людей не любят псы, псов — люди. Очередь вмиг ожесточилась: «Сапо- гом ему в морду!..» «Сук плачет по этой суке!» Пёс решил, что пора идти в отрыв, длинными стелющимися скачками срезал перекресток и исчез в переулке.

Куда он бежал и зачем? Навестить друга-пса? Нет, он бежал к ней, своей пёсией подруге, а теперь возвращался домой — так Антон рассказывал про него ещё одной женщине. Когда в своих прогулках они доходили до железной дороги, то всякий раз видели одинокий тепловоз. Утром он ехал весёлый и яркий, вечером возвращался тусклый и ехал медленно и неохотно. Антон объяснял: машинист ехал к своей возлюбленной, она живёт в конце перегона, и что ж ему делать — не такси же брать, начальство идёт ему навстречу, он хороший машинист, и он катается так уже давно. Она верила, а потом Антон рассказал ей про бегущего пса, и они вместе пытались проникнуть в пёсью душу, но скоро выяснилось, что мы не можем проникнуть в пёсью душу, и она смеялась, говоря,

что Антон теперь начнёт работать над большой монографией «Жизнь

псов». Антон не смеялся и говорил, что все свои научные работы, напечатанные и неоконченные, отдал бы за авторство брошюры, которая называлась бы «Псы» или, по крайности, «Верблюды».

Хорошо б при этом ещё иметь фамилию «Псарёв». Или «Пёсов» — за эту вообще всё отдай и будет мало. Или жить на берегу реки Псоу. Но потом, чтоб не выглядеть слишком занудным, стал вспоминать что-нибудь забавное, например, как в девятом классе он сделал доклад на тему «Верблюдоводство», а учительнице географии показалось, что это насмешка, она почему-то считала, что и само слово придумал Антон. Но это была не насмешка, к верблюдам Антон относился слишком серьёзно, и ещё в четвертом классе сочинил стихи: «Небо сине. Солнце жжёт. По пустыне знойной караван идет. Тощие верблюды головы склонили». И вообще не до смеха, когда верблюдоводство падает. Меж тем один верблюд дает в год до двух с половиной тысяч литров молока, и это не несчастное коровье молоко — в верблюжьем очень высокое содержание казеина, глобулина и альбумина, а альбумин играет важную роль в синтезе тканевого белка и содержит такие жизненно необходимые аминокислоты, как лизин и триптофан, которые способствуют образованию красных кровяных шариков. А шерсть? Из которой делают лучшие одеяла, кошму, идущую на юрты, — она не намокает, её боятся скорпионы! Чтобы привезти сумку почты и мешок продуктов, сейчас гоняют по пустыне вездеход, губят слабый верхний почвенный слой. А верблюд-дромадер со своими широкими копытами и нежными губами его нисколько не нарушает. И ест он в полупустынях Казахстана то, чего не едят овцы и лошади: полынь, солянку, сапаргус, камфарос. И люди давно всё это поняли, и количество верблюдов в мире увеличилось с восьми миллионов в 39-м году до пятнадцати в 72-м. И даже Австралия присоединилась к держателям дромадеров и одногорбых бактрианов, хотя и тех и других там сроду не было. И только у нас верблюжье поголовье сокращается.

Антон очень удивился, когда в конце этой речи женщина сказала, как когда-то учительница, что это уже издевательство, что затянувшаяся шутка — уже не шутка, и что она пойдёт домой. Антон не очень огорчился, потому что гораздо больше был расстроен уменьшением поголовья верблюдов. И жалел в тот вечер только о том, что не успел прочитать стихи Кедрина: «Стон верблюдов горбоносых у ворот восточных где-то». И дальше — про войлочных верблюдов. «Войлочные» — это хорошо.

Мы с Васькой Гагиным любили верблюдов. Нельзя сказать, чтобы зверья вокруг было мало: у всех коровы, телята, поросята; у насельников Набережной — обязательные гуси, утки; за своих считали скворцов,

скворешни висели в каждом палисаднике, Васька клялся, что в ихнюю пять лет прилетает одна и та же семья и будто скворчиная мамаша откликается на кличку «Вера»; летали вороны, грачи, снегири, коршуны, от которых надо было охранять цыплят. Но верблюды были как бы из другого мира — высоченные красавцы со строгими бровями и огромными горбами, верхушки которых весной свешивались вбок, а после лета торчали, как горные пики за Озером. Они появлялись на нашей улице редко, это было событие, но мне казалось оскорбительным для них бежать по улице за ними и кричать: «Ваня-Ваня — соль-соль!» Я повлиял на Ваську, и он хоть и бежал, но не кричал. Весной за верблюдицей трусил маленький верблюжонок, но горбик у него уже виднелся, а если верблюжонок был уже большенький, второгодок, то у него в перемычке между ноздрями торчала перпендикулярно морде палочка — джида, чтобы не зарастала проколота там дырка. Джиду делали из саксаула, который не гниёт от слюны и соплей, через год её вынимали.

Конечно, странно расставаться с женщиной из-за верблюдоводства, но у Антона такое случилось уже не в первый раз. Предыдущий был со Стеллеровой коровой. Это замечательное морское животное, напоминающее тюленя, водилось только у Командорских островов. Была она большая — до десяти метров и около трёх тонн весом.

Её молоко превосходило по жирности коровье и даже верблюжье. Необычайно вкусное, напоминающее телятину мясо не портилось на самой жаре несколько недель, топлёный

жир напоминал пахучее сладкое миндальное масло. Питались морские коровы водорослями, паслись у самого берега, были мирные и доверчивые, с любопытством смотрели они на людей своими кроткими круглыми глазами на усатых мордках и как будто просились, чтобы их одомашнили и доили, как коров сухопутных. Но люди их убивали и убивали, пока не перебили совсем. Тогдашняя подруга Антона, преподавательница хинди Алина, не вынесла постоянного Антонова огорчения от их гибели. Когда она думала, что трагедия эта произошла недавно, терпела; каплей, переполнившей чашу, стало, когда она узнала, что последняя Стеллерова корова была убита в 1768 году.

Но все верблюды жили далеко, и ни с одним не удалось тесно сойтись, что огорчало Антона все годы жизни в Чебачинске и долго после. По наущению Антона Васька через своего друга Карбека пытался воздействовать на его отца — чтоб Карбек намекнул ему, как удобно будет ездить в лесничество, покачиваясь между горбами верблюдицы. А молоко, а шерсть! Но отец почему-то продолжал ездить на низкорослой лохматой

кобылке степной породы.

Зато с псами был полный порядок — жили в каждом дворе. Породистых не держали, а единственный — огромный кобель Индус, названный в честь знаменитой собаки героя-пограничника с замечательной фамилией Карацупа, жил в милиции. Пёс был сначала немецкой овчаркой, но в один прекрасный день в милицейском коридоре вывесили приказ — с такого-то числа служебно-розыскную собаку Индуса именовать: овчарка восточноевропейская. Треть чебачинского собачества, по подсчётам Антона, который с таковою целью неделю бродил по городу, была цепной, остальные пользовались свободой неограниченной — бегали к столовой, к магазинам, друг к другу в гости, просто так. Антон почти всех знал в лицо, подзывал и гладил, в школу выходил сильно заранее, чтоб пообщаться со знакомыми, которым приносил по косточке и которые ждали его в своих подворотнях; некоторые норовили выбежать сразу, положить лапы на грудь и облизать физиономию; другие сдерживали свои чувства, и только по шевелению травы в области нахождения хвоста можно было об них догадаться.

По воскресеньям всех своих знакомцев Антон видел на базаре, но встречались и псы незнакомые.

Однажды, когда Антон с бабкой уже выходили с рынка, они увидели, что небольшая чёрная собачка убегает, держа в зубах только что купленную ими на холодец коровью ногу с шерстью и копытом. «Держи!» — закричала бабка, народ кинулся держать, перепуганный пёсик бросил кость и скрылся под телегами. Дома при разборке корзины обнаружилось, что на её дне лежит вторая нога с копытом. Бабка ошиблась! Та коровья нога была собачкина! Антон долго не мог успокоиться, что у собачки отобрали кость, которую ей подарили, и даже собрался плакать, но тётя Лариса сказала, что собачка скорее всего эту кость всё же стащила, и это будет ей наука. Антона правовая постановка вопроса не убедила, и, засыпая, он представлял, как ночью идёт с ногой на базар, а собачка ждёт у ворот, он отдаёт ей её собственность, и она грызёт её потом где-нибудь на травке или куче сена. И название у кости было хорошее: малая берцовая. Лучшими были только два — грудинно-ключично-сосковая (вообще лучшее в мире) и тазобедренный, потому что про него были стихи: «И с ложа дивного привстав, Она изящно изогнула Свой тазобедренный сустав».

Собаки были у всех. У Вальки Шелепова — Дик, небольшой муругий пёс, сидевший на цепи с огромными звеньями — эту цепь, ограждавшую некогда могилу купца Сапогова, Шелеповым за бутылку уступил взрывник Сила, когда после взрыва чебачинской церкви ликвидировали заодно и

прицерковное кладбище. Таскать эту цепь, видимо, было трудно, потому что Дик обычно лежал. У Петьки Змейко жил одноглазый пёс Полкан. У Васьки Гагина — сука Пульма, всегда щенная — большой живот на худых кривых ногах. Дядька Васьки — директор конторы «Заготживсырьё» (Антон был уверен, что она называется «Заготзаживсырьё») каждое очередное Пульмино потомство заставлял

ликвидировать Ваську. Я как верный друг не мог оставить его наедине с этим ужасным делом. Ничего в жизни не было тяжелее — смотреть, как Васька швыряет щенков в речку.

(С возрастом такое не легче, думал Антон, принеся в ветлечебницу прожившую в доме пятнадцать лет свою кошку Феню, у которой образовалась опухоль на животе и которая целыми днями кричала страшным мявом. Перед ними пожилой санитар стал записывать в тетрадь невероятно исхудавшую большую овчарку; она положила на стол голову и смотрела, как будто знала, что это за тетрадь и что пишет санитар.) Одного щенка разрешалось оставить, и как мучительно было выбирать: у кого отнять, а кому даровать жизнь. Мне хотелось оставить самого убогого, Васька считал — самого здорового, крупного. Говорили за верное: если рот у щенка внутри не розовый, а чёрный, то пёс вырастет злой, что было важно, и мы старательно раздирали пальцами щенячьи пастички.

У нас был Буян, огромный сильный чёрный пёс, на котором Антон сначала ездил верхом, а когда подрос — впрягал его в детские санки, ехал и кричал «хо!», как настоящий каюр.

Буян пропал. Сосед, вернувшийся из магаданских лагерей подкулачник Куркун, который не мог работать и целый день грелся на солнышке на завалинке или сидел на лавочке у забора, сказал, что видел нашего кобеля с Егоркой-пьяницей. Я похолодел.

Егорку я ненавидел. Проходя мимо нашего двора, где Буян играл с васькигагинской Пульмой, он говорил громко: «Сучонку на ремешки, кобеля на мыло» или: «Хвост от суки сгодится для науки». Егорка был тот, кто привёл к Кузьме Ивановичу, дяде Кузику, туберкулёзнику, собаку, которую сам же и зарезал; считалось, что жир чёрной собаки помогает от чахотки. Жена дяди Кузика, Броня, вытапливала собачий жир, её тошнило, весь дом провонял псиной, зашедшую беременную соседку вырвало прямо на пороге.

Отец любил Кузика, но про всё это слышать не мог. Выпив, он всегда подымал эту тему, приводя литературные примеры.

— Что, Белинский ел собак? Разве Надсон пил этот мерзкий жир? А Чехов? Как врач он понимал, что это реникса, чепуха. Он поехал в

Баденвейлер и умер, но и там не ел собачины!

Кузик преподавал в техникуме электротехнику — он окончил мореходное училище, до войны бывал в Италии, Гонконге, Индии. Василию Илларионовичу рассказывал про сингапурские бордели (Антону разъяснили, что это такие театры). Войну он начал на Севере, но заболел чахоткой, с флота его списали и направили в туберкулёзный кумысолечебный санаторий «Чебачье», ему стало лучше, и он переехал в эти места насовсем. Здоровье поправилось, родилась дочка; Броня принимала все меры предосторожности, отцу не разрешалось брать её на руки, а целовать — только в пятку.

Кузик профессионально рисовал, помогал маме оформлять стенгазету «Горняк-металлург», изображая перед заголовками линкоры и подводные лодки, за что маму ругал парторг Гонюков (его фамилию я слышал всегда только со вставленной буквой «в» и думал, что так и есть, это меня смущало, но вопросов я не задавал); парторг предпочитал бы видеть в газете терриконы и доменные печи; но Кузик говорил, что печь может нарисовать лишь русскую, с горшками и ухватами. Мама велела консультироваться у только что вернувшегося с фронта Василия Илларионовича; после беседы с ним Кузик нарисовал штрек, по которому тащила вагонетку выбивающаяся из сил лошадь. Я тоже знал про этих лошадей: спустив в шахту, их уже никогда не подымали обратно, они работали, слепли, умирали, и их закапывали в каком-нибудь заброшенном забое (рассказ про них стоил долгих слёз под одеялом). Был большой скандал: где вы видели, кричал парторг, конную тягу в наших социалистических забоях! До слова «вредительство» оставалось рукой подать, дядя Кузик был отставлен и стал рисовать — пароходы, лошадей и всё, что хотел, — исключительно в мой альбом, который сам же мне и подарил. Он вообще был добрый, я его очень любил, и когда прошел слух, что Буяна съел именно дядя Кузик, я не спал почти всю ночь — было жалко и того, и другого, но Буяна как-то больше, я понимал, что это нехорошо, и терзался ещё сильнее. Тётя Лариса, спавшая со мною в

одной комнате, под утро сказала, что, может, Буяна съел не Кузик, а ссыльные корейцы, которые, по слухам, ели собак. Но медсестра Галка Кувычко, жена корейца Пака, не ссыльного, а, наоборот, даже заместителя директора райпотребсоюза, с которой проблема была обсуждена, авторитетно заявила, что корейцы едят собак особых, которых специально выращивали на своем полуострове ещё каким-то там императорам и которые больше похожи на свиней, чем на собак, а наши дворняги им даром не нужны. Я опять расстроился, но когда про собак-свиней рассказал

Ваське, тот заявил, что он знает точно: лопают самых обыкновенных, не императорских, натуральную собачину. Я немного успокоился — может, Буяна съел всё же не дядя Кузик. Но потом увидел на нём меховую шапку буянской масти и расстроился опять. «Мне собаку есть не нравится, но беда — туберкулёз. Неужели не поправиться, и погибну я, как пёс? Съел собаку и поправился, и прошел туберкулёз». Но Кузик не поправился — простудился на весенней рыбалке несмотря на гонконгский комбинезон, открылись каверны. Он очень хотел дожить до победы, но не дотянул неделю. Ещё он хотел перед смертью обнять и поцеловать свою дочку, но Броня не разрешила — боялась инфицирования.

После него осталось несколько картин. Это были странные полотна: человек лежит на дне моря, а над ним идёт пароход. И ещё: северное сияние, льды, огромный белый медведь стоит над трупом человека, а сбоку — ярко-зелёная тропическая пальма. Или: на дне моря взорванная, покорёженная подводная лодка с как бы прозрачным корпусом, сквозь который видны страшные тела задохнувшихся людей — один руками разорвал себе грудь, и видно, как бьется лиловое сердце. На борту лодки можно прочесть: «Комсом...» Это была его последняя картина. Я вспомнил о ней, когда в семьдесят каком-то году пошли слухи о гибели атомной субмарины «Комсомолец». Плавала ли в войну лодка с таким названием или тогда они были под номерами, как знаменитая Щ-138 великого подводника Маринеско? Или это была невероятная угадка? Прозрение перед смертью? Броня показала потом картины в надежде на продажу заезжему лектору из общества «Знание», но он сказал, что всё это не созвучно эпохе и вообще — сюрреализм.

Картины долго валялись на худом чердаке. Их заливало, они сгнили. Броня умерла.

Судьба последующих трёх Буянов (после первого все носили это имя) была несчастлива.

У Кемпелей, соседей, тоже была собака — Блонди, никто ещё не знал, что это имя будет всемирно знаменито. Её ночью прямо возле дома загрызли волки и утащили в тёмный лес — кровавые следы вели через речку прямо туда. Тётя Лариса говорила, что запрет нашего пса на ночь в сарай, но как-то не собралась; Буяна II разорвали прямо на огороде. «На шмаття!» — сказал Тарас Кувычко; утренний ветер шевелил лишь клочья рыжей шерсти, втопанной в снег тяжёлыми лапами. По этому поводу вспомнили старые истории: как волки заели быка Черномора, как загнали лесника на сосну и сидели внизу до утра, и он отморозил ноги, которые пришлось ампутировать, как напали в батмашинском лесу на учительницу,

оставив от неё одни только туфельки (потом Антон прочтёт у Пришвина, что это бродячий волчий сюжет, в нём всегда фигурируют туфельки). И как будто накликали. Серые хищники не унялись; однажды утром Тамара обнаружила начало подкопа под сарай, где жила Зорька, однако решили, что в мёрзлой земле волкам лаз не прорыть. Но ночью Зорька стала стучать рогом в стену. Дед взял топор и вышел. Было жутко: открывает дверь и уходит в темноту, туда. Я такого не смог бы сделать никогда; было ясно: я — трус. По этому поводу я долго расстраивался, пока одна бабкина прихлебательница не сказала: какой смелый мальчик! А сказала она это вот по какому поводу. Придя с санками с речки, Антон с восторгом рассказывал, как под вечер, когда все ребята уже ушли, на горку прибежала огромная серая собака с тремя щенками, небольшими, но вот с такими башками, и они стали съезжать с горки на лапах, а собака смотрела. «Так это же была волчица!» — ахнула бабка и побледнела. Тут-то тётя и сказала эту фразу, а у Антона не хватило духу признаться, что он не догадался, что катался с

волчихой и ее волчятами. А горка с тех пор получила прозвание Волчьей. Правда, кроме бабки и Антона, никто этого больше не знал.

Буян III, четырёхшёрстный пёс, был невероятный помоечник — постоянно рылся во всяких отбросах, однажды Антон видел, как он, облизываясь, выходил из нужника на огороде, и с тех пор, когда никого не было рядом, говорил ему: «У, говноед!» Буян виновато вилял хвостом. Может, из-за таких привычек у этого пса сначала на губах, а потом и внутри пасти, всю её заполнив, высыпали какие-то отвратительные розовые бородавки, свисавшие целыми гроздьями. Сумбаев сказал, что заразную собаку надо ликвидировать, тем более что она всё равно сдохнет — задохнётся; отец согласился.

Капитан взял из техникумовского военного кабинета мелкокалиберку, свистнул Буяна и пошёл к речке. Буян хорошо его знал и, весело помахивая хвостом, побежал следом. Они скрылись в овраге, и вскоре оттуда послышались один за другим два выстрела. Антон забился на кучу соломы в углу хлева и не выходил до ночи.

Буян IV, большой погоухий пёс, был самым глупым. Он всюду таскался со мною, прогнать его домой не было никакой возможности. В школе все его любили, Юрка Вьюшков сказал, что он зелёного цвета, и хотя он был едко-жёлтый, с тех пор малышня кричала: «Зелёный пёс пришел!» «Зелёный пёс — кожаный нос!» и выстраивалась в очередь, а Буян по порядку старательно облизывал всем физиономии. Однажды он попытался проделать то же с директором и успел даже положить ему лапы на плечи. С

тех пор, уходя в класс, я стал запира́ть пса в сарае, но он страшно выл, его выпускали, он прибе́гал к школе и во время уроков заглядывал в окно; увидев меня, радостно, с подвизгом, лаял: пора, де, и побегать.

Однажды урок был сдвоенный и, хотя Буян заглядывал уже трижды, всё не кончался; Буян стал выть своим лучшим сарайным воем; Сорок Разбойников подняла хай.

Но хуже всего, когда Буян увязывался за мною в педучилище, куда я часто ходил по порученьям отца. Так как туда я брать его никак не хотел и даже кидал в него комками грязи, он применял свой излюбленный волчий приём — делал вид, что отстал, а сам, бежа огородами и переулками, оказывался на крыльце длинного барака, в котором располагалось это учебное заведение, раньше меня. Как он узнавал, что я иду именно туда? Это заставляло сомневаться в его всем известной глупости. Но он любил ещё и интерьер этого здания — может, за длиннейший, как в Петербургском университете, коридор. Была знакома ему и учительская, дверь он открывал своей сильной лапой и потом обегал комнату по кругу, а испуганные преподавательницы задирали ноги на диван и визжали.

Буян IV был не только самый глупый, но и самый прожорливый. Во всяком случае, эта причина приводилась в объяснение того, что его отдали Бондаренке со скотобойни.

Тот рассказывал, что Буян сидит на цепи, стал злой и сильно разжирел. Антон очень переживал разлуку и пошёл навестить друга. Огромный гладкий пёс метался и хрипел, натягивая цепь. Антон открыл калитку и пошёл прямо на него.

— Стой.... мать! — закричал с крыльца хозяин. — Разззорвёт!

— Буян, — сказал Антон. — Буян-пёса.

Буян остановился как вкопанный, потом бросил в прыжке передние лапы на плечи Антона, едва не сбив его с ног, и стал быстро, взхлёб лизать ему нос и щёки.

Душевная рана долго не заживала. Взрослым Антон не раз думал, как могли родители сделать такое, зная всё про него и его псов? Что надо было бы, чтобы кто-то из его московских знакомых вот так отдал любимую собаку своего ребёнка? Было другое отношение к детям вообще? Или их жизнеобеспечение настолько отнимало все душевные силы, что ни на что другое больше не оставалось?..

Главной темой рассказов Антона дочке Даше перед сном были сначала Буяны, а потом собаки вообще; называлось — «Про умных псофф».

Один англичанин заметил, что в его доме расход электроэнергии получается как зимой, хотя он был экономный и самой ранней весной

электрокамином уже не

пользовался. Проснувшись как-то ночью, он увидел, что его шотландский сеттер, развалившись, нежится перед включённым камином. Англичанин притворился спящим.

Вскоре стало рассветать, пёс встал, нажал лапой на клавишу выключателя и ушёл в угол на свой матрасик. На другую ночь англичанин снова притворился, что спит, а сам подсматривал. Пёс поднялся со своего места, подошёл к кровати, постоял, поглядел на хозяина, потом подошёл к камину, нажал лапой на клавишу и растянулся перед решёткой.

Через некоторое время он встал, нажал вторую клавишу, которая включала камин на полную мощность, и разлёгся с ещё большим удовольствием; погрев один бок, перевернулся на другой. Англичанину на этот раз не захотелось ждать утра, и он, зашевелившись, сделал вид, что встаёт. Пёс мгновенно вскочил, щёлкнул одной клавишей, потом второй, быстро ускочил и лёг на матрасик, закрыл глаза и даже прикрыл нос лапой.

Следующую историю Антон узнал, в процессе внеаудиторного чтения по немецкому, у прогрессивного писателя Альберта Мальца, который предупреждал, что она невыдуманная. Заключённый в лагерь немецкий антифашист среди овчарок охранников увидел свою Брунгильду, которую у него, как и у всех, мобилизовали ещё в начале войны.

Собака тоже узнала его. Но самое главное: она не подала вида, что узнала! И когда он проходил мимо, только глядела ему в глаза и чуть заметно повиливала хвостом.

Антифашист решил бежать из лагеря и подлез под колючую проволоку в том секторе, который сторожила Брунгильда. Она не залаяла и только когда он, уже за проволокой, уползал в кусты, подползла к нему и ткнулась носом ему в шею. Он погладил её. Больше свою собаку он не видел.

Иссякнув, Антон подключил к пёсской серии родственников и знакомых. Печальную историю рассказала Даше мать Антона, баба Тася.

Было это в Екатеринославе, где она жила в детстве. С гражданской войны пришёл больной и хромой солдат Юхим, у него ничего и никого не было, только собака, с которой он жил вместе в каморке при кладбище и ел из одного котелка. Юхим умер, стали его хоронить. Перед тем, как закрыть гроб, кладбищенский мужик Гнат сказал: «Ну, Гарко, попрощайся с хозяином». Собака встала на задние лапы, дотянулась до лица покойного, облизала его, села и не завывала, не заскулила, а заплакала. Никто никогда не видел, чтобы из собачьих глаз катились настоящие слёзы.

Когда гроб опускали, она подошла к краю ямы, все посторонились, она села и смотрела. Потом убежала, но через день её увидели на могиле. Она

молча лежала, положив голову на лапы. Ночью уходила, а утром возвращалась. Однажды её нашли на могиле Юхима мёртвой. Гнат стал копать ей яму рядом. Кто-то сказал, что на людском кладбище — нельзя.

— Та мни шо, шо не можно, — сказал Гнат. — Бона — як человек.

Пришедший в гости писатель, которого папа Даши звал просто «Вася», подарил Даше книжку про дельфинов и рассказал про собаку, которая в городе Вашингтоне садилась в автобус и сходила на нужной остановке — наверное, считала их в уме.

— А твой Буян Первый мог бы так же притвориться, как антифашистский пёс? — интересовалась Даша.

Антон отвечал: вне всякого сомненья. Буян охранял коня Мальчика, никого не подпускал к корове, заразившейся сибирской язвой, и потом к её могильнику, и растерзал множество волков, с которыми сражался бок о бок с быком Черномором, его преследовало сразу несколько бандитских шаяк — одни зарились на его изумительную шкуру, другие — на сало, чтобы лечить своих бандитских детей, заболевавших туберкулёзом в сырых разбойничьих пещерах, третьей была корейская группировка; Буян сражался на три фронта. Поэты сочиняли про него стихи: «Был у него огромный, геройский пёс. Был этот пёс отважен и дьявольски силен, на сказочных героев похож был он». Ему поставили памятник, фотография которого была помещена в книжке — правда, там всё перепутали и подписали, что это памятник собакам академика Павлова в

Колтушах. Буян постепенно вырастал в легендарного пса, совершившего множество подвигов; о некоторых из них Даша вскоре прочла в книге Сетона-Томпсона «Животные- герои».

Сначала Даша ходила по чужим псам. На третьем этаже нашей хрущобы жила пара, союз которой был обязан их псам, во время выгуливания коих они и познакомились.

Я прозвал их Собачкиными, и Даша однажды позвонила к ним в дверь и спросила: «А Собачкины здесь живут?» Но вскоре Даша тоже включилась в Буяноэпос. Буяна V она нашла весной на пустыре, щенок был грязен, невероятно блохаст, но по морде — типичный Буян. Однако наступало лето и разлука предстояла нешуточная — Антон вёз Дашу и её двоюродную сестру Таню в Чебачинск. «Возьмём его с собою!» — рыдало дитя. «А это идея, — сказала жена. — Почему бы вам действительно его не захватить? Тем более что я собираюсь в командировку». И Буян поехал в Чебачинск.

Поезд шёл двое с лишним суток, ввиду чего заготовили мешок тряпиц — каждая в отдельном целлофановом пакете. Им повезло: в купе на

нижней полке оказалась очень смиренная старушка — из тех, что жизненные испытания воспринимают покорно и безропотно. Она только вздыхала и бледно улыбалась, когда Буян из доброжелательности и общей приязни время от времени становился лапами на полку, где она лежала, и быстро-быстро облизывал ей лицо. К учебному году внучек отправили в Москву с оказией — знакомой учительницей, которая категорически отказалась взять собаку. Дашу успокоили тем, что она на следующее лето своего Буяна увидит, и она действительно проводила с ним потом каждые каникулы.

В Чебачинске Буян V жил долго и счастливо. По утрам он, вымахавший в здорового пса, становился на задние лапы и заглядывал в окно кухни: не пора ли завтракать? Дед Даши вход в конуру завесил старым стёганным одеялом, которое Буян, залезая, отгибал лапою. Даша, переняв от своего отца тягу к рациональному и наилучшему предметоустройству мира, долго приставала ко всем, почему так больше никто не утепляет собачьи конуры, зёв которых открыт и зимой, и в них собачкам должно быть очень холодно.

Буянская традиция прервалась, когда Даша принесла угольно-чёрного щенка, оказавшегося сукой. Назвали её Жучка. Американский славист сказал: «Я думал, что это имя встречаем теперь только в романе Пушкина: "В саляски Жючку посадив"». Сучонка была настолько типической Жучкой, что иначе её наречь было нельзя никак.

Даша называла её «псица» — не потому, что не знала соответствующего слова (меня тошнило от ублюдочных сочетаний «собака-девочка» и «собака-мальчик»; мы псов называли нормально: кобель, сука). Так она именовала Жуку из глубокого уважения к этому серьёзному и полного достоинства зверю. Это была именно псица и, я думаю, подсознательно у Даши это слово ассоциировалось с «волчица», и не простая, а капитолийская из учебника древней истории.

Жучка всегда ложилась на одно и то же место — под мой письменный стол, справа от кресла. Место это она не меняла, но всякий раз устраивалась так долго, как будто оно было результатом мучительного выбора и душевной борьбы. Но зато устроившись и положив голову на лапы, она уже не двигалась и лишь иногда глубоко вздыхала — видимо, от полноты чувств; из-под стола виднелся лишь её нос. О, если б я был живописцем, Жука, я бы чудно изобразил этот чёрный нос, его пупырчатую влажность, напоминавшую мой первый школьный портфель под дождём, я бы... — я опускал руку и забирал в ладонь тёплую морду вместе с этим влажным холодным носом или мял тёплое шелковистое ухо. Это Жуке не очень нравилось, но она была тактична и не могла просто встать и уйти, а

делала вид, что услышала шум за дверью и уходила узнать, в чём дело; вернувшись, она, однако, ложилась уже подальше. Была она очень здоровая, шерсть блестела, как у вороного кровного рысака; собачники во дворе спрашивали, какими витаминами мы её пользуем, вопрос был трудный — нельзя ж было им сказать: ест то, что остаётся от обеда. У всех здоровых собак — хорошие белые зубы. Но у Жуки они были

особой, пронзительной белизны. Мама, которая из провинции привезла сложные стоматологические проблемы, увидев Жуку, реагировала неожиданно: «Мне бы такие зубы!»

То лето началось неудачно: из плана издательства выкинули книгу, появились семейные сложности, заболела нога, нельзя стало бегать. В августе пришло письмо от деда. Антон ушёл в очередной отпуск, добавив к нему два неиспользованных, и уехал в Чебачинск.

30. В Москве

Это после долгого перерыва пребывание в Чебачинске Антон вспоминать не любил. В памяти город детства был оазисом, Афинами с учителями-ссылными и жителями-ссылными. Прошло четверть века. В городе — приличная библиотека, центральные газеты приходят не через неделю, а на второй день, вместо трёх-четырёх радиоприёмников на весь город, в каждом доме — телевизор. Но и учителя, и жители стали необразованны, безграмотны, узки, неталантливы.

— Источник, давно не пополняясь свежим людским материалом, иссяк, — отвечал на сетования Антона Егорычев. — И слава Богу! Но заглох и оазис. Прими во внимание и естественные причины. Это дед твой — долгожитель, да и я уже отчасти. Все давно бежали в столицу. Так было всегда.

— Не скажите. Когда читаешь подряд русские газеты конца века, берёт тоска и зависть. Казань, Нижний Новгород, Киев по интеллектуальному уровню не уступали столицам. Полистайте «Казанский телеграф» или «Одесские новости». То, что сделали с провинциальными культурными гнёздами, — одно из тягчайших преступлений большевиков.

Антон взволновался, но Егорычев ушел проветривать парник. Через десять минут Антон уже говорил на эту тему с дедом.

— Да, гибли и другие империи и государства: уже на моём веку — Австро- Венгрия, Британская империя. Но нигде планомерно не уничтожали торгово- промышленный, земледельческий, научный цвет нации, а оставшихся образованных не заставляли стыдиться своей образованности... Дабы создать эту прослойку — к семнадцатому году уже отнюдь не тонкую, — России понадобилось двести лет. Чтоб построить всё сызнова, надобно если и не двести, то... Боюсь, твоя дочь этого не увидит.

К деду Антон ходил каждый день. Говорили часами. То, о чём стали писать потом, дед знал тогда или на десять, двадцать лет раньше: не надо так активно осушать болота — истоки многих рек, естественный дренаж; земледелие вернётся к естественным удобрениям, потому что минеральные обладают способностью накапливаться в клетчатке овощей и фруктов. «Вернётся и лошадка! И не только по экономическим причинам, когда начнут сжечь нефтяные запасы. Она тысячи лет жила с человеком, она его сестра, друг.

Разве сравнить с нею неживую машину? Когда поймут — какие-

нибудь англичане, на своих я уже не надеюсь, — что человек в деревне без лошади не ковбой, не бауэр, не хлебороб-землепашец, а сельскохозяйственный рабочий, тогда вернётся сивка».

Дед часто говорил о своем конце, поддерживать тему было мучительно. Вспоминался почему-то только прежний Чебачинск, Озеро. Встретив пушкинское «Кудесник, ты лживый, безумный старик», Антон вспомнил Ваську Гагина, который предпоследнее слово заменял на «беззубый» и так читал со сцены. Стихотворный текст Вася, как древний скальд, полагал всеобщим достоянием; в строку каждый пусть внесёт что может и как свою ее произнесёт.

Я на Пушкина не посягал, но и поправлял строки поэтов не желторотым отроком, а кандидатом наук, автором нескольких десятков работ по истории русской культуры! Когда я видел своих подопечных на экране телевизора, то тут же вспоминал мои варианты

их стихов, я писал этим поэтам письма и два-три, кажется, отослал. Но хуже всего: я был тогда совершенно уверен, что мои варианты лучше; уверенность не проходила и потом.

Познакомившись с известным поэтом, я начал советовать ему, что надо исправить в его стихотворении, ставшем популярной песней. Друзья погибли на войне, вспоминают о них только матери; девчонки, их подруги, все замужем давно. «Но помнит мир спасённый, — оптимистически заканчиваюсь стихотворение, — мир какой-то и живой Серёжку с Малой Бронной и Витьку с Моховой». Я стал горячо доказывать: надо переменить только одно слово, даже не знаменательное, а служебное, союз на частицу, вместо «но помнит» — «не помнит». Я не сомневался, что первый, трагический вариант был мой — стих ведёт себя сам. Поэт холодно заметил, что он сказал именно то, что хотел сказать.

— Ты что, хочешь улучшить всю советскую литературу? — сказал Юрик. — Идеи о тотальном улучшении всех стихов — извини, старик, это уже паранойя. Бредовость своих мыслей об идеальном предметоустройстве в масштабах планеты ты, кажется, с годами просёк. По крайней мере, я давно не слышал твоей чуши про то, что надо выделять из бюджета деньги домовладельцам, чтобы они снесли вдоль шоссе и железных дорог свои грязные сараи и построили чистенькие пакгаузики, как в Тюбингене и Ольденбурге.

Юрик ошибался. МНПМ, мания наилучшего предметоустройства мира, продолжала владеть Антоном. Он не только переплетал старые книги и обёртывал новые в день их покупки. В библиотечной книге, которая больше никогда не попадёт ему в руки, друг Юрика подклеивал переплёт,

порванные страницы. В пансионате из огромных валунов выложил дорожку к морю. На снятой на два месяца даче чинил забор, стеклил парник, на ржавые рёбра хозяйского абажура натягивал ткань от старой шёлковой юбки.

И, конечно, развернулся в полную силу, когда появилась собственная дача. Своё неприятие вещного неустройства мира тут он воплотил вполне. Стоило посмотреть на эти панели в сарае, в которых были вырезаны гнёзда по профилю каждого инструмента, на клубки тщательно смотанных верёвок, бухты проволоки, разложенные в порядке убывающего её сечения, гвозди всех размеров в плоских ящиках, напоминающих прежние типографские кассы для шрифтов. Антон утверждал, что он, как наборщик, берёт из ячейки нужный гвоздь не глядя, экономя этим время (часы же, которые ушли на изготовление этих отшлифованных, проморённых и отлакированных касс — иначе он не мог, — в расчёт, конечно, не брались). Имелись и специальные коробки с текстологической надписью «нрзб» — там ожидали своей ячейки, гнезда, банки, ящичка неразобранные предметы, но это Антон считал предательством по отношению к вещам.

Он говорил, что любовь к предметоустройству усвоил от деда, но его сестра Наташа считала, что деда братец давно переплюнул.

Как-то на даче при ней он тесал колышки для поддержки саженцев. С каждого тщательно счищал кору.

— Дядя Тоша, а зачем? — спросил вдумчивый племянник Миша.

— Под корою дерево преет и скорее сгнивает, ошкуренное же стоит долго.

— А с корою сколько?

— Года три-четыре.

— Так саженец уже укоренится, вы сами говорили!

— Колышки пригодятся для чего-нибудь другого.

— А вдруг для другого не пригодятся?

— Тогда...

А что тогда?.. Об этом не думалось, главное — сделать, как учили, как делали веками, как надо. Вытаскивались и выпрямлялись на куске старого рельса гвозди, толстая ржавая проволока, гнутая жёсть — всё это хранилось потом в образцовом порядке годами, хотя для работ использовались и гвозди, и жёсть, и проволока — новые.

На электричке на дачу с Антоном ехать было — мука: он говорил только о том, что надо снести бегущие за окном хламные сараи, оградки из спинок железных кроватей,

убрать многолетние огромные свалки. Строил планы, откуда на это

взять деньги и как заставить русский народ не запакощивать лик Земли.

Жизнь в столице шла по своим законам. Первый закон, «Москва — треффпункт», или «М-трефф», гласил: вернувшись — встретишь. Это означало: когда более или менее надолго уезжаешь из столицы, по возвращении начинаешь встречать знакомых, которых не видел много лет, будто они тоже только что вернулись и решили побродить по улице Горького. Именно там через день после приезда Антон встретил несменяемого парторга курса Юру Лузакко, который теперь именовался Урхо и работал в финском отделе секретариата ЦК.

Перед «Националем» Антона облапил и чуть не задушил огромный лохматый мужик в кожаной куртке, пахнущей псиной, — Егор Бриллиантов. Егор был гуран. О существовании этой малочисленной, полудикой, обитавшей в забайкальской тайге народности, последней в стране получившей паспорта (именно тогда он и взял свою фамилию, которою очень гордился), Антон до знакомства с Егором не слышал никогда. Но стоило узнать, как через неделю прочёл в «Литературке» стихи: «Вой дикого гурана...» Этот эпизод оказался завершающим в цепи подобных и позволил ещё на первом курсе вывести второй закон, закон гурана: новый факт вскоре напомнит о себе. Второй закон, в отличие от первого, имел рациональное объяснение: факты, циркулируя в информационной толще, всплывают на её поверхность постоянно, но без презумпции мы их не замечаем. Третий закон открыл Юрик: не ищи женщину — явится сама. Он же открыл и четвёртый закон, имеющий, по его словам, ещё более регулятивное значение, но формулировку его скрывал.

Познакомился Антон с Юриком Ганецким ещё в университете на встрече Нового года. Юрик сказал, что пьёт только с женщинами — по необходимости, для создания обстановки эротической раскованности, но и тут надо соблюдать норму: «Секс и алкоголь несовместимы. Недаром держатели гаремов не брали в рот ни капли».

Гаремная тема их и сблизила. Антон упомянул о нервных заболеваниях обитательниц сералей, которые, будучи в них в количестве 200–300, на ложе султана попадали в лучшем случае раз в год. Юра подсел, подвёз Антона домой и не отстал, пока не выпотрошил вчистую.

Тема занимала Антона с отрочества; Гройдо поражался, откуда провинциальный школьник набрался подобных сведений. Но, бывая на Востоке ещё до революции, а после изучая его уже как замнаркомнац, сам добавил кое-что в Антонову копилку: как султан XIV в. Ибрагим, обидевшись за что-то на свой гарем, приказал утопить его в кожаных мешках в Босфоре, все триста единиц; ещё в середине XIX века через

Одессу и Таганрог продавали девушек для турецких гаремов.

Антон не утаил от Юры этих фактов, как и прочих, почерпнутых уже на истфаке МГУ. Особенно заинтересовался его новый друг двумя: султан Мулаи Исмаил имел 548 сыновей и 339 дочерей от 400 наложниц, в его гареме каждые двадцать дней рождался ребёнок; Чингис-хан, отправляясь на завоевание Запада, подарил свой гарем одному из остававшихся военачальников: что гарем? какой гарем? речь — о господстве над миром!

— То есть обилие женщин мешает великим делам?

— По-видимому. Чехов считал, что Левитан — великий художник, но высот гениальности не достиг — «истаскали бабы».

— А султан Мулаи остался в истории — какими-нибудь завоеваниями?

— Не припоминаю.

Антон нечаянно затронул тему совокупления животных, которую знал отчасти по собственным наблюдениям (путь в школу пролегал мимо случайного пункта), отчасти по книгам с полки Василия Илларионовича; очередную встречу эта тема без остатка заполнила: секс у верблюдов, ежей, слепых кротов (Юрик предполагал, что вечная темнота и замкнутое пространство сильно обостряют их осязание). Но особенное впечатление произвел на него процесс спаривания китов.

— Представьте себе, — повествовал он общей знакомой, в состоянии восторга забыв о присутствии тут же источника сведений, — голубого кита весом в пятьдесят тонн, среди волн, стоймя на хвосте, живот к животу с китицей, тоже тонн под сорок? И оба бьют своими невероятными хвостами, чтобы не уйти в глубину! А какова должна быть струя его спермы?..

Как-то мы одновременно прочли в «Науке и жизни» про тайскую мушку, самец которой находит кокон по запаху и ждёт, когда самка вылупится, — чтобы немедленно с ней спариться.

— Ты, конечно, не понял всей значимости этого факта. Ведь она во всей своей жизни, — тон Юрика приобретал торжественность, — всего — несколько секунд — остаётся невинной!

Далее, разумеется, следовало рассуждение о роли девственной плевы в социально- историческом развитии человека, которое выглядело бы иначе, если б она у *homo sapiens* отсутствовала, как это имеет место у всех животных, включая приматов, шли отсылки к Розанову и проч.

На женщин Юрик обрушивал каскад своего остроумия; скорее это был не каскад, а веер тончайших струек. Впрочем, не только на женщин.

Приходя в дом, хозяин которого работал в отделе кожи в НИИ при мавзолее Ленина, он озабоченно спрашивал у представителей младшего поколения: «Как там наша копчушка?» Не то чтоб он особенно плохо

относился к этому вождю — даже лучше, чем к остальным. Но от удачной остроты удержаться не мог — в том числе и по отношению к себе: «Лоб борца и грудь мыслителя». Я попросил его сказать что-нибудь про очередную жену. «Ну что тебе сказать? её зовут Фира».

— Для овсов хорошо, — говорил он, глядя на тучу над полем.

— Это рожь.

— Какая разница. В трубку пойдёт.

— С чего вдруг?

— Они все всегда идут в трубку.

Когда Антон в его присутствии объяснял на субботнике, как надо послойно срезать твёрдый грунт, Юрик, не выкопавший в жизни даже самой маленькой ямки, сказал серьёзно: «Я обычно так и поступаю».

Я подозревал, что он сочиняет и анекдоты, но старательно это скрывает.

Не испытывая необходимости делиться с кем-либо своими любовными историями, Антон не любил слушать и рассказы о чужих. Для Юриковых он делал исключение: это была не протяженная наррация, но экстракт, отстоявшийся в слове.

Товарка по общежитию какой-то из его пассий, собираясь на концерт в консерваторию, торопливо досушивала над незаконной электроплиткой своё лучшее гдээровское бельё. На шутки, что оркестр от этого играть лучше не станет, серьёзно отвечала: «А вдруг случится мужчина».

Девицы рассказывали Юрику всегда что-то выразительное; я сильно подозревал, что многое за них он досочиняет или сочиняет сам; Юрик решительно это отрицал: если б он мог придумывать такое, его имя гремело бы в литературе. Но я и тут подозревал его в лукавстве: такое утверждение только повышало словесную цену приводимых mots.

Хобби Юрика были музеи — не только знаменитые, но и малоизвестные, а то и вообще какие-то ведомственные — железнодорожного транспорта, почтово-телеграфный, криминалистики; я даже помню, что они были закрытыми, во всяком случае, права их посетить Юрик добивался большими трудами. Разумеется, кончалось тем, что он знакомился с экскурсоводкой, а дальше всё шло по обычному сценарию.

— Перескакиваешь целый и самый нудно-рутинный этап. Не спрашиваешь, который час и где вы достали такие серые глаза. Она по должности обязана отвечать на мои вопросы. Ну, а там выдашь какой-нибудь парадокс о ненужности в наше время

железных дорог. Или удивишься, как она держит в голове столько сведений о скоростях и тоннах. Удивишься искренне!..

Юрик действительно искренне восхищался всяким знанием, обнаруженным представительницей противоположного пола: «Может, я извращенец, но для меня сексуальность начинается после определённого интеллектуального порога».

Музейная часть теории и практики Юрика была Антону близка, у него тоже были знакомые экскурсоводки, только музеи были литературные.

Музей Маяковского отличался от музея Толстого контингентом посетителей как учреждения двух разных государств. В квартиру советского поэта приходили школьники и коллективные экскурсии из соседнего огромного здания на площади Дзержинского, бывшей Лубянке. Бодрые девушки громкими голосами рассказывали о поэте революции.

В музее Толстого тихие, интеллигентные сотрудницы устроили обструкцию своему охраннику. На субботнике во время перекура пенсионер-вохровец, недавно принятый на работу, а до пенсии с 36-го года служивший в органах, обмолвился, что не раз принимал участие в активном следствии. На вопрос, не попадались ли ему известные люди, спокойно ответил: да, попадались, например, маршал Тухачевский.

— И что там во время этого... активного следствия с ним делали? — вежливым голосом спросила старушка-хранительница.

— Плоскогубцами тащили из спины позвоночник.

Знакомый врач, которому Антон фразу воспроизвёл, заявил: выдумки, боль при такой процедуре должна быть такова, что истязаемый впадёт в шок и ни к каким вопросам будет уже не пригоден. На другой день вохровец никак не мог понять, почему такие интеллигентные сотрудники музея перестали не только с ним здороваться, но даже глядеть в его сторону.

Стремоухов Антон был человек недиалогический. Свободно и просто он вступал в общение лишь с землёй, камнем, снегом, деревом, железом — косной материей вообще.

Здесь он чувствовал себя уверенно. Правда, последний член из ряда уже выбивался: на уровне кровельного железа, болта-гайки, гвоздя-шурупа, напильника-ножовки диалог шёл как по маслу, превращаясь со стороны второго участника почти в сочувствие-монолог; но с теми, кто имел собственную индивидуальность, например, с вращательными механизмами вроде коловорота или ручной дрели, коммуникация была уже менее родственной, ещё хуже обстояло дело с электричеством, совсем плохо — с радиотехникой; с ужасом ждал он обещанного в статьях, прозе и стихах свиданья со счётно-вычислительными машинами; в статьях каждому человеку через десять—пятнадцать лет обещалась такая личная машина.

Живой мир тоже располагался по степени возрастания сложности диалога: травы, деревья, насекомые, рыбы, коровы, кошки, лошади. Последние, с кем общалось ещё легко, были псы. Потом начинались трудности: дальше шли люди.

Из человечества проще всего было со стариками, родившимися до восьмидесятых годов, нетрудно и с более молодыми из того же века, за ними шли крестьяне, дети, работяги, женщины; дальше — всё труднее и труднее: кондукторы, продавцы, чиновники, начальство, коллеги. О спонтанно-спокойном диалоге, как при коммуникативном акте с бревном или ямою, не могло быть и речи, приходилось душевно готовиться, внутренне собираться.

Чем человек приятней и ближе, тем общение получалось тяжелее; получасовой телефонный разговор с другом выматывал его так, что столько же он отлёживался, а после особо интересных бесед принимал душ или тридцать раз отжимался, или пятьдесят раз приседал, или надолго застывал в позе змеи.

Самым естественным и желаемым образом жизни для Антона представлялось забиться в нору, сидеть на даче неделями без телефона. Он разрешал это себе нечасто: в перспективе мрачно маячил призрак знакомого лингвиста, замуровавшего себя в четырёх

стенах, сообщавшегося с научным миром через жену (последние десять лет его не видел никто, что породило множество острот, варьирующих тему поручика Киже) и в конце концов окончательно сбрендившего.

И Антон стал появляться на московских кухнях. На самом деле это были не совсем кухни или даже совсем не кухни. То есть сначала, у кого-то, где-то, когда-то, может, и кухни. Но на памяти Антона сидели в комнате, а то и в двух, и в трёх, как у Тарновских но говорилось всё равно: «Вчера на кухне у Тарновских...» Кухни различались оттенками и уклонами — в литературу, в живопись, в философию, в музыку. И у всех — в политику.

Антон старался выбирать те, где её было поменьше.

31. Встреча друзей

Вечер встречи выпускников истфака, к которому Антон приурочил свой приезд, был назначен на шесть, но понимающие толпились уже с пяти. Перед входом стояли две девицы в понёвах и кокошниках, с блокнотами.

— Вы какого выпуска? Ваше первое впечатление от Москвы? Первого часа? Самое яркое?

...На Казанском вокзале Антона встречал дядя Иван Иванович, против ожидания не в полковничьей форме, а в мятом чесунчовом пиджачке (через полчаса выяснилось, что так говорили, видимо, в прошлом веке, а сейчас ходят в чесучовых). Мундир он не надел и когда они на другой день пошли сдавать документы; Антон расстроился, но не надолго: в большой зале, где алфавитно стояли столы приёмной комиссии, они сначала увидели генерал-майора с рыжей девицею, потом вице-адмирала без эскорта, а у своего стола вообще дважды Героя генерал-лейтенанта с длинным вялым юношей с головою несколько набок. «Ваня наденет мундир с полковничьими эполетами...» — вспомнилось Антону.

Отец, похоже, поотстал от столичной жизни.

В тот, первый день они сразу направились в метро.

— «Комсомольская». Та самая, которую строил твой отец. В группе вместе с Кагановичем он сфотографирован именно здесь. Отсюда же он, не взяв расчёта, дёрнул в Семипалатинск, когда арестовали нашего Василия.

— А где лестница-чудесница?

— Какая чудесница? А... Эскалатора на этой станции нет.

Вышли на «Охотном ряду» — Антону не терпелось взглянуть на Университет. Дальше, до Музея изящных искусств решили пройти пешком — это было по пути на Пироговку.

Кремлёвскую стену чистили струёй песка из брандспойта. Вдоль Александровского сада прокатил двухэтажный троллейбус. Из правительственного гаража в здании Манежа выехал длинный, как вагон, чёрный автомобиль.

— Президиум Верховного Совета, — показал Иван Иванович на здание рядом с университетом. — Здесь ходки лет тридцать толпились в приёмной Калинина, теперь там Шверник.

Тут-то и явилось самое яркое впечатление от первого часа в Москве. Перед зданием Президиума стояли два длиннобородых мужика. На плечах

— котомки, в армяках и лаптях. Что это именно армяки, Антон, впрочем, не был уверен. Но лапти были самые настоящие, мордовского плетенья, об осьми углах, липовые, новенькие, как будто их только что выпустил из рук Гурка. Поглядывая на вывеску с золотыми буквами, лаптёжники что-то степенно обсуждали. Гурка в лаптях ходил только по своему двору, кого-либо другого в такой обуви в Чебачинске Антон не видел ни разу. С изумлённой физиономией он повернулся к Ивану Ивановичу. Но и тот был удивлён не менее.

— Только в империалистическую видел в Москве таких. Даже в двадцатые годы уже так не ходили. Это они специально для тебя вырядились.

— Зря старались. Рассказать — никто не поверит. И не верили; интервьюерши в кокошниках, несмотря на уважение к старовыпускникам, усумнились тоже.

— Ничем не могу помочь, — сказал Антон и прошёл на факультет.

Стояли группками; в лицах расплывшихся тёток брезжили черты знакомых девочек. Мелькали полужнакомые — сотоварищи по общежитию на Стромынке.

Стромынское университетское общежитие — бывшие казармы Преображенского полка — представляло собою четырёхэтажное здание в форме квадрата, с внутренним двором-плацем (теперь это был чахлый скверик) и церковкой, в которой располагалась камера хранения, в ней работал с двадцать пятого года бывший хранитель царских имуществ, ему оставляли вещи на лето — законно, и на полгода, год — без квитанции; один выпускник геофака явился за своей коробкой через восемь лет. Сторона квадрата равнялась двумстам пятидесяти метрам, километровые коридоры на каждом этаже в зимнее время служили местом вечерних прогулок парочек. Казарменные комнаты перегородили, но они всё равно остались большими: на девять — десять коек. Койки были чугунные, видимо ещё Преображенские, несдвигаемые; у изголовья каждой — фанерная крашеная тумбочка, в ней на верхней полке — общие тетради с лекциями, на нижней — кулёк конфет, в бумажках или голеньких, консервы «кит в горохе». На комнату — один платяной шкаф, которого, впрочем, хватало, поскольку больше одного пиджака ни у кого не водилось. Розеток не полагалось, утюг подключали к ввинчиваемому в патрон единственной лампочки жучку, который был категорически запрещён и имелся в каждой комнате. Быт ничем не отличался от быта того же общежития, описанного позже в великом романе, да и прошло всего пять лет со времени, изображённого там; до начала шестидесятых московская жизнь менялась

медленно.

Первым, кого Антон увидел из друзей, был Коля Сядристый, или Морячок, спавший в их комнате на первой койке. До университета он успел отслужить пять лет на флоте во Владивостоке и оттрубить четыре года на шахте в Донбассе; и то и другое вспоминать не любил, считая эти годы потерянными. В первый же месяц Морячок купил себе мандолину, все три тома «Капитала» и двухпудовую гирю. По вечерам он сначала играл военные марши, потом конспектировал Маркса, а перед сном в туалете выжимал гирю. Его мечтами было выучить десять русских военных маршей от «Прощания славянки» до марша Чернявского, научиться креститься гирей и разобраться в теории прибавочной стоимости. Первые две мечты он осуществил.

Предметом его постоянного удивления были обрывочные сведения Антона из литературы и истории. «Ты на десять лет младше меня! Почему я этого не знаю? Программа у всех одна, да и учился я в промышленном городе, а ты почти в деревне!» Антон в свою очередь удивлялся, как много тот знает всего, о чём он только читал или слышал; Морячок был его Вергилием по целым кругам жизненных вопросов, включая половые. Был он весельчак, добряк, всем давал деньги в долг — на книжке у него была некоторая сумма, заработанная в шахте.

— Теорию стоимости изучил? — спросил Антон.

— Не до конца. Представляешь, оказалось, что и у Маркса есть ошибки! В Омске — я сейчас там ра ботаю в газете — познакомился с одним старичком, из ссыльных.

Среди них бывают, знаешь...

— Бывают, ох как бывают.

— Он экономист. Бывший. Так вот, он говорит: Маркс всеобщее свойство товара выводит из того, что все товары — продукты труда. Но это неверно! А необработанные земли, леса? А территории, какой-нибудь дикий остров, который получает страна- победительница наряду с денежной контрибуцией? А частная собственность? Да она не связана прямо с эксплуатацией человека человеком!..

Морячок был единственный, с кем в их комнате можно было откровенно поговорить о советской власти. Другие этим не интересовались, а со спавшим на второй койке Толей Филиным, который интересовался, Антон чуть не подрался. Толя окончил с

отличием Курское педучилище, близко к тексту знал «Краткий курс» и продолжал свято верить. В его экземпляре чернилами была подчёркнута почти каждая строка; Антон сказал, что проще подчёркивать неважное —

меньше работы.

— Неважное? — вскипел Филин. — Может, ты забыл, кто написал четвертую главу?

Но в комнату без стука вошёл комендант (он считал своей обязанностью делать так, если слышал разговор в повышенных тонах), и ссора затухла. Драка началась в другой раз, и тоже в связи с автором четвертой главы.

— А кого посылали на самые ответственные фронты? — насккивал Филин на Антона. — Царицын, Варшава! А десять сталинских ударов? А индустриализация, коллективизация!

— А миллионы в лагерях?

— Наслушался в своем контристском городе! Откуда ты знаешь, сколько сидело? Сидел, кто надо! — Филин кинулся с кулаками, Антон успел пихнуть его в грудь, но Морячок твердыми пальцами взял каждого под горло и толкнул в разные стороны.

Когда через два года все вернулись после чтения доклада Хрущёва на двадцатом съезде, Филин, не вступая ни с кем в разговоры, долго мрачно курил у окна, потом лёг и укрылся одеялом с головой.

Но больше поражали те, кто, не учась в Курском педучилище, верили во всё, говорили, что ничего не знали о лагерях, что нет дыма без огня или что вот меня же не посадили. Это были взрослые, даже пожилые люди, всю жизнь жившие в Москве.

...Всё шло путём: в фойе что-то декламировал Саша Сысаев, обитатель третьей койки, по поводу коей при заселении возник спор. Саша сказал, что он поэт, стихи пишет лёжа в постели, как Пушкин, и ему необходима койка у окна. И тут же прочитал свою поэму «Раб»:

Чутко дремлют Тибра волны,
Семихолмный город спит.
Безучастно и безмолвно
Хор светил с небес глядит.
Спят чертоги Палатина
С гордой цепью колоннад,
И в лачугах Эсквилина
Буйство, труд, беспутство спят.
Но не спит в сырой темнице,
Плачет, бьётся в эту ночь,
Будто в тесной клетке птица,
Христианка, Рима дочь.

Далее повествовалось о том, как завтра ныне немые стогны града

заполнит зрелищ жаждущий народ, квиристы получают своё любимое зрелище: бой гладиаторов со львами. И одним из этих гладиаторов будет возлюбленный бьющейся христианки. Потом перелагалась известная легенда о беглом рабе, который в пустыне встретил льва. Лев сотрясал рёвом окрестности: в передней лапе у него была огромная заноза-щепка, которую раб и извлёк. Раба вскоре поймали, льва тоже. Когда раба выпустили сражаться со львом, лев оказался тот самый; как котёнок, лёг он у ног раба.

И с благодарностью немою
Лев руку смуглую лизал —
Так море пенною волною
Целует цепь прибрежных скал.

После этого никто не стал возражать, чтобы Саша занял койку у окна, хотя Антону очень хотелось поставить одно условие: заменить в последнем стихе слово «целует» на «лизает».

На четвёртой койке жил Вася Весовщиков из Киржача. К нему иногда приезжала мать, привозила треть мешка картошки и пирожки в тряпице, тоже с картошкой.

Отдыхала, знакомо положив на колени руки, похожие на тётитанины. «Работали дояркой?» — спросил Антон. «В войну. А ты как узнал?»

Вася обладал феноменальной зрительной памятью. Размеров она была таких. Уже отцом взрослого сына Василий Онуфриевич, будучи в турпоездке в Праге и сидя с руководителем группы в кафе, вдруг сказал: «Эта официантка двадцать лет назад работала в летнем чешском кафе "Прага" в московском парке "Сокольники"». — «Заливаешь». — «Пари?» — «Полдюжины "Будвара"». Спросили. Она действительно в то лето там работала. Руководитель зашептал, что с такой памятью надо служить известно где и что может порекомендовать. Но Вася сказал, что у него другая дорога. Дорога Васиной памяти привела его после школы прямёхонько на китайское отделение. Иероглифы он щёлкал как семечки; когда его как самого успешливого студента отправили на три года в Пекинский университет, он поражал китайцев знанием редких и количеством; кроме того, выявилась и другая его способность — с исключительной точностью имитировать сложную мелодику китайской речи.

Но Вася на этом не остановился. Благодаря многолетнему упорному упражнению лицевых мускулов в китайском направлении, его физиономия постепенно настолько окитаилась, что китаец перед резиденцией советского посла принял его за своего. (К этому, правда, были

обстоятельства предрасполагающие: как у многих насельников рязанско-московско-владимирского ареала, у Васи в спаде скул и разрезе глаз брезжило что-то отчасти монголоидное, видимо облегчавшее задачу.)

А чрезвычайный посол вызвал Васю вот зачем. Ему донесли, что талантливый студент сильно подружился с китайкой Вань Лань. Намекнув, что выдаёт ради Васина блага государственную тайну, посол потечески предостерёг его: отношения с КНР всё ухудшаются, и если не поздно, отношения с её гражданкой лучше прекратить. «Поздно», — сказал Вася.

Мы и без посла знали про охлаждение великой дружбы: стали исчезать китайские плащи, рубашки и замечательные огромные термосы. Китайцы, коих, по непроверенным данным, в МГУ было 20 % (мы этой цифре верили — уж очень они всё заплонили, а Морячок даже подвёл научную базу: в мире каждый пятый — китаец, значит и в университете тоже), всё чаще ввязывались в споры, обвиняя нас в буржуазном перерождении. Одевались они в одинаковые маоцзедунки из синей дабы, очень похожие на сталинки-маленковки, строем ходили в столовую, по вечерам собирались в коридоре и что-то долго хором скандировали. В комнату № 9 подселили китайца, который каждое утро декламировал: «Самое дорогое у человека — это жизнь. И прожить её надо так...»

Васе удалось вывезти свою Вань Лань в Москву. Тут он сделал большую ошибку, свозив её в Киржач. До этого китайка твёрдо верила в буржуазность СССР и мечтала в эту буржуазность окунуться. Но бедность, в которой жили Васина мать и её родичи, поразила даже дочь китайского кули и внучку рикши. Ошибка усугубилась другою — для развлечения Вася сводил её к своим знакомым, нашим однокашникам: дочери главного режиссёра одного из московских театров, сыну советника посольства в Вене и ещё к кому-то такому же.

— Все богатые, — печально мотала головой из стороны в сторону китайка, — один Васия бедный.

Однако дела у них вскоре поправились: жена устроилась в поликлинику МГУ, где открыла кабинет иглотерапии. Список лечимых ею болезней впечатлял: от астмы и язвы желудка до бесплодия и импотенции. По предпоследнему пункту к ней как-то не обращались, но зато по последнему — на удивленье активно и почему-то исключительно

арабы. Вася тоже стал подрабатывать — на радио, где с замечательной китайской интонацией обличал перерождение (левое) китайских коммунистов.

Я пришёл к ним в гости в высотное здание, где им дали блок в

общежитии. Вася похудел.

— Да нет, не болен. Чуть заперхаю, моя китаёза воткнёт две иглы в подколенку — и наутро как огурчик. Просто — замучила она меня своей азиатской страстностью.

— Тссс! Слышит же!

— Не поймёт. Русский у нас хорошо будет знать Антошка.

Антошка, упитанный раскосый трёхлетний младенец, знал по-русски пока только слово «дыва», которому научился в детском саду при делёжке сахара.

Через год они отбыли в Ялту, куда Васю пригласил тамошний «Интурист» для работы с японцами. Однако на этом поприще удача не сопровождала его: заслав группу служащих концерна-гиганта «Мицубиси» на водопад Учан-Су, он забыл прислать туда обратный автобус; дисциплинированные японцы ждали на шоссе под крымским солнцем два часа, но потом на такси и попутках стали подаваться в город; Васю уволили.

Положение снова спасла древняя Китайская медицина: Вань Лань в центральной курортной поликлинике, как и в МГУ, открыла отделение иглоукалывания. Заодно решился и квартирный вопрос. В семье отдыхающего в Ялте ядерного академика Н. было большое несчастье — дочка страдала парезом лицевого нерва; на её асимметричное лицо смотреть было страшно; девочке меж тем исполнилось уже пятнадцать; сеансы массажа, за которые какие-то левые врачи брали огромные деньги, результатов не давали. Вань Лань сказала: восемь сеансов чжень-цзю-терапии. С четвертого мать увозила дочку, рыдая и бормоча: «Хохлы, евреи, китайцы — шарлатаны все». Вань Лань не понимала и показывала на пальцах: ещё четыре. После пятого сеанса правая часть лица относительно центральной оси как будто слегка подвинулась вниз, после шестого оползла ещё чуть-чуть, после седьмого правый угол рта был почти на одной линии с левым, после восьмого — встал на место. Врачи толпились в дверях: девка оказалась красавицей. Мать опять рыдала и что-то бормотала, но разобрать можно было только: «Великая страна... стена...

медицина». Атомный академик долго протирал очки, потом отвёл Васю под локоток в угол и заявил, что полностью владеет ситуацией и завтра же внесёт за него взнос на квартиру в ялтинский кооператив «Альбатрос».

В комнате № 9 на Стромынке, кроме вселившегося на Васино место китайца, издавна обитали румын, албанец и вьетнамец.

Увидев вьетнамца впервые, Антон подумал, что сидит-дожидается

кого-то школьник. На строительстве стадиона в Лужниках Антон с ним и двумя его товарищами тащил длинное шестивершковое бревно. Антон взялся за комель, трое вьетнамцев — за хлыстовой конец. Сделав несколько шагов, они вдруг, закричав «не мозьно!», бросили свой конец и брызнули в стороны, Антон еле успел бросить свой. Оказались они старше даже Морячка, все офицеры-лётчики. Зато, говорил вьетнамец, такой, как ты, в джунглях не живёт долго: слишком большой и много воды.

Когда Вася после третьего курса уехал в Пекин, на девятую койку поселили румына. Он сразу прослыл европейцем: рубашку носил один день и зубы чистил ещё и вечером трёхцветною пастой. В первые же дни попросил Антона сводить его в консерваторию на любой концерт.

Программа оказалась популярной; Антон стал разглядывать публику. Прошло чуть больше трёх лет после первых его посещений Большого зала. Но зал стал другой. Исчезли старички, во время исполнения осторожно перелистывающие негнушимися пальцами истрёпанные клавиры; иссякало время фиолетовых лыжных костюмов с начёсом в последних рядах второго амфитеатра и китайских стальных рубашек в средних первого; резко, в два сезона оборвалась вековая эпоха галош, с её закатом началась эпоха грязных следов на коврово-бордовом покрытии партера. В его первом ряду возникли иностранцы, задирающие нога на ногу так, что были целиком видны рифлёные подошвы, похожие на

автомобильные шины. Молодой человек разглаживал программу, всунутую в прозрачный полиэтиленовый пакет — нарождалась эпоха этих пакетов, уходящая в будущие века.

...Вечер встречи шёл своим чередом. Устроили викторину: «Историк, что ты напишешь в двухтысячном году о своём времени?» Задавали вопросы: как назывался в середине пятидесятых бутерброд — три кильки на чёрном хлебе? как прозвали появившиеся спустя несколько лет колготки? что такое «синяя птица»? Антон помнил: «сестры Фёдоровы», про колготки подсказал Морячок: «ни дать, ни взять»; они получили приз: бычки в томате. Про синюю птицу не вспомнил никто, оказалось: курица в витрине магазина.

В фойе развернули книжный киоск; после Чебачинска Антон пребывал в состоянии книжной эйфории; впрочем, и до этого тоже. День его начинался с букинистического на улице Горького, в обед он успевал забежать в находившуюся рядом с научной библиотекой лавку на углу Моховой и Калинина, вечером, перед театром или по пути домой, — изучить часто меняемые витрины-прилавки в проезде Художественного.

Большинство книг удавалось только поддержать в руках, но так была

просмотрена целая библиотека. В книгохранилище научной библиотеки МГУ не пускали. Студент Мичиганского университета, с которым Антон познакомился на американской выставке в Сокольниках, рассказал, что у них можно свободно пройти в хранилище и бродить между стеллажами сколько хочешь. Это произвело впечатление большее, чем все рассказы об американской демократии; от огорчения Антон не спал полночи. Профессор Зайончковский, заведовавший когда-то отделом рукописей Ленинской библиотеки, до сих пор имел пропуск, разрешающий свободный доступ в основное хранение, причём в калошах, чем он особенно гордился. «Да хоть бы и без калош», — тоскливо думал Антон.

Но однажды в изыскании средств на книги забрезжила некая нетривиальная возможность...

На факультете с лекцией о лечебном голодании выступил Мутейко, известный последователь и пропагандист Брэга, Шелтона и одного русского дореволюционного журналиста (в кулуарах он назвал имя — Александр Алексеевич Суворин, сын издателя «Нового времени», эмигрант), а заодно и дыхания углекислотой. Лектор, худой, как смык, и необыкновенно энергичный мужчина, обещал тотальное выздоровление от всех болезней. Так и сыпалось: «После пятидневного полного голодания астматический синдром совершенно...», «Артритические боли у неё на десятый день бесследно...» Помогало длительное воздержание от пищи и при болезни с изумительным названием «люмбаго».

В конце лектор сослался на свой опыт и в частности сказал, что недавно как раз закончил очередной курс голодания и хотел бы обратиться к аудитории с вопросом: сколько дней, по мнению слушателей, он не ел? Студенты, на лету ухватив материал, изложенный самим лектором, стали выкрикивать:

— Семь!

— Десять!

— Две недели!

Юрик Ганецкий, во всём стремившийся выделиться из массы, специальным голосом № 8 (№ 1 был для занятий, № 2 — для официальных бесед, № 3 — для женщин вообще, а № 4, теноровый, — для любовниц и т. д.), предназначавшимся «для многочисленных собраний и митингов», пробасил:

— Три недели!

Мутейко, подождав, когда стихнет шум, сказал скромно, что он голодал ровно сорок дней. Сообщение было встречено смехом и аплодисментами. После этого на факультете, а потом и не только, стала

популярной известная песенка:

Бывали дни весёлые,
Я сорок дней не ел.
Не то чтоб было нечего,
А просто не хотел.

Антону лекция Мутейки понравилась, не идеей тотального выздоровления (он никогда не болел), но перспективами большой экономии. В букинистическом на Арбате он присмотрел шеститомник «Истории государства Российского», который стоял уже неделю и мог уйти. В отличие от Тарасенкова, Ципельзона, Смирнова-Сокольского и других собирателей, которых, по их рассказам, книги ждали месяцами, Антону продавцы почему-то книг не оставляли и в задние комнаты магазинов его не приглашали. Месячный заработок на опытах в институте психологии покрывал только треть стоимости Карамзина; всё устраивалось, если добавить месячную стипендию целиком.

С понедельника Антон перестал есть. Мутейко обещал, что чувство голода притупится через три-четыре дня. Этого отчего-то не произошло. Были и ещё необычности. В кустарном, на папиросной бумаге переводе Брэга говорилось, что на седьмой день может возникнуть слабость, и тогда надо лежать в тёмной комнате.

Отдельной тёмной комнаты у Антона не было, но и слабости тоже. Напротив, он испытывал необыкновенную бодрость: просыпался в шесть утра, перестал дремать на лекциях (какой сон с голодухи, говорил Морячок), в голове стоял лёгкий весёлый звон, мысли являлись всё больше возвышенные. Вспоминались отцы пустыnnики, впрочем также и жёны непорочны. Дотянуть до покупки Карамзина всё же не удалось: на тринадцатый день голодовку пришлось прекратить.

Русскую часть обитателей комнаты № 9 объединяло счастливое недоумение, от которого они не избавились до выпускного вечера, — как это им удалось попасть в Московский университет? Антон с седьмого класса был уверен, что будет учиться только в нём, но помалкивал, потому что Филин и так назвал его выскочкой за то, что он подходил к профессорам в перерывах и задавал вопросы, а также ходил на лекции на старшие курсы.

А ходить ещё было к кому. Читал академик Сказкин. С восторгом узнал Антон, что иногда ещё делает доклады академик Тарле, книга которого «Наполеон» сыздетства была у него настольной. Его имя окружалось легендами. Сам Тарле будто бы говорил, что прочёл всё, написанное о Наполеоне на главных европейских языках (Шереметьев не

верил: жизни не хватило б). О «Наполеоне» Сталин сказал: это, конечно, не марксистская книга, но лучшая книга по истории, какую я когда-либо читал. Идеологи попали в сложное положение. По первой части высказывания было ясно, что делать. Но существовала и вторая! Академик остался как бы не запрещённым, но и не разрешённым вполне. Рассказывали ещё, что именно Тарле подал мысль Сталину на параде Победы бросать фашистские знамёна к подножью мавзолея — по примеру римских полководцев, устраивавших такие триумфы после побед над варварами. У самого Сталина будто бы была другая идея — в начале парада забить камнями уже доставленных в Москву русских, воевавших в немецкой армии.

В лекциях Зайончковского по внутренней политике России была настоящая история, без марксизма, — только иногда Пётр Андреич скороговоркой проборматывал какую-нибудь цитату из Ленина. Антона он невероятно смущал тем, что, провожая его в коридоре своей квартиры, подавал ему пальто.

Старший преподаватель Тотлебен (его готовую диссертацию ещё до войны сняли с защиты за мелкость темы) читал спецкурс о российских культурных гнёздах, которых, оказывается, было множество — самарское, казанское, иркутское, тифлисское, самаркандское, минское... Каждое занималось статистикой, изучало локальную историю, этнографию, местные наречия и фольклор, имело прекрасно поставленную газету, не уступавшую столичным. Материал этот — золотое дно! — совершенно не изучен.

Но больше всего Антону нравились занятия — это смущало, — которые проходили не на истфаке, а у филологов, в семинаре по фольклору, где он сидел вольнослушателем.

Семинаром руководила Эрна Васильевна Померанцева, ученица братьев Соколовых, ездившая с ними в их знаменитые экспедиции. Её главный принцип был — дать студентам представление о живом звучании народной поэзии. Слушали переписанные с восковых валиков голоса известных сказителей, граммофонные пластинки с записями народных певиц.

Когда на второй съезд писателей приехала известная северная сказительница Маремьяна Романовна Голубкова, через три дня она уже рассказывала на семинаре. Потом Антона командировали показать ей Москву, она захотела посмотреть Сокольники, и Антон поражался её искренней вере в то, что на этом месте действительно когда-то жил Сокольник. Очень порадовала былинница будничным упоминанием о том, во что верил

молодой историк и за что над ним смеялись другие молодые историки: как богатыри подымали палицы в сорок пуд. «У нас и ноне один такой ходит: нос лодьи с рыбой подымат, столь пуд и будет». Рассказывала своим редкостным языком о поморской жизни. Потом Антон прочёл её книгу в записи какого-то журналиста и не узнал ни жизни, ни языка.

Самое сильное впечатление на Антона произвёл сказитель — тоже поморский — Борис Шергин.

Мы ожидали бородатого вальяжного старца, но в аудиторию стремительно вошёл чуть седоватый, чисто выбритый, необычайно подвижной человек в сером коверкотовом костюме. Сначала рассказал о своей жизни, которая вся прошла на море, чего мы почему-то не ожидали: «Дула пособная поветерь. Лодья наша добежала до Новой Земли в полторы сутки». Рассказ пересыпал неизвестными поговорками: «Пола мокра, так брюхо сыто».

Былины пел он замечательно. Сразу же выяснилось, что в его словаре оппозиция приличное — неприличное начисто отсутствует: непечатные слова он употреблял так же свободно-спокойно, как все прочие. Главная героиня исторической песни о Марине Мнишек именовалась исключительно как Маринка-блядь, причём даже в тех случаях, когда к ней обращался её возлюбленный Дмитрий Самозванец: «Моя коханая Маринка-блядь». Московские девочки краснели и опускали глаза; сказитель же не стеснялся нисколько, руководительница семинара — тоже: из песни слова не выкинешь.

После этого Антон рискнул прочесть Эрне Васильевне частушку, услышанную от старика Кувычки, которую числил среди образцов настоящей поэзии (одно слово он всё же произнести не решился):

По реке плывут две утки,
Серенькие, крикают.
Мою милую. ут —
Только серьги брякают.

Поколебавшись, прочёл ещё одну частушку, предвоенную, которую считал очень показательной в политическом отношении:

Мы..ли девок в бане —
Аж трещали косяки.
Неужели, бля, посадят
За такие пустяки?

Руководительница семинара спросила, много ль он помнит таких частушек, где их слышал, кто информанты. Антон помнил десятка два, большинство — непристойных.

Эрна Васильевна сказала, что ареал — граница Сибири и Казахстана — мало изученный и что на одном из ближайших заседаний он, Стремоухов, должен сделать доклад.

Антон доклад сделал, но как ни собирался с духом, духу этого не хватило, чтоб вслух произносить obscene слова, как Шергин.

Одна частушка («В старину живали деды Веселей своих внучат: Как засунешь вершков восемь, Даже яицы трещат») вызвала хронологический диспут: она, несомненно, старая, о чём говорит слово «вершков», но насколько? Опера «Аскольдова могила», из которой взяты первые два стиха, написана в 1830-х годах, но эту песню из неё можно было услышать когда угодно — она популярна до сих пор. Информант-крестьянин хоть и слышал эту частушку, по его словам, от крестьянина же, но кто её сочинил?

Дискуссия продолжилась. Кохтев заявил, что исходные варианты записанных Далем пословиц и поговорок в большинстве своём — непристойные, и привёл примеры; то же и в известных детских прибаутках: «Чики-чики-чиалочки, едет мальчик на палочке...» В исконном народном тексте на палочке едет совсем не мальчик, а, так сказать, его мужской манифестант. Суслопаров сказал, что знаменитая сказка о Красной Шапочке тоже имеет аналогичные варианты: «— А что это у вас, Серый Волк? — спросила Красная Шапочка и покраснела».

Курсовая работа Антона на истфаке называлась «Быт хлыстов». При обсуждении в семинаре руководитель сказал, что работа почти вся посвящена языку хлыстовских радений, автора занимает главным образом проблема зауми, причём он ссылается исключительно на дореволюционные работы формалистов — Якубинского и Шкловского, давно осуждённые за игнорирование содержательной стороны литературы. Но где же быт сектантов? Где анализ социальных корней этого быта? В работе ощутим явный филологический крен, причём очень сомнительного свойства. Что и не удивительно, ибо и в выступлениях Стремоухова на семинарах уже был замечен такой крен. После семинара, наедине, профессор дружески посоветовал Антону перейти на филологический факультет.

«Вам это больше подходит, поверьте моему опыту».

В столовой Антон рассказал обо всём Сядристому.

— Ничего себе советик, — сказал рассудительный Морячок. — Потерять два года! Хотя в твоём возрасте... Думай.

Антон начал думать, но тут накатил роман с дочерью египтолога и стало не до филфака.

А по-настоящему серьёзно задумался, когда о том же заговорила Эрна Васильевна, у которой он давно уже был самым активным участником

семинария.

— Она права, — сказал главный советчик, Юрий Ганецкий. — Если, конечно, не заниматься современным фольклором — ты же мне сам цитировал, как богатырь садится «во машинушку да бронетанкову». Эти лизоблюдские припевки про колорадского жука: «Он живёт не знает ничего о том, что Трофим Лысенко думает о нём». Тот же официоз, только в фольклорной обёртке. А псевдофольклорные пословицы; сочинённые по заданию какого-нибудь агитпропа!

Юрик попал в большое место. Из осторожности или от испуга руководительница семинара пригласила некоего Соболева, который сделал доклад о распространённых современных пословицах и привёл примеры — они входили в подготовляемую им книгу: «Береги колхоз — получишь хлеба воз»; «За коммунистами пойдёшь — дорогу в жизни найдёшь»; «Советский Союз не обманет, всем защитой станет». Было отвратительно.

— Можно заниматься старым фольклором, — сказал Антон.

— Там тоже чепухи предостаточно. «Пришла беда — отворяй ворота». Какого чёрта? Почему несчастья непременно должны идти циклом? А «дело не медведь» или «пусть лошадь думает, у неё голова большая»? Эта твоя народная мудрость у меня вот где сидит, — он постучал ребром ладони по своей тонкой шее, показав, что она от этого дёргается.

Окончательный приговор, как всегда, был бескомпромиссен:

— Да какой из тебя историк! Вся твоя ментальность — другая абсолютно. Я не видел человека, который бы так по уши был погружён в слово. Ты и историю представляешь как словесный поток.

— А есть иная?

— Вот-вот. Рыдая над всеми этими копьями, кои ломались, аки солома, ты на моей памяти ни разу не восхитился собственно содержанием исторического документа.

Единственно, что я от тебя слышу, — «как выражено! какой образ!» Да куда дальше: нашу, современную историю ты не можешь прочувствовать по факту — тебе подавай слово. Что ты говорил о дневнике Тани Савичевой?

Юрик был прав. Про ленинградскую блокаду Антон, как и все, видел кадры кинохроники — люди чайниками черпают воду из проруби на Неве, фотографию крошечного кусочка хлеба с опилками — блокадный паёк. Но недавно ему попала статья, где приводился страшный своей смертной краткостью дневник ленинградской девочки Савичевой. Записи пронизали током, впервые он ощутил физически кошмар происходившего тогда.

— Помнишь, что ты писал о Рудине? Конечно, не напечатал? Я так и

думал. «За кого он умер? За этих блузников — он, не любивший и своих близких, и собственного народа?» — цитирую близко к тексту, можешь гордиться. «Он умер за слова, которые возбуждали его, как наркотик». Точно? Как всегда, когда пишут о себе. Это ты пойдёшь в бой, потому что позвали слова Суворова, Нельсона, великих стихов, и умрёшь под марш Преображенского полка.

Мир не имел невербального существования, вещи не обладали предметной телесностью — они рисовались буквами, но это была не молчаливая буквенность — они звучали целостностью слова. И не одного — всплывала их вереница, весь синонимический ряд. Тяпка, сапка, цапка. Отделаться не удавалось, слова звенели в голове, он повторял и повторял их, пробуя на вкус; одни оказывались близки, другие враждебны, как прицепившийся репей. Ещё хуже было со стихами. Счастье, если всплывало «Не ты под секирой ковыль обagriшь». Но недели две кряду где-то в мозжечке с утра стучало: «Из-бронзы-Ленин-тополя-в-пыли. Развалины разбитого квартала. Поутру немцы в городок пришли И статую низвергли с пьедестала». Чего он только не делал.

Твердил: поэт плохой, да ещё и написал подлую поэму, прославляющую Павлика Морозова. Пытался даже убедить кого-то, что стихи вполне ничего — уместно использован высокий стиль: «низвергли», «пьедестал». Пробовал улучшать текст («руины» подошло бы больше) или искажать («вдрызг разбитого») — иногда это действовало. Спасенье пришло неожиданно: с ранья сквозь бред овечьих полусонок проступило:

Губернатор едет к тётке,
Нежны кремовые брюки.
Пристяжная на отлёте
Вытанцовывает штуки.

Низвергнутый бронзовый Ленин больше не беспокоил.

Стихи всплывали и ночью; он никогда не слышал, чтобы во сне являлись не люди, но строки в отрыве от своих демиургов. Приснились стихи Блока: «Кто-то нерусский, в красивом пальто». Аспирант Сосневский, недавно прочитавший всё алконостовское собрание, заявил, что этой строки у Блока нет, но на него похоже. В другой раз приснилось как бы пастернаковское: «И красных сосен Подмосковья». Такого стиха у поэта никто не помнил, но все задумывались. Снились и ничьи стихи, иногда заумные:

Это кто же, это кто же
Голубую зелень лета
Бесконечно проскочил?

С годами ночные голоса звучали всё глуше, потом утихли совсем. Но днём не изменилось ничего. «Червь его сердце большое сосёт», — бормотал Антон, чистя зубы; «И с тяжким грохотом подходит к изголовью», — скандировал, подымая гантели; опрокидывая на голову один за другим пять тазов холодной воды по Порфирию Иванову, читал, отплёвываясь: «И облив себя водой, стал стучаться под избой».

На обсуждении в своём секторе статьи директора смежного института он неожиданно для всех и себя самого произнёс обличительную речь, что работу нужно завернуть как слабую, а что он — директор, так есть же высший суд, суд потомков, и надо, чтобы нам перед ним не было стыдно. А дело было в том, что из всех звучащих по утрам в голове Антона стихов в тот день выделилось и повторялось «Но есть, есть Божий суд, наперсники разврата»; эта мощная волна его и несла.

Однажды весной за переброской навоза Гройдо сказал:

— Когда вы были мальчиком, я думал, что из вас выйдет поэт. Да и потом, когда прочёл ваши студенческие стихи о Гильотене.

— Стихи были так себе.

— Не скажите. Про нож гильотины — «его равномерная сила правдивей, чем взмах палача» — недурно. А про мёртвых дождевых червей — ещё лучше: «Персть его безжизненно-нелепа, вялая покинутость чехла». Но дело даже не в том, а — вы с детства жили в мире звуков сладких.

В эпоху семиотики на одной из летних школ известный структуралист всем раздавал определения: «человек дороги», «человек норы».

— А я? — поинтересовался Антон.

— Хоть вы и историк, но я, прожив с вами в этой комнате три дня, уверенно номинировал бы вас: человек звука, или — лучше — мычания. Или — чтобы понятнее — человек глоссы.

И Антон решился. В десять утра в понедельник он стоял перед кабинетом декана филфака профессора Михаила Романовича Симбирцева. Про него говорили, что в своё время он донёс на своего учителя Франца Петровича Шиллера и занял освободившуюся кафедру зарубежной литературы. Декан как лектор многим нравился — темпераментом, тем, что читал без всяких конспектов. Правда, Алик Мацкевич как-то рассказал, что Симбирцев целую лекцию посвятил Эжену Потье — столько же, сколько Бодлеру, Верлену и Малларме вместе. Антон поинтересовался, что ещё, кроме «Интернационала», написал Потье. Выяснилось, что ничего. «А о чём же ваш профессор говорил два часа?»

— «О рабочем движении во Франции».

В кабинете декана сидел завкафедрой фольклора профессор Титеров,

который Антона знал, так как тот в перерывах между первым и вторым часом его лекций подходил к нему с вопросами то о частушках, то о вариантах текста жестоких романсов. Видимо, его накрутила Эрна Васильевна, потому что он сказал, что по склонностям и вследствие некоторых особенностей биографии студент Стремоухов прирождённый фольклорист, ту вольную частушку, которая вам, Михаил Романович, так понравилась, записал как раз этот молодой человек.

Было определено: Антон после весенней сессии второго курса у себя на истфаке переводится на первый курс филологического факультета с зачётом некоторых дисциплин, как-то: политэкономии, истории СССР, физкультуры и некоторых других.

Вопрос решился в пять минут. А в следующие пять всё так же просто и быстро рухнуло.

Опытная секретарша декана спросила, знает ли Антон, что по закону студент может получать государственное пособие в виде стипендии только пять лет. На основании чего на первых двух курсах нового факультета стипендию он получать не будет.

Ошарашенный Антон забормотал, что знает другие случаи, у них на курсе... Один студент учился год на экономическом факультете... получает стипендию, как все. Да, это

положение часто обходят, сказала секретарша. Бровями показала: но не на нашем факультете.

На деньги, присылаемые родителями, было не прожить. В следующие десять минут он уже шёл мимо Герцена и Огарёва на свой факультет, предупредить, чтоб не искали его личное дело. Попытка изменения жизни вместе с последующим возвращением на круги своя заняла менее получаса.

Удар оказался силён из-за неожиданности: такой причины Антон не предвидел. От расстройства он даже заказал — единственный раз за все годы — телефонный разговор с Чебачинском, хотя логичней это следовало сделать раньше. Мама сказала, что он, конечно, всегда интересовался литературой, но больше всего любил исторические романы.

— Какая филология? — кричал в трубку отец. — Ты историк, историк! Эти твои тетрадки, картотеки! А газеты прошлого века?

Сначала была тетрадка «Самые сильные и необыкновенное» — туда Антон записывал сперва то, что рассказывал дед: кто из животных скорей всех бежит, какие птицы выше всех летают, а рыбы глубже ныряют, какое дерево самое высокое, сколько миллионов книг в библиотеке Британского музея. Потом — что начитал сам: негр в огромном нью-йоркском универмаге служил справочной книгой — помнил, на каком этаже и в

каком отделе что продаётся и сколько стоит; французский моряк без водолазного костюма нырнул на глубину 30 м — и другое похожее.

Любимой была страничка «Самый сильный человек всех времён и народов». Последние четыре слова Антон вырезал из газеты «Правда», а предыдущие пририсовал очень схоже сам. Дальше шла запись про монаха Никодима, который на спине внёс на звонницу двадцатипудовый колокол. Но в историческом романе «Микула Селянинович» Антон прочёл, как Микула, выручая монастырскую братию, вынес за ворота обители бугая, в неё забредшего и там издохшего. Тётя Лариса сказала, что обычно производитель весит пудов двадцать пять; древнерусский бугай, решил Антон, наверняка поболее. Запись про монаха пришлось густо зачеркнуть. Однако и носителя бугая потребовалось замарывать: на путиловско-кировском заводе рабочий подымал слитки в полтонны и в заводском пропуске в графе «профессия» у него значилось: силач. Если б Антону сказали, что абсолютных рекордов на все времена не бывает, он бы очень огорчился.

Эту тетрадку сменила другая — «История вещей». В неё заносилось: когда в России появился самовар, спички (ещё при жизни Пушкина), керосиновая лампа, трамвай, кто и когда изобрёл застёжку «молния», жевательную резинку; что самый гениально защищенный патент сочинили в фирме «Зингер»: «игла с отверстием на колющем конце».

И какие бы швейные агрегаты ни придумывали, эту формулировку обойти никто не сумел, и весь мир до сих пор отчисляет фирме деньги. По совету отца он заменил тетрадку на картотеку и пополнял её и в университете; правда, узнав о существовании «Брокгауза — Ефрона», — уже выборочно, только тем, чего во времена этих великих людей ещё не изобрели или про что они просто забыли.

Газеты прошлого и начала текущего века Антон начал просматривать уже на первом курсе — без всякого плана, сплошную. Брал подшивку «Воронежского телеграфа», «Тифлисского листка», «Забайкальской мысли», «Каспия», столичной «Гласности», «Кобелякского слова», «Якутских вопросов» и листал. Впрочем, на специальные газеты был особый список: «Соха-кормилица», «Индустрия», «Жизнь приказчика», «Вестник еврейской эмиграции и колонизации», «Студент-коммерсант», «Голос тайги», «Трезвый понедельник», «Казарма». Возникла даже мысль просмотреть все основные русские газеты второй половины века. К тому времени, когда стало ясно, что такой безумной идеей возможно было одушевиться лишь в самозабвении юности (триста названий, многие газеты выходили 20, 30, 50 лет, ежедневные имели двенадцать корешков в год), он

успел просмотреть больше двухсот годовых подшивок за разные годы. Делал выписки — тоже без определённой системы, всего интересного. Читал

объявления — подряд. «Молодая особа со знанием немецкого и французского языков ищет место гувернантки». «Продаётся пара шведок серых в Яблоках». «Магазин Силкина сообщает, что поступила партия свежей зернистой икры из Астрахани». Печаль овладевала им.

Родители не сказали ничего нового, но Антон немного успокоился. Однако на филфак ходить продолжал. Жизнь на нём казалась бурливее. Только там устроили обсуждение романа Дудинцева «Не хлебом единым» в самой большой аудитории. Она набилась битком. Какой-то чернявый молодой человек (тот самый, сказали Антону, про которого знаменитый Нариньяни в очерке о школьниках написал в «Правде», что он будет вторым Писаревым) сказал в своей блестящей речи: «До сих пор советская литература была литературой большой лжи, теперь она становится литературой большой правды». И закончил выступление стихом Гейне: «Бей в барабан и не бойся!»

Тоска по литературе не оставляла его всю жизнь. Он сочинял доклады, к которым настороженно относились в институте, и приходилось читать их в библиотеках: Тургеневской (пока её не сломали, пробивая бессмысленный Кировский проспект), Некрасовской и совсем неизвестных районных.

Наибольший успех имел цикл: «Записки о Пушкине» — Чаадаева, Пестеля, «Лицейские мемуары» Кюхельбекера. Читался текст — как если бы такие записки и мемуары действительно существовали; сам Антон говорил, что это не история, не литература и не история литературы. Сочинённые мемуары Кюхельбекера имели успех несколько скандальный: коллега-соперник (совсем не по научной части) распустил слух, что Стремоухов нашёл подлинные воспоминания лицейского товарища Пушкина, однако их скрывает, ибо жаждет славы не архивиста, но писателя, так как всё время что-то кропает в стихах и прозе (последний факт был узан злопыхателем от объекта соперничества).

Серия лекций Стремоухова посвящалась историческим реалиям «Евгения Онегина». Почему шампанское Пушкин называет «вином кометы»? Что за «нетленный» пирог из Страсбурга? Зачем Пушкин особо отмечает, что фореитор Лариных бородатый? Ведь мужики все носили бороды. А затем, что фореиторами сажали (на переднюю лошадь в запряжке цугом) мальчиков, но Ларина в последний раз в столице была так давно, что мальчик успел возмужать. Напрашивался разговор о самой

запряжке цугом. Лошадь, на которой сидел фореитор, называлась подседельная (понятно: на остальных были чересседельники), справа от него — подручная; первая, ближняя к экипажу пара — кони дышловые, или дышловики. (Прослышавши про такое, один из гостей графа Шереметьева, 97-летний старик, хотел поговорить с Антоном на эту тему, так как считал себя последним фореитором в мире, однако не успел.)

Когда доброжелатели передавали Антону слухи, что на его лекциях яблоку негде упасть, он говорил, что не обольщается: дело не в нём, а в Пушкине, и рассказывал случай. В «Академкниге» в небольшой очереди перед Антоном стоял мужичок — как потом выяснилось, слесарь-сантехник. Он купил изданную Институтом русского языка книгу «Лексика стихотворной речи Пушкина». Экземпляр оказался последним.

— И будете читать? — не выдержал следующий в очереди, джентльмен в очках, коему книги не досталось.

— По Пушкину беру всё, — сурово сказал сантехник и повернулся к продавщице.

— А «Поэтическая фразе... логия Пушкина», что третьеводни лежала, ещё осталась? Другу надо.

На спектакле Марсея Марсо в клубе МГУ, когда великий мим стал изображать дуэль Пушкина, Антон опустил голову и на сцену не смотрел, а потом выскочил из зала.

— Ну, старик, — сказал Юрий Ганецкий, — это уже *pes plus ultra*.

— Извини. Глупо, понимаю. Но не мог. На твоих глазах убивают Пушкина.

В филологи Антон явно не годился. Но как же те, которые всю жизнь читают лекции о Пушкине в университете, ведут семинары?

— Не каждый врач может быть хирургом или работать на «скорой помощи», — объяснял Юрий. — Нужны особые качества нервной системы, способность не приходить в волнение.

— И у всех филологов она есть?

— Думаю, у некоторых даже в избытке. А у кого нет — ушли в поэты.

— Привет, старик! — Антон пошатнулся от мощного удара лопаторазмерной ладони по спине. Так врезать мог только Атаганов, сотоварищ из сборной МГУ по плаванию, ушедший потом в ватерполисты. Антон повернулся и тоже похлопал Атаганова по необъятной спине. Отдалось, как в бочке; его грудная клетка и напоминала средней величины бочонок: расстояние что от плеча к плечу, что от груди к спине было одно; вспоминалось старинное выражение: грудной ящик.

Стилем басс Антон овладел по «Спутнику сельского

физкультурника»; тренер не поверил, так как Антон в пробном заплыве показал время лучше третьего разряда.

Тренировал пловцов Леонид Карпович Мешков, слава советского спорта, 50-кратный чемпион страны. Рассказывал, как до войны и после из-за отсутствия закрытых бассейнов они тренировались в Сандуновских банях — ранним утром, до их открытия.

Уже через год Антон проплыл лучше первого разряда, и Мешков перевёл его в команду мастеров. Тренировки длились полтора часа, пять раз в неделю; из бассейна Антон выходил шатаясь. Это был уже профессиональный спорт. На лекциях Антон спал.

Месяца через два в бассейн он ходить перестал. Через деканат Мешков вызвал его на кафедру плавания.

— Но подумай о будущем. Через меня прошли сотни. Ты продвигаешься хорошо. Данные есть: руки, грудная клетка. На мастера выплывешь, думаю, уже в этом году.

Чемпиона тебе не обещаю — там надо много чего, но сборную страны гарантирую. Через полтора года — всемирные студенческие игры, у тебя есть шанс. Посмотришь мир, приоденешься, — тренер с отвращением подёргал не доходивший до запястья рукав москвошвеевского Антонова пиджака. — Подумай.

Антон думал сутки и даже плохо спал ночь. К Мешкову больше не пошёл.

...У стены стоял (так и хотелось сказать: подпирал стену) одинокий выпускник. Людская вереница его обтекала; я сразу догадался, кто это: так сторони лись только Сечкина. Собственно, он был как бы не совсем Сечкин. До четвёртого курса он носил фамилию другую. И вдруг её сменил — но не только фамилию. Он переменил всё. Был: Виктор Иванович Фролов. Стал: Владимир Петрович Сечкин. Существовали какие-то причины: отыскался настоящий отец, при рождении хотевший назвать его Вовочкой, и т. д. Но всё равно было диковато. Главное, стало неясно, как его называть. Со вступительных экзаменов он проходил как Витёк. Но называть уже двадцатитрёхлетнего крупного мужчину «Вовик» язык не поворачивался. Я не слышал, чтоб хоть раз кто-нибудь обратился к нему по имени. Он и всегда был скрытен, как сырой погреб, но теперь стали замечать, что ещё и смотрит вниз. Даже самого из нас не склонного к философским размышлениям Яшу Митрошина эта история подвигла на такие высказывания: жил один человек, а стал совсем другой. А куда делся тот, прежний?..

Яша в центре зала перебегал от кучки к кучке, производя своими

длинными руками загрёбистые пассы, пытаюсь сбить всех в куток, чтобы организовать песню.

Яша был любимцем подполковника Гицоева, который вёл у нас занятия по спецподготовке. Он сменил капитана Кириллова, поражавшего способностью с невероятной скоростью писать на доске печатными буквами — только короткими автоматными очередями стучал мел. Мы сразу оценили нового наставника. Он не мучил нас тактическими занятиями у макетов местности.

— Тактика-перетактика — это всё муйня. Главное — с точки зрения убит! — и, особенно твёрдо произнеся «т», наводил на нас палец.

Уже на втором своём занятии он отправил нас в тир.

— Рассредоточиться — и поодиночке к подвалу под лестницей. Накапливаемся у дверей. Где подвал? Из нашего здания направо, за угол, а там — на оперативный простор.

Если мы не стреляли, то ездили в Измайловский парк овладевать навыками рытья стрелковых ячеек и ползанья по-пластунски — то и другое он нежно любил, сильно напоминая этим чебачинского капитана Сумбаева; к тому ж подполковник тоже предпочитал вопросно-ответную систему.

— Что опасно в штыковом бою во-первых? — И сам же отвечал: — Штык попадает в кости плеча или — совсем плохо, — пройдя мягкие ткани живота, в позвоночный столб. Где — завязает. Поэтому надо — что?

Что следует делать в этом случае, изгладилось из моей памяти.

На перекурах под вялым осенним солнышком, оделив всех папиросами «Казбек» (брали и некурящие — перекур), Гицоев любил затрагивать темы исторические и литературные.

— В чём ошибка Льва Толстого, когда он описывает, как Наполеон едет после сражения по полю около населённого пункта Аустерлиц? В том, что по полю боя нельзя ехать верхом. Почему?

— Лошадь, — осенило меня, — может...

— На лошадях воду возят. Конь! Продолжайте, курсант Стремоухов.

— Конь, испугавшись трупов, может шарахнуться, понести. «Почуя мертвого, храпят И бьются кони, пеной белой Стальные мочат удила, и полетели, как стрела».

— Кто написал? Пушкин? Красиво. Но он был помещик и знал обычных лошадей. Лермонтов так бы не написал — он был кавалерист. И Толстой тоже бы не написал как артиллерист — тогда пушки были на конной тяге. Боевой конь к человеческим трупам быстро привыкает. А к трупам своих братьев-коней совсем не привыкает. Наполеон такое знал и обходил поле, где столкнулись несколько кавкорпусов, конечно,

спешившись. А коня за ним вёл императорский коновод — мусью, я думаю, в приличном чине.

Однако добродушные перекуры не мешали подполковнику через десять минут положить всех на аллею парка и заставить ползти попластунски. Мы чертыхались, но ползли. Вадим Роговский, не желая измарать свой наглаженный костюм, ложиться не хотел и пытался ползти, держась на руках и носках ног. Гицоев не препятствовал, но всё время стоял рядом. Вадим не выдерживал и, как мы, ложился в грязь.

Протестовать не решался никто. Капитан, выдававший в военном кабинете уставы, у студента Судакова первую букву фамилии заменял на «м». Тихий Судаков только жалобно улыбался. У другого студента фамилия была ещё хуже: Эбистол. Капитан, разумеется, ударял на последнем слоге и слегка менял огласовку начальной буквы.

Эбистол всякий раз смиренно его поправлял, но не протестовал тоже.

Первокурсник на плакате «Превратим страну в цветущий сад», висевшем возле туалета, после второго слова вписал: «и все туалеты». Собирались открыть персональное дело. Студент ходил с несчастным лицом. На комсомольском собрании член бюро курса сказал, что это напоминает ему возмутительный случай в его школе, где ученик залепил грязной тряпкой в портрет Сталина. Но член факультетского бюро сказал, что то и тогда — совсем другое, не будем сейчас вспоминать, и что история с плакатом — мелкое хулиганство, не надо дискредитировать институт персональных дел, первокурсник — просто дурак.

Две студентки философского факультета присутствовали на семинарах по лженауке кибернетике на своей квартире, которые вёл их отец, известный математик.

Начали персональное дело, но тоже прекратили, ограничившись выговором. Время менялось.

...Вечер встречи не удался. Приглашённая актриса Ладынина, выглядевшая так же, как в фильме «Трактористы», рассказывала о своих ролях, иллюстрируя их фрагментами из фильмов. Хлопали ей в основном первые ряды, где сидели довоенные и первые послевоенные выпускники.

Зажгли свет. В фойе уже спорили.

— И Ладынина, и Орлова — одного поля ягода!

— Не скажите. Орлова — да, чистый Голливуд, а Ладынина — совсем другое, я бы в первые имперские актрисы выбрал именно её, потому что она ярко русская. Помните пырьевские «В шесть часов вечера после войны»?

Антон помнил этот фильм, на который его взял с собою отец, не сам

фильм, а два- три кадра из него: солдаты в маскхалатах на лыжах и салют над Москвой — потом говорили, что Сталин ввёл салюты, посмотрев эту картину. И ещё помнил он, как отец, когда на мосту появились два друга и девушка, та самая Ладынина, зашептал: «Большой Каменный мост... Дом Пашкова. А там, дальше был храм Христа Спасителя...» И, сняв очки, стал протирать их платком.

Антон пошёл в буфет. Когда он вернулся, схватка шла уже вокруг самого Пырьева.

— Не спору — лакировка. Но необходимая! Шла война и нужна была «Свинарка и пастух» — про беззаботную и счастливую мирную жизнь. То же делали и в Германии — в фильмах с Марикой Рёкк, и немедленно появилось в Америке, как только она вступила в войну. Человек не может всё время делать гильзы для снарядов и копать противотанковые рвы.

— Но до войны этого было ещё больше. Этот голливудский эпигон с его «Волгой- Волгой», которую Сталин смотрел девять раз...

— Не только он. Мой дед, бывший белогвардеец, тоже ходил на этот фильм четыре раза. Про отца уж не говорю.

— А в это время других сажали. И все это знали. А кто говорит, что не знал, — врёт.

— Знали. Но. «Если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». Целое общество после четверти века войн, революций, смут, голода страстно захотело вернуться в веселье, оперетту, спорт, парады — что в этом плохого? Может, благодаря этому они и смогли выжить. В древности были не только Афины с Сократом и Фидием, но и Спарта с культом тела и атлетизма.

— Прельстительная ложь!

— Конечно, эти фильмы — более сильная агитка, чем Эйзенштейн. У самого автора теории воздействия на зрителя всё равно элитарное кино, а у его ученика Александрова — и «Весёлые ребята», и «Волга-Волга» — народное.

Антон не сдержался, ввязался, но успел только сказать, что «Адмирал Ушаков», «Суворов», «Кутузов» — конечно, агитки, но допустимый их вид — исторический, когда агитируют за отечество; стал говорить о роли советского кино в просвещении провинции, что дуэт Полины и Лизы из «Пиковой дамы» он узнал из «Воздушного извозчика», «Майскую ночь» — по «Музыкальной истории», Баха — благодаря фильму «Антон Иванович сердится». Да что классика! «Очи чёрные» в профессиональном исполнении он услышал в фильме «Незабываемый 1919-й», том самом, где Сталин едет среди разрывов снарядов на подножке вагона, куря трубку, — в

ленте была сцена эмигрантского кабака.

Потом смешался и, выходя из комнаты, был собою недоволен.

У прохода сидел профессор Заварзин, кумир студентов, парадоксалист. Одна из любимых его идей была о глупости древних.

— Маркс назвал Аристотеля умнейшей головой древности. Но моя голова — умнее Аристотелевой! Потому что я знаю обо всём неизмеримо больше. Что он знал о звёздах? О человеческом мозге? О происхождении жизни? Первокурсник Антон пересказал всё это в письме деду. Тот, как всегда, был прям и неліцеприятен: «Скорбен головой твой профессор. Она у него не умнее, а замусореннее.

А относительно главных вопросов жизни природы и духа ваш марксист по сравнению с великим греком просто младенец».

И в ближайший же месяц — по закону гурана — Антон получил первое доказательство (потом они пошли косяком) того, как великие умы прошлого, не имея и

сотой доли нынешних фактов, приходили к фундаментальным результатам одною силою гениальной мысли. В «Науке и жизни» он прочёл, что при каждом акте запоминания в мозгу образуется материальный след — нейронный узелок. Но ведь это то же самое, о чём говорил Аристотель: всякое запоминание рождает новую извилину! А представления Платона и Аристотеля о самой природе памяти, которую они понимали как цепь ассоциаций, продолжающих ранее познанное? Что добавило к этим мыслям двух-тысячелетнее изучение проблемы?

При помощи гиперболоида Архимеда греки со стен Сиракуз поджигали в гавани римские корабли на расстоянии в двести стадий. Всё, что могут сделать современные оптики при помощи сложнейшей системы линз и зеркал, — зажечь сфокусированным солнечным лучом объект не более чем в тридцати метрах. Они не в состоянии найти те конфигурации и расположение линз и зеркал, до которых додумался Архимед.

Рядом с Заварзиным сидела доцент кафедры новой истории, полиглотка, по прозвищу Алфаватка. Её отец служил начальником одного из больших колымских лагерей; французскому её учил француз, лагерный ассенизатор, немецкому — банщик, соратник Тельмана, по-испански — каталонец Рамон, знакомец Гарсиа Лорки, один из командиров интербригады. Банщик выжил и однажды возник на пороге московской квартиры своей питомицы; перепуганной Алфаватке объяснил, что прочёл объявление на столбе об уроках немецкого языка ребёнку. Ребёнок Алфаватки вырос и, узнал в конце вечера Антон, только что блестяще окончил романо-германское отделение филфака и заключил договор на

перевод книги Ирмы Тельман «Der Vater». Книгу эту Антон знал очень хорошо: на занятиях её читали целый семестр; потом он поразил профессора Гамбургского университета знанием реалий гамбургского порта, где начиналась карьера вождя немецкого пролетариата.

Выпускники давних лет, известные учёные, рассказывали бородатые студенческие анекдоты. Некоторое оживление внёс появившийся латинист профессор Попов- Шендяпин; собственно, он был Попов, но учебник для вузов написал в соавторстве с Шендяпиным; на всех библиотечных экземплярах студенты очень искусно соединили их фамилии знаком тире того же шрифта и цвета.

Где обретался Шендяпин, никто не знал, но Попова всегда видели с профессором Радцигом, преподававшим в университете с 1907 года и тоже автором популярного учебника, но по античной литературе, и всегда на лестничной площадке третьего этажа, где они отдыхали по пути в свои аудитории. На второй день войны, в понедельник, рассказывал один бывший студент-ифлиец, он, как и многие, пришёл на факультет. На своей площадке стояли Радциг и Попов.

— Какое вероломство! — говорил Радциг. — Тайно, без объявления войны!

Наконец-то и этих проняло, подумал студент.

— Невероятное вероломство, — соглашался Попов. — Скрытно, как тати... Ксеркс, конечно, понимал, что его воины уступают грекам в открытом бою. И вторгшись на Пелопоннес...

Обсуждалась одна из греко-персидских войн.

Объявили перерыв. В фойе народу прибавилось. У окна стоял Володя Козлов, со своей обычной доброю улыбкой, которая говорила: я ни к кому не присоединился, но это ничего не значит, я готов говорить с кем угодно. Из всех однокашников он был, пожалуй, человек самый просвещённый. В издательстве «Диалектика» он редактировал переводы Канта, Шеллинга, Гегеля; старые он сильно перерабатывал, часто давая, по сути, новые; на книге же значилось только: редактор В.С. Козлов. Васютин считал его лучшим после Овсянникова знатоком Гегеля; он писал книгу по истории немецкой философии, много лет переводил знаменитую многотомную историю Моммзена; никто его не знал. На одной из встреч повесили фотомонтаж, где под каждым портретом поместили стихи из классиков. Под портретом Володи были строки Полонского: «Родись Володя в Мюнхене, в Берлине, В философическую высь ушёл бы он, а ныне... Он уверял, что сам предвидит,

Как ничего из-под пера Его хорошего не выйдет». Напечатал он,

кажется, ещё меньше Антона, что того сильно утешало: раз даже Володя...

— Моммзенкина закончил? — спросил Антон.

— Давно.

— Удалось ли пристроить, даже не спрашиваю. А историю философии?

Володя добро улыбался.

«Из бронзы Ленин. Тополя в пыли».

32. Кондитер Федерату и профессор Резенкампф, печник

Когда Антон возвращался из Чебачинска, его всегда нагружали множеством посылок — далёкий провинциальный город был тесно связан со столицей.

Визит к сыну кондитера Карла Ивановича Федерату не мог быть отложен: посылка представляла собою огромный торт.

Через два года после начала войны преподавателям дали за городом по 15 соток целины; отец с помощью деда вскопал их лопатой. Идти было шесть километров; иногда он брал Антона, который часть пути ехал на отцовской шее, а пока отец вгрызался в вековую пырейно-полынную Степь, ловил бабочек. Корни пырея белыми бесконечными нитями пронизывали каждый отвал лопаты. «Огород имени академика Цицина», — говорил дед, имея в виду его идею скрещивания пырея с пшеницей, в которую не верил.

На огородах отец и познакомился с их сторожем — грустным немцем Карлом Иоганном Федерату.

— Чему мне являться радостным, — говорил Федерату. — В Энгельсе я работал на кондитерской фабрике. И я имел много частных заказов. Кто желает торт к свадьбе или у кого гебурстгаг и нужен торт с цифром — пожалуйста, на немецком и русском языке.

Или оригинальный рисунок — символика по заказу, с венком, ангелами, а не с серпом и молотом и не с розами совсем ненатурального цвета. У меня краски были индийские и персидские, я получал их из Кабула.

Отец спросил, мог ли бы кондитер сотворить такой торт здесь, в Чебачинске?

— Яволь! Все миксеры, формочки, шприцы, краски — я привёз! Всё мое ношу с собой. И, конечно, главное, чем должен быть пропитан любой торт, без чего он не имеет так называться, — ром! Две большие бутылки настоящего ямайского закопаны в секретном месте. Но кто сейчас будет заказывать торт? И где мука, сахар?

Отец и стал первым заказчиком отставного кондитера. Как раз в разветвлённом натуральном хозяйстве только что наладили производство патоки; случай обеспечил второй ингредиент: за лекцию о Суворове в райкоме партии отец получил наволочку невиданной, белой, как снег, муки-

сеянки. Бабка начала копить яйца.

Повод тоже не замедлил — победоносное завершение Сталинградской битвы. Символика торта соответствовала военно-политическому моменту: огромная выпуклая звезда из крема, окрашенного клюквенным соком, а этажом ниже — менее красное, слегка в желтизну, шафранное кольцо, символизирующее окружение армии Паулюса. Всё это было важно, потому что на торт мог попросту, по-соседски, по-русски заглянуть секретарь райкома по пропаганде, он каким-то особым чутьём угадывал, когда у кого праздничный обед или выпивка. Мог явиться и другой гость — запросто, по-кунацки, по-татарски, — директор техникума Насыров. Правда, он обычно предупреждал, щеголяя русско-народным языком: «Давненько не хлебал я воскресных щец Ольги Петровны». На что дед, подняв брови, уточнял: «Тогда уж говорите "хлёбывал"». Но Насыров не знал, в каких случаях дед подымает брови, и охотно поправлялся: «Не хлёбывал, ох, не хлёбывал». Но мог зайти и так, со словами: «Незванный гость хуже татарина», и весело смеялся.

Райкомовец таки явился. Оказалось, однако, что военно-политическую символику Федерату придумал не очень удачную. Когда партийному гостю объяснили её смысл, он сказал:

— Но у вас получается — звезда в кольце? Все замолкли. Немец побледнел. Положение спас дед:

— Звезда — выше, она — над, а кольцо сжимает группировку крема. — И добавил очень серьёзно: — Которая подлежит полному уничтожению сегодня.

Райкомовец трапезкой удовлетворился, приналёг на кондитерское изделие и даже взял большой кусок чуть попробовать жене. Ей торт, видимо, понравился, потому что пропагандист к 1 мая заказал один — с розами — себе и другой — со знамёнами — для подарка Первому.

Партруководству торты пришлись по душе, их стали заказывать ко всем государственным и семейным праздникам — проблем с мукой, маслом и сахаром у него, видимо, не было.

Слава чебачинского кондитера докатилась до обкома; Федерату больше не сторожил огороды, приоделся, а к концу войны купил дом.

И много лет после ко дню рождения отца — в день Петра и Павла приносил торт с исторической символикой: мечами, щитом и древнерусским шлемом, на который на всякий случай выдавливал красную звезду, отчего тот сильно смахивал на будёновский.

Второй визит предстоял к родственникам профессора Резенкампа — после его смерти жена просила отвезти его рукописи какому-то кандидату

технических наук.

Егорычев считал, что это — лишняя обуза Антону, всё, написанное в области техники тридцать лет назад, никому сейчас не нужно. Но отец, ссылаясь на Ломоносова и Леонардо да Винчи, сказал, что выдающиеся, даже технические, идеи не стареют, и — кто знает?..

В коллектив пайщиков «Будённовца» высланный из Москвы профессор Резенкампф влился позже остальных и будто затем, чтобы материализовать анекдоты про рассеянных ученых. Умываясь, он забывал, куда положил очки; чтобы их найти, надо было надеть другие, которые тоже обитали неизвестно где; приходилось обращаться к слабым Lesebrille* (Очки для чтения (нем.)), старым, с верёвочными петлями вместо заушин — они висели на гвозде на одной из верёвочек. С их помощью он находил вторые очки и постепенно добирался до первых. Как он запрягал Мальчика, справляясь со своею записной книжкой, пайщики приходили смотреть специально.

Приехал он с женой Капитолиной, бывшей его домработницей; несмотря на простое происхождение, огород завести она не захотела, покупая всё на рынке. Но деньги растаяли быстро, начала продавать вещи, потом кольца и браслетки; кончились и браслетки. Стало не на что покупать яйца и молоко, а профессор страдал желудком. Как и Карлу Иванычу, помог случай.

Как-то профессор Резенкампф с глиняным горшком на верёвке зашёл к Кувычкам за угольками (высекать огонь кресалом он не обучился).

— Не дадим тебе сегодня углей, — сказал Кувычко. — Печь порушили, новую кладём.

Понаблюдав за работою, профессор вдруг спросил:

— А почему вы колодцы делаете горизонтально?

— Лежачие? — печь клал недавно вернувшийся с фронта старший сын. — Всегда такие обороты работали.

— Не всё традиционное хорошо. Лучше всего передаёт своё тепло кирпичам нисходящий поток дыма, только при таком движении он правильно распределяется по параллельным колодцам.

— Ты что, понимаешь в печах? — заинтересовался старик.

— Я теплотехник, занимался специальными печами: муфельными, стеклоплавильными, ваграночными. Но общий принцип...

— Стой, — сказал Кувычко-старший. — Убирай оба ряда. Клади по принципу.

— Да чего там, каждый придёт... — начал было сын.

Отец на него посмотрел. Тот стал разбирать кладку.

Ещё, сказал профессор Резенкампф, при здешних ветрах — тяга прекрасная! — можно спокойно делать не два-три, а пять-шесть и даже восемь колодцев — ведь передача тепла зависит от суммы их поверхностей. Подойдя к печи, наклонившись и вытянув вперёд руки, как бы неся кастрюлю, он спросил, почему так низко предполагается делать припечек с кругами для варки. Хорошо бы повысить минимум на четыре кирпича.

— Минимум! — совсем рассердился сын. — У всех так!

— И напрасно. Мать ваша женщина крупная. Зачем ей сгибаться в три погибели?

— Добавь четыре кирпича, — сказал старик. Профессор попросил рулетку и дал ещё разные указания.

Печь получилась отличная, дров требовала меньше, чем старая, раза в три, нагревалась быстрее, была не выстудлива.

Слава о новом печнике разнеслась мгновенно: с дровами стало туго, а зима, по приметам, предстояла холодная. Стали приходить и просить, чтобы профессор и им сложил печь.

— Да я мастерка в руках не держал, — отнекивался Резенкампф. — И глины здешние не знаю, и кирпич...

Выход нашёл старик Кувычко. Придя с сыном, он предложил профессору работать им в паре.

— Ты будешь думать и мерять, Мишка — класть. Он и глины здешние знает, и кирпича у меня запас. Оплата — треть тебе, две — нам. Работа-то наша.

— Предложение интересное! — сказал профессор.

— Ничего себе — интересное! — взволновалась Капитолина. — Это же всего тридцать три процента! Мы не согласны. Пятьдесят!

— Много, хозяйка. Кирпич, глина...

— Видела я твою глину! На речке бесплатно копаешь — полверсты отсюда. Не согласны.

— Ладно. Пусть будет исполу.

— Что это — исполу? — насторожилась Капитолина. — Эдгар?..

— Кажется, это половина.

Жизнь профессора переменилась. По утрам он уже не писал, а в каком-нибудь доме ползал с рулеткой по полу или делал чертёжики в золотообрезной записной книжке. Пётр Иванович Стремоухое, как бы утешая, говорил, что Черчилль тоже знает печное дело — умеет класть каминь. Заказов стало хоть отбавляй. Только «буржуйки» отказывался проектировать профессор-печник:

— В «буржуйки» их в революцию повысили рангом из «чугунок». Лучше от этого они не стали. Сквозь раскалённый чугун окись углерода диффундирует в комнату.

Появились деньги. К ним — другие. Как-то профессор с Михаилом сложили хорошую печь в богатом доме. Хозяин оказался начальником паровозного депо. За обмываньем печи он пожаловался, что отказал котёл в «кукушке» — маневровом паровозе, модель старая, какие-то иностранные надписи, никто не берётся чинить, а без неё мы как без рук. Резенкампф сказал, что «кукушку» видел — это довоенный малый бельгийский локомотив, такие он знает по студенческой практике в Антверпене до первой мировой войны и готов посмотреть. Через неделю он уже работал в депо.

Резенкампфы переехали на другую квартиру. Жена купила корову. Бабка осторожно спросила: умеет ли она доить?

— Нет, но не думаю, что это так уж сложно. Я что, хуже ваших деревенских баб?

Однако дойка у неё не пошла — то корова вставляла ногу в подойник, то вообще не отдавала молоко. Корова Ночка стала жить у нас, быстро подружилась с Зорькой и клала

ей голову на шею. За постой и уход часть Ночкиного молока отходила нам, за остальным Капитолина приходила с яично-жёлтым бидоном, который очень нравился бабе. Когда профессора, повысив, перевели в Караганду, Капитолина подарила бабке за её труды этот бидон.

33. Носить не сносить

Предстояла ещё встреча с сыном дяди Дёмы, которому сапожник посылал туфли своей работы.

Сапожник дядя Дёма был потомственный — Каблучков. Правда, говорил, что прадед целиком обувь не работал, а только каблук — была такая редкая профессия. Мастерству учился ещё до революции в Кимрах, Тверской губернии — Мекке сапожного дела.

Мастеров-кимряков ценили, им завидовали, дразнили: «Тверской сапожник, матерный обложник, жену в кабаке пропил да козе башмаки на копыта купил». — «Это ты купишь, а я сам стачам». — «Сапожки для козлиной ножки!»

С двадцатых годов зарегистрировался в Питере как частник, держался до конца, платя стремительно растущий душительный налог. Но пригрозили выслать как чуждый элемент, устроился работать на фабрику «Скороход». От ссылки всё ж не ушел: по доносу мастера при конвейере, которому сказал, что задник прошит, ровно кто пахал, а не тачал и что за такую прошву в Кимрах хозяин бил сапожной колодкой по башке, получил пять лет по рогам (клевета на советское производство) и попал в Чебачинск, срок кончился в начале войны. Жену с двумя сыновьями в блокаду вывезли в Ташкент, но она была плоха и вскоре умерла, старший сын сумел добраться с братом к отцу.

В Чебачинске и остались насовсем — не то что в Ленинграде, не притесняли, хотя и тут он шил на заказ и на дому. Числился в артели инвалидов, где его зарплату кто-то получал; все были довольны. Следовало только помнить, не появиться невзначай в артели — кто-никто непременно стукнет: не видали, мол, такого в мастерской. Дядя Дёма помнил.

Не сапожничал он уже давно, глаза плоховали, но для сына-москвича обувку шил: мужик целый день на ногах, а в вашей иностранной только до трамвая и добежать, да и то ноги собьёшь. Оказии случались нечасто, но и работа старого мастера была не такова, чтоб предыдущая пара не потерпела годика три-четыре. Это Антон проверил на своих туфлях, сшитых Каблучковым: весь университет проходил в них.

— Теперь как? Головку кроят, особенно на импортных, чтоб только загнуть. А у меня головка — без подошвы ходить можно, права щека с левой поверх стельги целуются.

Затяжка ручная, по колодке, без единой морщинки. Подошва

хребтовая, стельга — выборная. Прочность! Подошву прогреваю над еловыми углями, смоляного духу набирает, а потом пропитывается ещё горячим воском да прокатывается токмачком, инструмент такой специальный, теперь его не знают, у меня, может, только и остался...

Новую пару от подбойщика получил — прогуляйся по-над озером, по песочку, да не торопись, барышню захвати.

Наказ Антон выполнил, в обновке у Озера прогулялся с Клавой, а для верности второй раз с Вале́й, но только теперь узнал зачем: мелкие песчинки вдавливаются в податливую поверхность и создают как бы защитный кремневый слой большой прочности. Ещё одно достоинство имела такая подмётка: в любой гололёд идёшь спокойно; даже познакомившись с московскими тротуарами, Антон долго не мог взять в толк, почему все мелко топчут и оскальзываются. В осеннее время дядидёмины «калижки» не промокали, ибо он пропитывал их особым составом: в штофе разогретого льняного масла распускается 60 золотников нутряного сала, 6 золотников воска и столько же древесной смолы. Кожа становится мягкой, гибкой и совершенно непроницаемой для воды. «Ходить будешь по воде, яко посуху». Рецепт сапожник велел выучить наизусть и процедуру через год-два советовал повторить. Этот совет, как и многие дедовские,

отцовские, бабкины, Антон, оторвавшись от Чебачь его, не выполнил, но и одной пропитки хватило под завязку.

— Пять лет без починки — гарантия. Разве что набойки на каблуки — Москва, помнится, булыжником мощёна. А подковочками брезговать не станешь, и набоек не надоть. (Антон не брезговал, и первый год, как солдат, звякал при каждом шаге.) Учёбу как раз кончишь, отца-матерь повидать завернёшь — заходи.

— И что?

— Головки подтянем, задник подклеим изнутри — он первый трётся, супинатор новый из трёхслойного луба поставим, как рессора будет. Рант отгофрируем, графитом в мелкое зёрнушко напылим... Лучше новеньких станут. Ещё на пять лет.

После окончания университета всё так и сделали. И проходить бы Антону в дядидёминых туфлях ещё назначенные пять лет, да жена сказала, что несовременный силуэт и надо купить румынские. Примеряя их в магазине, Антон обнаружил, что нога у него за университетские годы выросла на один номер и стала 45-го размера. Но ведь дядя Дёма, хорошо помнил Антон, сняв мерку, сказал: 44-й. Приложив румынское изделие к произведению мастера, Антон увидел: подошвы совпали, тот предусмотрел

и это, сделав обувку на вырост. Румынские модные туфли Антон разбил за один сезон. А старые, вынув из мусорного ведра, куда их поспешила спровадить жена, Антон ещё долго надевал в разбегах по своему району, в гастронорм, прачечную, на почту.

Пять лет было, видимо, общим гарантийным сроком старых мастеров. На него была рассчитана самозаточка ножей Переплёткина (дальше, говорил кузнец, может, придётся подтачивать, как обычные), такой же срок обозначала, принося свои перчатки и бюстгалтеры, мастерица Трепетова. Ту же цифру назвала — уже в Москве — и старуха Сидельцева для носков своей работы.

Ефросинья Ионовна Сидельцева была бабка двоюродной сестры Антона, её вырастившая. Согласно отцовским рассказам, он держал сестру за Глафиру Афанасьевну, но при ближайшем знакомстве она оказалась Виолеттой Афанасьевной, записав себя так при получении паспорта; впрочем, Антон ни разу не слышал, чтоб кто из семьи или друзей назвал её этим оперным именем — осталась Глафирой. Бабка происходила из купчих, в последние годы уже почти не покидала своего кресла с высокой готической спинкой и целыми днями пряла или вязала. Внучка ходила не только в её свитерах и юбках, но и в вязаных демисезонных пальто — Антон и не подозревал, что таковые существуют в природе.

Во второй визит Антона на Усачёвку старуха вручила ему шерстяные носки, по длине больше напоминающие гольфы. «Вязано из двойной нитки, да не из распускного старья, прядено из годишной шерсти романовской овцы, из-под Рязани, дочь купца Шерстобитова жалуёт по старой памяти, отец за её родителя поручился когда-то — тот уже хотел пускать пулю в лоб... Пять лет без штопки проносишь, старуху благодарить будешь».

Антон не поверил. Носки, куртки, тренировочные брюки на нём так и горели, а поскольку дарёные носки он эксплуатировал без пощады лыжно и туристски, то, по его понятию, они давно уж должны были засветиться против большого пальца или на пятке.

Ожидая прорыва со дня на день, Антон хвалить старухе её работу не торопился. Но эти места она подвязала из другого цвета какого-то очень прочного материала. И на четвёртый год, убедившись, что они плотны, как в первый день, Антон сказал за ужином:

— Носки ваши, Ефросинья Ионовна, бесносные. Прямо алапыкинские.

— Ахти мне! — всплеснула распашными рукавами купчиха, так что прилегли бумажные салфетки в салфетнице. — Откудова ты-то знаешь про

Алалыкина?

Антон не помнил, откуда — видимо, по привычке запоминать всё подряд. Но знал, что фирма «Алалы-кин с сыновьями» выпускала носки из двойной нитки с отдельно вязываемой пяткой из нитки тройной, знаменитые своею необыкновенной носкостью.

— Ведь самый младший Алалыкин, Аким Фёдорыч — мой кум! Ах ты, драгоценный мой! — причитала растроганная купчиха.

И с тех пор полюбила Антона на всю жизнь; коли он долго не приезжал, просила Глафиру звонить в телефон, чтоб явился поскорей, да не вечером, а в обед, когда все на службе. Если ж кто незванно приходил, Ефросинья Ионовна махала рукавом в сторону дальней комнаты: «Ступай, милый, ступай. Это мой гость, мой».

Антон рассказывал про купца Сапогова, чьё имя она слыхивала, про деда, которого сразу зауважала. Не про него, но в связи с ним она сказала странную вещь: «Попы — хорошие люди, но расетриги ещё лучше». Дед, когда сделал предложение бабе, был уже рукоположен, но та, напуганная событиями девятьсот пятого года, несмотря на полную политическую необразованность, каким-то древним инстинктом будущей многодетной матери почувствовала, что наступает эпоха революций, в которую священникам будет не слишком уютно, и поставила условием от сана отказаться. Дед досдал какие-то экзамены и был приравнен к окончившим учительскую семинарию.

Сидельцева рассказывала про Антонова отца, которого помнила юнцом-школьником и студентом. Пили чай с вареньем, Антон старался удержаться, чтобы съесть не очень много; варенья были отличные — земляничное, брусничное, из розовых лепестков, так и свистевших на зубах. В первый визит на Усачёвку он оконфузился: когда к нему гостеприимно пододвинули хрустальную плошку с клубничным вареньем, он решил, что оно — ему, и всё съел (каждая ягодка была нетронутая, как на грядке, в сиропе плавали симпатичные дефиски), а оказалось — плошка на всех. Старуха очень смеялась и говорила:

— Вот точно так мой покойный Иван Филиппыч: вывернет пол литровой банки в глубокую тарелку, возьмёт десертную ложку, да за самоваром и разговором тарелочку-то и опорожнит. Мужчина был — косая сажень в плечах, ростом ещё выше тебя, чернобородый, пальцами пятаки гнул...

Старуха приложила уголок платка к глазам, перекрестилась и посмотрела на увеличенную фотографию в раме: бородатый гигант в смокинге положил руки на плечи двух молодых людей, не достигавших ему

и до подбородка. Смокинг распялился, и можно было увидеть, что на купце не сорочка, а колом стоящая манишка на тесёмках.

— Твое дело в шляпе, — сказала Глафира. — Жди десяток.

— Каких десяток? — удивился Антон.

— Золотых. Царских.

Старая купчиха, после ареста и смерти мужа, реквизиции особняка на Пречистенке и переселения в этот вросший в землю одноэтажный домик своего приказчика, сумела сохранить золото, в которое на излёте нэпа обратил часть капитала предусмотрительный Иван Филиппыч. Какую — никто не знал. Но когда кому-нибудь из семейства становилось туго, Ефросинья Ионовна обранивала: «Загляни в мой будвуар утречком». И звякала на стол стопку золотых десяток в синей сахарной бумаге, или серьги, или пару дутых золотых браслетов. Когда разрешили кооперативы, она подарила сыну перстень со странным желтоватым в розовость камешком — его хватило на взнос за двухкомнатную квартиру. Но на обстановку денег не дала: «Меблируйся сам». Вскоре она попала в больницу, сказали — при смерти. Сын перерыл весь дом; золотой кладки не нашёл, хотя не вблизи она таиться не могла — мать давно уж далеко от кресла не отходила. Однако больная оклемалась; выписавшись, она по каким-то своим приметам поняла, что было искано, и сказала спокойно: — Ты, сынок, зря суетишься. Я в завещании всё, что останется, вам с Глафирой отказала — кому ж ещё? И где всё лежит, там тоже указано. Завещание у верного человека.

— А ну как верный человек, борони Бог, помрёт?

— Своему верному человеку передаст.

— А с тем что случись?..

— Он помоложе будет. Но ежели что — у него свой верный человек, тоже мне известный, ещё надёжнее.

— А если... Да из эдакой толпы уж кто-нибудь точно проболтается, своему сынку вроде меня, — плакало золотишко.

— Не проболтаются. Не нынешние. Из Сиделыдовых — Алалыкиных. Безо всякой расписки и без пересчёту пачки по пять тысяч для передачи в Питер вручали, да не теперешних тысяч — царских.

Глафира с мужем, тоже инженером, копили деньги на автомобиль.

— И много собрали? — спросила как-то Ефросинья Ионовна.

— Две тысячи.

— А долго ль копили?

— Пять лет.

— А что стоит карета-то ваша?

— Если не вздорожает, тысяч шесть.

— Нескоро муж тебя покатает... Завтра, утречком, перед работой, загляни ко мне. Да спи спокойно, не ворочайся.

Глафире бабка дала какой-то перстень, тусклое кольцо да золотых десяток две не стопки, как всем, а скорее колбаски: на столе они расположились лежа.

— Десятки отдай нашему зубному — настоящие деньги даёт, не то что скупка. Там же — грабёж, хуже, чем у процентчиков было в закладных кассах.

Денег хватило даже на покупку номера в очереди, и через месяц муж Глафиры уже вёз Ефросинью Ионовну на Новодевичье на могилу её деда и матери.

Старухины носки оказались последним звеном в цепи Антоновых размышлений — от сшитого в четырнадцатом году дедова бостонского костюма, купленной после коронации Николая Второго бритвы, бабкиной козетки, через шереметьевский сервиз и каблучковские башмаки — размышлений над культурой выбрасывания и перманентной вещной революцией лет за двадцать до того, когда он познакомился во время туристской поездки в Париж с этой культурой воочию.

Человек прошлых эпох, пообедав на лоне природы, свой бурдюк, тыквенную бутылку, погребец увозил обратно. Наш современник бросает целлофановый мешок, пластиковый баллон, коробку на этом самом лоне. Раньше тара служила многожды, теперь — единожды и всё более к этому стремится.

Дело не только в том, что уже невероятно захламлен земной шар от Леса и Океана до Эвереста. И даже не в том, что для новой, взамен выкинутой упаковки надобно срубить лишнее дерево, взять из Реки ещё пресной воды, а потом спустить туда отравленной, снять слой чернозёма для вскрытия рудного пласта, произвести тару и, раз её использовав, бросить, и — снова срубить дерево, добыть руды, и брать, брать, брать, куда взять уж будет нечего.

Главная беда в другом. Вещь человек принимает в свою душу. Даже старец, ушедший в пустынь, любит своё стило, кожаный переплет своей единственной книги.

Раньше транссубъектный мир был устойчив. Форма глиняного горшка не изменялась тысячелетиями; бюро с ломоносовского времени не сильно отличалось от аналогичного предмета 1913 года. Но всё чаще наш современник не может понять назначение не только старинной вещи, но и предмета даже в скудном отечественном хозяйственном магазине.

Вещная смена в западных странах фантастически быстра, а разнообразие приобретает размеры чрезвычайные. У человека всё смелее отымают вещи привычные и любимые. Уже вошла в обиход выбрасываемая пластиковая посуда, на очереди трансформирующаяся надувная мебель, которая сегодня худее, завтра полнее.

Прицеливаются на архитектурный облик города в целом — есть проекты микрорайонов, где планировка меняется в зависимости от сезона (угловое смещение улиц летом в сторону прохладных ветров). Предполагается устроить предметный мир меняющимся во

всех его элементах. Это приблизительно то же самое, как если б человек всю жизнь куда-то ехал, смотря в окно вагона. В дороге можно провести месяц, год. Но возможно ли ехать всю жизнь, глядя на принудительно новые пейзажи?

Взрыв на Западе вещной ностальгии, интереса к предметам быта 40-50-летней давности, китч — это тоска по твёрдоостойчивой вещи прошлого.

Всегда считалось, что яркое любят дикари и те, кто красному рад. И это было абсолютно справедливо ещё для начала века. «Мы к ярким краскам не привыкли, одежда наша — цвет земли». Почему? Инстинктивное стремление человечества к охране психики. Ведь живая природа не даёт больших площадей интенсивного цвета: крыло бабочки, цветок, хвост павлина. Маковое поле — изобретение наркотического воображения цивилизации. К тому ж и розовость фламинго, и ковёр алых степных тюльпанов, и радуга уравниваются другими летними красками. А ярко-оранжевая лыжная куртка на фоне снежного простора бьёт до рези в глазах. Не более ли щадящим был предшествующий этап истории материальной культуры, охранявший человека от ошеломительных ударов по сетчатке ненасытностью своих красок? Не оставить ли и нам огненно-оранжевый цвет лбу локомотива и жилетам дорожных рабочих?

Человек может вынести всё. Двадцать лет одиночки и даже северную яму-тюрьму без крыши, как протопоп Аввакум. Но не лучше ли потратить эти огромные богоданные психические ресурсы не на безостановочное выбирать, покупку, обнашивание, выбрасывание, снова выбирать, а в нашей стране ещё доставание, опять привыкание, снова выбрасывание, — на решение более духовных проблем? Нужна защита психики современного человека от стремительно растущей агрессии вещей, красок, от слишком быстро меняющегося мира.

Всё это, сбиваясь, повторяясь, поражаясь, почему никто не понимает

такой очевидности, волнуясь и спеша, Антон, как обычно, изложил Юрику.

— Утопия, — решительно сказал Юрик. — Чтобы не выразиться резче. Первое. Кто будет защищать твоего несчастного человека от агрессии башмаков и оранжевых курток? Государство? Что-нибудь вроде полиции нравов?

— Хотя бы.

— Сначала — запрет на оранжевые куртки. Потом — на красные. А там — ненавязчивая рекомендация всем ходить в маоцзедунках из — как ты бы сказал — синей дабы. Уже было. В свободном обществе красиво жить не запретишь. И — вообще кто как хочет и считает нужным. Плавню переходу ко второму. Беру пример из твоих прежних инвектив. Помню, как ты возмущённо недоумевал, зачем в универмагах постоянно меняют расположение отделов: человек только-только привык покупать в этой секции стиральный порошок — бац! в ней уже домашние тапочки. Тогда тебе ещё сказал Аркашка, что это слямзили у Запада.

— И сейчас не понимаю, зачем.

— Потому что невинен не по возрасту. Покупатель в поисках порошка незапланированно набредёт на стенд с канцтоварами и купит внуку тетрадку и резинку, а себе — ненужную записную книжку с блестящим карандашиком. Не соображаешь? А ещё Маркса изучал. Цель и результат — сверхприбыль. Третье. Чего ты так ополчился на процесс выбора покупки? Я, в отличие от тебя, за границей бывал. Там это — развлечение. Красивый интерьер, свет, блеск, много товаров...

Тогда Антон не смог ничего возразить на последний пункт. Но через много лет, вернувшись из Парижа, он немедленно поехал к Юрику; Антон всегда настаивал, чтобы это называлось не остроумием на лестнице, а — отбить мяч после паузы.

— Пауза затянулась на много лет. Но я был прав. Из Парижа я хотел привезти маме сувенир. Выяснилось, что на туристские гроши я могу из чего-нибудь кухонного купить разве что доску для резки овощей. В Тати я нашел целую стенку с досками. Их было 12. Цена, дерево, текстура, обработка — идентичны. Отличались они друг от дружки сущими пустяками: углом опилов плечиков или характером овала нижней части, да и то

если приглядеться. Я стоял перед стендом двадцать минут. Доску так и не купил — не мог остановиться на каком-нибудь одном варианте, объяснить себе, почему я выбрал именно его. Стоя там, я понял немецкое выражение *Qual der Wahl* — муки выбора.

...Туфли предназначались младшему сыну дяди Дёмы. Старший погиб

— не на войне, а с неё возвращаясь. Историю эту Антон слышал много раз — от бабки, от отца, от следователя Матросова.

Демьян Евсеич Каблучков жил на краю Чебачинска, и идти к нему удобнее было не со станции, а с разъезда, где поезд стоял одну минуту. Его демобилизованный сын, капитан, спрыгнул на разъезде и пошёл картофельным полем к родному дому. Через плечо на ремне он нёс два чемодана: маленький, со своими вещами, и большой, кожаный, набитый кожаными же заготовками для подмётки, листами лучшего трофейного хрома и прочим сапожным товаром. Дяде Антона, Николаю Леонидовичу, которого он встретил в Берлине, капитан говорил, что искал этот товар для отца по всей Германии и нашёл только в шустерайне* (Schusterei — сапожная мастерская (нем.)) при одном из замков Геринга — на складах всех фабрик был эрзац. Но очень осуждал тех, кто срезал красную кожу с диванов рейхсканцелярии в приёмной Гитлера.

День шёл под вечер; капитан не заметил старый высохший колодезь и провалился; чемоданы остались наверху. Капитан попробовал кричать, но понял, что голос наверх не доносится, да и кто ж бродит в сумерках по убранному картофельному полю на краю города. Он попытался вылезти, но колодцы в Казахстане глубоки; к тому ж плохо сгибалась левая рука, да и нога была залечена не очень.

Но, видимо, убранные поля всё же были не совсем безлюдны. Послышались шаги, и в раме сруба появилась голова в ушанке.

— Ты чё там делаешь?

— Да вот...

— Сам не выберешься. Чемоданчики твои?

— Чьи ж. Помоги, браток.

Ушанка исчезла. Через полчаса появилась снова, и капитана по плечу ударил увесистый булыжник. Потом другой, третий, и ещё. Один попал в голову. Капитан потерял сознание. Очнулся он утром: на него что-то лилось. Хозяин ушанки мочился в колодезь.

Когда капитан пошевелился, сверху снова посыпались булыжники. Их было больше — ушаночник подготовился. Стало ясно: он взял чемоданы, а владельца решил забить камнями. Командир разведроты привык не теряться ни в каких ситуациях. Он накрыл голову свёрнутой втрое шинелью и вжался в сруб. Потом сделал вид или действительно потерял сознание. Мужик ушёл.

Разведчик был человек не только хладнокровный, но и запасливый. В записную книжечку при свете фонарика вечным пером он чётким почерком записал приметы: ушанка из рыжего телёнка или собаки, с одной завязкой,

в телогрейке, брюнет, голос хриплый. Поставил дату и час.

В обед мужик опять бросал камни. Когда ушёл, капитан записал, что успел разглядеть ещё (наверно, пока его мучитель наклонялся, чтобы посмотреть, как подвигается дело): косоворотку, скорее всего синюю, шрам на подбородке и сверкнувший на солнце стальной зуб.

В следующий раз он сделал краткую запись — уже шатающимся почерком, видимо, повреждённой рукой: что мужик — пьяница и что он живет один. Как разведчик это установил, осталось неизвестным. Но подтвердилось всё. Самая последняя запись — её запомнил отец Антона, — залитая кровью, почти неразборчивая, была такая: «Кого побивали камнями в древней истории? Прощай, отец, прощайте, боевые друзья». Но и здесь стояла дата и точное время: 19 час. 30 мин.

— Прошу обратить внимание, — сказал на суде прокурор Мамченко, тот самый, который потребовал расстрела для всех членов банды Бибикова, а также многих других,

прошедших через областной суд за годы войны. — Капитан Каблучков знал, что шансов у него нет никаких. Но он был офицер Красной Армии. И он не потерял присутствия духа.

Он решил помочь правосудию. Он верил, что оно не замедлит. По его точнейшим записям мы буквально через два часа нашли преступника. И карающий меч правосудия настигнет его. Капитан Каблучков имел семь правительственных наград; в том числе два ордена Славы. Он прошёл от Москвы до Берлина. И — погиб от руки негодяя, отребья нашего общества. Именем закона Союза Советских Социалистических Республик я требую высшей меры наказания.

Суд согласился с требованием прокурора.

Чемоданы по акту передали дяде Дёме. Когда он нашёл в себе силы в них заглянуть, увидел: в большом кто-то хорошо пошуровал — не мог же его сын, обувщик высшего класса, к тому ж наизусть знающий чебачинские дела, захватить такой пустяк матерьяла на футора для голенищ? Но взяли по-божески, осталось достаточно.

Из этой кожи Каблучков все послевоенные годы шил хромовые сапоги райисполкомовскому, военкоматскому и энкаведешному начальству. Но не только ему. За сутки сладил из редкостной генеральской чёрной глубокой замши туфли для конференсье областной филармонии, у которого в чебачинском поезде из-под вагонной лавки увели его концертные лаковые. Шил и учителям — по выбору. Антоновы башмаки тоже вышли из этого чемодана. Никогда не отказывал стачать полпары одноногому, такие невыгодные заказы не принимала местная сапожная мастерская, хоть и

называлась артель инвалидов.

Но наотрез отказался шить капитану Сумбаеву, так как считал клеветой его утверждение, что солдатские сапоги вплоть до русско-турецкой войны шили без правого и левого — на любую ногу. А как же знаменитые суворовские рейды? «Сколько от земли до звёзд?» — «Два суворовских перехода!» В обуви не по ноге не то что пятьдесят, пяти вёрст не одолеешь. А Альпийский поход? Не может того быть, чтоб русские мастера-подбойщики согласились положить своё искусство на такое непотребство.

О немецкой трофейной эрзац-обуви Каблучков и слышать не мог. «Ботинки — политурка, в подмётке — штукатурка, в носке — картон, палец — вон».

Осуждал и очень ценившиеся американские с высокой шнуровкой солдатские ботинки, машинную строчку.

— Спору нет, ровно, красиво, оранжевая нитка, особенно когда новые. Но как хлебнут нашей грязи...

И действительно, нитки не сразу, но подпревали, лохматились, ботинки начинали пропускать воду.

— Ведь у них что? Обыкновенная нитка, хоть и витая. А у меня? Дратва из дюжины льняных нитей, провощена и натёрта варом. Не продёргивается, а, как штопор, прокручивается сквозь отверстие, которое уже её, затыкает дырку, как пробка в бутылке, на распор. Даже ежели поизотрётся дратва, то вар приклеит конец, и шов не пойдёт распускаться дальше, хучь бы и собрался.

Импортную обувь, хлынувшую потоком в семидесятые, старый подбойщик тоже не одобрял. Почему наша фабричная обувь самая худая, понятно: как всё.

— Но на ихней-то почему загиб от головки на подошву узкий, как палец у чахоточного? — Каблучков вытянул длинный палец. — Место внатяг, рвётся быстро, и уж не починишь — нет запаса. Это первое, — он посмотрел на вытянутый палец и загнул его. — Серёжка, кому щиблеты возишь, толкует: конвейер, конвейер! А я ему: отчего же припуск положительный дать нельзя — конвейер, что ли, станет? Молчит, неча сказать. И каблук полый, чуть стоптал — дыра, меняй весь, — дядя Дёма загнул второй палец и к концу речи позагибал на руке их все, — почему?

Разговор был в прошлый приезд; в этот, вручая Антону щиблеты для сына, сапожник сказал, что дотумкал, почему: «Ты надоумил».

Оказалось, Антон в тот приезд рассказал, что в Японии ножички для чистки картофеля сообразили делать под цвет кожи, чтобы хозяйка

вместе с нею выбросила и ножик.

— Обувщики там везде — такие же. Делают, чтоб побыстрее снашивалось. Только не глупо, не внаглую, у них это не пройдёт, а — хитро. Работают умы. Ясно: прибыль, капитализм.

— Демьян Евсеич! — застонал Антон. — Вы же всю жизнь нэп хвалили! Я от вас первого и услышал, что когда его ввели, всё изменилось, как в сказке: весной — карточки, осьмушка, а уже осенью — на Невском в витринах куры, гуси, поросята... А ведь то был только кусочек капитализма, да ещё регулируемый государством.

— Именно: регулируемый. А полный когда — акулы капитализма, эксплуатация трудящихся.

Антон кипел, напоминал, сколько стоил при царе фунт мяса, сколько зарабатывал Каблучков-отец и сколько на своё жалованье мяса может купить советский рабочий.

— Зарабатывали неплохо. Но всё равно была безудержная эксплуатация трудового народа, погоня за сверхприбылью.

Антон, ошарашенный, замолчал. В сознании вдруг отчётливо всплыл давний разговор с Юриком. Сверхприбыль! То же слово, жупел, всеобщая отмычка, территория, где братаются сапожники и интеллектуалы. А что если — если они правы?..

Наилучшей обувью Каблучков считал опойковые или хромовые сапоги и сильно огорчался, что они исчезают из обихода и заменяются резиновыми.

— Отсюда и ножные болезни все. В коже нога дышит, ей тепло, уютно. Придумали ещё — охотничьи высокие сапоги, что до паха, из резины клеить!

— А писатель Тургенев, — сказала библиотекарьша Ира, — помните, я показывала вам фото? Снят в таких сапогах.

— Тю, девушка! Да они ж из кожи! Думаешь, стал бы он в этой резиновой душилке охотиться да рассказы сочинять? А Некрасов, который «Крестьянские дети» написал — в школе учили: «Вчера, утомлённый ходьбой по болоту, зашёл я в сарай и заснул глубоко». Да разве так он бы утомился в резине вашей? Он бы без ног был, коли вообще до сарая своего добрался, и проспал бы в нём не час-два, а до утра! По уму стачанный сапог принимает форму ноги хозяина уже через две недели. На отхожие промыслы ране как двигались? Пёхом. Рисуют мужика всегда в лаптях. Может, по деревне в них он и ходил. А за околицу вышел — далеко не ушёл. Подошва-то плоская, как блин. Думаешь, супинатор сейчас придумали? Фигурные стельки ещё мой дед прикреплял! Что сапоги на

веревочке из экономии носили — враки. Босиком много не пройдёшь. А в сапогах — от Кимр до Москвы, до Питера, от Москвы до Воронежа отмахивали. Я сам от Кимр шёл — две недели. В сапогах ни колючка не страшна, ни торцы, ни болото, ни гадюка — не прокусит. Одного косаря на речке Медведице, что в Тверской губернии, бешеная лисица за икру укусила. И ничего, доктор потом удивлялся, кожа, говорил, на голенище, наверно, дублёная — нейтрализовала.

Ты царь и король, когда хорошо твоей ноге — в сапоге!

34. Стекольщик Кажека

Третьим известным частником Чебачинска, кроме сапожника дяди Дёмы и печника профессора Резенкампа, был стекольщик Кажека (кондитер Федерату работал в госсекторе). Когда Антон рассказал о всех троих в доме зеленоглазой Аллы, её отец спросил, как у них обстояло дело с уплатой налогов, потому что он квалифицированно может пояснить, как увеличилось налогообложение после войны: на всю Москву частных с объявлениями — зубных и врачей-венерологов, машинисток — остались единицы. Но Антон знал точно: никаких налогов его герои не платили, об этом не раз шла

речь в отцовском доме. «Может, поэтому, — вмешался тесть акцизного, — и выжила провинция. Огромная страна, до всех из столицы не дотянуться».

Кажека без работы не ходил; в Чебачинске почему-то часто бились стёкла. Пётр Иванович Стремоухов этому сильно удивлялся — в Москве на Усачёвке, где он жил в юности, все дома тоже были одноэтажные, но на его памяти никто ни разу не позвал стекольщика.

Разъяснил Чибисов, инженер по стеклу. Мастер из его конторы, направленный в известный дом на Лубянке вставить стекло в форточку, вместо этого захотел в холле пройти сквозь стеклянную отгородку два на три («По цельным окнам тени ходят», — подумал Антон), весь окровавился, но уникальное стекло разбил вдребезги. Чибисов отделался, считал, легко — непосредственный виновник загорал где-то под Магаданом.

«Стекло местного производства? — спросил Чибисов. — Толщина по всему зеркалу не единообразная? Пузырьки в толще просматриваются? В зеленоватый, как у бутылки, оттенок переходит? Всё понятно». И долго, со словами «внутреннее натяжение», «высокотемпературная кремниевая масса», давал объяснение, из которого Антон понял главное: оконные стёкла местного стеклозавода и должны лопаться — как при самой небольшой динамической нагрузке, например, при закрывании створок, так и при статической, то есть сами по себе, даже если к окну никто и не прикасался.

Инженер Чибисов про стекло знал всё. Например, как изобрели автомобильные стёкла. Они долго не давались. Форд замучился. Назначил своим специалистам огромную премию. Не помогло. Тогда он опубликовал

про премию в газете. И про главное условие: стекло должно выдерживать сильный удар или, по крайности, осколки не должны лететь в морду водителю. Вскоре в его берлинский филиал притащился какой-то немец и заявил, что стекло надо обклеить с обеих сторон прозрачной плёнкой, он уже пробовал, при ударе получается звёздчатый эффект, даже мелкие осколки остаются на месте. Но как до этого додумался химик, а не стекольный инженер?

У немца была привычка: записывать в гроссбукх всё, что произошло в лаборатории, в том числе и вещи необъяснимые. Увидев объявление Форда, он нашёл старую запись: такого-то числа со шкафа упала пустая колба, но не разбилась. Объяснения этому немец не нашёл, но факт описал, а колбу поставил на место. Теперь он снял колбу и внимательно изучил. Её негерметично закрыли, и раствор испарился, оставив на стенках тонкую плёнку. «Какие бывают хорошие привычки!» — сказал отец, поглядев на Антона.

Уже в университете Антон решил вести такие записи и даже сделал одну: «На снегу лежала надорванная сигаретная пачка. Но я сразу увидел, что она не пуста, хотя такая лёгкая вещь примять снег, конечно, не могла. Каким образом я это определил? Загадка только ли зрительных рецепторов?» Через несколько лет к этой записи он добавил ещё одну: «Я вошёл в комнату, из которой только что вышла мама. На столе лежало три новых журнала. Я мгновенно понял, что она открывала «Звезду». Предпочтение она отдавала как раз двум другим: «Новому миру» и «Знамени». У книжки журнала не топорщилась обложка, не оседали на глазах листы. Но мама подтвердила, что заглянула в оглавление именно этого журнала. Как я это понял? Работа тех же необъяснимых рецепторов». Ни к каким результатам эти наблюдения не привели. Но, может, ещё приведут, утешался Антон. Ведь и гроссбукх немца ждал двадцать лет.

По стеклу Чибисов знал всё, а Кажека умел всё. У шофёра Грязнова захворал какой-то психической болезнью отец — не выносил малейшего шума, а окна обеих комнат выходили на центральную улицу, по которой после войны уже ездили иногда автомобили и, что хуже, мотоциклы.

— Сделаю, — успокоил шофёра Кажека, — будет тихо, как в морге, поцелуй меня в сердце. Принеси негодную камеру от своего ЗИСа.

— Зачем?

— Сказал — неси. Ну что стоишь, — рассердился Кажека, — так твою, поцелуй меня в лицо ниже пояса!

Из камеры стекольщик нарезал узких лент и проложил ими все пазы, где стекло входило в переплёт рамы, пригнал штапиками. Сами рамы

сделал тройные. С улицы не доносилось ни звука.

Чибисов сказал, что подобные резиновые прокладки применили в остеклении небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг и с тех пор приспособились делать во всех американских небоскрёбах.

До Чебачинска Кажека жил в Москве; по пьянке в пивной возле Пушкина что-то сказал, что — не помнил, но в протоколе понаписали такого, что целой пятьдесят восьмой со всеми подпунктами не хватит, спустя два-три года получил бы вышку.

Стекольщик он был уличный. С особым на наплечном ремне плоским ящиком, из которого торчали листы стекла разного формата, появлялся на улице часов в десять, не раньше, — стекло свет любит и само на Божий свет поглядеть даёт.

— Стё-о-окла вставлять! Вставлять стёкла-а-а! Стёкла вмазать, зимние рамы вставить!

Выкрикивал он недолго, но так как молчать не умел, то без перехода начинал какую-нибудь песню. Имел небольшой, но приятный тенор, однако славу ему составил прежде всего репертуар: редкие песни бурлацкие, разбойничьи, шахтёрские, каторжные, жестокие романсы.

Ковром устлана лодка,
Давно я жду тебя,
Приди, моя красотка,
Приди, мое дитя.
Ах, краса та неземная
Вся в натуре декольте.
Кончалось печально:
Волны бурные стыдливо
Скроют мой красивый труп.
Или:

Он был красив и к роскоши привычен,
Пил винь шампань и устёрс ел в обед.
Всегда притом был Жорж нигилистичен,
Дарил Жанетте жёлтых роз букет.

Самая длинная песня была про Ваньку-полового; пелась она на голос «Александровского централа»:

Где Калущкая застава,
Там трахтир стоит большой.
В отделении направо
Служил Ванька-половой.

С подробностями повествовалось об успешной службе Ваньки, его

неразделённой любви и о попытке суицида:

Взял он ножик, взял он длинный

У Егорки-мясника.

Наточил вострей аршинный

И зарезал сам себя.

Однако не до конца:

И от смерти Ваньку спас

Добрый доктор наш Гааз.

(Упоминание Ф.П. Гааза позволило потом Антону установить крайнюю дату возникновения романса.) Деятельность полового продолжилась, но Кажека удалялся в конец улицы или заходил в какой-нибудь дом, и чем всё кончилось, Антон так и не узнал.

Про другого Ваньку, всем известного ключника — злого разлучника, отбившего у князя молодую жену, Кажека давал вариант, который Антон потом не нашёл ни в сборниках Ивана Никаноровича Розанова, ни в песенниках прошлого века. По этой версии княгиня сама соблазняла верного ключника, который сначала не поддавался, но когда увидел вблизи, как её «груди-то тугие сарафан приподняли», не устоял.

В Историческом словаре, куда Антон писал маленькие заметки, по случаю сдачи очередного тома, потом корректуры, потом его выхода устраивали застолья, за которыми хором пели. Антона иногда просили исполнить что-нибудь кажиковское. Любили поспорить, где и когда появился тот или иной текст.

— Расскажи-ка ты, мальчишка,

Сколько душ ты погубил?

— Восемнадцать православных,

И сто двадцать пять жидов.

— За жидов тебе прощёно,

Но за русских — никогда.

Завтра утром на рассвете

Расстреляем мы тебя.

Антон раза два пробовал просить семейный хор — деда, бабу, Тамару, тётю Ларису, маму — во время вечерних музицирований спеть что-нибудь из репертуара Кажеки, например, про Ваньку-ключника, общеизвестный вариант которого дед, конечно, знал. Но дед говорил: «Это пусть твой стекольник поёт». Однако когда Кажека проходил по Набережной, всегда выходил на крыльцо и стоял, пока голос слышался. Иногда говорил что-нибудь вроде: «Верхние «до» у пьяницы недурны».

Да, Кажека был пьяница. Не от случая к случаю и не запойный (про

таких дед говорил: «проявляет святое негодование»), а привычный. С утра перед выходом он принимал чекушку, иначе не мог работать: дрожали руки. Но после четвертинки рука становилась тверда — любой рез алмазом он делал не прикладывая деревянный метр, линия получалась идеально ровной.

Пить он приучил и свою кошку, которой с котёночного возраста подливал водку в молоко и которая считала, что таков естественный вкус продукта, и в чистом виде потреблять его отказывалась; Кажека говорил, что после любимого молочного коктейля она становится особенно ласковой и включает другой мурчалочный моторчик — с более приятным, бархатным звуком.

Стекольщик любил не только петь, но и поговорить, однако был деликатен и сам не начинал, работая молча. Но народ, удивляясь и завидуя его образу жизни, сам заводил разговоры, пытаясь вызнать, как, что и отчего.

— От чувствительности к жизни. Другие тоже чувствуют, но мучаются до вечера, а то и до субботы. А на кой? С утра не выпил — всё в душе не на своих местах. А принял на грудь — всё располагается.

Антон был уверен, что знаменитую поговорку «С утра выпил, весь день свободен» пустил в народ Кажека — второй, кроме автора бессмертной железнодорожной поэмы, философ бутылки, сохранивший ясный ум, — больше некому.

— Что ж, по-твоему, все должны делать, как ты, — спрашивал народ, — раз это так хорошо.

— Ни в коем разе. Я свою меру знаю: чекушка утром и поллитра вечером. А думаешь, мне не подносили? Мог бы не просыхать. Но за работой — в рот не беру. Только до и после. И все давно знают. А народ как? Чекушка ему — только для разгона, дальше, как поезд под уклон без тормозов — не остановится, пока с рельсов не сойдёт.

— А ты как же?

— Характер твёрдый имею. Норма — и точка. Нормы Кажека придерживался после беспамятного рокового загула на Пушкинской площади.

Разговаривал он недолго — видимо, и тут знал норму. «Где мой деревянный портфель?» — надевал на плечо свой ящик и был таков.

Вдруг он женился — на бывшей учительнице, тоже уже не молодой, которую уволили из школы как инвалида по зрению, хотя она преподавала пение и с лупой могла даже ставить оценки в журнал. Но кому-то понадобилось настучать в НКВД, что зав РОНО Крючков держит в школе

нетрудоспособных (подозревали одного учителя физики, заочника, который с сессии в Омском пединституте привёз себе жену-музыкантшу, вскоре и занявшую освободившееся место).

— При чём тут НКВД? — недоумевал кто-нибудь.

— А при том, что заявление с резолюцией его начальника «Разобраться принять меры» из НКВД было направлено в облоно, которое дало взбучку Крючкову.

Второй нетрудоспособный был географ, контуженный фронтовик Глухарёв. Про него написали, что он не слышит ответов учащихся, полностью оправдывая свою фамилию, и оценки ставит наобум. Но интересно, что заменившая его учительница в следующей четверти вывела точь-в-точь такие же оценки, что и Глухарёв.

— А как же вы узнавали, кто на сколько знает? — любопытствовал Антон позже, когда у учителя уже был слуховой аппарат.

— По глазам. И по выражению лица. У ребенка всё на физиономии написано. Даже больше, чем четыре градации. Если надо, можно было бы ставить и три с плюсом или четыре с минусом.

В облоно переполошились, заставили Крючкова направить обоих педагогов на ВТЭК, где им и выдали волчьи билеты. Глухарёв, однако, не сдался — написал маршалу Чуйкову, которого он возил до контузии, и года через полтора его в школе восстановили.

А учительница пения так и осталась при своей крохотной пенсии.

Со стекольщиком они зажили дружно, после его вечерней нормы пели дуэтом. Кажека мгновенно запомнил со слуха классические романсы, она усвоила его репертуар — с подсказками, память у неё, как у всех непьющих, говорил Кажека, была значительно хуже.

Иногда Кажека пел соло; вопреки распространенному мнению, от пьянства он голос не потерял, а сохранил до возраста, когда профессиональные тенора выходят в тираж; музыкант Леонтьев даже находил, что с годами его голос стал мягче.

Антон, идя по вечерам на дежурство возле Клавиного дома, всегда у их плетня задерживался. Совместный репертуар супругов был богат; даже соседи, которые всякий летний вечер могли слушать, как они, сидя на завалинке, пели, говорили, что повторяется супружеский дуэт редко.

Но один жестокий романс Антон слышал несколько раз, видимо Кажеке он нравился, Антону тоже, а что ему нравилось, он запоминал с первого раза, а тут ещё повторяли.

Луна — красавица ночная

Обходит дальний свод небес.

Кусты руками раздвигая,
Шагал разбойник через лес.
Про луну было очень красиво, и дальше, когда слышался звук
колокольчика, тоже хорошо:
Глаза разбойника сверкнули,
Кинжал блеснул в его руке.
В другой раз было спето наоборот: блеснули глаза, а кинжал сверкнул.
Ворочаясь в постели, Антон долго мучался: что лучше?
И лошадей остановила
Его могучая рука.
С разбитым черепом на землю
Упало тело ямщика.
Но не зевал старик полковник,
Со шпагой выскочил в руке,
И завязался бой кровавый
Вокруг кареты на песке.
Исходя из содержания куплета, кинжал следовало безоговорочно
заменить на клинок: какой бой с кинжалом против шпаги, явная порча
текста.

Полковник был старик, а у разбойника — могучая рука:
И в сердце раненный полковник
На землю замятво упал.
Дальше шёл куплет, Антона смущавший:
Разбойник бросился к добыче
И полушубок быстро снял.
Огорчала меркантильность разбойника, но главное — Антону не
нравился полушубок. Он не знал, в чём ездили в каретах полковники, и
даже опробовал вариант «тулуп медвежий быстро снял», но стало ещё хуже
— в тулупе не пофехтуешь. Снимая с убитого часы, разбойник «отца
родного в нём узнал». После этого он во всём признался, наверно сказал,
как в рассказе Гаршина «Сигнал»: «Вяжите меня». Его «в цепи заковали, в
Сибирь на каторгу свезли».

В семинаре по фольклору Антон потом сделает доклад о жестоком
романсе, где будет утверждать, что в этом тексте содержатся почти все
главные черты жанра: поэтические штампы («красавица ночная», «свод
небес»), бродячий сюжет (сын в своей жертве узнаёт отца) и проч.
Остановится он и на полушубке, выдающем социальное происхождение
автора. Эрнст Васильевна сказала, что на основе малоизвестного репертуара
Кажеки, дополнив его другим материалом, Стремоухов должен написать

работу о поэтике жестокого романа. Антон загорелся, собрал материал, но, как и многое другое, не написал.

Когда у жены Кажеки спрашивали, не путает ли мужёнок чего-нибудь со всё время пьяных глаз, она серьёзно отвечала, что, напротив, очень разумен, только в датах слабоват.

— Увидит случайно свежую газету: «Ещё декабрь? А я думал, уже февраль — выужно очень». Один раз со мною сильно спорил: он считал, что уже пятьдесят второй год, а шёл — пятидесятый.

В этот приезд, когда Антон в очередь навестил учительницу, она, как всегда, серьёзно рассказывала, что здоровье у неё более или менее, катаракту после поездки в Москву к Фёдорову удалось приостановить; муж, хоть и старше её на пятнадцать лет, чувствует себя по-прежнему как нельзя лучше, работы невпроворот, все хотят только Кажеку, потому что лучшего стекольщика не видывали; живут в достатке, муж всегда в хорошем настроении, улыбается, за всю жизнь на неё ни разу не крикнул.

— Проблема у нас сейчас только одна: он по вечерам привык выпивать бутылку, а я борюсь за четвертинку, как утром, — возраст всё же.

Антон вспомнил разговор с женой известного московского профессора, лингвиста- полиглота, и в старости изучавшего всё новые и новые языки, в том числе и неиндоевропейские, — после его 75-летнего юбилея жена тоже стала бороться за четвертинку по вечерам. Кажеке было под восемьдесят, и в своём режиме он пребывал уже лет пятьдесят.

Возьми в руки пистолетик

И прострели ты грудь мою.

35. Караси из архиерейского пруда

Ещё нужно было навестить Павла Львовича, второго, кроме деда, из оставшихся в живых братьев Саввиных, Первого протоиерея Горьковского кафедрального собора.

Приходилось торопиться: был канун Великого поста, и в случае опоздания Антон рисковал лишиться разносолов, вполне сопоставимых с бабкиными, которые приготавлила экономка о. Павла.

Автобус до Горького — Нижнего, как называл его протоиерей, — шёл шесть часов. В окно Антон старался не смотреть, ибо сильно подозревал, что в голове застучит текст «Эти бедные селенья, эта нищая природа, край родной долготерпенья, край ты русского народа», на который, уступая в ритме, но не в энергии, будет наплывать другой, столь же недалеко лежащий: «Едва отъехали от города, как пошли писать чушь и дичь по обе стороны дороги». Кажется, обошлось, шоссе оказалось на удивление хорошим, автобус покойным; Антон открыл том из собрания проповедей Бандакова, взятый у деда ещё полгода назад, но так и не прочтённый. В портфеле лежала ещё одна старая богословская книга, которую он, наоборот, прочёл, но собирался просить увезти обратно — по внутренней стороне переплёта размахнулась дедова надпись: «Не читать. Атеистическое мировоззрение». Книги с подобными, сделанными для себя инскриптами перекочёвывали к Антону, их набралось уже с полдюжины, среди них было одно-два известных философских имени. Бандаков оказался замечательным проповедником, прекрасным стилистом и, видимо, оратором; но поражало другое: не было, кажется, ни одного крупного события тех лет, на которое не откликнулся бы этот провинциальный священник.

Из окон дома деда доносились звуки фортепиано и его приятный баритон (у всех Саввиных были хорошие голоса); пел он «Серенаду» Шуберта. Антон остановился послушать одну из своих любимейших вещей; кроме того, он надеялся узнать наконец до конца слова — и Кемпель-младший, и Атист Крышевич помнили их до того места, где речь идёт о трелях соловья. Но место было какое-то роковое: пропев «Horst die Nachtigallen schlagen», дед дальше стал лишь играть сопровождение.

Экономка, полная свежая дама в платочке, проводила в зало. Увидев гостя, дед захлопнул крышку рояля, закрестился: «Ох, грех, светское, грех, грех...» В прошлый приезд Антона он играл Шопена.

На другой день с утра гуляли над Волгой, Павел Львович вспоминал о Нижегородской ярмарке, где он восемьдесят лет назад побывал мальчиком; как отец

водил его по всем церквам, от чего он чуть не падал; но зато из двадцати сортов пряников он попробовал не меньше половины: красные клюквенные и фиолетовые черничные, миндальные и облепиховые, пьяные и тульские, а уж фигурные... Бабка, не так давно у деда гостившая, рассказывала о его популярности — за смелые проповеди, но главным образом за то, что когда в церквах при крещении ребёнка ввели паспортную регистрацию родителей, о. Павел никогда не отказывался крестить на дому и делал это бесплатно.

Бабка не преувеличила — деду многие кланялись, одна дама подошла под благословение.

— Дядя Павел, — говорила мама, — не одобрял, что мы, внуки отца Льва, в церковь ходили только в детстве (взрослой ходила одна Тамара), что его брат не дал своим детям религиозного воспитания. Но отец считал: это повредит нам в советской жизни. Сам он не говорил, что окончил духовную семинарию, а дядя Павел не скрывал и в анкетах писал: служил священником в такие-то годы. Может, при его посадке и это сыграло свою роль.

В числе прочего Антон собирался выполнить просьбу бабки, связанную с предсмертным письмом Иосифа Львовича, самого младшего из братьев Саввиных. Он, как и все они, кроме Антонова деда, был священник, посадили его в тридцать первом или втором году, «когда арестовывали всех священников». Вскоре он умер в харьковской тюрьме от дизентерии. Выдавая тело бабке, следовательно передал ей и его письмо — «чего я делать бы не должен, но поражён силой духа вашего попа». Письмо баба иногда перечитывала и всегда плакала. Когда арестовали знакомого семьи студента Мирона за связи с бендеровцами, в доме в ожидании обыска вместе с фотографиями отца с Мироном у памятника Яну Собескому и отца с братом Василием, пребывающим на Колыме уже десятый год, сожгли и это письмо. Несмотря на перечитыванья, баба его содержание помнила плохо, о чём горевала. И просила Антона спросить у о. Павла — он должен помнить.

Павел Львович сказал, что письмо читал только два раза. Насколько он помнит, брат писал: просит о нём не печаловаться, ибо умирает за веру. Вера исчезнуть не может: её выгони в дверь, она влетит через окно. Но ему жаль, если истинная вера снова, как при первых христианах, уйдёт в катакомбы, — обратный путь будет долог и тяжёл, и сколько людей так и

пройдут данный им Богом путь, так Бога и не познав. Только об этом он и сожалеет. Ещё запомнил Павел Львович: о. Иосиф писал, что у него нет злого чувства к его мучителям, ибо не ведают, что творят, и прощает их.

У бабки с о. Иосифом было связано настолько стойкое ощущение несчастной судьбы, что когда после смерти деда она повредила в уме, то говорила: «Потом Иосиф уехал из Вильны, но по дороге братья продали его в Египет».

Поговорили об Антоновом деде.

— Леонид в молодости был самый взрачный из нас, братьев.

— И самый сильный?

— Нет. Михаил, Иосиф были посильнее.

— Да куда уж?..

— Нет предела мощи человеческой, Господом дарованной...

Когда, дожидаясь обеда, они спорили о Бердяеве (дед почему-то считал, что философ кончил ортодоксальным христианством), раздались звуки клаксона и в зал вошёл архиерейский служка с ведром, обвязанным по жерловине белоснежной тряпицею: владыка посылал отцу Павлу в последний день масленицы, когда уже нельзя есть мяса, карасей из своего пруда. Ведро прислал тот самый архиерей, коему двоюродный дед был обязан восстановлением своей духовной карьеры.

Священство дед оставил давно. Сначала он служил фельдъегерем. Работа хорошо оплачивалась, но была опасной: кроме документов фельдъегери перевозили деньги.

Только за последние три года его работы по стране их погибло более семидесяти. Жена уговаривала бросить, но он только смеялся: «А как же я буду супругу кормить? На гроши, что платят в канцеляриях? Она у меня губернаторская дочь!» Или: «Даже артист Штраух

служил фельдъегерем и возил пакеты к Ленину. Вот и я вожу к Бухарину!» Но в тридцать шестом он вдруг уволился, говоря: противно, что эта служба подчиняется НКВД. И перешёл в Минфин на должность инкассатора, жену уверял, что это совсем не опасно: ездит он в общественном транспорте, деньги возит в потрёпанном парусиновом портфеле, никто и предположить не может, какие в нём суммы. И опять смеялся: «Мне даже револьвер не выдали. А уж они знают, что опасно, а что нет».

В начале войны Павел Львович сказал в присутствии двух сослуживцев: если американцы не откроют второй фронт, нам хана. Донесли — с разницей в один день — оба. За пораженческие настроения ему дали десять лет.

— Поразительно! — говорил отец Антона. — В это же самое время его брат в Чебачинске твердил то же самое и в тех же выражениях. Что значит гены!

— А когда открыли второй фронт, — спрашивал Антон Павла Львовича, — вас не собирались — по логике вещей — выпустить?

Дед улыбался и разводил руками. Его не отпустили и после выступления Рузвельта, когда духовные лица были освобождены из лагерей почти подчистую, — поскольку он, хотя и имел сан, сел как лицо светское. Свою десятку он отсидел от звонка до звонка, в Потье, несколько лет на лесоповале. Когда бабка, несмотря на просьбы молчать, про это рассказывала, никто не верил, что такое можно выдержать; чебачинские слушатели в этом понимали.

После освобождения он получил минус десять; из городов, не входящих в десятку, ближайшим к Москве оказался Горький. Но на работу там нигде не брали, удалось устроиться только в области в деревенскую церковь псаломщиком и по совместительству церковным сторожем. Жена, приехав к нему и прожив в его сторожке четыре дня, переехать из Москвы отказалась.

Года через два в деревню привезли хоронить горьковского архиерея, завещавшего предать его земле на родине. Похороны полагались по архиерейскому чину. Но как раз в это время запил местный дьякон. Новый архиерей, приехавший отслужить заупокойную литургию, был в отчаянии. Павел Львович, обратясь к владыке, сказал, что может дьякона заменить, ибо окончил духовную семинарию.

— Документы, конечно, не сохранились, — устало сказал архиерей.

— Отчего ж, — возразил дед и показал документы, которые в свой единственный визит привезла жена.

— Так вы — выпускник Виленской семинарии! — взволновался архиерей. — Я тоже её окончил — разумеется значительно позже. Но из старых наставников ещё кое-кто не оставался за штатом. Отец Афанасий — он нам читал риторику.

— Мой крестный отец.

— Духовный воспитатель мой, — сказал архиерей.

Прощаясь, архиерей пообещал однокашника не оставить. Через два месяца дед уже служил — сначала дьяконом в какой-то церкви на окраине Горького, и, постепенно передвигаясь к центру, возвысился до Первого протоиерея кафедрального собора.

Мощная фигура, красивая седина, глубокий баритон, необычные проповеди — народ валил в собор валом.

Не всё сходило гладко. Проповедь пришёл послушать какой-то чин по делам религий. Тема была — слова Апостола Павла: «Будьте тверды в вере». На другой день деда вызвали в обком. Кроме вчерашнего чина присутствовал секретарь по пропаганде, до перехода на партийную работу читавший лекции о несообразностях и ошибках в Библии.

Он заявил, что дед подрывает в городе антирелигиозную пропаганду. Дед ответил так:

— Но вы же призываете свою паству быть верными учению марксизма-ленинизма. Вот и я призываю свою. Не вашу.

Партийцы наши не нашлись, что ответить; рассказывал дед, весь лучась от удовольствия от такой своей находчивости.

Кусочек одной из проповедей о. Павла Антон слышал — о душе, приобщившейся Святого Духа. Таковая душа становится вся осиянна светом, и в ней не остаётся ни одного уголка, не исполненного духовных очей, ничего сумеречного, она сама оказывается светом и духом.

36. Мама

Главное детское воспоминание о маме: возвратившись с занятий, она лежит, положив на ухо подушку и укрывшись старой беличьей шубой — значит, ещё война, потому что шубу продали уже после. И не хочет вставать на ужин — это было непостижимо. Только когда Антон сам стал преподавать, он отдалённо стал представлять, что такое три полные ставки — десять, а то и двенадцать уроков в день. Занятия проходили в химической лаборатории, где не было даже вытяжного шкафа. Однажды она после двенадцатого урока пошла не домой, а в противоположную сторону, на вокзал, и её привёл шедший оттуда с работы сильно удивлённый дядя Лёня: «Идёт, спотыкается. Куда, спрашиваю. Молчит».

Непонятно, как она при такой нагрузке ещё руководила студенческим драмкружком.

— Как получилось? На педсовете завуч сказал: «Мы все — металлурги, горняки. А Анастасия Леонидовна в ленинградских и московских театрах бывала. У неё даже тётка в буфете Большого театра работает».

Тётка действительно там работала, рассказывала, как у неё до получки питались в долг Козловский и Лемешев, и устраивала племянницу на приставные места.

— Что отвечают на уроках, я слушать перестала. Выходит к доске парень, простоватый такой увалень, прикидываю: Тихон. Отвечает моя любимица Астафьева — до того хороша, глаз не оторвёшь, фигура, ноги, коса до пояса цвета овсяного снопа — отмечаю: живая Катерина, приодеть только. А моя лаборантка Валя Григорьева — черты лица крупные, грубые, сама толстая — вылитая Кабаниха! После спектакля Астафьева возымела бешеный успех у парней, забеременела, меня, хоть и беспартийную, вызывали на партком — почему я не внушаю в своём драмкружке принципы советской морали. Не случайно в пьесе «Подводная лодка Т-9» у вас студентка выходит в купальнике. А я говорю: так она же играет немецкую шпионку, да и на ту через минуту парторг лодки набрасывает халат! И вообще у нас больше никто не забеременел, у нас — мораль.

А лермонтовского Арбенина играл у меня брат Григорьевой — Кабанихи — изящный, красивый, и манеры откуда-то приобрёл! Бывает же такое в одной семье. Мои артисты просили: покажите, как играет Мордвинов. И самое смешное — я показывала! Но ещё забавнее: мой

Григорьев, никогда Мордвинова не видя, очень похож был на него в «Маскараде». В нём погиб трагический актёр... Какой успех имел монолог «Что слёзы женские — вода...» Но ещё больший был у монолога Алеко в исполнении Леонтьева, преподавателя музыки, таланта, красавца и выпивохи, — потом он в прачечной, где пьянствовал с прачками, сварился в чане с кипятком. На сцене соорудили костёр: лампочки, обложенные стружками и красной бумагой. То ли из-за перегрева, то ли от замыкания костёр задымил по-настоящему. Но Алеко не растерялся и стал затапывать пламя, перемежая монолог своими деловыми замечаниями, выдерживая размер и рифмы: «Там люди, в кучах за оградой не дышат утренней прохладой... Ишь, разгорелся как не надо! Главы пред идолами клонят и просят денег да цепей — я затопчу тебя, злодей!»

На районных олимпиадах артисты мамы занимали всегда первое место, в её трудовой книжке появлялись записи: «Премировать 4 кг-мами воблы», «Выдать 3 кг шрапнели». Антон, дитя войны, знал, что такое шрапнель, но оказалось, что это такая крупа. Драмкружок дал даже несколько платных спектаклей в областном театре.

— Так на «Грозе» был аншлаг! Деньги забирал профком, но один раз труппе разрешили взять что-то из них на празднование Нового года. В моей лаборатории устроили пир: нарубили таз винегрета, было даже рыбное заливное. В разбавленный спирт я добавила соединение... ну, неважно, есть такой изумрудный органический пищевой краситель... и объявила: абсент.

Антон в качестве артиста выступал с шести лет, и сразу же имел неприятности. В конце детского утренника в горном техникуме парторг Гонюков, вручая детям кульки с замечательными подарками (конфеты-подушечки, четыре пряника и яблоко), сказал маме: «Что это ваш герой объявлял тут? Всем известно, что про зайчика — стихотворение русско-народное, а не какого-то немца. Несвоевременно. Вы проследите!» А дело было в том, что перед началом своего выступления Антон объявил (дед говорил, что всегда надо называть автора): «Владимир Карлович Петерсон! Зайчик!» И прочёл полный вариант бессмертного произведения «Раз, два, три, четыре, пять — вышел зайчик погулять». (История повторяется — если остаются её персонажи. Через двадцать пять лет дочь Антона Даша, гостя в Чебачинске, на таком же утреннике перед своим исполнением звонко объявила: «Сочинил адмирал Сысков!» И прочитала:

Сидит сова на печи
Крылышками трешпочи;
Оченьками лоп-лоп,

Ноженьками топ-топ.

Постаревший Гонюков спросил у Дашиной бабушки: «А что это за адмирал Шишков? Что-то не припоминаю... Из новых разве?» Но на лице уже была улыбка, как у волка из «Красной Шапочки».)

Делала мама ещё и стенгазету: увидев её заявление об отпуске, директор сказал, что такой почерк нельзя скрывать от народа.

— Почти всю газету я сама и заполняла. Даже карикатуры рисовала. В общежитии не выдавали чайников. У одного студента был чайник, но он никому его не давал. А мне попался в «Крокодиле» рисунок: директор завода, делавшего плохие чайники, сидит верхом на одном из них. Я и перерисовала, стараясь физиономии придать портретное сходство, получилось очень похоже. Студент этот страшно разозлился, пришёл ко мне: вы обижаете партийцев, буду жаловаться в партком. И пожаловался, меня вызывали, Гонюков хотел завести персональное дело. Но я сказала, что пусть газету выпускает сам, и директор спустил всё на тормозах.

Оформлял газету бывший морской офицер Кузик Северин. Но он был отстранён за идеологически ошибочный рисунок — лошадь в шахте (считалось, что везде давно электротяга). Мама, чтобы заполнить место, кроме собственноручно нарисованных ёлочек, цветочков и воздушных шариков, наклеила фотографию, вырезанную из журнала, найденного на этажерке у папы: Каганович под Комсомольской площадью среди метростроевцев, на заднем плане мощная шахтная техника.

Газета не провисела и двух уроков, как в мамину лабораторию влетел взволнованный папа. Среди запечатлённых строителей метро находился лично он, работавший там по комсомольскому призыву, — именно по этой причине у него и хранилась вырезка из «Огонька». Гонюков непременно пришёл бы семейственность.

Парторг был нервен, тощ, его голова со впалыми висками и глубокими, как ямы, глазами напоминала череп. В сороковые и начале пятидесятых секретари партбюро все были такие; в шестидесятые их сменили мужчины упитанные, красномордые, с глазами неопределённого цвета, навывате, с округлыми движениями.

Родителей успокоила уборщица Фрося: Пётр Иваныч в газете несколько на себя не похож — молодой, красивый, ну совсем не узнать. Фрося была добрая баба и пьяница; спирт мама запирала, так она сливала из спиртовок.

В праздники, когда мама лежала и днём, но не спала, Антон забирался к ней под шубу и просил:

— Расскажи про детство.

— Когда я была такая, как ты... — послушно начинала мама. — А про что рассказать?

— Про первых немцев.

Семья Саввиных эвакуировалась осенью четырнадцатого. Уехать предложили сами власти, давали вагоны, можно было взять вещи.

— Баба раздумывала: дети! Мы с Лёнтей родились потом, но и без нас уже было пятеро. Твой прадед, отец Лев, говорил: поезжайте. Я останусь. Священника не тронут. И действительно — и он, и имение остались в целости. Только по реквизиции взяли двух лошадей, да на постой определили офицера, который с отцом Львом говорил о Лютере, а попадье, твоей прабабке, давал кофе. Она за это играла ему на рояли и пела «Ach, mein lieber Augustin, Augustin...», ну, ты знаешь эту песенку.

Первые немцы были другие, не зверские, не такие, про которых в «Правде» писал хирург Бурденко, что они расстреляли несколько тысяч польских офицеров — про это дед попросил Антона прочитать целиком. Впрочем, нынешние немцы, когда про них говорили на брёвнах, тоже почему-то не походили на газетных. Младший Кувычко, лечившийся в Ялте в госпитале, рассказывал, что какой-то немецкий майор всю оккупацию снабжал музей Чехова дровами и давал консервы и шоколад его директорше-старушке, сестре Чехова. Видимо, у немцев было много дров, потому что Василию Илларионовичу, лежавшему в Кисловодском госпитале, рассказали, как они снабжали дровами соседнюю больницу, где лежали вовсе даже русские.

— Расскажи про голод.

— Странные интересуют ребёнка темы, — говорила тётя Лариса. Но мама послушно рассказывала.

— Голод я помню очень хорошо. Себя я помню с четырёх лет — и у тебя это, наверно, от меня, — а тогда мне было уже пять. Отчётливо помнится это ощущение: всё время хочется есть, и ни о чём другом не думаешь.

Это был голод осени и зимы двадцать первого года. Началось всё ещё летом. Стояла сильная засуха, и кто попредприимчивее, начали делать запасы, скупать хлеб для продажи, он стал исчезать — и всё быстрее и быстрее. Неурожай оказался больше, чем думали; Поволжье не дало ничего, другие губернии — какие-то пустяки. Баба и Коля стояли в очередях ночами. Правда, переселенцам кое-что давали через беженские комитеты.

— Но вы же приехали давно?

— Все, кто приехал в четырнадцатом — пятнадцатом годах, считались

беженцами. Давали немного муки, из неё делали затируху.

Антон затируху любил, было непонятно, что в ней плохого.

— Ты ешь затируху из хорошей муки, с молоком. А та забалтывалась пополам с отрубями, на воде, получалась клейкая... Мой дед — отец мамы — всё время возмущался, что ему мало дают. Внуков не любил, стегал ремнём. Правда, мы тоже были хороши, пели хором: «Пускай могила тебя накажет...» Но меня он не бил: я ходила во фланелевом платице, а он протирал пенсне его подолом. Подзовёт меня, и я стою, жду, пока он подышит на стекло, протрёт, потом второе... Высокомерный, настоящий шляхтич! Его полная фамилия: Налочь-Длусский-Скłodовский. Любил показывать свою дворянскую грамоту в бархатной папке. Прекрасно играл в вист, в преферанс. Но имение своё проиграл — ещё в прошлом веке. Ему не нравилась ни Украина, ни украинцы, ни их язык, всё время цитировал «Гамлета» в переводе малороссийского антрепренёра Старицкого: «Буты чи нэ буты — ось дэ заковыка». Уехал к родственникам в Польшу, и даже жену не взял. Но не доехал — видимо, умер по дороге. А четыре сестры нашей бабы так и остались в Вильне, и никогда ничего о них мы так и не узнали. Про брата стало известно,

что он был в польской армии, его взяла в плен Красная Армия, и в плену он сошёл с ума.

Отец Лев умер в тридцатом году, в девяносто пять лет (из их рода, кроме расстрелянных, меньше девяноста никто не жил), имение — земля, сад, пасека, двухэтажный дом в шестнадцать комнат (твой дед говорил: вот попал на старости лет — в отцовском доме даже у кухарки и кучера было по комнате) продали, деньги разделили, и по согласию всех братьев деда большую часть выделили ему как самому детному. В валюте. Впервые в жизни всем купили по новому пальто.

В голод они выжили только благодаря бабке. Семеро детей, младшему — три года. Бабка брала на дом бельё, стирала его целыми днями, и четыре старшие дочери — им было по 10–12 лет — гладили огромные кипы. Отправляла всех, включая пятилетнюю маму, собирать вдоль дорог маленькие яблочки, которые потом сушила и делала на сахаре что-то вроде компота.

Дед преподавал литературу в расквартированном неподалёку конном полку — начальство считало, что кавалеристам это необходимо. Когда резали выбракованных лошадей, деду давали конину, бабка крутила котлеты, а 14-летний Коля продавал их на базаре; на эти деньги покупали детям молоко, а также спички, мыло, соль. Прошёл слух, что в крупную соль мешочники подмешивают толчёное стекло, отличить невозможно.

Бабка не верила, что на свете есть такие злодеи, но кусочки чёрного хлеба солью посыпать перестала, и соль в кашу не сыпала, а разводила сперва в воде. Но соль растворялась целиком, и бабка всем говорила, что слухи — ложь. Но какой-то интеллигентный прихлебатель — у бабки они были уже тогда — прочитал ей чьи-то стихи, как бы монолог мешочника: «Семь тысяч, целый капитал, Мне здорово везло: Сегодня в соль я подмешал Толчёное стекло». И бабка снова стала растворять соль в воде.

— Она умела готовить еду из всего — щи из крапивы, лепёшки из лебеды, салат из одуванчиков; через десять лет, во второй голод на Украине, ей пришлось всё это повторять, а потом ещё через десять лет — ты должен помнить кое-что из такого меню в войну.

Я помнил, не вкус, а то, что и щи из крапивы, и отварной корень лопуха подавались на фамильных тарелках — их бабка не продала ни в эту войну, ни в первый голод, ни во второй.

— Второй голод на Украине был страшнее первого — ни у кого не осталось никаких вещей на продажу. Служащие получали 300 грамм хлеба по карточкам. Огород, опять стирка, привозили из больницы тюки нижних рубах, кальсон, невероятно заношенных, — стирали теперь уже мы, а баба только гладила. Шили какие-то мешки...

Ещё, помню, сначала шили торбы для лошадей с извозчичьей биржи. Но очередной заказ не поступил. Баба — она все эти работы и находила уж не знаю как — пошла спрашивать.

«Лошадей нема». — «А где ж?» — «Та зылы».

Так и выжили, хотя все стали страшно худые. Коля приехал, увидел — и немедленно вывез нас всех на рудник Сумак, где был главным инженером. Ставки в золотой промышленности были тогда огромные, да ещё часть получали бонами, на которые в торгсине можно было купить всё.

По сути, только это короткое время и жили нормально. Вся остальная жизнь прошла с карточками или в очередях, или с тем и другим вместе. До сих пор помню все эти объявления — печатались не где-нибудь, а в «Известиях»: «С 20 декабря продажа мяса по ноябрьским талонам фиолетового и синего цвета прекратится. Объявляются новые декабрьские талоны розового и зелёного цвета и для детей — жёлтого цвета». А когда карточки в сорок седьмом отменили — мгновенно появились огромные очереди. Да ты помнишь.

Я помнил эти сотенные очереди за хлебом, фиолетовые номера на ладони; последним не хватало химического карандаша, им цифру велили запоминать; они забывали, спорили, ругались, все нервные, злые. И как хотелось, чтобы хлеб был с довеском — его можно было съесть по дороге.

А в учительницы мама попала так. На руднике сначала устроилась счетоводом. Впрочем, это только называлось так, а на деле она переписывала (машинка была только в секретариате директора) своим замечательным почерком ведомости и полугодовые отчёты. Когда она переписала китайской тушью и пером № 86 первый, выполнив начальную буквицу церковно-славянским шрифтом и разрисовав синими и красными чернилами и зелёной, сбежалось смотреть всё управление рудника.

А главбух была женой директора школы, очень энергичного хохла. Он увидел у неё отчёт и загорелся.

— Це то, що нам потрібно! Вченики пишуть, як куриця лапою! Ты будеш в мене вчилкой.

— Та мни ж мало рокив.

— Хиба ж шестнадцять мало? Взросла дивчина.

— Та я нэ умию.

— Та поможем.

И я стала преподавать в первом классе. Старалась подражать деду.

— И получалось?

— Не совсем. За первую четверть человек пять— шесть не научились читать. Все — из семей старателей, дети пьяного зачатия, с отсталым развитием. Я оставалась с ними после уроков на два-три часа, приходили они и по воскресеньям — ничего не помогло. Я не хотела, но пришлось обратиться к деду.

— А он?

— Научил за четыре занятия. Говорил: нет того дитяти, кого не обучить читати.

— В чём же заключался секрет?

— Да ничего особенного. С одними пел: ма — а — а — ммм — а — а — а мы — ы — ы — ллл — а — а — а Ма — а — шшш — у — у... у — у — у! С другими маршировал по классу: Бог! Дай! Ум! — Дай! Ум! Бог! — Ум! Дай! Мне! А третьим на каждый слог велел хлопать крышкой парты. Директор только головой крутил. Но к Новому году все мои отсталые читали.

Случайно в это время в Сумаке оказался директор знаменитой школы для дефективных в Вологде. Он очень уговаривал деда работать у него, соблазнял квартирой. Но дед не согласился. Всё же с такими и даже с просто не очень способными он заниматься не любил. Но зато со способными... Не мог всё, что знал, держать в себе, — хотел перелить в них. Да что там! Душу готов был им отдать... И я, грешным делом, тоже питала слабость к таким. Уже в Чебачинске в моём классе учились два

очень талантливых мальчика — даже фамилии имели как нарочно: Валя Многомысленский и Юра Умнов. Задачи решали в уме, книжки помнили близко к тексту, стихи запоминали с первого раза. Обоих взяли на фронт после десятого класса, оба вернулись из-под Сталинграда без ноги.

Многомысленский был сыном дьякона, сосланного в Чебачинск ещё в двадцать девятом году. До ссылки дьякон работал в Синодальной типографии, что очень пригодились: единолично набирал всю районную газету «Социалистический труд».

Правда, после скандала ему стали доверять уже не весь набор, обучили ещё одного сотрудника. А скандал вышел потому, что бывший дьякон набрал «Бог» с прописной буквы. На собрании с приглашённым инструктором райкома по пропаганде он клялся, что давно разоружился, а получилось это автоматически. «Почему же он не набрал автоматически с маленькой буквы? — ехидствовал райкомовец. — Нет, бывший сотрудник церковной типографии не разоружился!»

— Кто талантлив, так уж во всём. Валя прекрасно рисовал, по слуху подбирал любую мелодию на рояле, мог починить часы, у Силы — что нашу церковь взрывал — обучился подрывному делу... Но таланты свои он использовал, так сказать, многообразно.

Перед выпускными экзаменами в школе он заболел, потом сразу попал на фронт и не получил аттестата. А когда, вернувшись, захотел сдать за десятый класс, ему сказали, что только со всеми — весной. Терялся год. Он ходил, ковыляя (протез ещё не сделали), по

инстанциям, ездил даже в область — не разрешили. Тогда он наплевал этим бюрократам в их зелёные бороды. От отца у него остались шрифты, он и напечатал себе аттестат, вырезал печати — не отличишь. И поступил в сельскохозяйственный институт. Потом он подделал ещё один аттестат — офицерский или инвалидский, не помню, — когда его за драку («дал одной сволочи по мордасам») на семестр лишили стипендии. Настоящий он оставил матери, а по фальшивому — получал сам, в Свердловске. Я ему сказала, что он не должен был этого делать. Он взорвался: «Я что — голодать был должен? Я им ничего не должен! Они мне должны!»

Таким способом Валентин собирался помочь и деду, когда после очередной проверки в собесе того лишили пенсии — не было документов за какие-то давние годы.

Отец ругался, дед спокойно удивлялся: «Если я не работал, то как же я кормил семью?» Узнав про неприятность, Валентин кричал: «Да наплюйте вы им в зелёные бороды! Я вам сделаю любой документ. С ятями? На дореволюционной гербовой бумаге? Пжалста — от отца осталась». —

«Спасибо, — говорил дед. — Лучше погодим». И в конце концов нашел в своих бумагах выданный ему как учителю бесплатный железнодорожный билет за нужный год.

Их однокашник, с которым друзья враждовали всю школу и даже в армии, приехав домой на побывку после госпиталя (потом он погиб), говорил, что по ноге они потеряли перед тем, как их соединение утром должны были бросить в голую степь без всякой огневой поддержки — после этого рейда от полка осталось едва человек пятьдесят. Оба друга ночью подорвались на минах, но как-то очень одинаково и аккуратно. И добавлял, что Валька был слишком хороший минёр. А когда мама спросила, что значит слишком, сказал, что вообще-то они воевали хорошо, имели медали «За отвагу», а Валька даже «Красную звезду» — за так этот орден не дают.

Валентин окончил каракулеводческое отделение сельхозинститута, стал работать в крупнейшем совхозе этого профиля и вскоре очень прославился. Ягнята, дающие серый каракуль, рождаются редко. Среди овечек Многомысленского серенькие появлялись в два-три раза чаще. Метод он позаимствовал из Ветхого Завета. Иаков заметил, что если за едой овцы постоянно смотрят на что-то пёстрое, то потомство получается неоднородным: и серое, и чёрное. И Иаков стал кормить своих овец ивовыми прутьями, с которых полосками сдирали кору.

Валентин слышать не мог о Лысенке и открыто говорил, что Михаила Фёдоровича Иванова только идиот может считать близким к идеям Трохвима — в основе всей работы великого зооселекционера лежит менделевская генетика: выявить лучшие генотипы животных с тем, чтобы они поглотили худшие, а хорошие закрепить, сделать гомозиготными через подбор однородных генотипов или имбридингом. Из совхоза его за высказывания против материалистической мичуринской биологии и поповщину (кому-то он неосторожно рассказал про библейский метод) уволили, он уехал в Мордовию на преподавательскую работу, которую не любил; своих студентов называл «мордва сорок два».

У его друга научная судьба сложилась ещё неудачнее. У него была уже готова кандидатская диссертация «Внутреннее ухо птицы», на огромном материале, охватывающем пернатых не только Средней России, но и Севера, Дальнего Востока; одних фотографий срезов этого уха (цветных — большая редкость) насчитывалось более двухсот. Но время разом переменялось; «Крокодил» начал печатать изображения старичков в академических ермолках, рассматривающих в лупу мушку или перышко из хвоста печальной птички; диссертацию завернули; Умнов нервно заболел.

К защите она была принята только через двадцать лет. Он опять очень нервничал, разболелось сердце.

До защиты он не дожид двух недель.

— В классе Валентина и Юрия было 18 мальчиков. Всех их взяли на фронт в первый месяц войны. Вернулись только они двое.

Учился у меня ещё один очень способный мальчик — Коля. Он жил с матерью — отца арестовали в тридцать седьмом. Мать пришла ко мне с похоронкой, а потом приходила каждый год в день его смерти. Приносила пирог, домашней браги. Выпьем, помянем, она поплачет. Я тоже всплакну — не только по Коле, по всем им... Вспомню, какой он был хороший, умный, как отвечал на уроках. Какой был внимательный: увидел, что у меня тупой карандаш, сделал мне перочинный ножичек. Я подарила ей этот ножичек. Расскажу ей два-три смешных эпизода...

Рассказывала я всякий раз одно и то же, всё это она уже знала. Но ей не с кем было о своём сыне поговорить: из учителей — кто его не запомнил, кто умер, уехал, девушки он не успел завести, товарищи все погибли. Так она и ходила ко мне лет двадцать, до самой смерти. Теперь уж только я, наверно, его и помню. А после меня — уж никто. Как и не было его на свете.

Проработав на руднике и в Чебачинске в школе пять лет, мама поступила в Москве на химфак МГУ.

— Но в это время у твоего отца арестовали одного брата, отовсюду уволили другого, вызывали на Лубянку третьего. Отец срочно по комсомольской путёвке выехал в Семипалатинск вместе со мной, уже беременной. Но у него и там начались неприятности.

На политической пятиминутке, отвечая на вопрос о пособии по безработице в Америке, он назвал цифру в рублях — оказалось больше, чем у нас получает токарь самого высокого разряда. Пришили агитацию, завели персональное дело и — исключили из комсомола.

Могло быть кое-что и похуже. Но тут как раз баба вытребовала меня — она любила, чтобы дочери рожали под её присмотром. Мы в два дня собрались — всех вещей было два чемодана — и уехали в Чебачинск. Папа даже не стал брать трудовую книжку, а здесь в педучилище, где не было историка, не задавали лишних вопросов и завели новую.

В Семипалатинском учительском институте я проучилась один семестр. Уровень преподавания был высокий — среди преподавателей попадались и местные, но профессора — все до одного оказались из ссыльных. Особенно мне нравился один старый лингвист из Ленинграда. Русский обязательным считался только для казахов, но я ходила на его

занятия — я же училась в украинской школе, где его не преподавали вообще, хотя большинство учеников были русские. Разрешили приехать жене этого профессора. Так с ним от радости случился сердечный приступ, и он умер. В институте гражданскую панихиду не разрешили: ссыльно-поселенец. На кладбище студентам присутствовать тоже не рекомендовали. Но из нас кое-кто пришёл, человек десять. Вывезти тело в Ленинград вдове не позволили. Она этого не предполагала и, продав библиотеку мужа, заказала цинковый гроб, невероятно дорогой, и даже уже оплатила перевозку, тоже очень дорогую, чуть ли не в особом вагоне. Гроб обратно не взяли, и она немного помешалась, всё время смеялась и говорила: «Вам не нужен цинковый гроб? Продаю прекрасный гроб.

Совершенно новый!»

Антон спрашивал, какие стихи тогдашние студенты читали.

— Я любила Есенина. Но всюду писали, что он упадочный поэт, а нам нужно новое, бодрое, политическое, и я настраивала себя, читала Малахова.

— Был такой поэт?

— А как же. Печатался в журнале «Комсомолия»:

У неё не юбок шуршащий шёлк,

А Ульянова пятый том.

Спрашивал студент-историк Антон и то, не заставляли ли студентов в Москве и Семипалатинске подписывать что-нибудь, голосовать на собраниях, чтобы расстрелять троцкистско-зиновьевских выродков.

— Подписи для газет требовали от известных людей. Я очень расстроилась, когда в «Литературке» под таким письмом увидела имена Алексея Толстого, Фадеева,

Пильняка, которых я уважала. Голосовать же заставляли всех и следили, чтоб не увиливали. На первое же такое собрание я не пошла, думаю: отговорюсь — мол, беременна. Пришлось приносить справку от врача... Единственно, от чего не удалось уклониться, — от антирелигиозной пропаганды. Как химика меня всегда заставляли разоблачать религиозные чудеса: почему самовозгораются свечи перед иконами, почему не протухает святая вода в церковных сосудах, и я объясняла про фосфор и что ионы серебра действуют как антисептик, ну и так дальше...

Я и сейчас считаю, что все эти мироточивые иконы — или жульничество, или научно объяснимые явления. Поражаюсь, как интеллигентные люди — эта твоя знакомая, поэтесса — могут в такое верить. И зачем им ещё и это? Как будто недостаточно общей идеи...

Чудеса — для толпы.

Но тут же сама себе противоречила.

— Хотя бывало и такое, что...

В Харькове в начале тридцатых решили взорвать один из больших храмов. Но сначала надо было снять медные позолоченные листы обшивки купола и крест, тоже, конечно, золочёный. На него накинули петлю, и какой-то лохматый босой мужик стал, оскользаясь, карабкаться на верх купола. Собралась огромная толпа. Мама тоже была в ней и видела всё своими глазами.

Все молчали. Крестился мало кто. Мужик уже залез. Но когда, держась за верёвку левой рукою, правую протянул к кресту, верёвку вдруг отпустил, зашатался и рухнул лицом к подножию креста. Раздался мощный и короткий взрѳв — ахнула вся многотысячная толпа.

Мужик, раскинув руки и ноги, проскользил за секунды весь купол, оборвался, перевернулся два раза в воздухе и с тупым звуком — как сбрасывают на землю мешок — шлѳпнулся на торцовую мостовую, едва не задев кого-то в толпе. Никто не кинулся к нему. Напротив — круг, как от брошенного в воду камня, быстро расширялся, и вскоре церковная площадь была пуста. Народ жался у трамвайной линии и в переулке и безмолвно смотрел на лежащее с подогнутой ногой и странно-плоской головой серое тело, вокруг которого медленно расползлось тѳмное пятно. И вдруг, как прорвало плотину, все заговорили, зашумели.

— Помню, какой-то мужик, тоже босой, может из них же, всё кричал каким-то рыдающим басом: «Нады бы левой!левой нады было! Чаво он правую-от тянул? Ить крест-от правой кладут, правой!» А к тому так никто и не подошёл, пока не появилась милиция. И даже милиционеры подходили с опаской, останавливаясь и оглядываясь, а один всё время задира л голову и смотрел на крест. Как раз ушла туча, и он засиял на солнце.

— Вся многолетняя антирелигиозная пропаганда была зачѳркнута в несколько секунд — и на много лет вперѳд.

Историю эту мама рассказала при Егорычеве. Он внимательно выслушал, потом извинился и вышел, минут через пять вернулся и положил на стол обтѳрханную газетную вырезку про случай в 17-м году в Старой Руссе, где он тогда жил. «В наш город, — писали в газете, — приехали большевики и собрали митинг около часовни. На крыльцо часовни взобрался один большевик, дабы лучше слышна была его речь, а над головой его оказался висевший образ Спаса Нерукотворного, старого письма, величиною около аршина. Когда оратор в своей речи дошёл до крайних выводов человеконенавистничества и разжигания низменных

страстей, кто-то из многотысячной толпы крикнул ему: «Да побойтесь же вы, наконец, Бога». Большевик пришел в азарт и закричал, что он никакого Бога не боится, ибо никакого Бога нет. В этот момент сорвался с гвоздя висевший над ним образ, ударил его по голове, проломив ему череп. Большевик через несколько часов умер. При осмотре образа оказалось, что крюк и кольцо, на котором висел образ, совершенно целы».

— А почему у нас в доме иконы то висели, то нет?

— После того, как Казаков донёс, что у преподавателя истории и конституции дома — целый иконостас, дед на день их стал снимать, особенно когда мог зайти Казаков, а на ночь опять вешать.

— Я как-то ночью видел деда на коленях перед иконой Николая Мирликийского. Но только раз.

— Ты спал, как и полагается ребёнку. Дед говорил: «Оба мои сына остались живы и даже не ранены, потому что я всю войну каждую ночь молился за них». Иногда дед днём иконы не снимал — то ли забывал, то ли не хотел...

Тот же Казаков донёс и что Антона крестили. Когда ему было месяца два, бабка, узнав, что родители уходят на какое-то собрание, пригласила священника, он привёз на санках купель и за кувшин молока и ведро картошки таинство совершил. Отец потом пенял бабке, что она ставит его под удар. Бабка не возражала, но потом ворчала: «Как же можно — не крестить? Собака, что ли?»

Чебачинский горно-металлургический техникум относился к Каззолоту и снабжался по разнарядкам золотопромышленности. Студенты по льготным тарифам получали горняцкую форму, чертили не на оборотах старых проектов, а на отличном свежем ватмане, в учебной части и бухгалтерии использовали не вырезки чистых мест из старых ведомостей, как делали даже в райисполкоме (называлось «лапша»), а писали на новой бумаге нормального формата, в маминой лаборатории не было недостатка в реактивах.

Но даже Каззолото не могло обеспечить всем.

Козёл уборщицы, всегда пасшийся во дворе, забрёл в вестибюль, увидел в зеркале такого же страшного козла и затеял с ним бодаться. Техникум остался без зеркала. Мама изготовила серебряную амальгаму, но стёкла местного производства давали изображение, как в комнате смеха парка Горького в Москве; пришлось нанести её на старую стеклянную дверь своей лаборатории; все девицы бегали через двор — даже в грязь — смотреться.

При столовой имелся ледник. Лёд выкалывали на Озере в марте,

складывали в глубокий подвал и засыпали опилками; он держался всё лето. Но завхоз, находясь в запое, про опилки забыл; лёд в мае растаял. В столовой питалось больше тысячи студентов; новый завхоз пришёл в лабораторию и, плача натуральными слезами, умолял маму сочинить какую-нибудь химию попрохладнее. Мама сделала состав из глауберовой соли, нашатыря и селитры; мясо в ведре, поставленное в корыто с такой смесью, местами даже замерзало.

Жизнь требовала изобретательности изощрённой и неусыпной. У отца прохудились на задку единственные выходные брюки. Мама отрезала от низа каждой штанины по периметру кусок с ладонь и дыры заштыковала, делала она это, как и бабка — не отличить. Но вскоре брюки протёрлись на коленях. От штанин снова было отрезано.

Брюки, ставшие и после первой ампутации коротковатыми, после второй оказались куцыми настолько, что носить их можно стало только заправляя в валенки или сапоги.

Отец так и носил; однажды он надел их в баню.

— Не представляешь, какой был эффект, когда я разулся, — сказал он, воротившись. — Подходили рассматривать. Канцевич заявил, что прямо сегодня велит жене сделать то же.

На занятия отец без галстука не ходил. Галстуки делали из старых шёлковых косынок, выкраивали из разлезающей кашемировой шали, один сшили, выпросив у деда Кувычки кусок подкладки генеральской шинели, которую он захватил, сбегая из колчаковской армии (так Антон узнал, что подкладка шинели царского генерала могла быть только красной). Из внутренности старой готовальни мама с бабкой изготовили Серову, которому предстояло дирижировать своим студенческим оркестром на областной олимпиаде, бархатный галстук-бабочку; маэстро сказал, что галстук не хуже, чем был у Направника. Но к галстукам нужны были сорочки, воротники которых быстро

обтёрхивались. Их выпарывание с последующим переворачиванием на другую сторону Антон видел так часто, что долго считал, будто это обычная процедура вроде пришиванья пуговиц, и очень удивился, когда уже отроком услышал от приезжего инженера-москвича (отец старался залучить в дом всех москвичей), что тот и не подозревал о существовании подобной портняжной операции.

Маму, как и деда, не пугала никакая работа. Особенно хороши они были в паре. У деда было какое-то особое чутьё, где может найтись работа. Проходя мимо кинотеатра, он вдруг решил узнать: не нужен ли художник для рисованья афиш? И попал в точку: прежний живописец

только что умер от белой горячки.

— А как он угадывал?

— Будь у тебя семеро детей, ты тоже бы научился. И мама стала писать афиши.

— Шрифтами я владела, но до этого только один раз писала большой размер, на кумаче — в Семипалатинске лозунг к слёту: «Привет стахановцам канализации и водопровода!» Сначала писала только названия фильмов, но потом осмелела и стала рисовать портреты актёров: в правом верхнем углу — исполнителя главной роли, в левом нижнем — героини. Особенно лихим выходил у меня Крючков.

Однажды деда вызвали в милицию: как сумела бабка выбить из посыльного, что-то насчёт афиш. Бабка волновалась — в кинотеатре оплата шла без ведомостей. Но дед вернулся весёлый, с рокочушим, как весенний гром, жестяным листом на плечах. Начмил майор Берёза во время культпохода своего коллектива на фильм «Подвиг разведчика» восхитился шрифтом и изображением актёра Кадочникова на афише и пожелал, чтобы этот же художник нарисовал новую вывеску для здания районного отделения.

Всё воскресенье дед разводил краски, мама работала кистью, Антон смотрел. Сначала долго думали. Заказчик хотел помимо букв ещё картинку, как на понравившейся ему афише. Но дед заявил, что ему кроме черепа со скрещенными костями ничего не приходит в голову. Мама сказала, что на шутики нет времени, но тоже ничего не смогла предложить. Потом они долго спорили. Начальные буквы в полном названии учреждения — НКВД — дед хотел дать другим цветом, хорошо бы чёрным, в крайнем случае — тёмно-синим, чтобы сразу и издали всё было ясно, мама возражала. Согласились на том, чтоб эти заглавные буквы сделать просто особо жирными. За работу исполнители получили ведро керосина, само ведро, цинковое, не жестяное, разрешили не возвращать; потом оно много месяцев выветривалось на повети, но керосином всё-таки слегка припахивало; пришлось приспособить его для полива.

В Чебачинске решили устроить филиал областной метеостанции. Приехал специалист Кацис, привёз грузовик обёрнутых в пшеничную солому приборов. Через два дня он явился к деду и сказал, что когда искал кандидата на должность заведующего — он же наблюдатель, — все называли одну фамилию: Саввин. Имеет агрономическое образование, что близко к погоде, небу, и другое образование, которое, тонко улыбнулся Кацис, ещё ближе к небесам. Про другое успела проболтаться, конечно, бабка, пока специалист снимал дождевик и галоши. До вступления в

должность следовало в областном центре пройти месячные курсы и сдать экзамены.

Дело было весною; огурцы и помидоры ещё не были высажены в грунт, сахарная свёкла не получила многосоставной ранней подкормки, в будущие луковые, чесночные и морковные грядки не внесли жидкий куриный помёт, который прошёл в своём осьмиведёрном чане только первый день десятисуточного процесса, ждали своего часа картофельный огород в Степи, капустная плантация по-над Речкой, салат, тыквы, патиссоны, топинамбур, редька... Гибель даже одной из культур пробила бы незатягиваемую брешь в сложном хозяйстве — всё было связано со всем; сеть этих связей содержалась в голове только одного человека; дед не мог уехать на месяц.

Дед сказал Кацису: работать он будет с тщанием и удовольствием, но стар куда-то ехать, селиться в общежитиях, в коих не жил с семинарии, то есть с девяностых годов прошлого века. Но у него есть дочь, химик и биолог, которая знает всё, а чего не знает,

мгновенно, благодаря исключительной памяти, выучит и ему, деду, на свободе перескажет.

И мама отбыла в область, где, вместо месяца изучив всё за десять дней, блестяще сдала экзамены и, еле отбившись от ухаживаний потрясённого Кациса, предлагавшего ей должность зама на центральной метеостанции, руку, сердце и свою квартиру, вернулась с удостоверением старшего наблюдателя на имя Саввина Леонида Львовича.

Дед нашёл, что нелогично занимать должность старшего наблюдателя, не имея младшего, однако приступил к работе. На стадионе стояли цинковые водомерные резервуары, похожие на корыта, только мелкие; висели большие термометры — максимальный и минимальный; замерив самую высокую и самую низкую температуру, они останавливались, это потрясало. На крыше нашего дома приятно поскрипывал красный флюгер; в комнате автоматический барометр день и ночь чертил на бумажной ленте красивые зигзаги, и я должен был следить, не кончились ли у него чернила; в кухне висели ещё два обычных барометра-анероида. Один из них сбил рукою Сухов, показывая, как он разделявал для еды волка; прибор велели списать, однако он работал ещё сорок лет.

На столе лежали таблицы типов облаков, и когда дед куда-нибудь уходил, мы с бабкой выходили во двор и сравнивали облака с рисунками, иногда споря, облака перистые № 1 или № 2. Дед говорил, что баба научилась определять облака лучше его, и они постепенно перешли целиком в её ведение.

Мама снимала показания водомеров и термометров на стадионе, по пути из школы; это полагалось делать в два часа, что совпадало с временем дедова дневного сна.

Последние показания надо было снимать в полночь. Однажды деда остановили два бандита; он сказал, что работает сторожем на метеостанции и у него ничего нет. Бандиты посветили фонариком; крылатка, пропитанная для непромокаемости квасцами с уксуснокислой окисью свинца и стоявшая колом, им не понравилась, деда отпустили.

Все сведения и показания приборов дед зашифровывал по цифровым таблицам и дважды в сутки, покрутив ручку телефона, передавал в область.

Плачущей маму Антон видел два раза: когда рассказывал ей про смерть деда и второй — когда он принёс ей кассету с «Вечерним звоном» в исполнении хора Йельского университета. Добросовестные американцы, конечно, пропели ту строфу, которую почему-то всегда опускают русские исполнители и которую всегда пели в дедовой семье.

«И крепок их могильный сон, не слышен им вечерний звон».

37. Отец

Главное воспоминание об отце: ночь, стол, бумаги, жёлтый круг от керосиновой лампы-молнии. Иногда с другой стороны стола, близко к лампе, Антон видел соседку Полину, жену Гурки, — она вязала по ночам, днем не давали её пятеро мал мала меньше, просилась посидеть: «Вы ж всё равно керосин жжёте».

Проснувшись, Антон любил разглядывать его лицо, может, потому, что днём это было невозможно, всегда, как ветром, отца куда-то несло, дом был станцией пересадки, где получалось только наскоро перекусить, чтоб лететь дальше. Он преподавал в техникуме, педучилище, в школе (историю как дисциплину идеологическую ссыльным не доверяли), вечерами читал лекции о международном положении, и когда не получалось с транспортом, ходил за четыре километра в депо и за пять в Батмашку, в туберкулёзные санатории, и своим же ходом возвращался. Уже в темноте, не заходя в дом, не мог удержаться, чтоб не поотбрасывать во дворе снег или понакидывать завалинку.

Иногда по вечерам он рассказывал что-нибудь из истории. Папина история Антону нравилась. «Копия ломались, аки солома». «Воины Свенельжи изоделися суть оружием и порты, а мы нази, — скандировал отец и добавлял, подняв палец: — И босы». Лучше

всего было «изоделися суть» и «нази». Потом, прочтя «Повесть временных лет», Антон не нашел там босых и процитировал отцу подлинный текст. Но тот покачал головой и, как и раньше подняв палец, сказал значительно: «И босы».

В школе история была другая. Ещё до того, как сам стал школьником, Антон любил тайно читать тетради своей двоюродной сестры Гали:

«Какие условия были:

а) неблагоприятные б) благоприятные.

а) Плохопригодные: дикие и всевозможные звери.

б) Хорошопригодные: деревья.

Абборигины.

Опишите Рабо владельца: у него были свои рабы, которыми он командовал и избегал. А дальше раба совсем выбрасывали как вещь».

В школе всё время говорили про присвоение чужого труда и эксплуатацию эксплуататорами — малопонятно. Отец объяснял проще. В первобытном обществе богатых-бедных не существовало: присваивать

было нечего — что добыли, то и съели. С разделением земледелия появились излишки, вожаки племени и жрецы их присваивали.

Развивалось неравенство, возникли классы.

Дед, в изучение истории давно не вмешивавшийся, на этот раз сказал:

— Неравенство не возникло, оно существовало изначально. Равны все только перед Богом. Меж собою все были различны всегда. И если ты ленив и глуп, ты беден.

Подросши, Антон любил отца куда-нибудь поблизости сопровождать — бежал рядом, подпрыгивая для скорости, а отец рассказывал что-нибудь — тоже из истории; так и называлось: история впопрыжку. Хронологические рамки были широки: от первобытного общества до современности. Правда, не присутствовал Древний Восток, где, в отличие от Греции и Рима, не просматривались исторические анекдоты — главное в истории. Одну из самых частых тем представляли политики, но только великие — Талейран, Бисмарк, Рузвельт, Черчилль, — те, по поводу которых можно было произнести восхищенное «Выхх!»

— Уинстону Черчиллю шёл шестьдесят шестой год. Другие в этом возрасте в своих поместьях пишут мемуары. Но страна находилась в опасности. Англия вспомнила о нём и призвала его, вручив ему власть 10 мая 1940 года — за пять лет до победы. И первое, что он сказал, — о победе. Но ты послушай, что он сказал!

Отец сунул мне тяжёлый портфель, выхватил из кармана свою толстую записную книжку с медными уголками и перед воротами педучилища стал читать взволнованным голосом:

— «Вы спросите у меня: какова наша цель? Я отвечу одним словом: победа! Победа любой ценой, несмотря ни на что, победа, каким бы долгим и тяжким ни был путь к ней. Я могу предложить вам только кровь, труд, пот и слёзы».

Подходивший к воротам преподаватель, тот самый, перед приходом которого дед снимал иконы, остановился за спиной отца и прослушал всё до конца.

— Кто это так красиво высказывался, Пётр Иванович? Стиль словно как бы не наш.

Отец быстро повернулся.

— Добрый день, Роман Елисеевич! Вы как-то незаметно... Кто? Молотов, Вячеслав Михайлович!

Когда Роман Елисеевич, поулыбавшись, ушёл, отец сказал:

— Увидишь его поблизости — тут же говори мне.

Черчилль вошёл в мой пантеон героев, я вписал его в тетрадку про всё

необыкновенное и вклеил картинку из старого «Британского союзника» — его отец сильно изрезал, но снимок стремительно идущего с тростью премьера не пострадал.

Уже в университете мне сильно повезло: один старый профессор в детстве видел сэра Уинстона, когда тот ещё не назывался сэром, — молодого Черчилля!

Младший брат профессора, когда они с другими детьми играли в поезд, упал с веранды, у него стал расти горб. На юге Франции жил врач, изобретший какие-то корсеты, спины выправляющие. Деньги на поездку дал Нобель, у коего отец братьев служил на бакинских нефтяных промыслах. На пароходе, который Средиземным морем шел в Марсель, мальчики играли в войну и кричали: «Vive les bours!» Этим был очень недоволен господин с сигарой, всегда стоявший на верхней палубе. Помощник капитана сказал отцу, что дети своими выкриками раздражают господина Черчилля, который возвращается с войны с бурами, где попал в плен, был едва не расстрелян, бежал.

Часто повторял отец ещё слова Черчилля: «Никогда не сдавайся. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда». Их он применял к другому своему любимцу — Рузвельту, преодолевшему непреодолимое. В сорок лет, на взлёте политической карьеры, он заболел полиомиелитом, ему отказали ноги. Изнурительная гимнастика дала лишь тот результат, что он смог ходить на костылях. Во время своей первой предвыборной кампании он, зажав ноги в ортопедические приспособления, стоя ездил в открытой машине и произносил блестящие речи. Никто не догадывался, чего это ему стоило. Америка поверила Франклину Делано Рузвельту. Когда он баллотировался на второй срок, за него проголосовало наибольшее количество избирателей за всю историю США.

Но почти так же отец восхищался параличным Лениным, диктующим свои предсмертные статьи. Нотки восхищенья звучали — к удивлению Гройдо — даже в его высказываниях о Сталине, сумевшем благодаря железной воле победить превосходящих его по всем статьям противников и создать небывалую по мощи государственную машину — ту самую, из-под колёс которой отец трижды чудом выбрался.

Любовь к иностранным президентам чуть не стоила отцу партбилета; могло выйти и похуже. (Это и был третий и последний эпизод попадания в жернова системы.) Произошло это уже в сорок восьмом, когда он в лекции мельком упомянул в положительном контексте Рузвельта.

Когда открыли второй фронт, Петр Иванович Стремоухов по поручению обкома сделал доклад об Америке, где остановился и на

биографии её тогдашнего президента — по закрытым материалам ТАСС, которые обком же ему и предоставил.

Теперь тот доклад ему припомнили. Фигурировали записанные кем-то (мама подозревала, что Гонюковым) формулировки: «американская демократия», «забота о беднейших слоях населения», «выдающийся государственный деятель». Упоминалось и высказывание об увеличении Рузвельтом пособия по безработице (тебе было мало, говорила мама, что уже один раз из-за этого проклятого пособия ты из Семипалатинска еле унёс ноги). Дело становилось нешуточным — и за более невинные высказывания (о достоинствах царской гимназии) учительницу математики только что отправили в Карлаг.

Но Пётр Иванович хорошо усвоил девиз первого своего любимца не сдаваться никогда, никогда (говорил: он больше подходит нам).

Немедля, вскочив в товарняк, он выехал в область и явился в обком. За четыре года ничего не переменилось, в отделе пропаганды сидел тот самый инструктор, который заказывал лекцию об Америке и давал материалы. Не пришлось даже произносить заготовленную фразу: «Если меня собираются исключать за то, что я во время тяжёлых испытаний советского народа выполнял задание партии, — пусть исключают». Похожую фразу по телефону произнес сам инструктор: «Доклад делался в другой политической ситуации и по заданию обкома». Дело замяли.

Из исторических событий отец предпочитал эпизоды характера романтического: как Пизарро выхватил меч и провёл на высоте своего роста черту на стене дворцовой комнаты — досюда инки должны были нанести золота в качестве выкупа за своего пленённого императора Атовальпо. По ходу дела сообщалось, что солдаты Пизарро победили благодаря не ружьям (их прицельность не шла ни в какое сравнение с луками аборигенов), а лошадям. Инки так боялись этих странных животных, позволявших сидеть воинам у себя на спине, что их многотысячные войска в панике бежали от небольшого

отряда кавалеристов. Обожают описывать, как голова Людовика XVI скатилась в корзину.

Но гораздо интереснее, что то была та самая корзина, в которой в Париж отвозили цветы из Версаля, и король всегда следил за её комплектованием!

Любил повторять рассказ про единоборство инок Пересвета с татаринном Челубеем перед началом Куликовской битвы: ни кольчуги, ни лат не было на Пересвете — только колыхался на его могучей груди большой медный крест.

И даже в старших классах рассказывал Антону, как умилялась лондонская буржуазия, глядя, как Маркс, ползая на четвереньках по лужайке, катает на спине своих детей. Она не знала, что это ползает тот, кто роет ей могилу.

Раз-два в зиму ездил за дровами, давали билет на три сосны. Лет с четырнадцати отец начал припрягать к этому делу меня, к сильному моему неудовольствию: сучковать по зад в снегу было тяжело и скучно; зимний лес, который так хорошо гляделся с лыжни, был противен, а поэтические снеговые шапки, стряхиваемые подрубаемыми соснами за шиворот, даже и бесили. Летом отец косил сено, вместе с дедом вскапывал огород — деду одному пятнадцать соток было не поднять.

Отца отдыхающего я помнил только в первые месяцы после приезда Василия Илларионовича, когда тот ещё не служил, а после выигранной второй мировой, она же Великая Отечественная, набирался сил, т. е. на выручаемые от продажи кое-какого трофейного барахла деньги пил шампанское и коньяк.

По вечерам они сидели с отцом под яблоней в подаренных Гуркой креслах из причудливо изогнувшихся сучьев (похожие, стоимостью в большие тысячи, я потом видел в отделах авторских работ московских магазинов). Я вызывался на работу, коей в иное время был большой ненавидец, — полоть грядки, чтобы находиться поблизости и не упустить момент, когда стрельнёт шампанское, и проследить, куда упадёт взлетевшая выше деревьев пробка. Пробки я копил: покойный дядя Кузик сказал, что ста пробок достаточно для спасательного круга, держащего на воде человека. Зачем мне, плавающему с шести лет, нужен был пробковый круг, я не помню, — видимо, действовал древнейший инстинкт собирательства.

Разговор свояков вертелся чаще всего вокруг московских ресторанов, дядей знаемых всегда, а его младшим родственником освоенных в год прокучивания наследства, которое образовалось из-за продажи дома в деревне: братья единодушно решили деньги отдать самому младшему — Петру. Слышалось: «Метрополь» (или «метрдотель» — Антон плохо представлял разницу), «Савой», «Националь». Один раз, когда обсуждался бывший ресторан Палкина, вмешался дед, обнаружив неожиданную осведомлённость: рядом со столиком стоял ещё один, поменьше, чтобы принесший блюда официант не мешал гостям.

— Но вы, Леонид Львович, кажется, не обедали в этом ресторане?

— В Вильне, когда я после окончания семинарии ждал место, открылся ресторан, где каждый зал, как печаталось в рекламе, был точной копией ресторанов Палкина в Петербурге или Тестова в Москве.

Как-то, когда из-за темноты уже невозможно стало полоть, Антон, чтоб не прогнали спать, пересказал слышанную от бабки кулинарную историю про повара одного из Людовиков, который закололся, увидев, что опаздывает рыба, заказанная к королевскому столу.

— Какие там Людовики, — сказал Василий Илларионович. — У нас, вблизи родных осин, был такой же случай.

Шеф-повару «Националя» поручили обслуживание грандиозного банкета в Кремле по поводу премьеры «Анны Карениной» — банкета с участием вождя. Когда запыхавшийся метрдотель (главный над официантами, сообразил Антон) сообщил, что пора подавать горячее, над огромным противнем с котлетами деволый лопнула двухсотсвечевая лампочка, висевшая в нарушение технологии без стеклянного колпака, и мельчайшими осколками осыпала все двадцать рядов котлет. Шеф-повар побледнел и

выбежал в туалет; больше его не видел никто; ночной патруль нашёл белоснежный халат с монограммой ресторана у Москвы-реки.

Если для техникума надо было что-нибудь выбить, посылали отца. В последний год войны стояла очень суровая зима, угольную норму к марту прижгли, студенты сидели в аудиториях в пальто и телогрейках. Отцу выдали огромный рулон ватмана, упаковали в рогожу пришили в виде лямок подпругу от старого чересседельника и отправили в Караганду. Когда, рассказывал отец, он в шахтуправлении раскатал по ковру свои ватманские рулоны, главный инженер заплакал. Впрочем, в рассказах отца так вели себя многие: «Сказал директор и сам заплакал», «сказал Макаренко и сам заплакал». Плакали Николай Островский и Калинин, бас Пирогов и бегуны братья Знаменские. Пересказывая Гройдо одну из отцовских историй о строительстве метро, Антон закончил привычным: «Сказал Каганович и сам заплакал». Гройдо тоже заплакал — от смеха, сквозь который можно было разобрать: «Лазарь... заплакал... этот сапожник...»

Поплакав, главный инженер выписал платформу антрацита. На этой же открытой платформе пришлось возвращаться и отцу. В дом он вошёл со словами «Чёрен я!» Осторожно снял дедов дождевик и повесил у двери; все подходили, скребли рукав ногтем и давали советы. Плащ неотмываемо покрылся угольной пылью, намертво въевшейся в самые поры ткани.

— Если бы мы жили на Севере, — внёс свой вклад Антон, — можно было бы его положить в то место, куда падает вода в водопаде Кивач.

— В сливное зеркало, — уточнил дед и добавил задумчиво: — Устами младенца...

Когда в паводок на мельнице спускали воду, жерновщик Фёдор подвязал дедов плащ под край корыта слива; через сутки он стал как только что пошитый.

Но ватман тоже не доставался просто. Его в золотоснабе выписывали без хлопот, но далеко, в Свердловске (по какому-то договору с Сибзолотом). За ним, конечно, посылали отца. Большой, как чемодан, тяжёлый тюк он тащил на себе на вокзал, по всем поездом и пересадкам, сторожил в залах ожидания — камеры хранения или не работали, или были забиты, а тюк выглядел заманчиво; телеграмму в Чебачинск давать было бесполезно — поезда ходили без расписания.

В Свердловске отец жил в гостинице «Урал»; ему сказали, что в её ресторан приходит один из тех, кто расстреливал царскую семью в подвале дома Ипатьева, и если его угостить котлетой, которую давали по талонам, да ещё в компот налить самогона, который можно купить после двенадцати ночи у дежурной, то он расскажет подробности.

Расстрельщик, ещё не старый крепкий мужик, рассказал, как добивали штыками царевен, и это видел царь, как стаскивали потом с него френч, как всё шла и шла кровь из царевича Алексея — у него была какая-то болезнь, и она не сворачивалась.

Разрешали осмотреть и подвал с брызгами крови на стенах и пулевыми отверстиями, которые все трогали пальцем.

Когда отец всё это рассказывал, бабка плакала и крестилась. На внутренней стороне крышки её сундука был приклеен снимок царской семьи и отдельно — царевича Алексея в матроске, точно такой, как у Антона.

В сентябре в техникуме не учились — студентов отправляли на уборочную в колхоз; в годовых отчётах писали: КПП — колхозная производственная практика, чтоб не спутать с учебной ПП в шахтах.

Петра Ивановича всегда назначали руководителем КПП. Он учил скирдовать (сам вершил стога), увязывать воз, строить шалаш, ходить за плугом (колхоз славился большой зяблевой вспашкой), управляться с быками — пахали на них, что было не так плохо: четвёрка тянула трёхлемёшный плуг. Работал с азартом (как на себя, иронизировал дед), не признавая перекуров. Единственная привилегия, которую он себе присвоил, — раз в неделю бывать дома. Выходил он в субботу в сумерки; в полночь приходил в Чебачинск; возвращался в воскресенье, отмахав те же двадцать километров, — тоже к полуночи.

Однажды отца подвёз на своей лаковой тачанке секретарь райкома, направлявшийся в тот

же колхоз. Он отказывался верить, что его пассажир вчера уже проделал этот путь, однако включил эпизод в отчёт на обкоме как пример трудового героизма, потому что отец нёс на плече — по пути, чего там — ещё свёрток с металлическими зубьями — для конных граблей и клевцами — для конной же бороны.

Василий Илларионович, посмеиваясь, говорил, что Ленин, придумывая свой социализм, рассчитывал именно на таких простецов-энтузиастов, но ошибся на несколько порядков, их хватило только на бревно, которое они тащили вместе с вождём на коммунистическом субботнике.

Но едва ли не больше времени у Петра Иваныча отымало чтение лекций. Некоторые считались платными (гонорар выдавали мукой, горохом, наволочками, гвоздями, повидлом). За лекцию о Ломоносове на стеклозаводе вместо обещанной соли вручили четыре кособоких графина. Бабка, в преддверии сезона засола этот гонорар уже мысленно растворившая в банках и бочонках, сильно расстроилась; зять её утешал: «Неправо о вещах те думают, Шувалов, которые стекло чтут ниже минералов». Один из этих графинов сыграл роковую роль при попытке распить водку, полученную за сданную картошку: у него, как помним, отвалилось дно. За лекцию о десяти сталинских ударах расплатились чечевицей. «Всё правильно, — сказал отец, брякнув на стол мешочек с крупой. — За Ломоносова — стекло, за вождя — чечевичную похлебку».

Но основной массив лекций проходил как общественное поручение. Узкой специализации не предполагалось: приходилось читать о сталинском плане преобразования природы, великом баснописце Крылове в связи со столетием смерти, восстановлении фабрично-заводского производства в послевоенный период, о флотоводце адмирале Ушакове и полководце генералиссимусе Суворове, об успехах советских спортсменов на Олимпийских играх — первых, в которых они участвовали. Серия докладов — Петра Иваныча даже по распоряжению райкома сняли с занятий — была посвящена труду товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Прочитав один такой доклад перед местными милиционерами, лектор спросил, всё ли понятно.

Старшина-казах ответил: «Атдэльные слова понымаем».

Всего больше хлопот доставляли лекции по международному положению; долгое время Стремоухов был единственным в районе (по территории равном, как подчёркивал секретарь райкома, половине Бельгии) лектором-международником. Из-за этого его заставили вступить в партию, от чего он долго уклонялся. «Неудобно, знаете, — говорил Гонюков,

работавший уже в райкоме, где тоже приходилось читать лекции, — вас слушают наши товарищи, а вы — беспартийный».

Ночной образ отца запомнился — пишущего, вырезающего и слушающего. Вырезающего — преимущественно; под шорох газетных листов Антон засыпал, под сочный звук стригущих ножниц просыпался на горшок. Газетные вырезки помогала делать мама, деда приспособить к этому делу не удалось, он заявил, что его тошнит от одних заголовков. Вырезки раскладывались по папкам: «Американские военные базы» (во время лекции вешалась карта полушарий, чёрными точками этих баз засиженных), «Братские компартии», «План Маршалла», «Руководящие документы». Последняя папка была самой тощей, но самой важной: с перечисления того, что в ней лежало, рекомендовалось начинать лекцию: «На сегодняшний день мы имеем главный руководящий документ: ответы товарища Сталина корреспонденту французской газеты «Юманите» и два дополнительных: речь главы советской делегации товарища Вышинского на шестой сессии Генеральной Ассамблеи ООН и доклад председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Шверника на сессии Верховного Совета четвёртого созыва».

Слушал отец радиостанции «Свободная Европа» и «Голос Америки», которые для простоты называл «Мировое господство». На самый высокий тополь была водружена десятиметровая жердь-антенна, которая вместе с ним с каждым годом всё больше подымалась к небу, из Москвы — привезён приёмник с круглой шкалой производства

рижского завода ВЭФ, поступившего из Германии по репарациям. «Выхх! — говорил отец. — Качество. Одно слово — «Телефункен»!»

— Известная компания, — подтверждал дед, — ещё Гинденбург...

Но качество аппаратов любимой компании Гинденбурга помогало мало: «Мировое господство» беспощадно глушили. Правда, почему-то начинали не сразу (Егорычев даже построил теорию: сами любят послушать), и до того, как запускали жернова, удавалось услышать часть новостей. Утром приходил Гройдо, тоже имевший приёмник; слушатели обменивались расслышанным сквозь рёв и скрежет и его обсуждали. Отец особенно был недоволен отказом СССР получать помощь по плану Маршалла.

— Страна в развалинах!

— Идея изоляционизма, — говорил Гройдо. — То, в чём наш вождь всегда расходился и со своими противниками, и со сторонниками.

Антон, на своём подоконнике решая задачи по алгебре, записывал на промокашке шифром: «изоляционизм». Там уже находились, записанные

другим секретным шифром, ещё «инфляция» и «девальвация», значение которых, чтоб никого не волновать, следовало не спрашивать, а найти в словаре иностранных слов.

Читая в санаториях, отец иногда захватывал Антона, чтобы ребёнок прокатился по морозцу и погулял в сосновом целебном лесу. Замёрзнув, Антон заходил в столовую, где шла лекция. О плане Маршалла тут отец говорил совсем другое: Европа, принимая его, подпадает под пяту американского империализма, а СССР — нет. Антон не удивлялся, знал: так надо, как знала четырёхлетняя дочка Кемпелей, что с мамой и папой надо говорить на одном языке, а с соседями на другом, ихнем. Удивляло Антона — много позже — иное.

На лекции о Китае отец говорил с искренним восторгом:

— Китайская Народная Республика при тотальной мобилизации, которая, как известно, дает двадцать пять процентов от общей цифры населения, может выставить сто миллионов здоровых мужчин!

И подымал вверх палец; Антон чувствовал, что ему очень хочется сказать «Выхх!», но на лекции неудобно.

Память услужливо подбрасывала другие похожие случаи: как восхищался отец — не на лекции, дома — мощью Красной Армии, когда она, победоносно завершив войну, стояла в центре Европы. Имея 15 миллионов под ружьём и опыт такой войны, она свободно могла железной лавою прокатиться до Атлантического океана! В этот момент, было видно, он не думает о последствиях для всего мира такой прогулки, не помнит того, что говорил о странах народной демократии — всегда с прибавкой: «так называемой».

Отвечая через двадцать лет на Антоновы вопросы, он подтверждал, что радовался искренне, но сознательно как бы заставлял себя не пропускать в эту радость сомнений, и это удавалось. «Иначе было бы невозможно жить — нервная система не выдержала бы». Но дело объяснялось, похоже, не только боязнью раздвоения и стремлением к психическому самосохранению; Антон узнавал противовольное действие той же магии, которая окрашивала его высказывания о железной воле вождя. Прочитав в «Мастере и Маргарите» восхищённое описание грозного профессионализма людей с браунингами и бессонной работы огромного здания в центре Москвы, Антон уловил что-то знакомое. Магия силы.

Даже автор «Собачьего сердца»...

Такого, впрочем, у отца было много. Сыздетства Антон слышал от него, что революция погубила русское крестьянство, а в год её 50-летия он

вдруг написал: моя внучка Даша, а может, и ты доживёте до столетия Октября! Уже не понять, по убеждению он писал или на всякий случай. Любимая поговорка его была: «Не красное солнышко — всех не обогреешь». А сам терпел бабкиных прихлебателей, живших у нас месяцами, принял в войну не имевшую даже продовольственной карточки тётю Ларису с двумя малолетними детьми, вытащил после окончания срока ссылки Татаевых из их дыры и устроил всех учиться и на работу, организовал бесплатный юридический консультпункт,

где сам же и писал за посетителей заявления и письма Сталину, всё время хлопотал о каких-то ссыльных преподавателях, профессорах, кондитерах, музыкантах...

Вспоминать годы войны и послевоенную чебачинскую жизнь отец не любил, Антоновы ностальгические восторги по поводу натурального хозяйства не разделял.

— Работали как проклятые день и ночь. Сельскохозяйственный вековой цикл. У тебя экзамены или надо готовить новый для тебя предмет — помнишь, мне поручили преподавать психологию, было некому? Или завтра лекция по международному положению. А тут надо посадить или выкопать картошку — уйдёт под снег, будем зимой зубами щёлкать. Приехали заочники, сессия — а тебе позарез нужно на покос, трава перестаивается, не дай бог начнутся дожди... А зимой? Развести и наточить пилу (это я помнил: не вынося звука, бабка заматывала голову шалью, но замечанья зятю считала делать неудобным, тёща-монстр — это у простонародья), переставить шпильки-баклуши, растягивающие телячью шкуру, сдирать мездру с той же шкуры, подвинтить ослабнувший пресс для свёклы... Рабство! И всё равно было голодно.

— А мне помнится...

— Ты забыл, был мал, да и для детей мы, конечно, старались.

— А как всё умели, знали, что капусту надо засаливать не в дубовом, а в берёзовом бочонке, как варить мыло, как приклеивать ткань яичным белком, как...

— И что из этого тебе пригодилось? Где ты найдёшь теперь бочонок — любой? Зачем белок — есть клей «Момент». По своей привычке забивать голо-ву всяким мусором ты небось помнишь и рецепт изготовления мыла? Я так и думал. Ну и? Варишь его в свободное от писания научных трудов время?

— Но это же было своеобразное творчество, как у средневековых цеховых мастеров.

— Творчество было у Гурки — дуги, санки, корзины. Ты его кресла

плетёные помнишь? Секретарю райкома подхалимы решили к юбилею подарить мебель для веранды. Гурий плетёных кресел никогда не работал. Пришёл к нам. Мама нашла в книге дореволюционную фотографию: Бунин где-то на юге в летнем ресторане сидит в ажурном кресле. И Гурка сделал такую мебель, что весь райком смотреть ходил. А у нас что было? Жестокая необходимость, категорический императив...

38. И все они умерли

Дед умер накануне Пасхи. В последний раз придя в сознание, он спросил, какой сегодня день. Была Страстная Пятница. Проговорил: «Как хорошо... умереть в...»

С детства у Антона всегда было какое-нибудь желание: иметь настоящие фабричные лыжи, щенка, переныривать 50-метровый бассейн туда и сюда, увидеть океан, иметь большую библиотеку. О каждом очередном он привык сообщать деду. И всякий раз интересовался: дед, а чего бы хотел ты? Дед говорил: чтоб ты не мешал мне спать после обеда, или: чтобы в «Правде» был хоть один процент правды. В последний приезд Антона сказал: умереть под Пасху, в Великую неделю.

На похороны Антон опоздал. Тёток он предупредил: телеграмму в забайкальское гуранское село, куда он заехал с весны, если что, следует давать срочную, тогда из райцентра пригонят с нею моторку, на которой могут увезти и адресата. Но на почту послали Кольку, и, хотя всё ему объяснили, он сэкономил, дал обычную, на которой ещё раз сэкономил, не написав прямо про смерть; почтальон не стал торопиться.

Добирался Антон четверо суток; впервые в поезде, самолёте ничего не писал и не читал. Но думал не о деде — о смерти вообще. Само понятие о ней вошло в него с дедом.

Он всегда был старше всех, и когда в Антоновом сознании возраст связался с нею, и он вдруг понял, что она больше всего угрожает деду, он плакал полночи, закутав голову одеялом.

Но годы шли, умирали соседи, учителя, все были моложе деда, а он всё жил и жил, здоровей и сильнее молодых, и идея смерти померкла в сознании Антона.

Вернулась она уже в университете, в связи с Моцартом и — особенно остро — с Пушкиным. С какого-то времени он начал переживать смерть Пушкина как личное горе, свой день рождения, совпадающий с датой его смерти, праздновать перестал, потому что почти заболел в этот день и нисколько не удивлялся явлению стигматов — когда в день распятия Христа у некоторых людей появляются кровоточащие раны на запястьях и ступнях.

— Ты когда-нибудь думал, — говорил он в волнении Юрику, — что было бы, проживи Пушкин ещё лет десять! Если б он завершил «Историю Петра», воплотил замысел о войне двенадцатого года, написал том стихов и

несколько поэм вроде «Медного всадника!» Непредставимо! А Моцарт? — вопрошал он, наслушавшись его и начитавшись о нём в год 200-летнего юбилея. — Умер в тридцать пять автором не только гениальных вещей — это я вывожу за скобки, — но и количественно одним из самых плодovitых композиторов. Он написал больше великого Верди, пережившего его на пятьдесят лет! А если бы прожил столько же? Ведь он уже и так начал колебать мировые струны. И было решено, что допустить этого нельзя.

— Кем?

— Тем, кто решает всё. Если б Моцарт прожил ещё даже не пятьдесят лет, а половину этого срока, он стал бы равен Ему. И он умер. «Тут ему Бог позавидовал — жизнь оборвалась». Безвременная смерть только этих двух никогда полностью не примирит меня с Ним. А она — правило. Гёте, Толстой — редкие исключения.

Вылечил тот же Юрик. Он сказал, что, несмотря на свой атеизм, не одобряет такую теорию за богохульство и предлагает свою — менее богохульственную.

— Умереть вовремя — благо. Представляешь, что случилось бы с Гагариным через несколько лет, не разбейся он недавно? Толстый, лысый чиновник, профессия которого — заседать в президиумах... А так — на века осталась улыбка космонавта! Рылеев — ты сам говорил — средний поэт. Повесили в молодости — национальный герой. А Шолохов? Умри он сразу после «Тихого Дона», не заголившись перед всем миром своей глупостью и махровостью, — все бы рыдали по безвременно ушедшему гению и диссиденты не трудились бы над брошюрами о настоящем авторе великого романа!

— Как будто писатель живёт для того, чтобы нам легче было составлять его биографию. Так ты скажешь, что и Иисус Христос умер вовремя.

— Ну, это чистый случай. Не распни они его — не было б христианства, тебе как историку стыдно...

Но лекарство оказалось действия узконаправленного и недолговечного. По новой всё началось со смерти графа Шереметьева и нескольких любимых профессоров.

Какие-то африканцы ощущают в своей жизни постоянное присутствие поменявших миры. Ставят им еду, разговаривают друг с другом так, чтобы тем было понятно. И получают от этого радость. Антон чувствовал, что его покойные учителя и друзья-старика — всегда с ним, видел их во сне, беседовал с ними. Но испытывал только боль.

Вирус проникал в сердце и мозг всё глубже. Жаль было уже умерших

всех.

Как-то, листая в библиотеке подшивку «Нового времени» 1890-х годов и в очередной раз поражаясь информативности суворинской газеты, он вдруг осознал: все авторы этих статей по переселенческому вопросу, богословским проблемам, очеркисты и прозаики, диспутанты о теории Дарвина и возможностях радио, составители отчётов о дебатах во французском парламенте, давшие объявления зубные врачи, кухарки, гувернантки, хиромантки, портные — все они покойники!

Но самым тяжёлым переживанием была хлынувшая после оттепели на экраны кинохроника девятисотых годов: эти резво, в ритме старого кинематографадвигающиеся люди умрут и почти все уже умерли; душа торопилась отдохнуть на редких младенцах — они-то уж наверняка живы! С надеждою вглядывался он в молодые лица — может, кто из

этих солдатиков или студентов ещё здоровствует?.. Но, представив все революции, войны, тифы, испанки, голода, лагеря, говорил себе: навряд.

Он стал скрывать, что не может смотреть фильмы с недавно умершими актёрами, нечто противоестественное ощущая в том, что комедийные трюки выполняет человек, которого уже нет, как можно смеяться? Странно, но пластинки он воспринимал спокойно; голос — то было что-то другое, иная, бестелесная субстанция, им говорит душа.

Однако от этих остались кинокадры, голос, фотографии, хотя бы газетные объявления. Но как быть с теми, от кого не осталось ничего?

В первый же день по приезде в Чебачинск Антон пошёл в пятиэтажку к столяру Борису — уговорить поставить крест и оградку. Это было непросто, даже с добавлением бутылки-другой «Столичной». Выпить Борис любил, но ещё больше — стоять у заборчика или курить на ступеньках своего подвала-мастерской, или в сотый раз состругивать с её дверей граффити, которые на другой день аккуратно возобновляли мальчишки.

Перед подвалом стояла дворничиха — толстая Валя.

— Борис? Утонул.

— Как?..

— Очень просто. Пошёл в воскресенье купаться к плотине и... Схоронили уже. Гурка гроб сколотил, мы с ним только и провожали. Мать давно померла, женой не обзавёлся. Комната — жэковская, фотки были — отнесла в котельную, Никите — куда их?

Антон подошёл к столярке. На свежеструганном верхнем карнизе уже чернели детским почерком написанные буквы. Постоял у заборчика с тремя новыми штакетинами.

«Устроен сложно этот свет: Чтобы являться в ЖЭК, Чинить забор,

сбивать багет, Родился человек. И лишь исписанный карниз Ребяческой рукой: «Борис, Борис, погонщик крыс» Над дверью мастерской». Надо бы добавить что-нибудь вроде: «Состружат завтра и карниз Небрежно, впопыхах. Останется лишь бледный стих Средь выцветших бумаг».

Однажды Юрик пришёл печальный: умер академик Фокин.

— Как? И он?

— И он. Покойный извинит меня за неуместную улыбку... Ты напомнил мне случай, когда, кажется, Хрущёв спросил у президента Финляндии, как у них со смертностью. Тот ответил: «Пока стопроцентная». А эти твои возгласы на семидесятилетия нашего ваятеля: «Я не хочу, чтобы все умерли!» Правда, тогда мы все уже хорошо выпили, но кто-то всё же спросил: твой друг не того? а как у него с отношением к другим естественным законам? Прости за интимный вопрос: ты всё ещё не спишь по ночам из-за покойников? Да, да, жена твоя рассказала. Хотела посоветоваться, не пора ли вести тебя к психиатру, когда узнала, что тот профессор, из-за которого ты не спал, умер десять лет назад.

Однако очередной сеанс психотерапии Юрик опять решил провести сам.

— Тебе жаль не их, а себя, — жёстко сказал он. — Кому из твоих друзей, кроме меня, меньше семидесяти? Ты, в сущности, тоскуешь о том, что скоро не останется никого, с кем ты бы мог говорить о своих любимых девятисотых, о золотом веке. Тебе ведь на самом деле современный мир неинтересен — только ты это хорошо скрываешь.

Когда ещё ты писал: «И нет уже следов былого, о мире том с кем молвить слово». Для тебя главная трагедия века — гибель «Титаника», — как для них. Но они-то тогда не видели двух таких войн! Выражаясь твоим языком, не скажи в бане, шайками закидают.

Нет, Юрик неправ — не уходящих собеседников мне жалко и даже не нашего бытия, которое будет другим, когда уйдут носители той жизни и его станут определять дети пятилеток. Жалко всех. Может, прав Егорычев? «Тебе не подходит быть историком.

У историка должно быть холодное сердце». Он сказал это, когда Антон пытался передать, что ощущает, листая старые газеты. А Юрик считает, что по особенностям нервной системы и в филологии Антон не годится...

Университетский профессор, отец которого был знаком с Кожевниковым и Петерсоном-старшим, дал Антону первый том Николая Фёдоровича Фёдорова. Антон читал всю ночь. Утром без звонка прибежал к Юрику.

— Ты знаком с философией Фёдорова?

— В общих чертах.

— Это же великое учение!

Выслушав сбивчивое и подробное изложение идей философа о воскрешении отцов, Юрик, подумав, сказал:

— Или ты неясно излагаешь, или я плохо понял. Тут какая-то несоединимая смесь религии и позитивизма. Духовное воскресение в церковном смысле — это я понимаю. Но он, кажется, хочет воскрешать и материальную оболочку, самые тела? Извини, но мне это напоминает гоголевскую Коробочку: «Ты что, будешь их из земли выкапывать?» Я принимаю идею, что можно достигнуть бессмертия, переписывая информацию из старого мозга, который должен умереть, в молодой или в созданный искусственно, а когда и он состарится, износится — ещё раз, и так до бесконечности, то есть передавать человека по телеграфу, как говорил Норберт Винер. Но это не коснётся уже умерших.

Интеллектуальную и психическую информацию с каждого из них не списали, и он ушёл навсегда — как целостность, а осколки её в его текстах — именно лишь жалкие осколки.

— А великий поэт? Он сам потрудился себя записать, да как! Внутренний мир Пушкина я знаю лучше, чем твой, хотя слушаю твоё глаголение чуть не ежедневно уже пятнадцать лет!

— Вот и начинайте свою деятельность по воскрешению с него, мы вам в ножки поклонимся.

В первый день по приезде Антон на кладбище не пошёл, на глинистый кособок после дождя не взобраться. Он решил разобрать дедовы бумаги — заживаться здесь не хотелось: дом уже принадлежал Кольке. Два месяца назад он за взятку стремительно оформил справки о невменяемости стариков, потом опекунство, а затем и право на владение собственностью.

Бумаг почти не оказалось — на другой день после похорон Колька, перебрав их в поисках облигаций, сжёг почти всё, только кое-что Тамара успела вытащить уже из растопочной корзины: несколько писем сыновей с фронта, бесплатный билет Управления Виленской железной дороги на 1908 год, «Пионерскую правду» с кроссвордом, составленным учеником 4-го класса Антоном Стремоуховым, газетную вырезку со статьёй деда «Сейте люцерну» и его брошюру под тем же названием, о существовании которой дед никогда не упоминал. Антон открыл её и зачитался: это был тот исчезнувший язык, которым писали Докучаев, Костычев, Тулайков, не боявшиеся в научном изложении живого словечка, просторечия и метафоры. На десятой странице против абзаца о беспочвенности мнения о преимуществах летних посадок люцерны авторской рукой было написано:

«Аргументацию выкинули страха ради иудейска пред Лысенкой».

Жальче всего было дедовой толстой записной книжки, куда он вперемежку заносил и выписки из книг, и свои мысли. От неё случайно остался в тумбочке выпавший листок — неясно, с дедовским текстом или выпиской. По почерку время не определялось: рука деда и в последний месяц жизни была тверда, как тридцать, сорок лет назад, и глаза, как и тогда, не знали очков.

«...душа моя будет смотреть на вас оттуда, а вы, кого я любил, будете пить чай на нашей веранде, разговаривать, передавать чашку или хлеб простыми, земными движениями; вы станете уже иными — взрослее, старше, старее. У вас будет другая жизнь, жизнь без меня; я буду глядеть и думать: помните ли вы меня, самые дорогие мои?..»

Разобрали вещи: два костюма и пальто деми («английский драп!»), купленные на прадедовское валютное наследство, присланное из Литвы в 29-м году, старые шёлковые

галстуки, знаменитую водонепроницаемую крылатку. В любимом бостоновом костюме, сшитом ещё до первой мировой войны, трижды лицованном, дед положили в гроб.

На его мощной и стройной фигуре всё это выглядело старомодно-изящно, сейчас же показалось ужасающе древним и ветхим.

— Складывай в мешок вместе с рубашками, — сказала тётя Таня. — Вечером отнесёшь к Усте, отдаст своему пьянице. Только чтобы баба не увидала.

— И это вся его одежда? — потрогала мешок Ира. — Кабы все носили вещи так долго, не надо было бы создавать новые текстильные фабрики. (Она только что закончила в своей библиотеке устройство стенда про текстильную промышленность.)

— Дед говорил: вещи живут долго, дольше человека. Но у него есть вечная душа.

На другой день к вечеру, как подсохло, отправились с Тамарой на кладбище.

— Надо обходить. С этого боку недавно двух свиней сбросилидохлых.

Могилу долго искали, Тамара не запомнила: «Плакала, плохо видела». Кресты, многие полусгнившие и поваленные («повапленные», сказала Тамара), сварные пирамидки со звёздочками на штырях, редкие каменные надгробия. «Федора Терентьевна Пальчак. Мартемьян Ксаверьевич Пальчак». Ей было 95 лет, ему 97. Умерли они в один день.

По странному совпадению, рядом оказалась могила, где двое тоже умерли в один день.

— Жених и невеста. Разбились на мотоцикле. В пятницу собирались уже записаться, а в четверг он её повёз покататься — и оба насмерть. Выпивши был.

«Сергей Иванович Серов», музыкант. Оказывается, ему было всего пятьдесят. Он хотел умереть, но не хотел лежать в земле ненавидимого им места своей ссылки. Почему Ольга Васильевна не похоронена рядом, Тамара не знала.

«Бойко Петр Афанасьевич. Лауреат Сталинской премии III степени». Единственный лауреат, гордость Чебачинска, богатырь, боровшийся с приезжим цирковым атлетом Дмитрием Бедилой. На лауреатские: деньги купил «Победу» и, пьяный, врезался в столб на следующий день. Дорогов. Гудзикевич. Корма. Родители однокашников. Вьюшков Юрий. По датам мог быть его одноклассником. Как того звали? Знакомых фамилий было больше, чем в городе.

Подошли к дедовой могиле. Тётка перекрестилась,

— Ну, что скажешь нам?

Антон, не понимая, смотрел на глинистый, начавший подсыхать могильный холм, на расплывшуюся надпись на ленте. Цветов не было — видимо, сразу украли. Здесь лежит тот, кого он помнит с тех пор, как помнит себя, у кого он, слушая его рассказы, часами сидел на коленях, кто учил читать, копать, пилить, видеть растение, облако, слышать птицу и слово; любой день детства невоспоминаем без него. И без него я был бы не я.

Почему я, хотя думал так всегда, никогда это ему не сказал? Казалось глупым произнести «Благодарю тебя за то, что... Но гораздо глупее было не произносить ничего. Зачем я спорил с ним, когда уже понимал всё? Из ложного чувства самостоятельности? Чтобы в чём-то убедить себя? Как, наверно, огорчился дед, что его внук поддался советскому вранью. Дед, я не поддался! Ты слышишь меня? Я ненавижу, я люблю то же, что и ты. Ты был прав во всём!

В памяти всплывали какие-то мелочи. Его словечки, фразы: духовник деда был человек богозванный, а не сделавший карьеры старик дьякон — дерзословный; в семинарии всё учили вдолбязку; курсив дед именовал искосом; маленького Антона любил за кротконравность; о соседе говорилось не «глупый», а маломудрый; парторг Гонюков был злохитростен; лысенковцы назывались не подонки, а поддонки, что было, конечно, не в пример обиднее. Свойство отца Антона всегда чем-нибудь восхищаться (американскими президентами, бесчисленностью китайской армии, мощью штангиста Новака, мастерством шпионов и силой НКВД,

энергией Ломоносова) дед именовал словом адмирация, видимо семинарским — его не оказалось ни в одном словаре. Любил

выразиться изысканно (разменяться письмами) или возвышенно: «В прошлую ночь не свёл века с веком». Самые сильные его ругательства были: чернь безмозглая (про советскую номенклатуру) и животное (бабка ругалась — собачье мясо).

Как человек, не способный сказать кому-либо гадость, Антон любил остроты великих людей, которые, похоже, умели это делать очень хорошо, и собирал их по газетам, журналам, отрывным календарям. Поклонница сказала Гейне, что отдаёт ему все свои мысли, душу и сердце. «От маленьких подарков, — поклонился поэт, — стыдно отказываться». Актриса, которую похвалил Оскар Уайльд, воскликнула с притворной скромностью, что эту роль следовало бы играть женщине молодой и красивой. «Вы доказали обратное», — сказал писатель. «Второго не читал, — заметил дед, — но, кажется, он был джентльмен. А судя по историям из твоих газет, и он, и германский поэт были обыкновенными хамами на советский манер».

Приносил Антон советские исторические романы, но успеха не имел.

— Прежние исторические писатели — Данилевский, Дмитриев, Мордовцев, написавшие целую библиотеку, может, и не обладали особыми талантами, но были образованные люди, знали источники, древние языки... А этот ваш романист пишет «олеворучь», видимо, не подозревая, что его герои говорили «ошую» и «одесную». А какая-то дама в своей повести, уже про современность, удивляется, как могли появиться такие неприличные фамилии, как Срачица, не ведая, что это указывает только на то, что фамилия олень старая: срачица — древнерусский сосуд для питья.

Современной литературы дед вообще не любил — ни отечественной, ни зарубежной. Приезжая на каникулы, Антон пытался подсовывать ему «Иностранную литературу». Прочтя повесть, где какой-то японец, выйдя из дому в пижаме, уселся в лужу, ему было мокро и мерзко, но он всё сидел, дед сказал, что это стремление омерзить и в конечном счёте унижить человека, в литературе пройдёт, как болезнь, она перестанет изображать дегенератов и превращение в насекомых и вернётся к обычным и вечным чувствам и ситуациям. Предсказанье, в отличие от дедовых других, не подтвердилось.

По всякому поводу любил уколоть кого-нибудь из советских классиков. Антон прочёл ему из собрания сочинений Маяковского рекламные стихи про папиросы «Ира».

— В моё время такое уже было, фирма Шапошникова рекламировала

свой товар: «Взгляни справа, взгляни слева — всюду папиросы «Ева»». Правда, никому не пришло бы в голову перепечатывать это в книгах стихов.

Как-то Антон процитировал строки, как «мальчики иных веков, наверно, будут плакать ночью о времени большевиков». Дед понял так, что мальчики будут плакать, жалея тех, кто жил в это время, но ни о чём не спрашивал, полагая, что стихи — из тех листков на папиросной бумаге, которые привозил из Москвы внук.

Всё всплывало в виде какого-то калейдоскопа, настриженного из кусков быта. Великим Постом в райпотребсоюз завезли ливерную колбасу; Тамара полдня стояла в очереди. За ужином ели эту колбасу, намазывая на хлеб; дед по просьбе Антона объяснял, что такое «ливер».

— А как же пост, Леонид Львович? — подначивал отец. — Не соблюдать, помню с ваших же слов, дозволяется только болящим и путешествующим.

— Мы приравниваемся к путешествующим. По стране дикой.

— Почему ж дикой?

— Вы правы, виноват. Одичавшей. Как иначе назвать страну, где колбасу, коей раньше и кошка брезговала, дают по карточкам раз в полгода?

— Что ж вы не уехали из этой дикой страны в восемнадцатом, с тестем?

— И бысть с нею и в горе, и в нищете, и в болести. Но вспоминался и другой их разговор, во время которого отец так поставил чашку, что расколол блюдце, которое бабка вывезла из Вильны и которым очень дорожила. Дед оправдывал коллаборационистов из бывших кулаков и прочих репрессированных.

— Советская власть отняла у них всё. Возьмите нашего Осьминина. В ссылке погибла семья. Обманом вернулся — не на свою Орловщину, а в Курскую губернию.

Узнали, посадили. При немцах вышел из тюрьмы. Куда податься?

О вере дед высказывался редко, но не сомневался, что она в Россию вернётся.

— Я не увижу, ты — возможно, дочь твоя увидит наверное. Но какова она будет, эта вера? Ведь вера — не лоб перекрестить в храме на Пасху или Рождество. Это исповедь, молитва, пост, жизнь по нашему православному календарю. Воцерковление идёт веками и годами, начинается с младенчества, с семьи.

За все последние чебачинские месяцы больше всего дед удивил Антона одним своим признанием — как раз год назад, тоже в Великую неделю.

— Ты знаешь, какие греховные мысли посещали меня в последний год, когда я ещё ходил? — дед притянул его голову к себе и громким шёпотом проговорил: — Блуд- ны-е! Юрик сказал, что в девяносто пять этого не бывает. Но за три года перед тем дед ещё больше поразил неожиданным интересом к статье из привезённого Антоном польского журнала о самых известных топ-моделях с их фотографиями. Правда, под конец дед сказал, что в его время такие женщины были не хуже: «Только их иначе называли».

— В моё время женщин уже допускали в церковный хор. Раньше? Были дисканты. Но иереи и жульничали: поставят стриженую девицу — издали как бы отрок... Больше всего мне нравилось постное пение, неторжественное. А из торжественного — здравица царствующему дому. Как её провозглашали архидиаконы Розов или Лебедев!

— Когда я поступил в семинарию, не было никаких аэропланов, авто, телефон и электричество только начинались... А теперь? Как вместить это в сознание?

Кажется, он так и не вместил. До конца воспринимал радио как чудо: безо всяких проводов — через тысячи километров! И часто оговаривался, называя это чудо беспроводным телеграфом. Заразил удивлением и Антона, а тот пробовал передать его уличным друзьям, но они, хотя и не знали, как передаются радиоволны, почему-то не удивлялись.

Дед знал два мира. Первый — его молодости и зрелости. Он был устроен просто и понятно: человек работал, соответственно получал за свой труд и мог купить себе жильё, вещь, еду без списков, талонов, карточек, очередей. Этот предметный мир исчез, но дед научился воссоздавать его подобие знанием, изобретательностью и невероятным напряжением сил своих и семьи, потому что законов рождения и жизни вещей и растений не в состоянии изменить никакая революция. Но она может переделать нематериальный человеческий мир, и она это сделала. Рухнула система предустановленной иерархии ценностей, страна многовековой истории начала жить по нормам, недавно изобретённым; законом стало то, что раньше называли беззаконием. Но старый мир сохранился в его душе, и новый не затронул её. Старый мир ощущался им как более реальный, дед продолжал каждодневный диалог с его духовными и светскими писателями, со своими семинарскими наставниками, с друзьями, отцом, братьями, хотя никого из них не видел больше никогда. Ирреальным был для него мир новый — он не мог постичь ни разумом, ни чувством, каким образом всё это могло родиться и столь быстро укрепиться, и не сомневался: царство фантомов исчезнет в одночасье, как и

возникло, только час этот наступит нескоро, и они вместе прикидывали, доживёт ли Антон.

Вечером с бабушкой, Тамарой, тётей Таней, дядей Лёней, Ирой посидели, помянули, выпили. Помянули и отца Антона. Дед его любил, сказала Тамара, говорил: «Какая энергия!» А ещё говорил про него, добавила тётя Таня: «Семнадцать лет прожить с тестем и ни разу не поссориться!» — «А спорили часто, — сказала Ира, — ты помнишь». Антон помнил.

Спели «Вечерний звон» — в первый раз без дедовского «Дон! дон! дон!» Бабушка сидела закрыв глаза, дядя Лёня молчал, тётки плакали. Через несколько лет Антон будет петь его дуэтом — только с мамой. Когда пропоют «И крепок их могильный сон, Не

слышен им вечерний звон», она скажет: «Было нас девятеро. И все они умерли. Осталась я, последняя из дедовой фамилии. А потом, — повела она своим чистым высоким голосом, — «И уж не я, а будет он В раздумье петь «Вечерний звон»!» Ты будешь петь.

Один».

К ночи зашёл Гройдо, вернувшийся тоже с поминок — сороковин по Егорычеву!

— Умерли все. Там я узнал о кончине профессора Резенкампа. Из друзей вашего дедушки остался только я.

(Он умер через три недели.)

Стал говорить, как дед повлиял на него. — Я был убеждённым атеистом. И впервые колебнулся в разговоре с Леонидом Львовичем о Багрицком.

— О советском поэте? С дедом?

— Собственно, говорила жена, она была с Багрицким знакома, стала читать вашему деду «Смерть пионерки». Сначала, разумеется, «нас водила молодость в сабельный поход», а потом и не только. Леонид Львович, человек вежливый, слушал. В том месте, где умирающая девочка отталкивает крест, говорится, что он упадет на пол. И знаете, что он сказал? Даже у атеиста-одессита, революционного поэта, в стихотворении, безбожном по заданию, — даже у него именно так, только так сказалось о кресте. Не падает, а упадет!

Вспомнил Борис Григорьевич ещё одно, прозвучавшее как последний дедов привет. Он сказал, что в свои предсмертные дни хотел бы повидаться с о. Иосифом, которого любил больше других братьев и который скончался в харьковской тюрьме в двадцать девятом году. Потом помолчал и прибавил: «За восемьдесят лет сознательной жизни полностью меня понимал только один человек, на шестьдесят лет меня моложе.

Жаль, что он далеко». Кто это был, Гройдо не знал или лукавил. Ровно на шестьдесят лет моложе деда был Антон. Я был плохим сыном, мужем, неверным любовником, средним отцом. Но больше всего меня бы огорчило, если б дед считал меня плохим внуком.

Антону всё хотелось узнать, что делал и говорил дед в последние дни.

— Что делал? — тётя Таня подумала. — Лежал у себя в боковушке. Только раз, за неделю до смерти, захотел в сад. Мы с Лёнтёй вынесли его на кресле. Он посадил тут каждое дерево. Берёзку свою любимую тихонько погладил.

— Про тебя говорил, — сказала Тамара. — Что когда в позапрошлом году он написал всем внукам письма просьбой прислать по пятьдесят рублей, прислал ты один.

Вспоминать было мучительно стыдно: посылая деньги, он думал — другим они нужнее, зачем они деду в его возрасте?

В эти дни у бабки был последний в её жизни проблеск сознания, как будто кто-то хотел дать ей попрощаться с тем, с кем она прожила семьдесят лет. За два дня до кончины он её позвал и просил у неё прощения.

— За что? — рыдала баба. — За что я должна простить тебя?

— Я обещал тебе счастье, покой, довольство, а дал бедность, беспокойство и изнурительный труд. Я думал, что могу предложить тебе хорошую жизнь, потому что был молод, потому что многое умел, потому что был силен.

— В этом месте, — вмешалась в рассказ Тамара, — он выпростал из-под одеяла руку и согнул в локте.

И живо представил Антон, как покатился под засученный рукав круглый шар, и впервые заплакал.

— Но ты же не виноват, — говорила сквозь слёзы баба, — что они отобрали у нас всё.

— Они отобрали сад, дом, отца, братьев. Бога они отнять не смогли, ибо царство Божие внутри нас. Но они отняли Россию. И в мои последние дни нет у меня к ним христианского чувства. Неизбывный грех. Не могу в душе моей найти им прощения. Грех мой великий.

В предсмертные часы молчал, хотя был в уме и памяти. Дочери упрашивали: «Скажи что-нибудь». Но он лишь тихо улыбался. «Сказал только что-то про немоту перед кончиною. Это стихи, Антоша?»

Это было их любимое с дедом издавна стихотворение Некрасова. Антону больше всего нравилось: «На избушку эту брёвнышки Он один таскал сосновые», казалось, что это про деда — он сам видел, как тот нёс на плече пятивершковое бревно.

«Немота перед кончиною подобает христианину».
1987, 1997–2001